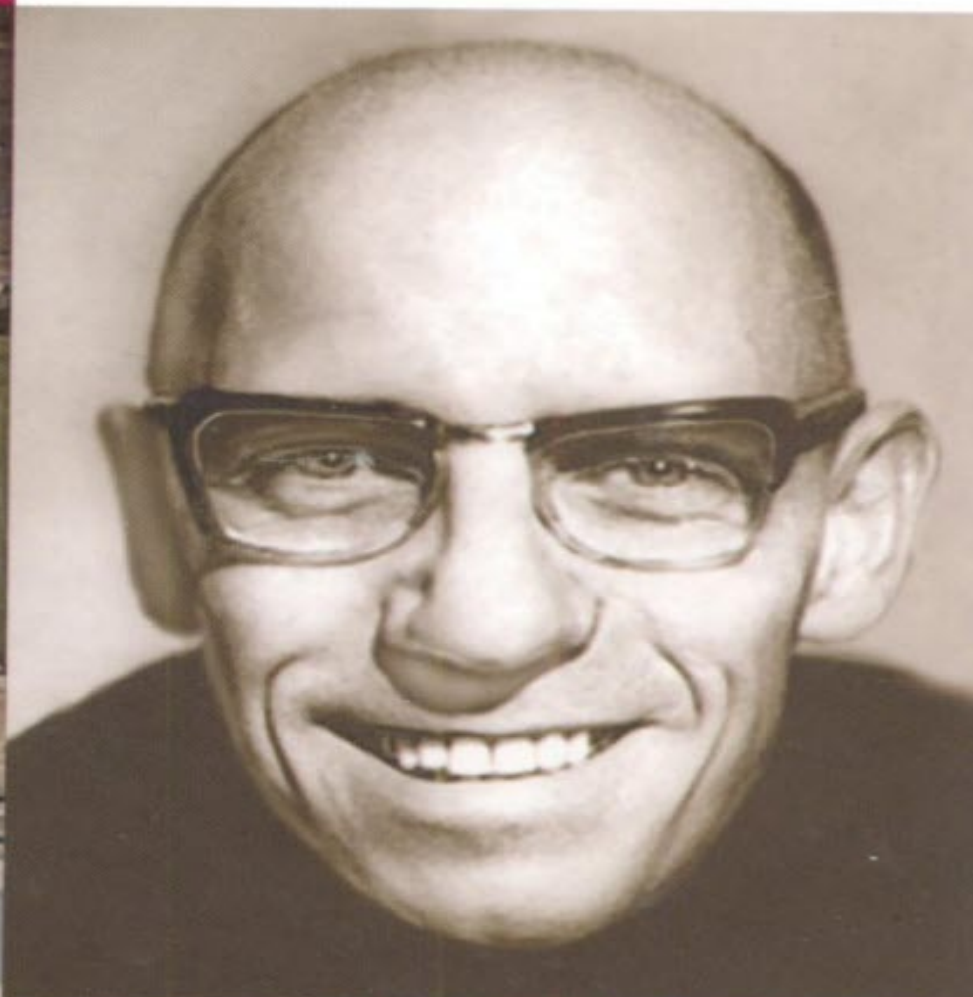


МИШЕЛЬ ФУКО



Дидье
Эрибон



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Мишель Фуко (1926–1984) — один из наиболее влиятельных мыслителей второй половины XX века. Испытав множество идейных и культурных воздействий, он сумел найти свой неповторимый стиль мышления и свою тему — изучение отношений личности с обществом, в том числе с такими общественными институтами, как психиатрия, медицина и тюремная система. Отвергая любые формы подавления личности, Фуко активно протестовал как против коммунизма, так и против демократии западного типа. Громкая известность философа привела к тому, что его книги вышли за грань «чистой науки», став подлинными интеллектуальными бестселлерами на Западе, а затем и в России. Первая выходящая по-русски биография Фуко принадлежит перу известного историка философии Дидье Эрибона. Многочасовые беседы с героем книги позволили автору осветить не только творчество французского мыслителя, но и его тщательно скрытую от посторонних и окруженную слухами личную жизнь.

- [Дидье Эрибон](#)
 -
 -
 - [О пользе и вреде «опыта»](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)

-

-
-
-
-
-

- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)

- [INFO](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)

- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)

- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)

- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)

- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)

- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)

- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)

- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)

- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)

- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)

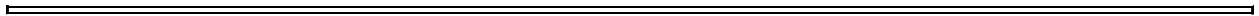
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)

- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)
- [451](#)
- [452](#)
- [453](#)
- [454](#)
- [455](#)
- [456](#)
- [457](#)
- [458](#)
- [459](#)
- [460](#)

- [461](#)
- [462](#)
- [463](#)
- [464](#)
- [465](#)
- [466](#)
- [467](#)
- [468](#)
- [469](#)
- [470](#)
- [471](#)
- [472](#)
- [473](#)
- [474](#)
- [475](#)
- [476](#)
- [477](#)
- [478](#)
- [479](#)
- [480](#)
- [481](#)
- [482](#)
- [483](#)
- [484](#)
- [485](#)
- [486](#)
- [487](#)
- [488](#)
- [489](#)
- [490](#)
- [491](#)
- [492](#)
- [493](#)
- [494](#)
- [495](#)
- [496](#)
- [497](#)
- [498](#)
- [499](#)

- [500](#)
- [501](#)
- [502](#)
- [503](#)
- [504](#)
- [505](#)
- [506](#)
- [507](#)
- [508](#)
- [509](#)
- [510](#)
- [511](#)
- [512](#)
- [513](#)
- [514](#)
- [515](#)
- [516](#)
- [517](#)
- [518](#)
- [519](#)
- [520](#)
- [521](#)
- [522](#)
- [523](#)
- [524](#)
- [525](#)
- [526](#)
- [527](#)
- [528](#)
- [529](#)
- [530](#)
- [531](#)
- [532](#)
- [533](#)
- [534](#)
- [535](#)
- [536](#)
- [537](#)
- [538](#)

- [539](#)
- [540](#)
- [541](#)
- [542](#)
- [543](#)
- [544](#)
- [545](#)
- [546](#)
- [547](#)
- [548](#)
- [549](#)
- [550](#)
- [551](#)
- [552](#)
- [553](#)
- [554](#)
- [555](#)
- [556](#)
- [557](#)
- [558](#)
- [559](#)
- [560](#)



ЖИЗНЬ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1328

(1128)

Дидье Эрибон

МИШЕЛЬ ФУКО



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

*

Перевод с французского
Е. Э. Бабаевой

Предисловие и научная редакция
С. Л. Фокина

*Перевод осуществлен по изданию:
Didier Eribon. Michel Foucault, 1926–1984.
Paris, Flammarion, 1989*

© Flammarion, 1989
© Бабаева Е. Э., перевод, 2008
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2008
© Палимпсест, 2008

Посвящается Оливье Сегюре

В сверкании длюсь.

Рене Шар

О пользе и вреде «опыта»

Философия Франции переживает не лучшие времена: после кончины Мишеля Фуко в июне 1984 года вся история французской мысли представляет собой череду громких смертей — Жиль Делез, Жан-Франсуа Лиотар, Пьер Клоссовски, Морис Бланшо, Жак Деррида, Поль Рикёр, Филипп Лаку-Лабарт. Прискорбно, но ясно: уходит целая эпоха, в которой все эти мыслители, а также те, что перестали быть немногим раньше — Ролан Барт и Луи Альтюсер, — составляли то, что следует считать ведущей движущей силой европейской философии второй половины XX века или, если воспользоваться формулой Алена Бадью, остающегося, вместе с Жаком Рансьером и Жак-Люком Нанси, «последним из могикан» вымирающего на глазах философского племени одним из «основных моментов» французской мысли ушедшего столетия. «Конец света, всякий раз единственный в своем роде» — так озаглавил Жак Деррида одну из предсмертных своих книг, где были собраны его прощальные слова, обращенные к тем из его спутников мысли, что уходили до него.

Вопреки апокалипсическому звучанию, формула Деррида, как и вся его книга, высвечивает едва ли не самую характерную особенность современной французской мысли, заключающуюся в сознании того, что философия, мысль, умственное начинание возможны не иначе как *вместе* — в строго определенном *месте*, где сразу же обнаруживается абсолютная неуместность каждой по-настоящему оригинальной мысли, и *сообща*, то есть в таком сообщении, в котором каждый культивирует свое отличие, свою странность, иногда иностранность. Французскую мысль 60–90-х годов XX столетия отличает, прежде всего, это напряженное бытие в сообществе, своего рода «коммунизм мысли», который, наперекор печальной истории коммунистической идеи в XX веке, остается трансценденталью философии, условием возможности ее существования. Сколь ни разнились бы концепции, сложившиеся в умах отдельных французских мыслителей этого времени, во всех без исключения принимается во внимание мысль Другого, который, даже не будучи в жизни другом, более того, оказываясь порой недругом, предоставляет философу возможность взглянуть на себя со стороны. Сколько ни твердили бы люди об одиночестве, уединении, покинутости или сиротстве творца, философ творит в сообщении с себе подобными, в которых ищет, разумеется, не нарциссического повторения себя, не того же самого, не тождества, но

исключительного различия — от себя, для себя, в себе.

В истории культуры часто бывает, что именно из уст другого, часто недруга, приходит именование, посредством которого выхватывается отличительная черта какого-то движения, направления или поворота в творческой жизни. В 1985 году Люк Ферри и Ален Рено, молодые философы неокантианского толка, ставшие сегодня новыми французскими «мандаринами», опубликовали книгу «Мысль 68-го. Опыт о современном антигуманизме», в которой недвусмысленно связывали новаторский характер концепций Бурдье, Деррида, Лакана и Фуко с событиями мая 1968-го, этой «студенческой революцией», всколыхнувшей сорок лет тому назад всю Францию. Многим думающим людям, и прежде всего самим мыслителям, скопом записанным в антигуманисты, такой ярлык пришелся не по вкусу, в основном из-за личных или политических пристрастий, но также и глубоких — принципиальных — разногласий в строе, стиле, проблематике философского мышления. Со временем страсти улеглись и стало очевидным, что если что-то и объединяет разнонаправленные поиски ведущих французских мыслителей 1960–1990-х годов, то именно напряженное внимание к проблеме власти, упорная проблематизация отношения философа к политике. Да, с одной стороны, не что иное, как этот дух, стиль, шарм «мая 68-го» выделяет в глазах внешнего наблюдателя «французского философа как он есть». Но, с другой стороны, для французской мысли этого периода, мысли «экзистенциально-онтологической», мысли «номадической», поскольку она не имеет места, деконструктивной, поскольку парадоксальной» (Ж.-Ф. Лиотар), действительно характерен некий революционный напор, своего рода «террор философской буквы», в ломких рамках которого философия мыслит самое себя в непрестанной «распре» с политикой. И то, что в наши дни приоритет французской политики находит выражение в призыве «Покончить с маем 68-го!», лишний раз подтверждает смысловую связь философии и того, что остается событием или призраком оногo.

Биография Мишеля Фуко, принадлежащая перу Дидье Эрибона, автора целого ряда биографических исследований о французских мыслителях XX века, а также работ по философии психоанализа, теории гей-культуры и идеологии «новой консервативной революции», была написана под знаком поэтической формулы видного мастера философской лирики XX века Рене Шара — «Развивайте свою непохожесть, свою законную странность!». Творчество французского поэта, чей стих «В сверкании длюсь» Дидье Эрибон выбрал эпиграфом к своей книге, крайне высоко оценивал Мартин Хайдеггер, заметивший как-то, что «философия и

поэзия стоят на противоположных вершинах, но говорят одно и то же».

В самом деле, в поэтической формуле легко расслышать отзвук формулы философской, над которой Мишель Фуко бился не только в последние годы, но и всю свою жизнь — речь идет об этой самой «заботе о себе», на которую был направлен грандиозный и оставшийся незавершенным проект «Истории сексуальности» и в которой, вместе с тем, сосредоточена главная движущая сила того, что следует считать «опытом» философа. Действительно, все работы Фуко, начиная с ранней университетской монографии «Психическое заболевание и личность» (1954) и заканчивая «Историей сексуальности» и курсами в Коллеж де Франс, не были просто книгами, но все без исключения принадлежали к тому роду произведений, которые сам он называл «книгой-опытом»^[1].

Поясним мысль философа. Книга-опыт никогда не сводится к буквальному, дословному содержанию, сколь богатым или даже неисчерпаемым оно бы ни казалось; в книге-опыте всегда содержится некий остаток, неустранимый никаким, даже самым изощренным толкованием, этот несократимый остаток заключает в себе неизъяснимые в слове боли, тревоги, заботы, в которых рождались слова, строки, параграфы, вступления и заключения, иначе говоря, та «доля неведомого, откуда ведет происхождение всякое произведение» (Морис Бланшо). Самое важное в этой доле то, что в ней осталось от автора, от его индивидуального опыта, ибо, завершив книгу, оставив в ней крупинки себя, он переходит к иным творческим и экзистенциальным возможностям. По завершении книги-опыта автор «умирает», вместе с тем — становится другим, в нем что-то отмирает, в завершенной книге остается частичка его субъективности, а сам автор ищет других возможностей своего «я», обращается к другой книге, погружается в другой опыт. Рассказывая о своем опыте, оставшемся в «Истории безумия», Фуко признавался:

«Опыт есть нечто такое, что проделываешь в одиночку, и однако же полностью он осуществим лишь постольку, поскольку выходит за рамки чистой субъективности туда, где другие смогут, не скажу в точности его повторить, но, по меньшей мере, с ним столкнуться или пересечься»^[2].

В другом месте, связывая понятие «книги-опыта» с творчеством таких писателей, как Ж. Батай, М. Бланшо и П. Клоссовски, Фуко подчеркивал, что существо такого опыта — в достижении каких-то пределов, краев, за которыми субъект творчества уже не может быть прежним:

«Идея опыта-предела, в котором субъект отрывается от самого себя... определяет то, что сколь скучными, сколь научными ни казались бы мои книги, я всегда воспринимал их как прямые опыты, направленные на то, чтобы оторваться от самого себя, помешать себе быть прежним»^[3].

Исследование экзистенциального опыта, на котором зиждется книга-опыт, не может быть представлено в виде тривиального биографического описания; рассматривать такой опыт — значит со всем возможным вниманием следовать тем линиям жизни и письма философа, в которых он достигал пределов, границ, концов, где он исчерпывал последние возможности своего существования и языка, доходил до крайности, откуда уже нельзя было двинуться дальше, где он останавливался и возвращался назад, чтобы сначала пройти путь до какого-то другого конца, предела, или, наоборот, где он заступал за опасную грань, буквально во вред себе. Такого рода опыт — постоянное испытание и питание себя, опыт-пытка. По точному замечанию Фуко, отдаваться такого рода опыту — «значит пытаться достичь той точки жизни, которая как можно ближе к тому, что невозможно пережить»^[4].

Как ни парадоксально, но книга Дидье Эрибона, посвященная «пределному опыту» Мишеля Фуко, характеризуется выдержанным чувством меры, что выгодно отличает ее от других, более поздних биографий французского мыслителя, в которых зачастую смакуются иные подробности «обратной стороны» жизни философа. Но самое главное достоинство работы даже не в этом. Биография Эрибона не только представляет нам увлекательную картину жизни и творчества одного из крупнейших мыслителей XX века, но и впервые открывает русскому читателю сложный, многообразный, полифонический ландшафт французской философии, предлагает своего рода карту, путеводитель по тем памятным местам, где формируется французская мысль: начиная с последнего класса французского классического лицея, в котором философия — главный предмет, и кончая Коллеж де Франс, единственным в своем роде образовательным учреждением, основанным королем Франциском I в 1530 году в противовес Парижскому университету.

Главное отличие тогдашнего «Королевского коллежа» — преподавание классических языков и других дисциплин, отсутствовавших в университетских программах той поры. Этот принцип открытости образования и некоторого противостояния университету сохраняется в Коллеж де Франс до сих пор — лекции всех профессоров доступны для

всех желающих; слушатели не регистрируются и не получают никаких дипломов; главный принцип преподавания — посвящение любознательных в новейшие достижения современной науки, которое осуществляется ведущими учеными отдельных отраслей знания, избирающимися *коллегами* в соответствии со строгой процедурой. Кафедра Коллеж де Франс — не рутинная структура, пребывающая в ожидании нового заведующего, а всякий раз новое научное начинание — она создается под определенного замечательного человека и получает название того направления знания, в котором он работает. Так, в 1904 году Анри Бергсон был избран профессором Коллеж де Франс по кафедре современной философии, в 1937 году Поль Валери — по кафедре поэтики; в 1970 году — Мишель Фуко по кафедре истории систем мысли. Избрание профессором Коллеж де Франс — вершина академической и университетской карьеры ученого, предоставляющая ему необычайно ценную возможность преподавать то, что действительно занимает его в настоящее время; вместе с тем — настоящая пучина крайне сложных институциональных отношений с той же Сорбонной и многими академиями, чтимыми французской памятью и мыслью.

Среди этих мест выделяется Эколь Нормаль, настоящий питомник интеллектуальной элиты, в тесных залах которого складывались самые видные умы Франции. В политике — Леон Блюм, Жан Жорес, Ален Жюппе, Жорж Помпиду; в философии — Ален, Луи Альтюссер, Ален Бадью, Анри Бергсон, Жак Деррида, Жан-Поль Сартр; в литературе — Жан Жироду, Жюльен Грак, Шарль Пеги, Ромен Роллан... Не будучи университетом, эта Высшая школа — предел мечтаний любого думающего французского студента, каждого сколько-нибудь выдающегося выпускника французского лицея — многим из них приходится провести за партой еще пару лет, чтобы, пройдя жесткие вступительные испытания, попасть-таки в «святая святых» французской образовательной системы. Эколь Нормаль, вопреки своему названию, учреждение скорее для «ненормальных», по-настоящему одержимых страстью к познанию. Лучшие страницы книги Дидье Эрибона посвящены тяготам и невзгодам молодого Мишеля Фуко в стенах его альма-матер: вкушение ценной духовной пищи сопровождается целым ритуалом, неписаным кодексом сложных отношений между преподавателями, принадлежащими к цвету интеллектуальной Франции, и студентами, многие из которых мечтают встать на преподавательскую стезю. Здесь, в этом месте, закладываются основы «бытия-вместе», в котором важно не утратить своей индивидуальности, развивая себя в общении с другими и противопоставляя себя нормализующей системе

формирования знания. Отсюда начинают тянуться индивидуальные университетские и академические маршруты, на которых случаются встречи или раздоры учителей и учеников, завязываются дружеские или недружественные отношения, играют страсти и пристрастия. В книге вырисовывается живописная картина французского университета — во всей его красе и со всей его мелочностью — как места формирования французской философии, очага всяческих реформ и центра жесткого сопротивления оригинальным философским начинаниям.

Возвращаясь в заключение к «опыту» Мишеля Фуко, многие перипетии которого заинтересованный читатель найдет на страницах книги Дидье Эрибона, стоит еще раз уточнить, что сколь соблазнительным ни казалось бы подобное сближение, в «заботе о себе» говорит не тривиальный эгоизм, травестию которого заполонили сознание и бессознательное современности, а такое созидание себя, в котором человек, думая исключительно о себе, об управлении собой, своим телом, об «использовании удовольствий», без которых человеческая жизнь просто чахнет, обязывает себя к строгому, «дисциплинарному», режиму отношений с другими, в силу которого последние не просто необходимы, но совершенно неизбежны — во всей своей непохожести, со всеми своими странностями, причудами и прихотями. Должно развивать свои странности — в противном случае человек рискует сгинуть в том «великом заточении», которое обеспечивается самыми разнообразными и все более утонченными, изощренными механизмами подавления, угнетения, господства, которые подстерегают его буквально на каждом шагу — в семье, школе, университете, армии, на рабочем месте, на отдыхе. В противовес политике угнетения должно развивать политику человеческой неповторимости, в рамках которой «забота о себе» подразумевает заботу о других и, следовательно, вызов в отношении всего, что чинит людям препятствия для жизни.

С. Л. Фокин

Предисловие

В смерти не заключено никакой тайны. Нет двери, которую бы она открывала. Она — конец человеческому существованию. После нее остается лишь то, что человек дал другим людям, то, что живет в их памяти.

Норберт Элиас

Есть что-то парадоксальное в намерении написать биографию Мишеля Фуко. Ведь он много раз подвергал сомнению само понятие «автор», отвергая тем самым смысл создания биографического исследования. Когда я начал работать над этой книгой, друзья и близкие Фуко напоминали мне об этом. Но мне кажется, что это возражение, несмотря на его законность, уязвимо. Изучал ли сам Фуко понятие «автор»? Да. Что из этого следует? Он показал, что в нашем обществе оборот дискурсов^[5] невозможен вне навязанных им понятий «автор», «произведение» и «комментарий». И ему самому не удалось бежать от общества, в котором он жил: он был приговорен, как и другие, к «функциям», которые описывал. Фуко выпускал книги под своим именем, они связаны с его именем в предисловиях, статьях, интервью, выявлявших — этап за этапом — последовательность и динамику исследований; он играл в комментирование, выступая на конференциях, посвященных его работе, отвечая на замечания, на критику, реагируя на неправильное и правильное прочтение его собственных сочинений. Иначе говоря, Фуко — автор. Он создал труды, которые подлежали и подлежат комментированию. И в наше время, как во Франции, так и в других странах, работам Фуко посвящаются семинары, встречи, споры. Его тексты, опубликованные дома и за рубежом, собираются в тома с целью как можно полнее отразить все «сказанное и написанное» им; обсуждается, следует ли печатать то, что осталось в рукописях, выпускаются лекции, прочитанные в Коллеж де Франс^[6]... Так отчего же на биографию накладывается запрет? Говорят, что Фуко отказывался рассказывать о своей жизни. Это неправда. Многие сведения рассыпаны по его интервью, к тому же он выпустил в Италии «Colloqui con Foucault» — сборник бесед, большая часть которых посвящена проделанному им интеллектуальному пути. А в 1983 году Фуко сам предложил мне записать с ним новую книгу бесед, более полную и

выверенную, в которой ученый рассказывал бы о своем становлении и истоках творчества.

Подлинную причину столь неоднозначного отношения к биографии нужно искать в другом. Она кроется в скандальности, не изжитой и сегодня. Все время, пока я собирал материалы о жизни Фуко, мне неизменно задавали один и тот же вопрос: «А будет ли в этой книге говориться о гомосексуализме?» Многие опасались, что подобные упоминания будут неправильно поняты. Другие удивлялись, что до сих пор на эту тему налагаются какие-то ограничения. Очевидно, что моя книга вызовет противоречивые суждения: кому-то покажется, что я уделил гомосексуализму Фуко слишком много внимания, а другие, напротив, сочтут, что у меня недостаточно пикантных деталей — например касающихся пребывания Фуко в Америке. Что тут сказать? Мне более понятна позиция вторых, но я не хотел бы шокировать первых. Я не пытался лакировать факты. Я не имел намерения вызвать сенсацию. Придерживаться равновесия было нелегко. Мне хотелось избежать как ненавязчивых форм давления, так и цензуры — а она всегда начеку, тем более что речь идет о книге, где творчество, взятое в целом, может трактоваться как бунт против власти «нормальности». Однако разве эксгибиционизм не является формой признания власти вуайеризма? Желая не налететь на этот двойной риф, я решил излагать факты, какими бы они ни были, когда они необходимы для понимания тех или иных событий, того или иного аспекта карьеры Фуко, его творчества, мысли, жизни и смерти. И обойти молчанием то, что относится к запретной территории, существующей в жизни каждого человека. Должен сделать одно уточнение: Фуко много говорил о гомосексуализме в интервью, которые он давал изданиям соответствующей ориентации во Франции и за границей. Пусть те, кто готов напасть на меня за эти «откровения», знают, что они основаны на цитатах и часто являются всего лишь пересказом слов Фуко.

Фуко любил цитировать формулу Рене Шара^[7]:

«Развивайте вашу законную непохожесть».

Пусть же эта формула станет девизом книги, посвященной Фуко и выросшей из восхищения человеком, чье сияние вот уже тридцать лет озаряет интеллектуальную жизнь Франции и других стран.

Мне предстояло также преодолеть трудности, связанные с собственно биографическими изысканиями. Прежде всего, я столкнулся с препятствиями, неизбежно возникающими на пути любого биографа:

угасающая память свидетелей и медлительность, с которой воспоминания всплывают на поверхность во время долгих разговоров и частых встреч. Разные свидетельства образуют противоречащие друг другу повествования, между которыми следует найти точки соприкосновения. Встала также проблема источников — часть документов невозможно было отыскать, другие оказались под спудом в труднодоступных архивах. Чтобы добыть их, пришлось вооружаться тысячью всевозможных разрешений и прибегнуть к услугам неофициальных помощников. Сбор документов, встречи со свидетелями — все это требовало переездов. Книга вела меня из Туниса в Пуатье, из Лилля в Сан-Франциско, из Клермон-Феррана в Упсалу и Варшаву... Она заставляла меня перемещаться внутри весьма многообразного культурного пространства: обращаться то к историку науки, известному профессору Сорбонны, то к главному редактору газеты «Либерасьон»; то к шведскому дипломату, то к кому-то из писателей-авангардистов, то к бывшему главе администрации Елисейского дворца, то к лидеру гошистов из Венсеннского университета и т. д. А затем нужно было сравнить и столкнуть между собой письменные источники и свидетельства людей из круга Фуко — друзей, коллег, студентов, противников.

Но разыскания, касающиеся биографии Фуко, оказались связаны и с особыми трудностями. Он был сложной и многоликой натурой. «Он носил маски, которые то и дело менял», — сказал Дюмезиль^[8], знавший Фуко как никто другой. Я не ставил перед собой задачи отыскать истинное «я» Фуко: под одной маской обнаруживалась другая, и я не думаю, что слои маскировки позволяют разглядеть его настоящее лицо. Фуко многолик? У него тысяча обликов, как утверждает Дюмезиль? Да, наверно. Я описал их такими, какими они были мне явлены. Часто они имеют очень мало сходства с тем Фуко, которого я знал в период между 1979 и 1984 годами. Но я старался отстраниться от собственных впечатлений и не отдал предпочтение ни одному из них.

Главное препятствие носило более глубинный и неочевидный характер. Чтобы установить тот или иной факт, нужно было сначала снять слой мифологии, которая настолько приклеилась к Фуко, что порой совершенно заслоняла реальность, встающую за документами и рассказами. Фуко стал публичной фигурой после выхода книги «Слова и вещи», но эта слава очень быстро наложилась на его политическую популярность семидесятых годов. Часто то, что о нем написано, носит отпечаток сложившегося позже образа «философа-борца», который ретроспективно отразился на восприятии личности Фуко в

предшествующие годы.

Мне хотелось бы быть правильно понятым: цель этой книги в том, чтобы восстановить исторические факты, соскоблив слои мифологии, но вовсе не в том, чтобы объявить творчество Фуко лишенным новаторской силы и богатства или неплодотворным. Пусть оно предстанет перед читателем во всем его блеске. Труд, который писал Фуко на протяжении сорока лет, имел множество вариантов. Они отброшены или преданы забвению. Они стали ненужными. Они исчезли. Высвободить творчество Фуко из-под власти единственной, возможно, не самой удачной версии не значит повредить ему. Вернуть ему его историю, чтобы показать его многогранность — означает, скорее, придать ему силы.

Когда берешься рассказать чью-то жизнь, поставить точку практически невозможно. Даже после двадцати лет исследований всегда остается шанс открыть что-то новое. Пусть написано десять томов, все равно понадобится еще один, дополнительный. Так, например, оказалось невозможным составить полный список петиций, которые Фуко подписал между 1970 и 1984 годами. Невозможно рассказать обо всех акциях, в которых он участвовал. Клод Мориак^[9] посвящает политической деятельности Фуко сотни страниц своего дневника «Неподвижное время», а ведь он был свидетелем далеко не всех интересных эпизодов с участием философа. Невозможно перечислить все лекции, прочитанные Фуко в университетах мира, или же упомянуть все интервью, которые он дал различным газетам и журналам... Я не мог также назвать всех людей, встречавшихся с Фуко — их легион. Часто речь идет об отношениях, в которых не было ничего особенного. Дружба может быть крепкой, но при описании ее мы ничего не добавим к уже известному облику. Конечно, для большого числа людей общение с Мишелем Фуко значило многое. Но, поскольку я писал биографию Фуко, меня прежде всего интересовали те, кто много значил для самого Фуко.

Мне пришлось также произвести отбор событий, текстов и временных отрезков, прежде чем поместить их в эту книгу. Я отдавал предпочтение тому или иному факту, исходя из его значимости — с моей точки зрения. Я брал для цитирования один текст в ущерб другому, поскольку полагал, что он лучше иллюстрирует ход мысли Фуко в определенный период. Или же из соображений его труднодоступности, или же просто потому, что его нет в переводах.

Для каждого периода жизни Фуко я попытался восстановить интеллектуальный пейзаж, на фоне которого его мысль эволюционировала. Очевидно, что философия не может родиться во всеоружии концептов и

изобретений в уме одинокого мыслителя. Зарождение и развитие интеллектуального проекта следует проследить в теоретической, институциональной и политической плоскостях, в тесной связи с тем, что Пьер Бурдьё^[10] называл «полем». Поэтому я попытался объединить и соотнести в этой книге свидетельства философов, чьи пути шли параллельно с карьерой Фуко или пересекались с ней, философов, которые видели, как разворачивалась его мысль, которые следили за ее эволюцией: я встречался и подолгу разговаривал — часто не один раз — с Анри Гуйе, Жоржем Кангийемом, Луи Альтюссером, Жераром Лебраном, Жан-Клодом Париантом, Жан-Туссеном Дезанти, Жилем Делёзом, Жаком Деррида, Жюлем Вюйеменом, Мишелем Серром... Многие снабдили меня свидетельствами, рассказами, сведениями и документами: в первую очередь Жорж Дюмезиль, конечно, Поль Вейн^[11], а также Клод Леви-Строс, Пьер Бурдьё, Поль Рабиноу, Робер Кастель, Жан-Клод Пассерон, Матье Линдон, Морис Пинье... Я не могу назвать здесь всех, кто помогал мне в создании книги — поскольку в этой книге я хотел представить читателю биографию, составленную из свидетельств множества самых разных людей. Не портрет эпохи, как часто говорят биографы, а наброски эпохи, данные в разных культурных регистрах: Эколь Нормаль^[12] в послевоенные годы, французская литература шестидесятых годов, спор о структурализме, среда гошистов после 1968 года, Коллеж де Франс как институт, занимающий особое место в академической жизни Франции, и т. д.

Я был свидетелем и участником многих событий, о которых идет речь в этой книге, но старался не прибегать к повествованию от первого лица. Исключения, кажется, сводятся к двум случаям, и в обоих я сослался также на свидетельства других людей, участвовавших в событиях или располагавших информацией о них.

Эта книга — биография. Я не предполагал анализировать творчество Фуко. И все же интерес к биографии Фуко связан с тем, что он писал книги. Я попытался изложить основные положения главных его трудов, вписав произведения в хронологические рамки, когда они создавались, и старался держаться как можно ближе к тексту, избегая трактовок. Зато я уделил много внимания тому, как принималась каждая книга Фуко критиками и читателями. Восприятие книги — важная часть ее истории. Порой смена восприятий и является ее историей, как это случилось, в частности, с книгой «Безумие и неразумие»^[13].

Перед вами история историй: возможно, этот проект ближе, чем может

показаться, по духу Фуко, писавшему по поводу Бинсвангера^[14]:

«Оригинальные формы мысли сами вводят себя в оборот: их история — единственная форма экзегезы, а их судьба — единственная форма критики, которую они выдерживают».

Часть первая

ПСИХОЛОГИЯ В КРУГАХ АДА

Глава первая

«Город, где я родился...»

Нелепые декорации. Круглая площадь на Елисейских Полях. Театр и прилегающее к нему помещение. В это раннее утро 9 января 1988 года здесь собрались избранные. Коллоквиум проходит скрытно, почти тайно. Это вынужденная мера, позволившая избежать чудовищного наплыва людей. И все же их больше сотни. Исследователи, прибывшие со всех концов света, чинно рассаживаются. Невысокий человек поднимается с места. Ему 84 года, но его голос звучит твердо и уверенно. Он зачитывает декларацию: «Число присутствующих в этой аудитории, разнообразие тем докладов, важность вопросов, подлежащих обсуждению, позволяют видеть в этой встрече важную веху на пути коллективного осмысления значимости работ Мишеля Фуко, их проблематики...» Закончив первую фразу, Жорж Кангийем^[15] с трудом переводит дыхание и продолжает:

«Как и другие философы, оборванные на полуслове, оставившие учение-сироту, Мишель Фуко превратился в объект исследований, сопоставлений и даже недоверия. Он и при жизни сталкивался с этим. Его реплики-укусы, зачастую спровоцированные рутинными замечаниями, были не только актом защиты; они яркой вспышкой озаряли бессознательное учености со всеми ее вопросами и ответами»^[16].

Фуко умер 25 июня 1984 года. Почти четыре года отделяли этот день от коллоквиума под председательством видного профессора, произнесшего вступительное слово, основного оппонента диссертации «История безумия». И на протяжении этих четырех лет огни рампы ярко освещали имя Фуко.

Взять хотя бы лавину комментариев, обрушившихся на книгу Жилья Делёза, коротко озаглавленную «Фуко»^[17], осенью 1986 года, сразу после ее выхода. Не часто книга вызывает столько откликов: журналы выпускали специальные номера^[18], газеты отводили целые полосы произведениям Фуко: передовица в «Le Monde», восемь страниц в «Libération», шесть — в «Le Nouvel Observateur» и т. д. В интервью, появившемся за несколько дней до выхода книги, Жиль Делёз прямо заявил:

«Мысль Фуко кажется мне одним из самых значительных философских учений современности»^[19].

«Когда-нибудь наш век станет делёзианским», — написал Фуко в 1970 году. Что ж, Делёз попытался перевернуть формулу, чтобы сказать обратное: наш век был фукодианским и таковым и останется. Наш век, иначе говоря, наш мир, несущий навсегда запечатленные черты Фуко, которые не исчезнут, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке, о чем он сам писал в конце книги «Слова и вещи»^[20]. Как оно исчезает при приливе. Или после смерти.

«Таков город, в котором я родился: обезглавленные святые с книгами в руках бдят, чтобы суд не стал судилищем, чтобы крепости были крепки... Вот что стало для меня истоком премудрости»^[21]. В таких выражениях Мишель Фуко любил говорить о Пуатье, где он провел детство и отрочество. Провинциальный город, скучившийся вокруг романских церквей и дворца правосудия XV века — статуи которого действительно обезглавлены. Город, словно вышедший из романов Бальзака. Красивый — возможно, душноватый, но красивый. Старина, угнездившаяся на возвышенности, презирающая время и те потрясения, которые оно приносит.

Заговорить время: возможно, именно ради этого в семье Фуко имя Поль передавалось от отца к сыну. Поль Фуко-дед, Поль Фуко-отец, Поль Фуко-сын... Госпожа Фуко не посмела нарушить традицию семьи мужа. Сына следует назвать Полем? Пусть так. Но она прибавила соединительную черточку и второе имя — Мишель. В официальных документах, например в школьном журнале, он Поль. Просто Поль. Само заинтересованное лицо вскоре решит по-другому — он не Поль и не Поль-Мишель. Он — Мишель. Для госпожи Фуко он навсегда останется Поль-Мишелем, и, вспоминая сына уже в свои преклонные годы, она будет называть его именно так. И сейчас в семье говорят — «Поль-Мишель». Почему он поменял имя? «Потому что получались инициалы П. М. Ф., как Пьер Мендес-Франс», — говорила госпожа Фуко. Должно быть, так объяснял ей смену имени сын. Другьям он называл совсем другую причину: он не хотел носить имя человека, которого в отрочестве ненавидел — своего отца.

Отец — Поль Фуко, хирург в Пуатье и профессор анатомии в Школе медицины. Сын хирурга из Фонтенбло, он сочетался браком с Анной Малапер, дочерью хирурга из Пуатье, профессора Школы медицины.

Семейство проживало в большом белом доме, построенном доктором Малапером в 1903 году. Обычный дом, без изюминки, но зато близко от центра. Одной стороной он прилегает к улице Артюр Ранк, другая выходит на бульвар Вердан, бегущий с высоты вниз, к долине Клен. У доктора Поля Фуко и его жены было трое детей. Сначала родилась Франсин, затем, спустя пятнадцать месяцев, а именно 15 октября 1926 года — сын Поль. Младший сын Дени появится на свет через несколько лет. Троим детям предстояло прожить судьбу отпрысков славной провинциальной буржуазии. Семья была богата. Госпожа Фуко имела дом в двадцати километрах от города, в Вандевре-дю-Пуату. Роскошное здание, окруженное парком, жители деревни называют «замком». Ей принадлежат также земли, луга и фермы. Фуко-отца ценят как хирурга. Он трудится в двух больницах Пуатье, оперируя дни напролет. Он заметный человек в городе. Иначе говоря, в семье Фуко нет финансовых проблем. Нянька заботится о детях, кухарка занята домом, появился также и шофер... Воспитание носит пуританский характер, впрочем, госпожа Фуко вполне разделяет девиз своего отца, доктора Малапера: «Главное — уметь владеть собой». Она не считает нужным руководить чтением детей или же направлять их в выборе книг. Что же касается религии, то, по всей видимости, семья Фуко была далека от фанатичной веры. Конечно, по воскресеньям все отправляются к мессе в центр города — в церковь Сен-Поршер. Однако госпожа Фуко часто остается дома, и детей отводит туда ее мать. Для Франсин, Поль-Мишеля и Дени она — бабушка. На протяжении некоторого времени Поль-Мишель даже будет петь во время мессы в церковном хоре. Такова традиция, и ее следует уважать. Позднее, через много лет, Мишель Фуко скажет в одном из интервью, что его семья была скорее антиклерикальной. Должно быть, сосуществовали оба фактора: желание sobriety приличия и отход от веры.

То, что Поль-Мишель приступил к школьным наукам под сенью иезуитов, следует приписать случайности. Или истории, что часто то же самое. Лицей Генриха IV, распахнувший двери перед совсем маленькими гражданами подготовительных и младших классов, находился на улице Луи-Ренара в старинном здании, некогда принадлежавшем конгрегации. Лицей был государственным, но примыкал впритык к часовне, по размеру и внушительному облику скорее напоминавшей аббатство. Сыну доктора Фуко еще нет четырех, когда он впервые пересекает квадратный двор школы. С высоты внутренних ворот вековая история созерцает сменяющих друг друга детей: на камне выбиты портреты Генриха IV, «основателя», и Людовика XIV, «благодетеля». Изображения королей не могут не поражать

воображения младших учеников. Поль-Мишель еще не достиг возраста, позволяющего стать полноправным школьником. Но он не хочет разлучаться с сестрой. Госпожа Фуко рассказала об этом учительнице, и та любезно ответила: «Приводите мальчика, мы найдем ему место в уголке и дадим цветные карандаши». И вот 27 мая 1930 года он и в самом деле сидит в уголке, сжимая цветные карандаши. «Он воспользовался ситуацией, чтобы научиться читать», — вспоминает госпожа Фуко. В подготовительном классе он провел два года — с 1930-го по 1932-й. Затем четыре года, вплоть до 1936-го, учился в начальной школе. В 1936 году стал настоящим лицеистом: средняя школа. Он покинул лицей Генриха IV осенью 1940 года — после крайне неудачно заверченного года. И поступил в коллеж Святого Станислава.

До этого момента особых проблем с учебой не возникало. Поль-Мишель Фуко не был силен в математике, но его оценки по французскому и греческому языкам, латыни и истории с лихвой компенсировали это отставание и даже позволяли регулярно получать «первые награды». И вдруг в третьем классе — полный провал. Что же произошло? У госпожи Фуко нашлось этому объяснение: директор лицея пережил инсульт и не мог толком заниматься школой, тем более в новых условиях, продиктованных началом войны.

И действительно, все переменялось. Население города росло как на дрожжах из-за наплыва беженцев; школам и лицеям пришлось принимать учеников и преподавателей из Парижа. Лицей Генриха IV приютил часть лицея Жансон-де-Сайи, спасавшегося в Пуатье. Спокойной неколебимой безмятежности школьной жизни в Пуатье был нанесен удар. И сложившейся иерархии тоже. Мишель Фуко расскажет впоследствии своему другу о растерянности, охватившей его, когда он почувствовал, что оказывается потесненным и вытесненным новичками; он, привыкший быть среди первых, если не первым... Друзья, знавшие Фуко в те годы, предлагают другое объяснение: его невзлюбил преподаватель французского языка.

Месье Гюйо не жаловал детей из буржуазных семей. Радикал и вольтерьянец, горячий сторонник Третьей республики, этот преподаватель даже не старался скрыть презрения, которое испытывал к детям «именитых граждан». Он не мог не презирать мальчиков из респектабельных парижских кварталов, которые заплотили его класс. И с удвоенной неприязнью воспринимал тех представителей «проклятого племени»^[22], которых вычислил среди отпрысков своего добронравного Пуатье.

Поль-Мишель Фуко, потерянный, ошеломленный, чувствует, что

твердая почва, на которой зиждется его школьная жизнь, уходит из-под ног. Это не могло не сказаться на результатах. Они были неприглядны — по всем предметам, кроме перевода с латыни. Вынесенное в конце года решение главы лица обрушивается как приговор, с которым госпоже Фуко трудно было смириться: «Испытание перенести на октябрь». Госпожа Фуко предпочла опередить события: она записала сына в религиозный коллеж Святого Станислава, располагавшийся в то время на пересечении улиц Жана Жореса и Ансьен Комеди. Это не самая лучшая религиозная школа города. Не сравнить с коллежем Святого Жозефа, в котором всем заправляют иезуиты и куда отправляют своих детей семьи, составляющие «сливки» буржуазии, а также окрестная знать.

Коллеж Святого Станислава находится ступенью ниже. Здесь учатся сыновья крупных коммерсантов или скромных промышленников. Да и качество образования недотягивает до уровня, которого, по всеобщему мнению, держится коллеж Святого Жозефа. С 1869 года коллежем Святого Станислава руководят монахи «Братства школ Христовых», иногда называемые «невежествующими братьями». Поль-Мишель Фуко приходит в коллеж в сентябре 1940 года. Город уже несколько недель как оккупирован немцами. Свободная зона — в двадцати километрах от Пуатье. По другую сторону демаркационной линии — другой мир, но туда не пробраться без пропуска. Слишком юные, чтобы попасть в лапы службы, отправляющей на принудительные работы в Германию, ученики средней школы продолжают учиться. Однако «служба сельхозработ» мобилизует их на время летних каникул и отправляет на шесть недель в поля уничтожать колорадского жука.

Говоря о самых ярких преподавателях, бывшие ученики коллежа непременно вспоминают чудаковатого профессора истории, отца Монсабера. Монах-бенедиктинец из аббатства Лигюже, кюре из соседней деревушки Крутель, он повсюду ходит пешком. Его можно увидеть на пути из Пуатье в Лигюже — посох паломника, широкий засаленный плащ. Люди останавливаются и предлагают подвезти его, несмотря на отталкивающе грязный вид. «Однажды я подвезла его, — вспоминает госпожа Фуко, — а потом долго чистила машину от вшей». Этот чудака очень начитан и всегда таскает на спине сумку, набитую книгами. Его лекции — целое событие в жизни коллежа.

В опубликованных в 1981 году воспоминаниях одного из бывших учеников читаем:

«Разве такое забудешь! Основываясь на поразительном

знании событий и персонажей, он делал хлесткие заключения, не лишённые к тому же некоторого озорства. Он совершенно растворялся в теме, влекомый роем мыслей и живописных образов, и рано или поздно неизменно вызывал взрывы смеха, превращавшие урок в настоящий балаган. Тогда, утратив всякий контроль над аудиторией, чувствуя, что уже не в силах восстановить порядок, он, расплакавшись, как ребенок, выбегал из класса, восклицая: «Детки мои, я больше не могу, больше не могу!» После клятвенных заверений, что все успокоилось и что такого больше не повторится, он возвращался и тихим голосом возобновлял рассказ в гробовой тишине. И снова, воодушевленный повествованием, впадал в экстаз, все сильнее и сильнее возвышая голос, пока, наконец, какая-нибудь диковинная фраза не вызывала новый приступ хохота»^[23].

Как полагала госпожа Фуко, это был единственный преподаватель, оказавший некоторое влияние на Мишеля, с юных лет увлекавшегося историей. Привлеченный иллюстрациями, он со страстью штудировал книги по истории Франции Жака де Бенвиля^[24]. Личность, более других занимавшая воображение мальчика — Карл Великий. С двенадцати лет, вспоминает госпожа Фуко, Мишель устраивал уроки истории для брата и сестры. Итак, метод отца Монсабера ему подходит как нельзя лучше. Впрочем, изложение истории, одобренное анекдотами и острыми словечками, никого не оставляет равнодушным. Вот как заключает свой рассказ уже цитировавшийся свидетель:

«История, рассказанная таким образом, не могла не цеплять».

Итак, Поль-Мишель посещает второй, первый и выпускной классы в лицее на улице Жан-Жорез. Он учится более чем удовлетворительно. В конце года, когда распределяются поощрения, он неизменно держится среди лучших учеников. Так, после окончания второго класса он получает третью награду за сочинение на французском языке, вторую награду за перевод с латыни, за успехи в изучении истории французской литературы, греческого и английского языков, первую награду по латинской литературе, похвальный лист по истории... Но каждый раз оказывается, что его опережает одноклассник и друг по имени — в это трудно поверить — Пьер Ривьер. Улыбнется ли философ, когда, спустя тридцать пять лет, откопает в

архивах погребенное там знаменитое мемуарное сочинение «матереубийцы XIX века», которое и опубликует со своими комментариями в известном труде, озаглавленном «Я, Пьер Ривьер, зарезавший мать, сестру и брата»? Кто мог предвидеть такое? Однако, несмотря на соперничество, мальчики дружат. Оба одержимы жаждой знаний и много читают. Они ходят запасаться книгами к аббату Эгрёну, большому оригиналу. Он — профессор католического университета Анжера, сотрудник многих толстых журналов, в которых выступает как музыкальный критик, к тому же — владелец прекрасной библиотеки. Он принимает у себя лицеистов и студентов, следит за их чтением, снабжает книгами, главным образом, по истории и философии. «Фуко, как и я, был завсегдатаем у аббата Эгрёна, — вспоминает Пьер Ривьер. — Библиотека аббата значила для нас многое, поскольку мы находили в ней книги, не входившие в школьную программу». Ох уж эта тяга к тому, что не входит в программу! Возможно, именно она подарила Поль-Мишель Фуко друга, Рене Бошана, фрейдиста первой волны, много сделавшего для распространения психоанализа во Франции.

В предпоследний год Поль-Мишель Фуко добивается блестящих результатов. В 1942 году он переходит в выпускной класс и собирается углубиться в изучение философии. Преподаватель философии слывет выдающимся знатоком, и даже факультетские профессора не считают зазорным консультироваться у него. Ученики предвкушают его годовой курс лекций. Однако гестапо арестовывает каноника Дюре, участвовавшего в Сопротивлении, в первый день учебного года. Больше его никто не увидит. Профессор, пришедший на смену, заболевает несколько дней спустя, и тогда место преподавателя философии занимает монах из аббатства Лигюже. Доктор Фуко знаком со многими монахами аббатства, находившимися вместе с ним в распоряжении восточной армии во время Первой мировой войны. И именно госпожа Фуко обратилась в аббатство с просьбой прислать в коллеж Святого Станислава кого-нибудь, способного преподавать философию. Настоятель выбрал дома Пьерро. Новый преподаватель боится отойти от программы и ограничивается лишь разъяснением текста учебника. Он ставит перед собой задачу подготовить класс к экзамену — и только. Однако ему нравится беседовать с учениками после лекций. Юный Фуко приезжает на велосипеде в Лигюже, чтобы повидать дома Пьерро вне школьных стен. Они разговаривают о Платоне, Декарте, Паскале, Бергсоне... Дом Пьерро хорошо помнит своего ученика:

«Тех, кто занимался у меня философией, я разделил на две

категории. К первой я отношу учеников, для которых философия вполне могла навсегда остаться предметом интереса, поскольку они тяготели к изучению и созданию глобальных систем, грандиозных построений и т. д. Для учеников второй категории философия являлась частью внутреннего жизненно важного поиска. На первых лежала печать Декарта, на вторых — Паскаля. Фуко явно принадлежал к первой. В нем чувствовалась могучая тяга к интеллектуальным построениям».

Поскольку преподавание философии в коллеже Святого Станислава шло не так уж гладко, госпожа Фуко решила нанять частного преподавателя и обратилась к профессору филологического факультета с просьбой прислать какого-нибудь толкового студента. И вот в один прекрасный день Луи Жирар — студент второго курса философского факультета, — звонит в дверь дома номер 10 по улице Артюр Ранк, где живут Фуко. «Я приходил три раза в неделю, — рассказывает он. — Философия, которую нам преподавали на факультете, представляла собой расплывчатое кантианство, причесанное по моде XIX века, *A la* Бутру. Это кантианство я и излагал. Я излагал его даже не без энтузиазма, поскольку мне было двадцать два года, однако мои знания философии к тому времени были довольно скудными». Каким помнит он своего ученика? «Он был очень требовательным. Впоследствии у меня появились ученики, казавшиеся мне более способными, но ни один из них не был в состоянии так быстро ухватить главное и так строго упорядочить мысли».

В конце года, после того как отец Люсьен, который преподавал в крупной семинарии, стал вести занятия по философии (впоследствии он разделит трагическую судьбу каноника Дюре), Поль-Мишель Фуко получит вторую награду за философию. Первая опять достанется Пьеру Ривьеру, впоследствии члену Государственного совета. Фуко будет первым в географии, истории, английском, естественно-научных дисциплинах...

Хотя коллеж Святого Станислава и потерял двух профессоров философии, сгинувших в Германии, не следует думать, что он был бастионом Сопротивления. Как и предписывалось всем школьным учреждениям, в коллеже красовался портрет маршала Петена. Кроме того, учеников сгоняли во двор, заставляя хором петь «Маршал, мы здесь», и ругали, если исполнению не хватало бравурности. Некоторые даже упоминают «атмосферу вишизма», царившую в коллеже. И все же отдельные звенья Сопротивления, кажется, использовали его как явку для смены паспортов или получения демобилизационных свидетельств.

Многие ученики коллежа были арестованы.

В одной из бесед, пустившись в откровения о годах своей юности, Мишель Фуко вспоминал об этом тяжелом периоде:

«Когда я пытаюсь воскресить свои эмоциональные переживания того времени, меня поражает, что все они оказываются связанными с политической ситуацией. Я помню, как чуть ли не впервые испытал почти животный ужас. Это произошло, кажется, в 1934 году, когда нацисты убили австрийского канцлера Дольфуса. Теперь это событие представляется чем-то очень далеким от нас. Но я хорошо помню, как оно поразило меня. Думаю, в тот момент я по-настоящему испугался смерти. Я помню также беженцев из Испании. Я полагаю, что мировоззрение мальчиков и девочек, моих ровесников, формировалось под влиянием великих исторических событий. На горизонте сгущались тучи. Угроза войны. Потом война разразилась. Наша память заполнена не семейным бытом, а событиями мирового масштаба. Я говорю «наша память», потому что уверен, что мой опыт идентичен опыту многих мальчиков и девочек. Наша частная жизнь оказалась под угрозой. Возможно, поэтому-то меня и завораживает история, отношения между личным опытом и событиями, зажимающими нас в клещи. Думаю, это была точка отсчета, определившая мою страсть к теоретическим построениям»^[25].

В июне 1943 года пришло время сдавать экзамены на степень бакалавра. В то время испытания проходили в два этапа. По окончании первого класса ученики держали экзамены на знание французского, греческого и латинского языков. Через год — по философии, языкам, истории и географии... В июне 1942-го Фуко справился с испытаниями с оценкой «похвально» и подтвердил ее год спустя. Он получил 8 из 10 баллов по истории, 7 из 10 по естественно-научному циклу и только 10 из 20 по философии.

На какой путь ступить по завершении среднего образования? Доктор Фуко выбирает тот, который прошел сам — он хочет, чтобы его сын стал врачом. Однако у Поль-Мишеля другие планы. Он давным-давно решил, что не подчинится отцу. Его увлекают история, литература, а мысль о занятиях медициной вызывает лишь тошноту и ужас. В день, когда он объявил о своем решении, разразилась гроза. Отец не скрывает

разочарования и пытается вразумить юношу. Но вмешивается госпожа Фуко, по-прежнему верная совету отца «владеть собой». «Прошу вас, не настаивайте, — обращается она к мужу. — Мальчик много занимается, пусть он делает, что хочет». И доктор Фуко отступает. Младший брат Мишеля, Дени, стал-таки хирургом, что удовлетворило отца и, возможно, спасло для мировой философской мысли старшего брата. Поль-Мишель ступил на путь, выбранный им самим. Он мечтает о Париже, об учебном заведении на улице Ульм. Он хочет поступить в Эколь Нормаль, но для этого нужно проучиться два года в подготовительном классе. Лучше всего провести их в одном из тех парижских лицеев, что известны высоким процентом успеха на приемных экзаменах. Но идет война, и госпоже Фуко трудно решиться отправить семнадцатилетнего сына в столицу. Он запишется в лицей в Пуатье. Прошло три года с тех пор, как он его покинул, три года штудий в религиозной школе, оставивших жалкие воспоминания. Он ненавидел атмосферу этой школы и образование, которое там получил. Он ненавидел религию и церковников. «Они вызывали у него негодование и антипатию», — говорит один из тех, кто знал Фуко в те годы.

Итак, осенью 1943 года Поль-Мишель Фуко снова переступает порог лицея. Он записан в подготовительный класс и начинает готовиться к испытаниям в Эколь Нормаль. Тех, кто посещает занятия первого и второго подготовительных классов, — человек тридцать. На протяжении двух лет Фуко с интересом слушает лекции Гастона Деза, профессора истории, и Жана Моро-Рейбеля, профессора философии. Моро-Рейбель учился на улице Ульм, был профессором в лицее Клермон-Феррана и одновременно преподавал на страсбургском филологическом факультете, осевшем во время войны в столице Оверни. Сначала студенты чувствуют себя сбитыми с толку: его лекциям, не вполне академичным и порой бессвязным, не хватает стройности, последовательности. Люсет Рабате вспоминает, что была совершенно потеряна после первых лекций, прослушанных ею в сентябре 1943 года. Но понемногу ученики начали лучше понимать преподавателя и присущий ему способ подачи материала. Нестрогая манера изложения была замечена главным инспектором, посетившим занятия Моро-Рейбеля. В рапорте от 2 марта 1944 года он довольно сурово аттестует профессора: «Я присутствовал на одном из занятий цикла, посвященного «социальной воле и ценностям», теме, сформулированной туманно, что вполне соотносится с путаностью самого изложения. Для месье Моро-Рейбеля процесс говорения не составляет труда, и, возможно, он идет на поводу этой легкости. Было бы желательно, чтобы лекции

носили более четкий и структурированный характер и основные идеи не тонули в обоснованиях. Недостаточно ясности в деталях. Слишком много ссылок на теории, обрисованные не более чем бегло. Лекции месье Моро-Рейбеля, несомненно, только выиграли бы, если бы он проявил большую строгость к себе и меньше прибегал к импровизациям». Как бы то ни было, Фуко начинает втягиваться в игру, дисциплина в изложении профессора-путаника интересует его все сильнее. Он принимается читать авторов, о которых идет речь на занятиях: Бергсона (любимца Моро-Рейбеля), Платона, Декарта, Канта, Спинозу...

«Моро-Рейбель любил втягивать в диалог учеников, — вспоминает Люсет Рабате. — И он выбирает в оппоненты того, кто удачнее прочих подает реплики, а именно Поль-Мишеля Фуко. Другие как-то терялись».

Гастон Дез второй из преподавателей, много значивших для Фуко. Он является одним из соавторов учебника Малле-Исака для шестого класса, регулярно печатает статьи в журнале Общества археологии Востока, а в 1942 году участвует в создании коллективного труда, получившего название «Лица Пуату». Его принципы преподавания коренным образом отличаются от метода коллеги: на его занятиях ученики пишут под диктовку. Диктует он очень медленно. Программы не существует, и он успевает остановиться лишь на малой толике из того гигантского массива знаний, которые требуются для успешной сдачи вступительного экзамена. Сообразительные ученики ищут записи лекций за прошлые годы. Фуко не только добыл их, но и переписал. Он охотно одалживает тетради товарищам.

Конечно же период между 1943 и 1945 годами труден и тревожен. Зимой возникают проблемы с отоплением, и в классах — холод. Ночью интерны прокрадываются в полицейское здание, прилегающее к коллежу, и притаскивают оттуда дрова. Желая выгородить товарищей, попавших под подозрение в воровстве, Люсет Рабате и Поль-Мишель Фуко отправляются к директору и подписывают бумагу, согласно которой дрова принесли они. Делу не дан ход. «К счастью, — говорит Люсет Рабате, — никто не поинтересовался, где мы взяли дрова. Вряд ли мы нашли бы что ответить». Несмотря на довольно тяжелые бытовые условия, в классе царит атмосфера «студенческого веселья». Каждый месяц ученики ходят в городской театр на «утра классики». Давались ли спектакли так отвратительно или же просто учениками владела неукротимая жажда повеселиться? Трагедии неизменно вызывали приступы смеха. «На протяжении всего спектакля «Андромаха», — вспоминает Люсет Рабате, — Фуко шутил и хохотал». Веселье, возможно, было несколько натужным.

«Во всяком случае, — добавляет она, — мы избегали разговоров на важные темы, избегали касаться политики, так как среди нас были выходцы из разных слоев. Так, например, одна наша одноклассница потеряла отца и брата, — они умерли при депортации, отец же другого одноклассника был расстрелян во время Освобождения. Поэтому-то никто никому не доверял полностью». Фуко был особенно одинок: он много работал и ни с кем не вступал в близкие отношения. «Однажды, незадолго до экзаменов, мы с ним отправились на факультет, чтобы что-то узнать. Дорога заняла четверть часа, и он сказал мне: «Наконец-то передышка! Первая за год!»». Передышка — пятнадцать минут!

Самым тяжелым, опасным и пугающим зрелищем были бомбардировки, которым подвергался город Пуатье. Англичане бомбили вокзал и железнодорожные пути. Воздушная тревога — и ученики бегут в убежище. В июле 1944 года из соображений безопасности пришлось эвакуировать кварталы, расположенные неподалеку от вокзала. Улица Артюр Ранк относилась к этой зоне, поэтому на лето семья Фуко переехала в Вандевр. В этот год занятия в лицее прекратились раньше обычного. 6 июня 1944 года сторож мчался по коридорам с криками: «Они высадились! Они высадились!» Армия союзников ступила на берег Нормандии. Вне себя от радости ученики высыпали из классов. Разумеется, никто больше и не помышлял об учебе. Через несколько дней война уже повсюду свирепствовала в регионе, и учебные заведения закрылись. Следующий год выдался не менее тревожным.

И все же ученики подготовились к экзаменам. Четырнадцать кандидатов Академии Пуатье оказались у особняка Фюме, что на улице де ля Шен — у дверей, которые вели в помещение юридического факультета. Здесь с 24 мая по 5 июня 1945 года и проходили экзамены. Испытание по французскому языку срывалось дважды из-за организационных неурядиц. Сначала вскрылось, что некий преподаватель Сорбонны за несколько дней до экзамена передал темы своим ученикам. Потом выяснилось, что официальные бумаги пришли на места с разницей во времени. Всем кандидатам пришлось приступать к экзамену трижды: три раза по шесть часов. Результаты письменного экзамена были объявлены 16 июля. Только двое учеников из Пуатье могли рассчитывать на поступление. Но у Мишеля Фуко не было шанса стать одним из счастливицев. По результатам письменного экзамена он — сто первый. А право явиться на устный экзамен получают лишь сто кандидатов. Поль-Мишель разочарован: он не будет учиться в Эколь Нормаль. Он работал как проклятый, но этого оказалось недостаточно. Он смертельно разочарован, но не сломлен. Он

хочет попробовать еще раз, на следующий год. Так закончились его школьные годы в Пуатье. Осенью 1945 года происходит важный поворот в его жизни: он переезжает в Париж.

Пуатье — душный город. Этот эпитет то и дело всплывает во всех свидетельствах о тех временах. «Думаю, ужасно, когда детство проходит в такой атмосфере», — говорит друг Фуко, приехавший в Пуатье в 1944 году. «Тесный, чинный город», — говорят местные жители, мечтающие вырваться из Пуатье. Итак, осенью 1945 года Фуко покидает Пуатье. Но он не порывает окончательно с родным городом. Хотя бы потому, что не порывает с семьей. Мы уже знаем, что он не любит отца. Впрочем, доктор Фуко почти не уделял времени детям. Он работал с утра до позднего вечера и только редкие часы проводил дома с семьей. Если разрыв и был возможен, то именно с отцом. Позже Мишель Фуко сам скажет об этом, вспоминая «отношения, при которых то и дело вспыхивают конфликты по тому или другому конкретному поводу, но являющиеся при этом средоточием интересов, прочно притягивающим к себе» даже после ухода из семьи^[26]. Но он на всю жизнь сохранит привязанность к матери. Продолжив учебу, он будет на каникулы возвращаться в Пуатье, да и впоследствии станет регулярно навещать родителей. В 1959 году, после смерти доктора, госпожа Фуко переберется в Пируар, свой дом в Вандевре, куда летом будет навещаться ее сын. «Месяц август всегда был моим», — говорила она. Не только август: Фуко выбирался погостить к матери на Рождество, а порой и в весеннее время. Его ждала комната на первом этаже — что-то вроде небольшой квартирки, где он любил работать. Чаще всего он приезжал один, иногда привозил кого-то из друзей. Госпожа Фуко помнит, как однажды принимала Ролана Барта. В 1982 году Мишель Фуко решает купить дом по соседству. В компании с братом он на велосипеде колесит по округе, останавливаясь в деревнях, осматривая дома, подходящие для покупки. Наконец он выбирает хорошенький домик в Веррю, что в нескольких километрах от Вандевра. Здесь раньше жил кюре. «Курорт в Веррю!» — веселилась госпожа Фуко, которую сместило название. Он купил дом и даже начал ремонтные работы. Но так и не успел пожить в нем.

Глава вторая

Голос Гегеля

Парижский лицей Генриха IV, один из самых престижных во Франции, находится за Пантеоном, рядом с церковью Сент-Этьен дю Мон. Из года в год принимает он элиту так называемых «подготовишек», учащихся второго года подготовительных курсов для поступления в Эколь Нормаль. Госпожа Фуко встретила в Пуатье одного университетского профессора, который поставил вопрос ребром: «Знаете ли вы кого-нибудь, кто сумел бы поступить в Эколь Нормаль с первого раза, да еще по окончании провинциальной школы?» Решение принято незамедлительно: Поль-Мишель еще раз попытает счастья, но уже имея на руках все козыри.

Осенью 1945 года он приезжает в Париж. Его цель — святая святых, взирающая сверху вниз на Латинский квартал с высоты своей башни и неизменного успеха выпускников на вступительных испытаниях в Эколь. Юный провинциал — именно так его воспринимали товарищи по классу — одет кое-как и обут в невероятные калоши. Он в послевоенном Париже, где жизнь отнюдь не легка и где бытовые проблемы — например, с едой — загоняют в угол. Юный Фуко, обосновавшись в столице, вовсе не испытывает бурного энтузиазма. Условия существования настолько тяжелы, что новая жизнь не кажется ему хоть сколько-нибудь соблазнительной. Госпоже Фуко не удалось ни снять, ни купить квартиру для сына. Прожив несколько дней у друга семьи Мориса Ра, преподавателя словесности в лицее Жансон-де-Сайи, родившегося в Вандевре, Поль-Мишель Фуко перебирается в комнату, снятую у директрисы школы с бульвара Распай. Это было не совсем обычно. В то время в Париже, как вспоминает Леруа Ладюри, ученики подготовительных классов делились на две основные группы: экстерны, отпрыски парижской буржуазии, возвращавшиеся каждый вечер к семейному очагу, и интерны, приехавшие из провинции — последние и помыслить не могли о том, чтобы платить за комнату в городе^[27]. Поль-Мишель в привилегированном положении: его родители располагают достаточными средствами и хотят, чтобы ранимый и несколько неуравновешенный подросток избежал психологических травм совместной жизни, которую он, по его собственным словам, презирал больше всего на свете. Да, конечно, порой ему не удастся толком протопить несколько квадратных метров, составляющих его жилье. Но, по крайней

мере, он сам себе хозяин. Это лишь усиливает образ дикого, загадочного, замкнутого юноши, каким его воспринимали тогда товарищи. Следует, впрочем, признать, что в первый год пребывания в Париже его светская жизнь не особенно блистательна. Развлечения сводятся к нескольким походам в кино в обществе сестры, которая тоже перебралась в столицу. Они обожают американские фильмы, которых их лишила война. Все остальное время он работает не покладая рук, чтобы подготовиться к экзаменам.

Он — один из пятидесяти учеников первого «К», грызущих науки в лицее Генриха IV. Один из пятидесяти! Мест гораздо меньше: в Эколь по отделению литературы попадет только тридцать восемь человек. А есть еще «К»-2, параллельный класс, тоже многочисленный. Очевидно, что за места развернется настоящая драка, тем более что другой известный парижский лицей Луи-ле-Гран — сосед и соперник — намерен и в этот год пополнить, как обычно, ряды студентов. Сколько юношей из тех сорока девяти, что в начале года стоят рядом с Мишелем Фуко перед дверями лицея на улочке Хлодвиг, окажется следующим летом в списке счастливчиков? Плеяда превосходных преподавателей впрягается и лямку, стремясь обеспечить ученикам достойную подготовку. Эмманюэль Леруа Ладюри^[28], поступивший в лицей в том же году, что и Фуко, но на первый курс, описал преподавателя истории, чьи лекции слушали также учащиеся второго курса: Андре Альба, подчеркивавший свое «ярое республиканство и мелкобуржуазный антиклерикализм», сумел снискать этим симпатию учеников левых и крайне левых взглядов, иначе говоря, большинства слушателей. Он выглядел «жертвой 1914–1918 годов; внушительный шрам рассекал его лоб». На самом деле, «рубец объяснялся травмой, полученной в юношеские годы»^[29]. «Можно было видеть, — напоминают бывшие ученики, — как пульсирует его мозг».

Фуко слушал также лекции Мишеля Диени по древней истории. Именно от него ученики впервые услышат о Дюмезиле, чья известность только-только преодолела границы узкого круга специалистов. Среди преподавателей был и Жан Буду, профессор словесности, обрушивавший на порученную ему паству всю мощь своей эрудиции, с одинаковой легкостью обращавшийся как к Средневековью, так и к XX веку, во всяком случае, к той его части, которая подлежала разбору: в то время изучение современной литературы завершалось поэмами Аполлинера.

Однако наибольшее впечатление на сообщество учеников производил преподаватель, которому было поручено подготовить класс к испытанию по

философии. Его звали Жан Ипполит^[30]. Это имя стало символом поприща, вплотную к которому подошел Мишель Фуко. Жан д'Ормессон^[31], учившийся в лицее за два года до Фуко, набросал портрет этого человека, чье «округлое лицо возвышалось над пюпитром», а из уст буквально лилась «благодушная, витиеватая, несколько робкая речь, выделявшаяся затянутыми патетическим придыханием концовками фраз, в которых говорило само красноречие — в силу того, что говорящий напрочь его отвергал»^[32]. Этот кудесник пытался объяснять Гегеля через «Юную Парку» Валери и «Игитур» Малларме. Д'Ормессон добавляет: «Я ничего не понимал». Возможно, не он один. Однако Ипполит ослеплял учеников, а после тусклых занятий философией в Пуатье немного выпрениие, эзотерические и вдохновенные речи, каскадом слетающие с губ профессора, казались Фуко головокружительными и гениальными. Философия завораживает, таково требование эпохи. Нельзя выпускать из виду, что идет 1945 год. Как пишет Жан д'Ормессон, «сразу после окончания войны и на протяжении последующих нескольких лет престиж философии был ни с чем не сравним. Я даже не знаю, можно ли выразить то, чем она была для нас, сохраняя хладнокровие и отстраненность... Если XIX век, скорее всего, был веком истории, то середина XX оказалась во власти философии... Литературу, живопись, исторические штудии, политику, театр, кино — все держала в своих руках философия»^[33].

Ипполит объясняет своим ученикам «Феноменологию духа» Гегеля и «Геометрию» Декарта. Но именно занятия, посвященные Гегелю, поразили воображение учеников, образ учителя навсегда запечатлелся в их памяти.

Фуко не был исключением. Уже открывший для себя историю, он, возможно, впервые переживает искушение философией. Мэтр излагает ему философию, которая говорит об истории, об упорном пути Разума к своей вершине. В этот путь вовлечена вся История, целиком и полностью — и это История, исполненная смысла. Нет никаких сомнений, что Жан Ипполит открыл для Фуко то, что станет определяющим в его судьбе. Сам Фуко будет снова и снова повторять, что он в долгу перед этим человеком. Они встретятся через несколько лет в Эколь Нормаль, а много позже Фуко станет его преемником в Коллеж де Франс. После смерти Жана Ипполита, последовавшей в 1968 году, Фуко скажет:

«Те, кто сразу после войны завершали подготовительный курс для поступления в Эколь Нормаль, помнят лекции Ипполита, посвященные «Феноменологии духа»: в этом голосе,

который сам себе вторил, как если бы предавался размышлению внутри собственного движения, мы слышали не только голос профессора: нам слышались в нем отзвуки голоса Гегеля и, быть может, самой философии. Ни очевидности этого присутствия, ни чувства причастности, которое взращивалось с таким терпением, думаю, забыть невозможно»^[34].

«Голос Гегеля... голос философии»! Легко поверить, что этот вдохновенный и блестящий профессор приводил в восторг юных слушателей. К тому же такова была традиция: преподаватели, читавшие лекции слушателям второго года обучения, подобно профессору Алену, являлись «будителями», как говорит Жан-Франсуа Сиринелли, посвятивший специальное исследование ученикам, которые готовились к поступлению в Эколь Нормаль в эпоху «между двух войн». В своей работе он особенно подчеркивает ту важную роль, которую эти наставники играли в жизни «подготовительных классов при высших школах»^[35] — чисто французского изобретения.

Фуко, говоря о том, что он в долгу перед своим учителем, не просто выражал чувство благодарности за призвание, открывшееся ему на излете отрочества... В 1960 году, закончив диссертацию, известную всем под названием «История безумия в классическую эпоху», Фуко поблагодарит тех, кто способствовал появлению этой работы: Жоржа Дюмезиля, Жоржа Кангийема и Жана Ипполита^[36]. Через десять лет после написания книги, в инаугурационной речи по случаю избрания профессором Коллеж де Франс Фуко еще раз воздаст должное своему преподавателю.

В этих словах, которыми он подчеркнуто завершал официальную речь, иным было угодно усмотреть простую дань академическим условностям: Фуко был преемником Ипполита в Коллеж де Франс, а согласно традиции преемник должен выразить почтение своему почившему или ушедшему на покой предшественнику. Фуко мог бы ограничиться лишь несколькими фразами или словами, однако он посвящает Ипполиту всю заключительную часть лекции и утверждает, что будет работать «под его знаком»^[37]. В 1975 году, через семь лет после смерти Ипполита, он пошлет его жене экземпляр книги «Надзирать и наказывать» со следующим посвящением:

«Мадам Ипполит в знак памяти о том, кому я обязан всем».

Сейчас может показаться удивительным, что Фуко придавал такое значение лекциям профессора, обучавшего его на протяжении столь

недолгого времени (в 1945/46 учебном году Ипполит преподавал в лицее Генриха IV лишь первые два месяца).

Жан Ипполит — современник и друг Сартра и Мерло-Понти: он родился в 1907-м, Сартр — в 1905-м, а Мерло-Понти — в 1908-м. Они почти в одно время учились на улице Ульм. Сартр поступил в Эколь Нормаль в 1924-м (в одно время с Ароном, Низаном, Кангийемом...), Ипполит — в 1925-м, Мерло-Понти — в 1926-м. Но по масштабу влияния на современников эти три личности не попали в один ряд — возможно, потому, что Ипполит не был «философом» в том смысле, в котором таковыми являлись Сартр и Мерло-Понти. Иначе говоря, он ничего не создавал в области идей. Тем не менее, если присмотреться к его деятельности более внимательно, выясняется, что его влияние было куда более значительным, чем это может показаться на первый взгляд. Хотя бы просто потому, что Ипполит перевел «Феноменологию духа». Более того, он излагал ее своим ученикам на языке эпохи. Той самой эпохи, которая не упомянула даже имени Гегеля в курсе философии, принятом в учебных заведениях Франции. Ипполит стал комментатором и глашатаем мыслителя из Гейдельберга (или, скорее, из Йены, поскольку его прежде всего интересовали юношеские сочинения немецкого философа). Его перевод «Феноменологии духа», вышедший в двух томах в издательстве Обье в 1939 и 1940 годах, открыл для широкой публики почти неизвестный ей до тех пор труд, к которому отныне станут обращаться все французские гуманитарии. А диссертация Ипполита, озаглавленная «Генезис и структура «Феноменологии духа»», защищенная и опубликованная в 1947 году, стала настоящим событием культурной жизни Франции. В своей рецензии, опубликованной в журнале «Les temps modernes» в 1948 году, Ролан Кайуа настаивал на значимости этой работы:

«У нас теперь хватает мыслителей, которые убеждены, что в гегельянстве заключен вопрос большой важности, а именно — вопрос жизни и смерти философии. Сама философия тут ставится под вопрос. Поэтому-то диссертация Жана Ипполита заслуживает внимания. Речь идет не только о скрупулезной работе историка... Затронута ключевая проблема: правомерно ли само по себе философское начинание?»^[38]

После войны, цитируя Кайуа, уже «хватало мыслителей», возводивших памятник Гегелю. За одно десятилетие отношение к гегельянству во Франции изменилось коренным образом. «В 1930 году, —

обобщает Венсен Декомб, — Гегель представлялся философом-романтиком, давным-давно сметенным научным прогрессом (таково было мнение Бруншвига). В 1945-м его учение уже почитали как вершину классической эпохи и основу самых современных течений в философии»^[39].

Ипполит конечно же совершил этот переворот не в одиночку. В 1929 году Жан Валь^[40] привлекает внимание к Гегелю в книге «Несчастное сознание в философии Гегеля», в которой перед читателем предстает, говоря словами Ролана Кайуа, «философ-мистик». В 1938-м Анри Лефевр издает конспективное изложение диалектики Гегеля, сделанное Лениным. Было несколько этапов этого «пережевывания» Гегеля, как выражается Элизабет Рудинеско, которая сравнивает распространение гегельянства во Франции с распространением психоанализа: и в том и другом случае прорывы чередовались с контрнаступлениями^[41]. Оба движения сходятся в одной точке, с которой берет начало их победоносное шествие, когда в Высшей школе практических исследований начинается семинар Александра Кожева. В 1933–1939 годах среди слушателей Кожева были будущие светила французской культуры: Александр Койре, Жорж Батай^[42], Пьер Кlossовски^[43], Жак Лакан^[44], Раймон Арон, Морис Мерло-Понти, Эрик Вайль и — правда, не столь рьяно — Андре Бретон^[45]. В 1947 году, когда Ипполит защитил диссертацию, Раймон Кено, также принадлежавший к этому избранному сообществу, издает свои записи лекций Кожева под названием «Введение в чтение Гегеля». Движение, центром которого являлось гегельянство, было настолько сильным, что в 1948 году Жорж Кангийем написал:

«В эпоху мировой революции и мировой войны Франция открывает — в подлинном смысле слова — ту философию, которая была современницей французской Революции и в значительной степени попыткой ее осознания»^[46].

Итак, Жан Ипполит подготовил триумф гегельянства во Франции в послевоенные годы. Триумф, усиленный популярностью экзистенциализма, к которому Ипполит, по собственному его признанию, был очень близок. Он вспомнил об этом, в частности, в декабре 1955 года, когда читал лекцию в упсальском Мезон де Франс, директором которого в то время являлся Мишель Фуко. Тема лекции:

«Гегель и Кьеркегор в современной французской мысли»^[47].

В этом и состояла суть взрыва интереса к Гегелю: он прочитывался не как «профессор профессоров», «создатель систем», но как автор сочинений, подлежащих сличению с творениями более поздних времен — Фейербаха, Кьеркегора, Маркса, Ницше... Короче говоря, в Гегеле увидели отца-основателя современной философии. Об этом хорошо написал Мерло-Понти в комментариях к лекции, посвященной экзистенциализму Гегеля, прочитанной Жаном Ипполитом в феврале 1945 года:

«Гегель стоит у истоков всех величайших идей, появившихся за последние сто лет, например, марксизма, ницшеанства, немецкой феноменологии, психоанализа; он первым предпринял попытку проникнуть в иррациональное и примирить его с разумом, что остается насущной задачей нашего века»^[48].

И далее: «Создатели вышеперечисленных систем акцентировали внимание читателя не на том, чем они были обязаны Гегелю, а на том, от чего в его учении они отмежевались». Мерло-Понти заключает: самой насущной задачей философии является «объединение на основе гегельянства неблагоприятных доктрин, восходящих к нему, но стремящихся забыть свои истоки»^[49].

Чтобы лучше понять значимость «открытия» Гегеля французскими философами, следует сопоставить гегельянство с учением, которое, согласно генеалогическому родству, установленному эпохой, стало одним из его более поздних ответвлений: речь идет конечно же о марксизме. Тот же Жан Ипполит говорит об этом двойном открытии на лекции, прочитанной также в упсальском Мезон де Франс, но уже в декабре 1955 года:

«Мы поздно пришли к гегельянству. Оно заполонило всю Европу, кроме Франции. Но мы пришли к нему через «Феноменологию духа», юношеское и потому менее известное произведение философа, а также через вероятную преемственность Гегеля и Маркса. Во Франции, конечно, были философы и социалисты, однако ни Гегель, ни Маркс не были предметом их осмысления. Теперь это произошло. На повестке дня — дискуссия о марксизме и гегельянстве»^[50].

Коренной передел поля философии был чреват серьезными последствиями: марксизм получает тогда вид на жительство во французской мысли, после чего вмиг становится «неодолимой будущностью нашей эпохи», как скажет Сартр в «Критике диалектического разума». Во всяком случае, на протяжении трех десятилетий после окончания Второй мировой войны это учение будет восприниматься многими интеллектуалами именно так.

Таким образом, Ипполит станет, прежде всего, символом обретения имен, которые будоражили воображение поколения Мишеля Фуко: не только Маркса, но и Ницше, Фрейда... И Фуко, в сущности, вторил Мерло-Понти, когда, чувствуя память своего преподавателя, заявил в 1970 году в инаугурационной речи:

«Вся наша эпоха, — призвав на помощь логику и эпистемологию, Маркса и Ницше, — пытается вырваться из пут Гегеля. [...] Но чтобы реально освободиться от Гегеля, нужно точно оценить, чего стоит это отдаление от него; нужно знать, насколько Гегель, быть может, каким-то коварным образом, приблизился к нам; нужно знать, что все еще гегелевского есть в том, что нам позволяет думать против Гегеля, и нужно понять, в чем наш иск к нему является, быть может, только еще одной хитростью, которую он нам противопоставляет и в конце которой он нас ждет, неподвижный и потусторонний. Таким образом, если нас, должников по отношению к Ж. Ипполиту, будет больше, чем один, так это именно потому, что он — для нас и раньше нас — неутомимо прошел той дорогой, которой удаляются от Гегеля и занимают дистанцию по отношению к нему, дорогой, по которой вдруг затем оказываются приведенными к нему обратно, но уже по-другому, а потом — снова вынужденными его покинуть»^[51].

С того момента, когда Мерло-Понти предписывал философии вернуть «неблагодарные учения» к гегелевскому первоисточнику, минуло более двадцати лет: в 1970 году Фуко заявил, что именно Ипполит выполнил эту задачу на глазах целого поколения подмастерьев от философии, становлению которых он немало способствовал.

Фуко скажет это еще раз — в речи памяти Ипполита, произнесенной на церемонии, которая была организована Луи Альтюссером^[52] в октябре 1969 года на улице Ульм, и опубликованной в «Revue de métaphysique et de morale»:

«Все задачи, стоящие перед нами, перед его вчерашними учениками, все эти задачи были выявлены, проговорены им... именно он сформулировал их в книге «Логика и существование», одном из величайших сочинений нашей эпохи. Сразу после войны он учил нас понимать отношения между дискурсом и насилием. Еще вчера он учил нас улавливать связь между логикой и существованием — и вот уже сейчас он демонстрирует связь между содержанием знания и формальной необходимостью. Он научил нас тому, что мысль есть непрерывная практика, что она в какой-то степени является способом задействовать не-философию, не отдаляясь при этом от философии, оставаясь там, где завязывается существование»^[53].

Мишель Фуко напишет еще один текст, посвященный памяти Ипполита, — для сборника, который он сам возглавит и в котором примут участие Марсиаль Геру, Мишель Серр, Жорж Кангийем, Жан Лапланш, Сюзанна Башляр, Жан-Клод Париянт...^[54] Статья, ставшая программной, называется — и это неудивительно — «Ницше, генеалогия, история».

«Голос Гегеля», ударивший в уши пятидесяти ученикам лица Генриха IV в ту осень 1945 года, произвел эффект настоящего интеллектуального — следовало бы сказать «экзистенциального» — шока. Но Ипполит, «мэтр Иппал», как часто будет впоследствии называть его Фуко, приглашен на филологический факультет в страсбургский университет, где преподает Жорж Кангийем. Двух месяцев не прошло с начала учебного года — и вот он уходит, оставив учеников во власти навеянных им чар. Фуко снова обретет его в Эколь Нормаль и в Сорбонне лишь через несколько лет. А пока место Ипполита занимает скучный человек, к тому же хорошо знавший, что его будут сравнивать с пламенным оратором, впуславшим в аудиторию сквозняк философской эпопеи. Пятьдесят учеников переходят от восхищения к насмешкам, подтрунивают над «гномиком», «страшным, как вошь», как описывают его многие очевидцы. К тому же из своих записей он способен извлечь разве что нескончаемые часы полной скуки. Зато охотно цитирует Бутру и Лешелье. Прощай, современность, — а она между тем осуществляется здесь и сейчас! Ученики то и дело освистывают нового профессора. Однажды месье Дрейфус-Лефуаие не выдерживает. «Мне хорошо известно, что я не стою Ипполита, — надсадно кричит он, поддавшись эмоциям и бессильному бешенству, — но я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам сдать экзамен!»

Что же касается Фуко, то он захвачен философской игрой и уходит в

нее с головой. В его учебных делах происходит скачок: в конце первого триместра он получает 9,5 за аттестационное сочинение и перемещается на двадцать вторую строчку в классе (правда, с такой характеристикой «Заслуживает большего — не помешало бы избавиться от некоторой склонности к зауми. Обнаружил явные способности к логическому мышлению. Оценки за письменные работы: 14 и 14,5»). После второго триместра он остается двадцать вторым и получает ту же оценку на предварительном экзамене, однако заканчивает год первым с оценкой 15. И заслуживает хвалебный отзыв профессора:

«Исключительно способный ученик».

«Исключительный» не только в философии, но и в истории: после первого триместра с оценкой 13 он оказывается седьмым. В отзыве говорится: «Хорошая работа. Результаты обнадеживают». В конце года он получает 16 баллов, отзыв «Прекрасные результаты» и становится первым. В оценках Фуко все преподаватели единодушны. «Живой ум, — записывает в таблице месье Буду, преподаватель французского языка, — развитый литературный вкус». Перевод на латинский язык принес ему сначала тридцать первую позицию («удовлетворительный результат»), однако затем Фуко перемещается на десятое место («прекрасный ученик»). В греческом он четвертый. Его успехи столь очевидны, что директор, обобщая характеристики, представленные в таблице, выносит окончательное суждение:

«Заслуживает зачисления».

Глава третья

Улица Ульм

На этот раз барьер взят без труда: письменные экзамены — простая формальность. Фуко получает шанс стать студентом. Но ему еще предстоит сдать устный экзамен по философии. И вот в ясный июльский день 1946 года он поднимается на второй этаж здания на улице Ульм, входит в аудиторию Актов и предстает перед двумя экзаменаторами — Пьер-Мишелем Шулем, профессором филологии из Тулузы, и Жоржем Кангийемом, выдающимся представителем французской университетской философии, читавшим курс истории наук на филологическом факультете в Страсбурге. Фуко впервые увидел Кангийема — невысокого человека, чья угрюмость странно контрастировала с южным акцентом, предполагавшим скорее приветливую и порывистую натуру. Первая встреча не стала последней. И в этот день будущий философ пришел не просто повидаться с улицей Ульм или послушать о перспективах, которые уважаемое учебное заведение раскрывало перед теми, кого принимало в свое лоно. В каком-то смысле он пришел на свидание со своим будущим: он познакомился с личностью, которой предстояло сыграть ключевую роль в его карьере и в его биографии. Во второй раз Фуко встретится с Кангийемом через несколько лет во время устного экзамена на звание агреже. Впрочем, об этих двух первых встречах он сохранит самые неприятные воспоминания. Кангийем снова возникнет на его пути, когда Фуко столкнется с необходимостью выбрать руководителя для диссертации по истории безумия. И именно этот эпизод станет отправным пунктом для самой искренней дружбы, связавшей со временем двух философов, для возникновения глубокого взаимного уважения. Но не будем забежать вперед. Тогда, в 1946 году, Фуко видит в Кангийеме лишь одного из тех, кто уполномочен решить его судьбу — профессора с внешностью, производящей сильное впечатление, с пристальным цепким взглядом «широко открытых, почти выпученных глаз», как опишет его один из учеников^[55]. Все знают, что он беспощаден к кандидатам. Фуко еще нет двадцати лет. В его распоряжении меньше часа, чтобы доказать экзаменаторам, что он заслуживает того, чтобы стать студентом Эколь Нормаль.

Несколько дней спустя кандидаты, окруженные свитой из

родственников и друзей, топчутся, толкаясь, на улице Ульм, перед входом в Эколь Нормаль, в ожидании списка принятых. Нервы у всех на пределе. Эти юноши девятнадцати-двадцати лет работали как безумные в течение двух или трех лет. Они полностью выложились. На карту поставлено все, и наступивший день кажется даже не моментом истины, а вопросом жизни или смерти. Тени Жана Жореса, Леона Блюма, Эдуара Эррио, Жюль Ромена и Жан-Поля Сартра кружат над их головами, и каждый чувствует, что с минуты на минуту решится его социальное и интеллектуальное будущее — всё или ничего. И вот белые бумажные прямоугольники приклеены к окну консьержа: первый — Раймон Вейль, второй — Ги Пальмад, третий — Жан-Клод Ришар. Четвертый — Поль Фуко. Фуко пробегает невидящим взглядом список фамилий. Он слишком счастлив, к тому же у него будет еще время познакомиться с однокашниками: Морис Аполон, Поль Виалланейкс, Робер Мози, Жан Кнап... С ними и некоторыми другими ему предстоит на протяжении нескольких лет делить жизнь. Кое-кто сыграет роль — первого или второго плана — в его карьере.

Осенью тридцать восемь зачисленных приступают к освоению старого здания Эколь Нормаль, смахивавшего на республиканский монастырь. Шестеро «желторотых» из лица Генриха IV выбирают «конуру» на первом этаже. Жан Папон, Ги Деган, Ги Вере располагаются по одну сторону длинной прямоугольной комнаты общежития, а Робер Штрелер, Морис Вузело и Мишель Фуко — по другую.

Для Фуко начинается новая жизнь, которую он переносит с трудом. Он дичится товарищей и предпочитает одиночество. Его отношения с людьми сложны, порой конфликтны. Ему не по себе почти до тошноты. И конечно же ему претит атмосфера скученности, царящая в Эколь Нормаль. Тем более что Эколь действует довольно разлагающе: это очаг странностей и эксцентричности, причем не только в поведении людей, но и в сугубо интеллектуальной или политической сферах. Ибо Высшая нормальная школа — это, прежде всего, призыв блистать, заявить о себе. В ход идут любые средства, позволяющие прослыть гениальным и заложить фундамент будущей славы. Многие и через тридцать или сорок лет вспоминают годы учебы в Эколь Нормаль с горечью и отвращением. «В Эколь все показывали себя с худшей стороны», — говорит Жан Депран, профессор Сорбонны. «У каждого был свой невроз», — добавляет Ги Деган, многолетний сосед Фуко по комнате. Фуко так и не сможет приспособиться к совместной жизни, к тому типу социальности, который выработался благодаря организации внутренней жизни Высшей нормальной школы. Впоследствии он признается Морису Пенге, что порой

жизнь на улице Ульм казалась ему «невыносимой». Фуко замыкается в своем одиночестве, а над другими просто смеется. Он безжалостен к другим, и этим славится. Остриг, без конца иронизирует над некоторыми сокурсниками, которых награждает обидными прозвищами и просто изводит во время общих обедов и ужинов в школьной столовой.

Яростный спорщик, он со всеми в ссоре. Разросшаяся до чудовищных размеров агрессивность наслаивается на ярко выраженную манию величия. Фуко сознает свою гениальность и с удовольствием выставляет ее напоказ. И проделывает это столь успешно, что в самом скором времени добивается единодушной ненависти. Его считают полупомешанным. О странностях его поведения ходит множество слухов: как-то раз преподаватель нашел его в одной из аудиторий простертым на полу — грудь была исполосована бритвой. В другой раз он гонялся ночью за одним из товарищей с ножом в руках. И когда в 1948 году он снова попытался покончить с собой, большая часть студентов увидела в этом поступке подтверждение догадки, приходившей в голову многим: его душевное здоровье висит на волоске. Некто, хорошо знавший Фуко в те годы, полагает, что он «на протяжении всей жизни смотрел в глаза безумию». Через два года после поступления в Эколь Нормаль Фуко оказывается в больнице Святой Анны, в кабинете профессора Делая, светила французской психиатрии. Его привозит туда отец, доктор Фуко. Первый контакт с психиатрическим учреждением. Первое знакомство с нечеткой линией, которая отделяет безумца от нормального, душевнобольного от здорового. Этому мрачному событию Фуко обязан привилегией, которой многие завидовали — комнатой при больнице Высшей нормальной школы. Он один. Тут царят тишина и покой, необходимые для серьезной работы. В эту же комнату он вселится позже, когда в 1950/51 году будет готовиться к повторному экзамену на звание агреже. Здесь же он устроится, когда начнет преподавать — на сей раз из соображений удобства. Между тем попытки (или инсценировки) самоубийства следуют одна за другой. «Фуко был одержим этой идеей», — свидетельствует один из его друзей. Однажды какой-то студент спросил Фуко, куда тот направляется, и оторопел, услышав в ответ: «Иду в магазин купить веревку, хочу повеситься». Школьный врач, будучи не вправе разглашать медицинскую тайну, ограничивается лишь следующим комментарием: «Эти всплески были связаны с болезненным переживанием гомосексуальности и нежеланием мириться с ней». И действительно, каждый раз, возвращаясь почти больным после ночных рейдов по барам для гомосексуалистов, Фуко, раздавленный стыдом, на многие часы впадает в прострацию. И доктор Этьен не спускает с него глаз, боясь, как

бы он не совершил непоправимое.

В то время гомосексуальная ориентация не сулила легкой жизни. Известный писатель Доминик Фернандес, поступивший в Эколь Нормаль в 1950 году, во всех красках описал трагичность положения гомосексуалиста в ту эпоху. Это были «годы стыда и подполья», когда удовольствия, несовместимые со светом дня, следовало загонять в самые темные углы ночной жизни. Фернандес так передает чувства, которые он испытывал, расставшись с детством:

«Я догадывался,

1) что не смогу ни с кем говорить о том, что меня интересует, и, следовательно, буду расти изгоем;

2) что такое положение вещей станет источником нескончаемых мук и одновременно

3) тайным знаком избранности.

Мое отрочество было замутнено гордостью и страхом, вызванными осознанием принадлежности к тайному сообществу, которое всеми осуждалось»^[56].

Вспоминая о том, как он мечтал во что бы то ни стало собрать книги, в которых речь шла об «особенностях», непосредственно касавшихся его, Фернандес пишет:

«В 1950 году и в последующие десять или пятнадцать лет я собирал лишь те издания, в которых говорилось о травмах, неврозах, естественном комплексе неполноценности, о несчастье как призвании. Отдельные случаи, чередой проходившие передо мной, позволяли мне набросать собственный портрет — портрет обездоленного, обреченного на страдание»^[57].

Сколько их было, жертв насилия, носившего карательный характер? Скольким приходилось лгать, в том числе и себе? Среди них был и Мишель Фуко.

Многие из его однокашников, узнав, в конце концов, что Фуко — гомосексуалист, говорили, что только догадывались об этом, что лишь случайно сумели проникнуть в его тайну. Или же изначально были в курсе дела — просто потому, что сами являлись гомосексуалистами. Но все они, вне зависимости от того, ясна ли им была или нет глубинная причина его терзаний, помнят Фуко, балансировавшего на грани безумия, готового вот-вот сорваться в страшную пропасть. Именно гомосексуализмом объясняли его болезненный интерес к психологии, психоанализу и психиатрии. «Он

хотел понять то, что имело отношение к частной жизни и к частностям», — говорит один из них. «Ярко выраженный интерес Фуко к психологии объяснялся, вероятно, особенностями личного характера», — вторит другой.

И еще одно суждение:

«Когда «История безумия» была опубликована, все, кто его знал, поняли, что эта книга тесно связана с его собственной биографией».

Один из тех, кто был близок к Фуко в то время, свидетельствует:

«Я всегда думал, что когда-нибудь он напишет книгу о сексуальности. Сексуальность должна была занять центральное место в его творчестве, поскольку она занимала центральное место в его жизни»;

«Последние книги Фуко в каком-то смысле выражают его личную этику, констатируют его победу над собой. Сартр так и не написал свою версию морали, а Фуко написал» или «Обратившись в «Истории сексуальности» к античной Греции, Фуко обнаружил собственный археологический фундамент...».

Короче говоря, все в один голос твердят, что творчество Фуко, само направление его исследований коренится в той ситуации, которую он так трагически пережил в студенческие годы. Разумеется, нельзя каждую строчку Фуко истолковывать, исходя из его гомосексуализма, как это делают многие представители американской университетской науки, полагаящие к тому же, что тем самым дискредитируют его. Уместно вспомнить здесь реплику Сартра, направленную против вульгарного марксизма:

«Конечно, марксизм может установить, что Поль Валери был мелким буржуа, но он не может установить, почему не каждый мелкий буржуа является Полем Валери».

Речь идет о том, как рождался интеллектуальный проект, коренившийся в опыте, который, по всей видимости, следует считать исходным; о том, как в схватках индивидуальной и социальной жизни складывалось интеллектуальное начинание, направленное не на то, чтобы в

них погрязнуть, а на то, чтобы их осмыслить, преодолеть, проблематизировать в виде ироничного ответа на обращенный к самому себе вопрос: а вы-то сами знаете, кто вы? Верите ли вы в собственный разум? В ваши научные концепты? В категории восприятия?

Фуко читал труды психиатров. Он работал с психологами. Он мог стать психиатром или психологом. Быть может, именно гомосексуализм не позволил ему ступить на этот путь? Доминик Фернандес пишет:

«Это была эпоха психиатрии и психоанализа. Врачи, пришедшие на смену священникам и полиции, высказывали по поводу гомосексуальности мнения, к которым прислушивались тем более охотно, что они были освящены авторитетом «науки» и дышали поистине отеческой заботой. Каждый раз, читая у какого-нибудь психоаналитика: «Я ни разу не видел гомосексуалиста, который был бы счастлив», я верил в это как в истину в последней инстанции и еще сильнее забивался в кокон своего несчастья»^[58].

Но приходит день, когда пария восстает, когда он выражает протест. Фуко шел к такому протесту двумя путями: через литературу и через теорию. С одной стороны, восхищение авторами-«нарушителями», певцами «опыта на грани», излишеств и расточительности, экзальтация, происходящая от чтения Батая, Бланшо^[59], Клоссовски, от открытия существования «безумной философии», огненное дыхание которой испепеляет диалектику и позитивность, как он скажет об этом в своем «Предисловии к трансгрессии»^[60]. С другой стороны, обращение к имевшему историческое значение вопросу о научном статусе психологии, медицинского взгляда, а затем и всего сложившегося комплекса гуманитарных наук. И разве Фуко не сказал в 1981 году:

«Каждый раз, приступая к теоретической работе, я исходил из отдельных элементов личного опыта, из процессов, которые я наблюдал. Я прибег к этой работе, поскольку мне всегда казалось, что я узнаю в том, что я вижу, в структурах, с которыми я связан, в отношениях с другими людьми трещины, глухие толчки, рассогласования, знакомые мне по личной биографии»^[61].

Вероятно, страдания породили в Фуко стремление к бегству. Он искал выход из тупика, в котором, по его мнению, оказался. Во всяком случае, так

объясняют свидетели его отъезд в Швецию. Шел 1955 год. Только в шестидесятые годы, принесшие раскрепощение умов, Фуко начинает понемногу высвобождаться от ига карательной системы. С точки зрения Доминика Фернандеса, не слишком активно. Писатель сурово упрекает Барта и Фуко в том, что они ни слова не проронили о своей гомосексуальности в те годы, когда молчание уже ничем не навязывалось. Тот факт, что Роже Мартен дю Гар^[62], получивший Нобелевскую премию, до такой степени хотел спрятать свое истинное лицо, что отказался от публикации романа «Молчаливый», действующими лицами которого были гомосексуалисты, еще может быть оценено как «законная осторожность». Но Барт! В книге 1975 года «Ролан Барт о Барте» он посвятил лишь один абзац «богине Г.», охарактеризовав ее самым нейтральным образом: «Власть наслаждений, которые доставляют извращения (в частности, те, что начинаются с Г — гомосексуализм и гашиш), всегда недооценивалась». Какая трусость! — считает Фернандес. И обвиняет Фуко:

«Он так и не решился предать гласности личный опыт»^[63].

Это далеко от истины. Хотя тем, кто уже нажил негативный опыт, действительно было не так-то легко следовать логике «культурной революции», осуществленной поколением «детей 1968 года».

Приведу один пример, как нельзя лучше раскрывающий происходившее: в 1981 году Андре Бодри, сбивый с толку вызывающей активностью «движения геев», решил закрыть журнал «Arcadie». И прекратить возглавляемую им с 1954 года деятельность группы, носившей то же название, которая, демонстрируя скромность, респектабельность и то, что Бодри называл «достоинством», воплощала на протяжении трех десятков лет надежду подтолкнуть общество к «принятию» гомосексуализма. Требование заявить во всеуслышание о том, о чем столько лет следовало молчать, многих сбilo с толку. Трагическое эхо нравственных терзаний слышится в судьбе Жан-Поля Арона: на пороге смерти он захотел публично «признаться» в гомосексуализме и объявить о том, что умирает от СПИДа. В качестве трибуны он выбрал журнал «Le Nouvel Observateur»^[64]. Арон осудил Фуко за то, что тот уклонился от аналогичного «признания» и скрыл истинную природу своего заболевания. Но, быть может, именно сама идея «признания» приводила Фуко в ужас? Следы этого ужаса проступают в его последних книгах, где он из последних сил отторгает, порицает и разоблачает предписания высказываться, говорить, признаваться. И снова устанавливает

исторические перспективы и ведет теоретический поиск, отталкиваясь от тяжкого опыта повседневной жизни.

Однокашники описывают Фуко не только как странного, пугающего своим поведением студента. Все они в один голос вспоминают также одержимого работой человека, который много читает и, не ограничиваясь простым чтением, делает выписки на карточках, которые с особой тщательностью методично раскладывает по коробкам. Ему удастся отыскать связку рукописных записей лекций Бергсона по истории философии, сделанных его учениками. В Фуко видят эрудита, личность, исключительную по работоспособности и широте интересов. Он читает все подряд, в первую очередь, конечно, классиков философии: Платона, Канта... и Гегеля, которому посвящает дипломную работу «Основание исторической трансцендентальности в «Феноменологии духа» Гегеля». Защита состоялась в июне 1949 года. Конечно, он читает Маркса. Тогда все его читали. Чуть позже он прочтет Гуссерля и Хайдеггера. В 1942 году вышла книга Альфонса де Валенса «Заметки о понятии страха в современной философии». Благодаря этому изложению молодые философы ознакомились с мыслями Хайдеггера. Фуко принялся изучать немецкий язык, чтобы прочесть тексты в подлиннике. Чтение Хайдеггера сыграет важную роль в жизни Фуко. «Я начал с Гегеля, перешел к Марксу, а затем приступил к Хайдеггеру, — расскажет он в конце жизни, вспоминая годы учебы. — У меня до сих пор хранятся записи, относящиеся к Хайдеггеру. Их — целая тонна. Они возникли в процессе чтения, и их значение не идет в сравнение со значением выписок, сделанных мною при чтении Гегеля или Маркса. Мое будущее как философа было обусловлено именно чтением Хайдеггера. Впрочем, должен признать, что Ницше его одолел. [...] Я гораздо лучше знаю Ницше, чем Хайдеггера. Тем не менее, чтение обоих авторов явилось для меня важной вехой. Возможно, если бы я не познакомился с Хайдеггером, я никогда бы не прочел Ницше»^[65]. Страсть к Ницше захватит его позже. А пока он живо интересуется психоанализом и психологией. Он читает Фрейда (который надолго станет его любимым автором, любимой темой бесед, постоянным объектом интереса), а также Крафт-Эбинга^[66].

Фуко подчеркивал, что на него, как и на все его поколение, оказала большое влияние книга Жоржа Политцера «Критика оснований психологии». Вышедшая в 1938 году, она давно исчезла из продажи, и студенты вырывали друг у друга единственный доступный им экземпляр. Не прошло бесследно также чтение книг «Индивид и общество» и

«Психологические границы общества» Абрахама Кардинера^[67]. Введенное им понятие «базовая личность» и положения о соотношениях между поведением индивида и культурой, в которой он существует, станут основанием для многих последующих размышлений Фуко. Он интересуется работами Маргарет Мед и соотношением полов в примитивном обществе. Его внимание привлекает сообщение Кинси о типах сексуального поведения. Конечно же он читает Башляра^[68], оказавшего на него большое влияние. И еще — поглощает в огромных количествах беллетристику. Кафку, которого с восторгом открыло для себя его поколение и которого он читает по-немецки, чтобы усовершенствовать свои знания в этом языке, Фолкнера, Жида, Жиано и Жене. Легко представить, какую бурю подняли романы Жене и какое облегчение принесли в начале пятидесятых годов пространные комментарии Сартра, объяснявшего, что переход от Пруста к Жене был переходом от гомосексуальности, переживаемой как проклятие природы, к гомосексуальности как выбору, брошенному в лицо человечеству. Фуко с наслаждением читает маркиза де Сада и даже заявляет, что презирает тех, кто не относит себя к адептам этого автора.

Отдельные курсы студенты Эколь Нормаль традиционно слушают в Сорбонне, она находится неподалеку. Студентам полагается получать степень лиценциата в этом древнем университете. Но обычно они не посещают занятий, а являются сразу на экзамен, который устраивается в конце года. Однако Фуко ходит в Сорбонну на лекции Даниэля Лагаша и Жюльена Ажуриагерра и знакомится с достижениями психиатрии. Он также посещает отдельные занятия Анри Гуйе — курс по истории философии XVII века. В 1949 году в Париж на филологический факультет переводят Жана Ипполита и конечно же Фуко становится его слушателем.

В программе, которую предлагает престижное учебное заведение на улице Ульм, есть курсы, особенно привлекающие Фуко. Он не пропускает лекций Жана Бофре, адресата «Письма о гуманизме» Мартина Хайдеггера. Бофре комментирует «Критику способности суждения» Канта, но много говорит о собственных диалогах с Хайдеггером. Верный ученик последнего, он немало сделал для распространения философских воззрений своего учителя. Лекции Жана Бофре производят на Фуко большое впечатление. Он часто рассказывал о них друзьям. Жан Валь истолковывает «Парменида» аудитории, состоящей из трех студентов: Гарди, Кнапа и Фуко. И еще есть Жан-Туссен Дезанти, ярый коммунист, который в те годы пытался объединить марксизм с феноменологией. Это

одна из важнейших задач, стоявших перед послевоенной французской философией: вьетнамец Чан Дюк Тао опубликует книгу в таком же духе, которая получит немалый резонанс в философских кругах. Дезанти — блестящий лектор, он оказывает большое влияние на студентов и способствует тому, что многие начинают склоняться к вступлению в Французскую коммунистическую партию.

Но конечно же самое сильное впечатление на студентов производят лекции Мерло-Понти^[69]. Экзистенциализм и феноменология на вершине славы, но слушатели Высшей нормальной школы, очарованные, как и все прочие, Сартром, попиравшим эпоху, все же больше восхищаются Мерло-Понти, более академичным, строгим, менее «светским» и имеющим мужество бороться за то, чтобы философия была открыта для других гуманитарных наук. На протяжении двух учебных лет, в 1947/48 и 1948/49, Фуко посещает его лекции в Эколь Нормаль, не пропуская ни одной. Они посвящены «единству души и тела у Мальбранша, Мен де Бирана и Бергсона»^[70], а также языку. Мерло-Понти с большим интересом относится к лингвистической проблематике и пересказывает студентам идеи Соссюра. Аудитория ломится от слушателей. В это время в Париже только здесь можно было послушать лионского профессора, автора «Феноменологии восприятия». Но вскоре, в 1949 году, Мерло-Понти будет переведен в Сорбонну, на кафедру детской психологии, и его верные слушатели переместятся в университетскую аудиторию. Мерло-Понти говорит о динамической реальности языка, устанавливает связи между «науками о человеке и феноменологией». Его лекции немедленно публикуются в «Bulletin de psychologie», и, вне всякого сомнения, Фуко внимательно изучает их^[71]. Очевидно, что, например, лекции, посвященные наукам о человеке, читавшиеся в 1951/52 учебном году, в которых подробно излагались учения Гуссерля, Коффки и Гольдштейна, были предметом особого интереса для Фуко, начавшего в это время читать схожий курс.

Другой примечательный персонаж Эколь, товарищ по школе, назначенный в 1948 году «кайманом», то есть репетитором по философии, в чьи обязанности входило подготовить кандидатов к экзамену на звание агреже — Луи Альтюссер. В те годы — как, впрочем, и в последующие, вплоть до середины шестидесятых, — это имя не было известно за пределами Латинского квартала, но в узком кругу студентов он пользовался большим уважением. Альтюссер получил звание агреже в 1948 году. Ему уже тридцать лет. Он поступил в Эколь еще в 1939 году, однако был мобилизован и попал в плен. В концентрационном лагере он провел пять

лет, только в конце войны восстановился в Эколь Нормаль и получил возможность стать агреже. По результатам экзамена он был вторым. Первым — Жан Депран. В списке есть и другие фамилии — Жиль Делёз, Франсуа Шателе...

В 1948 году, с самого начала учебного года, Луи Альтюссер приступает к выполнению обязанностей «каймана». Он сменяет на этом посту Жоржа Гусдорфа, отправившегося преподавать в Страсбург. Все расхваливают его педагогические способности. В течение первого года он изучает со своими подопечными Платона, однако позже занятия становятся нерегулярными. Довольно быстро после назначения в его педагогической деятельности начинают случаться перерывы: дают о себе знать последствия тяжелой психологической травмы, из-за которых он часто пропадает на несколько недель. Однако у него завязываются дружеские связи со студентами. Он принимает их в своем кабинете, выслушивает каждого, дает советы, обучает подопечных формальным правилам игры — как следует вести себя, представ перед конкурсным жюри. Ведь экзамен на звание агреже — это целый ритуал.

Мишеля Фуко и Луи Альтюссера связывает тесная дружба. Когда Фуко заболевает, именно Альтюссер советует ему не соглашаться на лечение в психиатрической клинике. Но самое важное то, что именно под влиянием Альтюссера Фуко вступает в компартию. Альтюссер еще не был коммунистом, когда приступил к исполнению обязанностей «каймана». Он посещал собрания католической группы школы и был пылким католиком. Уже будучи марксистом, он так и не отказался до конца от католицизма. Он учился у Жана Лакруа и Жана Гиттона и сохранил с ними прекрасные отношения. Альтюссер склоняется к марксизму и коммунизму в тот момент, когда к марксизму и коммунизму обращаются французские интеллектуалы, в частности, большая часть Эколь Нормаль. Исповедовать марксизм, вступить в коммунистическую партию — университетская среда бредила этими идеями. Неоднократно отмечалось, что во Франции философия и интеллектуальные поиски напрямую связаны с политикой. Вероятно, никогда эта тенденция не проявлялась так отчетливо, как в годы, следовавшие за Освобождением. Конечно же Эколь Нормаль отнюдь не осталась в стороне от этого процесса. Наоборот, она способствовала его усилению, доведению до максимума. Начиная с 1945 года, а особенно с 1948-го, коммунистическая идеология прочно обосновалась в Эколь Нормаль. Эмманюэль Леруа Ладюри, ссылаясь на Жан-Франсуа Ревеля, учившегося здесь сразу после войны, свидетельствует, что в 1945 году влияние коммунистов еще оставалось довольно ограниченным. Однако

эпоха — нарастание холодной войны и забастовки 1947 года — подталкивала к выбору «своего лагеря». Школа стремительно политизируется, делая выбор в пользу «лагеря трудящихся» и, следовательно, коммунистической партии^[72].

Поль Виалланейкс рассказывает, что присутствовал при настоящем «буме обращения», когда люди, которых он знал по подготовительным классам как абсолютно аполитичных, со страстью и пылом бросались в борьбу за социалистические идеи. Предупреждения Жака Ле Гоффа, прожившего некоторое время в Чехословакии, не остудили марксистского запала студентов. «Коммунистическое поколение» студентов Эколь Нормаль — это феномен, дающий современным историкам пищу для размышлений^[73]. Сколько их было? Трудно ответить на этот вопрос, поскольку «переход» мог колебаться от неформальной симпатии до неистовости почти сектантского толка. Леруа Ладюри, поступивший в 1949 году и сразу же ставший секретарем ячейки, говорит, что среди студентов коммунистом был каждый четвертый или пятый: «сорок или пятьдесят студентов из двухсот состояли в партии». Впрочем, он добавляет, что только двадцать из них регулярно приходили на собрания. Вот самые известные коммунисты Эколь: Мишель Крузе, Пьер Жюкен, Морис Кавейн...

Почему столько интеллектуалов вступало в компартию? Прежде всего, нельзя забывать, что в те годы на выборах за коммунистов голосовало пять миллионов французов, что составляет более 25 процентов от общего числа избирателей. «Люди, которые не жили в ту эпоху, — говорит Морис Агулон, — не могут представить себе объем и силу коммунистической пропаганды, связанной с Сопротивлением, ее назойливость и, осмелюсь сказать, бесстыдство. «Никто так не боролся с фашизмом, как мы, — повторяли они. — Мы были самыми активными, самыми результативными, самыми искренними участниками Сопротивления; наш мартиролог самый длинный, мы заслужили почетное название Партии расстрелянных...» Партия стала свирепым блюстителем чистоты патриотических помыслов. Признаем: способность к критике иссякла. К тому же критичность — это вовсе не то, чем в первую очередь сильны молодые люди в возрасте девятнадцати или двадцати лет, особенно когда пробудившиеся смутные угрызения совести за неучастие в Сопротивлении подогревают желание реабилитироваться и примкнуть к политикам, заявляющим о своей солидарности с этим движением»^[74].

Итак, студенты активно вступают в партию, хотя и не в таком

количестве, как это изображалось партией, которая на протяжении долгого времени старалась поддерживать репутацию движения, объединяющего интеллектуалов, которая позиционировала себя как «партия интеллигенции» и которая претендовала на то, чтобы управлять всею областью наук и идей, контролировать и использовать ее. Реальность отнюдь не столь однозначна. И все же в течение десяти лет коммунистом становился один студент из четырех или пяти — что не так уж и мало.

Жизнь Эколь Нормаль насыщена политикой, и споры проходят бурно. Обстановку «интеллектуального террора», созданную студентами-коммунистами, тяжело переносить. Все, кто отклоняется от общей линии, выявляются и подвергаются обструкции. Секретарь ячейки Эмманюэль Леруа Ладюри — один из самых ревностных гонителей оппозиционеров. Он — настоящий инквизитор, отдающий приказы, без устали следящий за всеми и оценивающий всё, а главным образом степень правоверности слушателей Эколь Нормаль.

Конечно, в Эколь есть небольшая группа социалистов, но она непопулярна и воспринимается как нечто старомодное. Среди ее членов Жан Эрхард, Марсель Ронкайоло, Ги Пальмад... Другие вступят в Демократическое революционное объединение, образованное в 1948 году Жан-Полем Сартром и Давидом Руссе. Впрочем, оно просуществует недолго. Эту организацию поспешно назовут «партией Эколь Нормаль», хотя на самом деле в ней было не так уж много представителей школы. Впрочем, нужно сказать, что Демократическое революционное объединение в целом довольствовалось этим небольшим составом — оно так и не сумело привлечь большого числа сторонников. Христиане входили в «группу ревнителей» (то есть тех, кто ходит к мессе), в которой было два крыла: правое и левое, более многочисленное. Большинство членов этой группы — «прогрессивные христиане» — также тяготели к коммунистической партии. Они защищали идею миссионерской церкви, которая должна была идти к самым бедным. Франсуа Бедарида, «принц ревнителей», возглавил католическую группу в 1947 году, когда перешел на второй курс. Этот однокурсник Фуко, будучи совсем юным, участвовал в Сопротивлении. Он был близок «*Témoignage chrétien*», «прогрессивен» и, следовательно, настроен прокоммунистически, ибо, как говорил он много позже, «идея прогресса, то есть коммунизма пропитывала воздух эпохи». Христианин прокоммунистических убеждений: таким был и Роже Фору, впоследствии директор Национальной школы администрации, а затем министр промышленности.

В Эколь Нормаль существовала также горстка тех, кто, придерживаясь

других взглядов, принадлежал к поносимым правым и задыхался в атмосфере «конформизма левых», царившей здесь. Этих диковинных существ называют «фашистами». Среди них — Жан д'Ормессон, Жан Шарбоннель, который станет министром в правительстве генерала де Голля, Робер Пужад, впоследствии мэр Дижона... Эта группа сотрудничает с Республиканской партией и интересуется «в первую очередь интеллектуалами-голлистами, сотрудничает с «Liberté d'esprit» — здесь публикуются Клод Мориак и Морис Клавель»^[75].

В 1948 году Луи Альтюссер вступает в коммунистическую партию. Он назвал причины этого поступка в письме к Марии-Антуанетте Мациокки:

«В школьные и студенческие годы я был активистом «католического действия». В тридцатые годы Церковь, желая ограничить влияние «социалистических» идей, создала сеть молодежных организаций. Она оказала нам великую услугу. Мы были отпрысками мелких буржуа. Наш священник говорил нам о «социальном конфликте». Это позволило нам сэкономить время. Ирония судьбы: большая часть моих тогдашних товарищей-католиков стала коммунистами. Народный фронт, война в Испании, война с фашизмом, Сопротивление — все это позволило нам рассмотреть «социальный конфликт» с близкого расстояния и понять, что его суть — борьба классов. В 1948 году я стал профессором философии и вступил в коммунистическую партию. С того самого времени я преподаю философию в Эколь Нормаль. В 1949 году, на Пасху, я уехал в Италию. [...] Я занимался своим делом и старался быть коммунистом. Быть коммунистом в философии — значит быть философским марксистом-ленинистом. А быть философским марксистом-ленинистом нелегко»^[76].

Луи Альтюссер станет философским марксистом-ленинистом много позже, в период 1968 года, когда он посвятит себя перепро чтению «Капитала» и соберет вокруг себя талмудистов «революционной теории», которая, таким образом, будет обновлена. Однако и в те годы ему хватает влияния, чтобы подтолкнуть некоторых студентов к вступлению в партию, в частности Фуко, который становится коммунистом в 1950 году.

Это означает, что он провел четыре года в Эколь Нормаль, воздерживаясь от поступка, который совершили многие из его товарищей. При этом нужно сказать, что еще на первом курсе, весной 1947 года, Фуко

решил вступить в партию. Морис Агулон помнит об этой неудачной попытке Фуко стать коммунистом: он хотел непременно войти в ячейку партии, а не в студенческий профсоюз. Коммунисты, рассматривавшие его просьбу о принятии в партию, сочли невозможным включить его в ячейку и отвергли его кандидатуру. В силу этого на протяжении всех студенческих лет Фуко оставался политически неангажированным, во всяком случае, он не входил ни в одну официальную структуру. «И все же по своим взглядам он был близок к коммунистам», — уточняет Жак Пруст, друживший с Фуко в то время. Но эта близость взглядов не мешала ему критически относиться к интеллектуалам, возглавлявшим партию, например к Роже Гароди. К тому же в те годы Фуко — скорее гегельянец, чем марксист. Он усердно трудился над дипломной работой, посвященной «Феноменологии духа». Интерес к Гегелю сближает его с Луи Альтюссером, чья дипломная работа, защищенная несколькими годами ранее, также основывалась на трудах этого немецкого философа. Гегельянцами были и товарищи Альтюссера — Жак Мартен, которому он посвятит свой труд «За Маркса», а также Жан Лапланш.

Для Фуко 1950 год отмечен не только вступлением в партию. В том же году он не выдерживает экзамен на звание агреже, несмотря на то, что он выбрал четырехлетний подготовительный курс, существовавший в Высшей нормальной школе наряду с трехлетним, к которому прибегали большинство студентов. Весной 1950 года Фуко явился на письменное испытание. Ему предстояло дать развернутый ответ на вопрос «Является ли человек частью природы?», а затем изложить свои взгляды на позитивизм Огюста Конта. По результатам письменного испытания Фуко был включен в список кандидатов, допущенных к устному. Из двухсот девятнадцати претендентов на второй этап прошло семьдесят три. Фуко занимает в списке лишь скромное двадцать девятое место. Чтобы попасть в число первых пятнадцати, которым и присуждается искомое звание, нужно совершить гигантский рывок.

В то время устное испытание проходило в два этапа: сначала «малый» экзамен, во время которого кандидату предлагалось прочесть лекцию по теме, выбранной наугад, а затем «большой», состоявший из четырех собеседований, лекции и комментирования текстов — на французском, латинском и греческом языках. Однако большинство срезалось на «малом» экзамене. И Фуко вышел из игры на этой стадии. Ему достается тема, которая не вызвала у него большого энтузиазма: «Гипотеза». Традиционная тема, исхоженная вдоль и поперек. Фуко пускается в длинные рассуждения о гипотезах в «Пармениде», обойдя молчанием проблему научных гипотез.

Приговор: Мишель Фуко не входит в число двадцати кандидатов, допущенных к «большому» экзамену. Жюри, в которое входят декан Сорбонны Жорж Дави, Пьер-Максим Шуль и главный инспектор Бриду, упрекает его в том, что он не процитировал Клода Бернара. «Я забыл упомянуть о том, как мочится кролик», — иронизировал впоследствии Фуко, намекая на знаменитые эксперименты Клода Бернара, о которых хотело услышать жюри. Характеристика, данная председателем жюри этому отвергнутому кандидату, довольно красноречива. Вот что написано рукой декана Дави: «Кандидат, несомненно, эрудирован и незауряден, поэтому его неудачу следует считать случайной. Однако, уже показав посредственный результат на письменном испытании, кандидат допустил ошибки при устном ответе. Он получил вполне традиционную тему, но не стал развивать ее, а поставил своей целью продемонстрировать собственную эрудицию». Среди тех, кто в том году успешно выдержал экзамен, — Пьер Обанк, Жан-Пьер Фай, Жан-Франсуа Лиотар, Жан Лапланш... Среди тех, кто провалился — Мишель Турнье и Мишель Бютор...

Провал Фуко все же стал сенсацией. Никто не сомневался, что на экзамене он будет среди первых. Он один из самых блестящих студентов, и все удивлены его провалом. Некоторые приходят к мысли, что его завалили по политическим мотивам. В те годы подобное истолкование разного рода событий имело широкое хождение. Так, в 1951 году «La Nouvelle Critique» опубликовала реплику одного из членов жюри: «В этом году мы не пропустим ни одного коммуниста». Ясно одно: Фуко тяжело переживает свой провал. Он в таком состоянии, что Луи Альтюссер поручает Жану Лапланшу и его жене позаботиться о нем и не спускать с него глаз, чтобы не позволить ему сделать «глупость». Фуко снова переживает кризис, но довольно быстро выходит из него. Он возвращается к занятиям с тем, чтобы повторить экзамен через год. Фуко объединяется с Жан-Полем Ароном — не студентом, а вольнослушателем Эколь Нормаль, с которым он подружился. Фуко десятками составляет планы лекций на всевозможные темы. Он понимает, что устное испытание для него — проблема. В июне 1951 года следует вторая попытка. Снова письменный экзамен, где за семь часов следует изложить свое видение проблемы «Опыт и теория: определение и соотнесение этих понятий». Еще семь часов дается на тему «Перцептивная деятельность и мышление». На последнем этапе, который длится шесть часов, предлагается вообразить, что Бергсон и Спиноза встречаются и «вступают в диалог о времени и о вечности с тем, чтобы определить, как философия должна трактовать эти два понятия». Фуко

хорошо справляется с заданием и снова оказывается в списке допущенных к устному испытанию.

Он предстает перед жюри, состав которого изменился. Председательствует по-прежнему Жорж Дави, но его заместителем является новоназначенный главный инспектор по среднему образованию Жорж Кангийем. В жюри также входит Жан Ипполит. Кангийем решил обновить темы, которые предлагаются кандидатам. Видимо, ему пришлось выдержать бой, однако среди тем появляются вполне современные, например «сексуальность». «Они все читают Фрейда. Во всяком случае, говорят они по большей части именно об этом», — заявил Кангийем заупрямившемуся председателю жюри. И именно эту тему судьба подсунула Мишелю Фуко. Жан Депран, отправившийся послушать ответ Фуко, поскольку тот снискал уже некоторую известность среди студентов, вспоминает, что изложение темы было выстроено по классическому образцу и состояло из трех частей: «сексуальность и природа», «сексуальность и культура» и «сексуальность и история». При этом в третьей части речь шла об истории индивида, поскольку Фуко находился под большим впечатлением от чтения книг по психологии и психоанализу.

На этот раз Фуко выдерживает экзамен. Он делит третью строчку списка с Жан-Полем Милу, одним из товарищей по Эколь Нормаль. Первым оказывается Ивон Бре, однокурсник Фуко. Он считает несправедливым, что его имя стоит в списке выше имени Фуко, и приходит к нему извиниться. В отчете, подготовленном жюри, говорится о психологических проблемах Фуко. «Кандидат эрудирован, незауряден, но создалось впечатление, что он отнесся к повторному экзамену со страхом и предубеждением», — писал декан Дави. После объявления результатов Фуко, взбешенный тем, что не стал первым, отправился к Кангийему с жалобой на тему, которая ему досталась. «Что за идея — заставлять кандидатов говорить о сексуальности!» — возмутился он.

Звание агреже обязывало к преподаванию. Оно давало возможность преподавать в средней школе, а также, по крайней мере в те годы, открывало двери в высшие учебные заведения. Но, для того чтобы стать преподавателем высшей школы, следовало отбыть более-менее долгий срок в каком-нибудь лицее. Таким образом, студенты воспринимали лицей как своего рода чистилище, через которое нельзя было не пройти. Поскольку из-за проблем со здоровьем Фуко был освобожден от военной службы, вопрос с преподаванием требовал срочного решения. Новоиспеченные агреже должны были посетить главного инспектора, чтобы получить назначение в один из лицеев. И Фуко отправляется к Кангийему, чтобы

заявить ему, что он не хочет преподавать: хороший результат позволял ему надеяться быть принятым в лицей Тьер. Эта весьма необычная структура была создана в 1893 году родственницей и наследницей Луи Адольфа Тьера^[77]. Каждый год туда брали нескольких студентов (только юношей), которым назначалась ежемесячная стипендия и предоставлялись все условия для работы над диссертацией. После войны статус учреждения претерпел изменения: деньги из наследства, на которые оно существовало, обесценились, и оно перешло под протекцию Национального центра научных исследований (CNRS).

Итак, это была государственная институция, предоставлявшая ежемесячную стипендию пансионерам, которым приходилось возвращать половину суммы фонду в виде платы за проживание и питание. Стипендиаты считались исследователями CNRS, однако сохраняли этот статус, лишь пока числились в Тьере. На протяжении долгого времени ежегодно проводился набор по специальностям «литература», «право» и «медицина» — не больше пяти стипендиатов. Осенью 1950 года стипендию получили шестеро, в том числе Робер Мози, Поль Виалланейкс, Жан-Луи Гарди. В 1951 году стипендиатов будет уже десять. Наряду с Мишелем Фуко это Жан Шарбоннель, Пьер Обанк, Ги Деган, Жан-Бернар Ремон...

Что нужно было сделать, чтобы оказаться в этом странном учреждении, в здании XIX века на площади, которая теперь называется Шанселье-Аденауэр, в 16-м квартале Парижа, рядом с воротами Дофин? Прежде всего получить рекомендацию директора того учреждения, где кандидат учился. Затем — представиться главе Тьера (в те времена им был эллинист Поль Мазон). И наконец, поскольку Тьер хотя и находился под попечительством CNRS, но управлялся, как и в прошлом, академиями, входившими в Институт Франции, полагалось встретиться с представителями академий — членами административного совета. Французскую академию представлял Жорж Дюамель^[78]. Жан Шарбоннель, ставший стипендиатом Тьера в том же году, что и Фуко, рассказал о своем визите к писателю:

Когда я, следуя принятому обычаю, пришел представиться ему, он промолвил тихим голосом *à la* Мориак:

«Знаете, молодой человек, мне неизвестно, удастся ли вам прославиться, но должен вам сказать, что сам я почувствовал, что познал славу, в тот момент, когда один из моих внуков вернулся из школы, крича: «Нам сегодня диктовали дедушку!»»^[79]

И эта история преподносилась каждому кандидату.

Покончив со всеми визитами, отобранные счастливичики устраивались, как пишет Жан Шарбоннель, в «величественном доме, отданном культу разума, старом и обветшалом, но не лишенном шарма. Камердинер, красивая мебель, бильярд, пианино и большой парк. Обстановка была пышной, но наши возможности — весьма скудными... Мы вступали в современную науку, словно она была религиозной стезей. Следовало дать обет бедности и... безбрачия»^[80]. Мишель Фуко во время своего визита к Полю Мазону представил две темы исследований: «Проблема гуманитарных наук в трудах посткартезианцев» и «Понятие культуры в современной психологии». «Первая тема показалась мне исключительно интересной, — напишет Мазон в отчете, когда Фуко покинет Тьер, — предстояло установить, как эволюционировало картезианство под влиянием иностранных влияний — итальянского и голландского, — и к чему пришли вследствие этого Мальбранш и Бейль»^[81].

Мишель Фуко обратился к Анри Гуйе с просьбой принять на себя руководство второй, дополнительной, диссертационной работой о Мальбранше. Основная диссертация должна была быть посвящена, как указывает Поль Мазон, проблеме культуры в том смысле, как ее трактует современная психология. И Фуко со свойственным ему пылом приступает к работе. Именно в это время он приобретает привычку каждый день ходить в Национальную библиотеку — привычку, которой он будет верен вплоть до отъезда в Швецию и к которой вернется после возвращения во Францию. В Национальной библиотеке Фуко, вероятно, провел большую часть своей жизни.

Мишель Фуко пробудет в Тьере лишь год вместо трех, положенных стипендиату. Он с трудом переносит жизнь в коллективе — к ней он преисполнился отвращением еще раньше. Конечно, у каждого стипендиата была своя комната, позволявшая достичь некоторой автономности. Но все же это был пансион, где постоянно находилось человек двадцать, поскольку кроме десяти принятых в 1951 году в Тьере проживали стипендиаты, набранные годом раньше. За обедом собирались все.

В Тьере Фуко быстро стал объектом всеобщей ненависти. Он задирал всех подряд, устраивает скандалы, затевает ссоры. Его отношения с пансионерами — постоянный конфликт. Любовная связь с одним из обитателей завершается драмой. Фуко заподозрен в краже писем из почтовых ящиков... У него нет ни малейшего желания оставаться в Тьере, и у Тьера нет ни малейшего желания терпеть пребывание Фуко.

Осенью 1952 года он сдается и становится ассистентом в Лилльском университете.

Глава четвертая

Карнавал безумцев

Когда Фуко появился в Эколь, «кайманом» по философии был Жорж Гусдорф. Сегодня он известен своими трудами по истории западной мысли. Но в те годы его не знали, так как он еще ничего не опубликовал. Гусдорф интересовался психологией и в 1946–1947 годах вместе с другом Жоржем Домезоном организовал для своих учеников вводный курс психопатологии. Курс включал демонстрацию пациентов из больницы Святой Анны и цикл лекций, которые читались в Высшей нормальной школе Домезоном, а также другими психиатрами, такими, как Лакан или Ажуриагерра... Гусдорф предлагает студентам расширить экспериментальную программу. Тесно связанный с Домезоном («мы оба были протестантами»), он пользуется этой дружбой, чтобы каждый год отправлять группу студентов Эколь Нормаль в Флерилез-Обре, что недалеко от Орлеана — в свою психиатрическую больницу. На протяжении недели студенты слушают разъяснения врачей и их ассистентов и бродят по обширной больничной территории. Больница Флерилез-Обре совсем не похожа на тюрьму: ее здания рассеяны по довольно обширному лесному массиву.

Альтюссер, сменив Гусдорфа, также водит своих учеников в больницу Святой Анны. Они присутствуют на занятиях одного из ведущих психиатров — Анри Эя. Благодаря Жоржу Домезону и Анри Эю, Фуко довольно рано познакомился с новаторскими течениями в психиатрии и сблизился с людьми, которые, примкнув к группе, издававшей журнал «*Evolution psychiatrique*», пытались переосмыслить в более либеральном духе теорию и практику своей дисциплины. Психиатрия, которую он наблюдал в тот момент, не носила ни «репрессивного», ни «карательного» характера.

С первых лет обучения в Эколь Нормаль Мишель Фуко начал пристально изучать психологию. Получив в 1948 году в Сорбонне в области философии степень лиценциата, он решает получить также лицензиат в области психологии. Он ходит на лекции Даниеля Лагаша, который преподает общую и социальную психологию на филологическом факультете. Кроме того, он должен пройти обучение на естественнонаучном факультете, чтобы получить аттестат по психофизиологии. Тут Фуко куда менее прилежен и договаривается с Андре Вергезом и Луи Мазориком о том, чтобы ходить на занятия по

очереди. В 1949 году он получает лицензиат, к которому в июне того же года присовокупляет диплом парижского Института психологии — тут тоже не обошлось без Даниеля Лагаша.

Лагаш — известное имя в послевоенной психологической науке. Он окончил Эколь Нормаль в 1924 году одновременно с Ароном, Кангийемом, Низаном и Сартром. Получив звание агреже в области философии, он предпочел заниматься клинической психологией. Какое-то время он преподавал в Страсбурге, а в 1947 году был переведен в Сорбонну. Лекция о единстве психологии, которую он произнес при вступлении в должность, была посвящена использованию психоанализа в клинической науке и наделала много шума. Она будет издана в 1949 году. В то же время он начал преподавать в Институте психологии.

Фуко посещает занятия Лагаша с большим рвением, поскольку решает посвятить себя психологии и даже планирует учиться медицине. Он идет к Лагашу, чтобы выяснить, нужно ли быть врачом, чтобы специализироваться в области психологии. Лагаш не удивлен. «В те годы многие философы, которых привлекали психология, психоанализ или психиатрия, задавались таким вопросом», — объясняет Дидье Анзье, выбравший для себя психоанализ. Сам он не стал учиться на врача. Жан Лапланш, кажется, один из тех немногих, кто сделал этот шаг. Фуко склоняется к тому же, но Лагаш отговаривает его, как он отговаривает всех, кто обращается к нему с подобным вопросом. «Если бы мы жили в Соединенных Штатах, это было бы необходимо, а здесь, во Франции, не стоит», — говорит он. Фуко, пользуясь случаем, обращается к именитому психиатру с тем, чтобы проконсультироваться у него по поводу собственных проблем.

Но Лагаш отказывается совмещать разные ипостаси. Он не хочет быть одновременно профессором и психотерапевтом для своего студента. Поэтому он дает Фуко координаты одного из практикующих психоаналитиков. В течение какого-то времени его рекомендательное письмо пролежит под спудом. Позже Фуко решится пройти «курс», но эта авантюра не продлится более трех месяцев. На протяжении многих лет он будет мучиться проблемой: стоит ли ходить к психоаналитику?

После получения звания агреже Фуко не прерывает учебы. Став стипендиатом Тьера, он решает получить еще один диплом — на этот раз в Институте психологии. И в 1952 году действительно добывается диплома по психопатологии, пройдя курс, включавший лекции профессоров Пуайе и Делая, клинические занятия с «демонстрацией больных» в огромном амфитеатре больницы Святой Анны, а также «теоретический психоанализ»,

читавшийся профессором Бенасси в той же больнице, поскольку институт не располагал собственным помещением. Пьер Пишо, руководивший практическими занятиями тех, кто готовился по этой специальности, хорошо помнит Фуко. Этот студент не особенно нравился ему. Пишо должен был ознакомить студентов с практикой тестирования. Фуко кажется ему типичным представителем Эколь Нормаль, склонным скорее к теоретизированию, отрицающим экспериментальный характер психологии. В одной из первых статей, написанной в 1953 году, Фуко не без язвительности вспоминает о своих стычках с представителями так называемой чисто «научной» психологии. Он упоминает вопрос, который был ему задан, едва лишь он появился в логовище экспериментальной психологии: вы хотите заниматься настоящей, научной психологией или же предпочитаете психологию в духе месье Мерло-Понти? Фуко иронизирует: «Заслуживает внимания не столько догматизм в определении границ «настоящей психологии», сколько замешательство и глобальный скептицизм, которые скрываются за этим вопросом. Было бы странно, если бы биолог задал аналогичный вопрос: что вы предпочитаете — научную биологию или же ненаучную?» И добавляет:

«От исследования должно требовать объяснения положенного в его основу типа рациональности; необходимо задаваться вопросом об этом базисе, не обладающем, как известно, сложившейся научной объективностью»^[82].

Однако Фуко на протяжении длительного времени живо интересуется психотехниками и экспериментами в области психологии. Он даже покупает все необходимое для теста Роршаха. Нужно сказать, что он прошел хорошую школу: Даниель Лагаш активно внедрял эту методику во Франции. В какой-то степени он был одним из первых ее адептов, и когда во Франции появится «Группа Роршаха», он станет ее почетным президентом. Фуко нравится подвергать проверке слушателей Эколь Нормаль: тест состоит в том, что испытуемый должен рассказать, какие ассоциации вызывают у него чернильные пятна, нанесенные на картонки разного цвета. Основываясь на ответах, Фуко предлагает интерпретацию глубинной личностной структуры волонтера, согласившегося на эту игру. «Таким образом я узнаю, что у них на уме», — говорит он Морису Пине, отказавшемуся от эксперимента. Многие бывшие студенты Фуко помнят о том, как проходили этот тест. Фуко многие годы был верен Роршаху — как в Клермон-Ферране, так и в Тунисе он будет посвящать много часов

занятий тому, что его товарищам казалось простым развлечением.

Тест Роршаха покорила и Жаклин Вердо. Эта женщина сыграет колоссальную роль в становлении Мишеля Фуко. Она давно знает семью Фуко; во время войны отец из соображений безопасности отправил ее с братом в Пуатье. Жаклин Вердо со временем стала ассистентом-анестезиологом отца Мишеля, который продолжал работать хирургом в Пуатье, в частности, в импровизированной больнице, устроенной в просторном иезуитском коллеже, куда поступали раненые в период, когда немцы оккупировали север Франции. Как только немецкие войска вошли в Пуатье, девушка уехала из города. Прошло несколько лет. Война кончилась. И госпожа Фуко обращается к ней с просьбой присмотреть за сыном, перебравшимся в Париж. Фуко часто ужинает у Жоржа и Жаклин Вердо. Они жили неподалеку от Национальной Ассамблеи, в доме № 6 по улочке Виллерсексель, выходящей на бульвар Сен-Жермен. Жаклин Вердо с головой ушла в занятия психологией и работала с мужем, только что защитившим диссертацию у Жака Лакана. В больнице Святой Анны они создали лабораторию электроэнцефалографии. Жан Делай предоставил им помещение: несколько комнат на чердаке больницы, где они обосновались вместе с Андре Омбреданом, бывшим учеником Жоржа Дюма. Омбредан закончил перевод книги о психодиагностике и попросил Жаклин Вердо, которая была германисткой, передать его труд известному швейцарскому психиатру Ролану Кюну. Одновременно Омбредан дал ей почитать книгу Кюна «Феноменология маски». Жаклин, прочитав ее, уезжает в Мюнстерлинген, на берег озера Констанц. Она показывает Кюну перевод Омбредана, а также просит психиатра разрешить ей перевести «Феноменологию масок», которая произвела на нее сильное впечатление. Он соглашается. Но у него есть встречное предложение: почему бы не перевести какую-нибудь работу его коллеги, обосновавшегося в трех километрах отсюда — Людвига Бинсвангера? Бинсвангер руководил клиникой в Йене, где в свое время лечился Ницше. Жаклин Вердо отправляется к нему. Она поражена тем, как организовано дело в этом «приюте»: роскошные здания рассыпаны по парку, украшенному кустами роз. Бинсвангер засыпает ее вопросами прежде, чем решается дать свое согласие, но, в конце концов, отправляется в библиотеку за текстом, который он хотел бы в первую очередь увидеть на французском языке: речь идет о длинной статье, озаглавленной «Сон и экзистенция».

Бинсвангер уже на протяжении многих лет развивает теорию, названную им «экзистенциальным анализом». Он дружил с Фрейдом, Юнгом, Ясперсом, Хайдеггером, причем последний оказал на него

особенно сильное влияние. Труд Бинсвангера насыщен философскими терминами, и Жаклин Вердо, вернувшаяся в Париж, предложила Фуко помочь ей с переводом. Фуко это не смутило. Над французской версией статьи они работают вместе. Она каждый день приходит в Эколь Нормаль, где у него есть свой кабинет. Идет 1952 год, и Фуко по просьбе Альтюссера начинает работать со студентами. Они обсуждают, как лучше передать те или иные понятия средствами французского языка. Как-то вечером после окончания работы Жаклин Вердо приводит своего молодого соавтора в гости к Гастону Башляру, горячему поклоннику Бинсвангера, который позже вступил в переписку со знаменитым психиатром.

Фуко и Жаклин Вердо несколько раз выезжают в Швейцарию, где встречаются с Кюном и Бинсвангером и знакомят их с тем, как продвигается работа над переводами. Дискуссии разворачиваются в основном вокруг терминологии Хайдеггера. Часами они ищут французский эквивалент немецкому *Dasein*. В конце концов они остановятся на простом слове «*présence*» («присутствие»), заменив им уже ставшее привычным «*être-la*» («там-бытие»). Когда перевод статьи Бинсвангера закончен, Жаклин Вердо говорит Фуко: «Если Вам нравится текст, напишите предисловие к нему». Трудности не пугают Фуко, и он немедленно садится за работу.

Через некоторое время Жаклин Вердо, отправившаяся с мужем на пасхальные каникулы в Прованс, получает толстый пакет. «Вот вам пасхальное яичко», — говорится в короткой записке, приложенной Фуко к пространному тексту. Это предисловие. Жаклин Вердо сначала берет оторопь: судя по количеству страниц, предисловие обещает быть длиннее самого трактата. Так оно и есть. Жаклин принимается за чтение и приходит в восторг. «Это гениально» — таков ее вердикт.

Они снова отправляются к Бинсвангеру, на этот раз, чтобы показать ему отредактированный текст перевода и предисловие. Автор остается крайне доволен и тем и другим. Теперь нужно убедить издателя, который с недоверием относится к идее публикации нелепой книги, состоящей из длинного предисловия, подписанного никому не известным философом, и статьи психиатра, о котором тоже ничего не известно, по крайней мере во Франции. Но Жаклин Вердо удается настоять на своем. Книга выходит в 1954 году в издательстве Декле де Бруве в серии «Тексты и исследования по антропологии». Эпиграфом стал отрывок из «Формального раздела» Рене Шара: «Достигнув зрелости, я увидел, что над стенкой, разделяющей жизнь и смерть, возвышается и тянется в заоблачную высь нагая лестница, обладающая исключительной способностью вырвать вас из тисков

реальности: сновидение... И сразу же тьма отступает, и ЖИЗНЬ, принимая форму аллегорического аскетизма, обращается обретением необычайной власти, которую мы временами в себе смутно чувствуем, но никогда не можем выразить со всей полнотой, ибо не достает нам верности, жестокой прозорливости и упорства». Исследование Фуко открывается поэтическим текстом Шара и заканчивается длинными цитатами из того же произведения, дающего, как ему казалось, ключ к пониманию сна.

Текст Фуко ярок и страстен. Его привлекает в Бинсвангере то, как тот примирил и соединил достижения Фрейда и Гуссерля. Но Фуко идет дальше и предлагает свое видение темы. «В любом случае глубинным смыслом сна является смерть», — пишет он. И именно в снах о смерти «бытие может узнать самое главное о себе»^[83]. Отсюда следует, что «примат сна необходим при изучении антропологии конкретной личности». Однако Фуко говорит также о том, что следует — в силу «этической проблемы и исторической необходимости» — преодолеть этот примат^[84]. Заметим, что Фуко цитирует работы Минковского, «Внешний мир и сны» Башляра, Мелани Клейн и... доктора Лакана. В это время он читал Лакана и горячо советовал Жан-Клоду Пассерону, приступившему к написанию дипломной работы о «зеркальности», достать текст Лакана «Семейные комплексы», опубликованный во «Французской энциклопедии».

Итак, Жаклин Вердо и Мишель Фуко в 1952 и 1953 годах несколько раз встречались с Роланом Кюном и Людвигом Бинсвангером. В первый раз они приехали к Кюну в больницу Мюнстерлингена накануне последнего карнавального дня перед постом. Согласно традиции в этот день пациенты готовят костюмы и маски. Ряженные врачи, медсестры и пациенты собираются в праздничном зале. В конце вечера маски летят в огонь и сжигаются вместе с чучелом карнавала. Странное действо сильно поразило Фуко. «Этот праздник безумцев похож на праздник мертвых», — сказал он своей приятельнице.

Фуко и та, кого он называет «моя женщина», увидятся с Бинсвангером еще раз, когда он приедет в отпуск в Тессин, на берег озера Бризаго. Парочка встретилась во Флоренции и, проведя несколько дней в Венеции, отправилась на машине в летнюю резиденцию психиатра. Путешественники посвятили немало времени посещению храмов и музеев. «Он обожал живопись, — рассказывает Жаклин Вердо, — и научил меня понимать флорентийские фрески Мазаччо». Однако, как она совершенно отчетливо помнит, он ненавидел природу. Стоило ей обратить его внимание на какой-нибудь великолепный пейзаж, на озеро, сверкающее под солнцем,

как он тут же демонстративно поворачивал в сторону дороги, говоря: «Что до меня, то я и смотреть на это не хочу». Они провели в обществе психиатра несколько дней. Тот неоднократно водил их пить чай к своему другу Чиляци, философу школы Хайдеггера, которого Фуко цитировал в своем предисловии. Разговоры вращались вокруг Хайдеггера, феноменологии и психоанализа с его основным вопросом: является ли он научным? То, что это так, Бинсвангер доказывал всей своей жизнью.

Общение с Бинсвангером, чтение его работ сыграют важнейшую роль в жизни Фуко. Да, он отойдет от этой формы «феноменологической психиатрии», но исследования Бинсвангера откроют для него нечто вроде глубинной реальности безумия. «Знакомство с «экзистенциальным анализом» или «феноменологической психиатрией», несомненно, было очень важным для меня, — скажет он позже. — В то время я работал в психиатрических больницах, стремясь найти какие-то методы, отличающиеся от рецептов зашоренной традиционной медицины, какой-то противовес им. Конечно, впечатляющие описания безумия, данные психиатром, были для меня определяющими как фундаментальный, уникальный и ни с чем не сравнимый опыт. Полагаю, что Ланг также был поражен всем этим: и для него экзистенциальный анализ на протяжении долгого времени служил основной референцией (он был ближе к Сартру, я — к Хайдеггеру)...

Думаю, экзистенциальный анализ позволил мне выделить и лучше очертить наиболее тяжелую и подавляющую составляющую академического психиатрического знания»^[85]. Как бы там ни было, сто двадцать страниц предисловия Фуко лучше всего отражают его интеллектуальные искания, характерные для того времени. На более глубоком уровне этот текст предстает как основное свидетельство, позволяющее выявить то, чем он занимался, проблемы, которые он ставил и будет ставить позже; как документ, дающий возможность увидеть отправной пункт, генезис его трудов.

В 1983 году в первом варианте предисловия к «Использованию удовольствий», опубликованном в Соединенных Штатах, Фуко вернется к вопросу о том, чем он обязан Бинсвангеру и как он отошел от него: «Изучение истории разнообразных опытов в качестве темы выросло из старого проекта, состоявшего в том, чтобы заставить работать методы экзистенциального анализа на поле психиатрии и в области душевных болезней. Этот проект не удовлетворял меня по двум причинам, существовавшим отнюдь не изолированно друг от друга: его теоретическая слабость, проявившаяся при переходе от опыта к понятиям, а также

двусмысленность его связи с практической психиатрией, на которую он был ориентирован, но которую при этом игнорировал. Первую проблему можно было попытаться решить, обратившись к общей теории антропологии; что же касается второй, то, вероятно, следовало прибегнуть к «экономическому и социальному контексту», как это часто делается; что позволило бы справиться с дилеммой, господствовавшей в те годы: «философская антропология или социальная история». Но я размышлял над тем, не лучше ли было бы, отказавшись от этого пути, попытаться осмыслить саму историчность разных форм опыта». Подробно изложив этапы, приведшие его к изложению истории в терминах «форм опыта», Фуко добавляет:

«Очевидно, что чтение Ницше в начале пятидесятих годов расчищает путь к решению проблем такого рода, позволяя порвать с двумя традициями: феноменологией и марксизмом»^[86].

Мишель Фуко сотрудничал с Жаклин Вердо в области психологии и в больнице Святой Анны. Его статус не совсем ясен: он стажер. Это говорит разве что о том, что у него нет официальных обязанностей и он не получает зарплату.

В эти годы он пансионер Тьера, чуть позже — ассистент в Лилльском университете. Следовательно, его «стажировка» в лаборатории электроэнцефалографии не связана с необходимостью зарабатывать. Он помогает Жаклин проводить тестирование и ставить эксперименты. Здесь все занято главным образом измерением: измеряются церебральные волны, сопротивляемость кожи на ладонях, ритм дыхания. Того, кто подвергается экспериментам, усаживают в кресло, связывают, опутывают проводами. Электроды на голове, на ногах, на руках... Это снаряжение позволяет психологу зафиксировать нервные реакции всего организма. Иногда сам Фуко становится объектом исследований. Но чаще он помогает проводить опыты и интерпретировать их. Робер Франсез, психолог и музыковед, приходит в лабораторию, чтобы разработать тест, основанный на прослушивании музыки. И нет ничего удивительного в том, что Жан Депран, которого Франсез попросил сыграть роль подопытного кролика, увидел среди экспериментаторов и технических сотрудников Фуко.

Само собой разумеется, что в задачи лаборатории не входили исследования чисто теоретического характера, как, впрочем, и игровые эксперименты. Она находилась в подчинении Жана Делая и была интегрирована в систему служб больницы. Жорж и Жаклин Вердо должны

были прежде всего проводить диагностику — очерчивать «контуры» болезни пациентов, содержащихся в больнице.

В одном из интервью 1982 года Фуко так расскажет об этой работе:

«В психиатрической больнице у психолога нет очевидного статуса. И мое положение студента-философа было тем более странным. Глава службы держался со мной очень доброжелательно и позволял мне делать всё, что я хотел. [...] Я находился в общей иерархии где-то между пациентами и врачами, что не было связано ни с личными качествами, ни с особенным отношением ко мне, а являлось следствием двусмысленности моего статуса, заставлявшего меня дистанцироваться от врачей. Я уверен, что речь не шла о личных заслугах, поскольку помню, что в то время постоянно чувствовал себя не в своей тарелке. И только через несколько лет, начав работать над книгой, посвященной истории психиатрии, пережитый мной опыт неловкости принял форму исторической критики или же структурного анализа».

На вопрос, способствовала ли работа в больнице Святой Анны созданию негативного образа психиатрии, Фуко ответил:

«Вовсе нет. Это была большая больница, достаточно типичная, такая, какой она рисуется в воображении. Однако должен сказать, она выгодно отличалась от большинства провинциальных больших больниц, где мне впоследствии пришлось побывать. Она относилась к числу лучших больниц Парижа. Нет, ничего жуткого там не происходило. И именно это очень важно. Если бы я вел такую же работу в маленькой провинциальной лечебнице, возможно, у меня сложилось бы впечатление, что проблемы обуславливались географией или другими местными особенностями»^[87].

Фуко работал психологом не только в психиатрической больнице, но и в тюрьме. В 1950 году министерство здравоохранения обратилось к Жоржу и Жаклин Вердо с просьбой открыть лабораторию электроэнцефалографии в тюрьме Френ, где располагалась главная тюремная больница Франции. Перед лабораторией ставились две задачи: по направлению врачей обследовать больных из числа заключенных с целью выявления возможных

черепно-мозговых травм, скрытой эпилепсии, неврологических проблем, а также проводить серии тестов, связанные с возможностью перевода заключенных в тюрьмы-школы, такие, как типография в Мелане. Жаклин Вердо ездит в тюрьму каждую неделю и берет с собой Фуко в качестве ассистента. На протяжении двух лет она учит его проводить несложные обследования, посвящает его в нюансы дешифровки результатов. Они обсуждают отдельные случаи, составляют картотеку обследованных пациентов...

Итак, в те годы Фуко занимался профессиональной экспериментальной психологией. Его обучение вышло за пределы университетских аудиторий и стало полевым — Фуко сталкивался с реальными болезнями, наблюдал реальных больных. Ему приоткрылась сущность двух миров, подлежащих изоляции: «безумия» и «правонарушения». И сам он оказывается в стане тех, кто «наблюдает», «обследует», «констатирует», несмотря на то, что его неясный и неопределенный статус позволяет ему дистанцироваться от профессии психолога, которую он осваивает.

Глава пятая

Сапожник Сталина

Еще до назначения в Лилль Мишель Фуко начал преподавать психологию в Эколь Нормаль. Конечно же при содействии Луи Альтюссера. Как только Фуко получил звание агреже, Альтюссер настойчиво стал склонять его к преподаванию. С осени 1951-го по весну 1955 года вечер каждого понедельника Фуко посвящает чтению лекций в небольшой аудитории имени Жана Кавайеса. Слушателей довольно много: от пятнадцати до двадцати пяти человек. Обычно же слушателей на лекциях в Эколь Нормаль не больше пяти или шести. Итак, студентов немало, и они преисполнены энтузиазма. «Это гениально!» — восклицает однажды Жан-Клод Пассерон, выходя из аудитории. Поль Вейн вспоминает: «Лекции Фуко были очень популярны, на них ходили как на спектакль». А вот что говорит Жак Деррида: «Как и на многих других, на меня произвел огромное впечатление его ораторский дар. Поражали мастерство, блеск и властность его речей». Основные темы лекций нашли отражение в его работах того времени. Обзор истории психологии за сто лет, от 1850 до 1950 года, был написан в 1953 году по просьбе Дени Гюисманса, который хотел обновить «Историю философии» Альфреда Вебера. Фуко использовал свои знания также в своей первой книге «Психическое заболевание и личность», созданной в том же году.

Фуко продолжает традицию и также водит своих учеников в больницу Святой Анны, где они присутствуют при демонстрации пациентов. Жан-Клод Пассерон, например, слушал разъяснения Домезона. Жак Деррида сохранил живые воспоминания об этих занятиях, не лишенных драматизма:

«Фуко водил нас туда группами по три или четыре человека. Мы устраивались в кабинете Домезона, проводившего клинические занятия со студентами. Приводили пациента, которого осматривал и расспрашивал какой-нибудь молодой врач. Мы просто присутствовали при этом. Это было мучительно. Затем врач удалялся, записывал свои соображения и возвращался, чтобы представить их на суд Домезону».

В эти годы Фуко становится центром, если не главой, небольшой группы студентов-коммунистов. В группу входят Поль Вейн, Жан-Клод

Пассерон, Жерар Женет, Морис Пенге, Жан Молино и Жан-Луи Ван Режеморттер, по общему мнению, беззаветнее всех преданный молодому профессору. Все они года на три или четыре моложе Фуко и боготворят его. Они коммунисты, но не придерживаются линии партии. Другие студенты, исповедующие ортодоксальный коммунизм, называют их «народной группой» или же «марксистским Сен-Жермен-де-Пре».

Члены группы часами беседуют в холле при входе в здание школы или же во дворе. И Фукс, как прозвали студенты своего наставника (*Fuchs* по-немецки значит «лиса»), проводит с ними много времени. Он устраивает себе кабинет в заброшенном помещении для хранения пластинок, расположенном над аудиторией Дюссан, и называет его «лабораторией по психологии». Но все оборудование лаборатории состоит из коробки из-под обуви, в которой живет мышка. «А вот и лаборатория», — со смехом говорит он посетителям, указывая на коробку. На полках, стоящих у стен, навалены пыльные диски на 78 оборотов — они уже вытеснены долгоиграющими пластинками. В этом кабинете он принимает студентов и друзей. И часами болтает со своим конфидентом того времени — Морисом Пенге, который через много лет напишет прекрасную книгу «Добровольная смерть в Японии».

Как и другие члены «народной группы», Фуко состоит в Французской коммунистической партии. Он ни разу не прокомментировал свое вступление в партию. Вот, например, что он говорит о политической ситуации тех лет в 1978 году в беседе с Дучо Тромбадори:

«Как могли воспринимать политику те, кому сразу после окончания войны исполнилось двадцать, те, кто пережил как трагедию свое неучастие в войне, в эпоху, когда шла речь о выборе между сталинским СССР и трумэновскими Соединенными Штатами? Или между старой французской секцией Интернационала и христианской демократией? Многим французским интеллектуалам, в том числе и мне, была отвратительна мысль о профессиональной карьере буржуазного типа: профессор, журналист, писатель и так далее. Сам опыт красноречиво говорил о срочной необходимости построить общество, коренным образом отличавшееся от того, в котором мы жили, от общества, впустившего нацизм, продавшегося ему, а затем вступившего в союз с де Голлем. На все это большая часть французской молодежи ответила тотальным отрицанием...»^[88]

Эти слова Фуко произносит не для того, чтобы объяснить, почему он вступил в партию. Речь идет о причинах, по которым он обратился к Ницше и Батаю, отмежевавшись от гегельянства и феноменологии, являвшихся в его глазах звеньями традиционной философии.

И когда собеседник Фуко, удивленный его словами, опять возвращается к вопросу о марксистской культуре той эпохи, философ отвечает:

«Для многих из нас, молодых интеллектуалов, интерес к Ницше или к Батаю вовсе не был результатом отхода от марксизма или коммунизма. Наоборот, марксизм приблизил нас к ним. Гегелевская философия не взывала к тому, чтобы полностью опрокинуть мир, в котором мы жили. С другой стороны, мы искали интеллектуальные пути, которые привели бы нас туда, где, как мы полагали, формировалось или существовало что-то принципиально иное, иначе говоря, в коммунизм. И таким образом, не зная толком Маркса, отказавшись от Гегеля, испытывая тоску из-за ограниченности экзистенциализма, я решил вступить в коммунистическую партию. Шел 1950 год. Быть «коммунистом-ницшеанцем»! Задача запредельная и даже, если хотите, нелепая; я отдавал себе в том отчет»^[89].

Очевидно, что Фуко переосмысливает пройденный им интеллектуальный и политический путь. Конечно же не ницшеанство подтолкнуло его к вступлению в партию. Чтение Ницше приходится на более позднее время; во всяком случае, как свидетельствуют очевидцы, влияние этого философа стало определяющим ближе к 1953 году. Морис Пенге вспоминает о том, как Фуко открыл для себя Ницше. Это произошло в 1953 году на итальянском пляже во время летних каникул:

«Гегель, Маркс, Фрейд, Хайдеггер — вот имена, на которые он постоянно ссылался в 1953 году, и тут вдруг произошла его встреча с Ницше. Я так и вижу пляж Чивитавеккья и Мишеля Фуко, читающего на солнце «Несвоевременные размышления»»^[90].

Эту же дату подтверждает Поль Вейн, который в 1983 году много беседовал с Фуко и записывал содержание разговоров в дневник. Фуко сообщил ему, что принялся читать Ницше в 1953 году. И заявил:

«Когда я был в коммунистической партии, марксизм казался мне здоровой теорией».

Достаточно прочитать тексты, опубликованные Фуко в ту пору, чтобы убедиться, что ницшеанством тогда еще и не пахло. Что же касается марксизма, то он образует своего рода горизонт его мысли, хотя Фуко все же трудно причислить к чистым и прямолинейным марксистам. Стоит, например, в связи с этим обратиться к первому изданию «Психической болезни и личности». Мы еще вернемся к этой книге чуть позже. Заметим, впрочем, что вступление Мишеля Фуко в ФКП не повлияло на его поведение в той степени, как это имело место в других случаях. Он крайне редко посещал собрания ячейки. «Помню, однако, — пишет Морис Пенге, — что как-то вечером он явился на собрание, проходившее на втором этаже маленького кафе на площади Контрескарп, и тут же разразился гневной речью против соглашения по углю и стали»^[91]. Фуко никогда не принимал участия в борьбе партии. Он никогда не участвовал в распространении газеты «Humanité», никогда не разбрасывал листовок, никогда не ходил на демонстрации. За исключением одного раза, уточняет Жан-Луи Гарди. Тогда у «Humanité» возникли проблемы, и Гарди с Фуко, как и другие сочувствующие, пришли к редакции коммунистической газеты, чтобы получить экземпляры номера для распространения в Латинском квартале. «Но ни Фуко, ни я, — добавляет он, — не были созданы для этого. Мы не были борцами». И уж конечно, ни с политической, ни с интеллектуальной точки зрения Фуко не вписывался в ряды тех, кто называл себя «сталинистами». Леруа Ладюри, самый известный из них, отмечает это в книге воспоминаний:

«В то время Мишель Фуко гораздо меньше чем кто-либо другой принимал эксцессы сталинизма»^[92].

Тем не менее Жан-Клод Пассерон и Александр Матерон вспоминают, что Фуко принял участие в серии заседаний, проходивших в Мезон де Леттр на улице Феру, неподалеку от площади Сен-Сюльпис. «Коммунисты из числа студентов, готовившихся к экзамену на звание агреже по философии, создали рабочую группу, — рассказывает Александр Матерон. — Некоторые философы — члены партии (Дезанти, Вернан и другие) согласились выступить перед ними. Фуко, который в то время был ассистентом в Лилле и преподавал в Эколь, сделал на одном из заседаний сообщение о Павлове». Оно укладывалось в рамки изложения истории

психиатрии — седьмая глава книги «Психическая болезнь и личность». Конечно, добавляет Пассерон, то, что говорил Фуко, не было полностью выдержано в духе ортодоксального марксизма того времени, но все же он цитировал Сталина. В конце сообщения Фуко действительно сослался на фразу Сталина о бедном спившемся сапожнике, который колотит жену и детей. Эта цитата понадобилась ему для того, чтобы объяснить, что психические патологии являются плодами нищеты и эксплуатации и что только радикальная смена условий существования может положить этому конец. Пассерон предполагает, что тем самым Фуко «подмигнул» «народной группе», присутствовавшей на заседании. Не исключено, впрочем, что было просто немыслимо не упомянуть имени Сталина на заседании, организованном компартией, о чем бы на нем ни шла речь. Пусть даже у Фуко и был особый статус: никто никогда не упрекал его в том, что он не ходил на собрания ячейки. Более того, никто не ставил ему в упрек споров с Жан-Луи Ван Режи-мортиером^[93] по поводу статей о Советском Союзе, публиковавшихся в «Юманите», а это было куда серьезнее.

Все свидетельства того времени указывают на то, что Фуко не был пламенным борцом. Можно даже сказать, что он держался в стороне от коммунистической партии. Как иначе объяснить странный разговор, записанный в дневнике Клода Мориака? В 1971 году Фуко говорил Жан-Клоду Пассерону: «Помнишь, как мы работали «неграми» в «La Nouvelle Critique»? И ту пресловутую статью — «Свести счеты с Мерло-Понти»? Такова была формулировка. Кажется, эта статья так и осталась недописанной. Однако «La Nouvelle Critique» обязана нам многими другими страницами». Клод Мориак, вмешавшись в диалог, спрашивает:

«А не были ли эти статьи подписаны Канапа?»^[94]

После выхода в свет этого тома «Неподвижного времени» предположение, что Фуко писал статьи за Жана Канапа, главного редактора «La Nouvelle Critique», сталинского аппаратчика, которого в 1954 году Сартр в «Temps modernes» обозвал «кретином», стала восприниматься как непреложная истина. К тому же Фуко не опроверг эту гипотезу, не сказал Клоду Мориаку, что дело обстояло не так. Он лишь внес уточнение, как следует из рассказа Клода Мориака, попавшего в один из следующих томов «Неподвижного времени»: «Я не писал тексты за Канапа. Может быть, два-три, не больше. Было бы правильнее сказать...» Фраза повисает в воздухе, поскольку Клод Мориак перебивает его, чтобы заметить, что Фуко оставил

без внимания цитату, приведенную в одном из предыдущих томов^[95].

Если углубиться в ситуацию, ясности становится еще меньше. Прежде всего, следует отметить, что Жан Канапа не нуждался в «неграх», для того чтобы написать статью. Пьер Деке, входивший в редакционный комитет журнала, прямо говорит об этом: «Канапа писал статьи с великим тщанием, продумывая малейшие нюансы формулировок, и никому не позволялось вступать в этот процесс, а если и удавалось заставить его изменить ту или иную фразу, то только после многих часов споров». Сын Канапа в семидесятые годы встретился с Фуко, и тот, зная, кто его собеседник, ни словом не обмолвился об этом эпизоде своей жизни. Более того: и Жан Канапа, когда его сын Жером рассказал ему о встрече с Фуко, также не упомянул ни о прошлых связях с философом, ни об общении с ним. А Дезанти в ответ на соответствующий вопрос расхохотался: «Фуко просто пошутил». Но есть и другая версия: Фуко писал статьи для журнала «La Nouvelle Critique» не под именем Канапа, а под псевдонимом. Однако никто из членов редакционного комитета, никто из сотрудников журнала того времени — ни Анни Кригель, ни Жан-Туссен Дезанти, ни Франсис Коэн, ни Виктор Ледюк или Жильберта Родригес, которая была секретарем редакции и постоянно состояла при Канапа, — не видели Фуко и не слышали о нем в те годы. Нет ни одного человека, который поверил бы в предположение о сотрудничестве Фуко с журналом. Мишель Верре, изучавший философию в Эколь Нормаль, окончивший Высшую нормальную школу в 1948 году и регулярно писавший для «La Nouvelle Critique», активно протестует: ему кажется совершенно невероятным, что Фуко был одним из авторов журнала. Тем более, уточняет он, что псевдонимами пользовались лишь представители администрации, функционеры высокого уровня или военные. Написанные им самим статьи он всегда подписывал своим именем, как, например, это было в 1949 году, когда он сочинил похвальную рецензию на книгу Луи Арагона «Коммунисты». А статья в защиту немецко-советского пакта, написанная в соавторстве с Александром Матероном и Франсуа Фюре, подписана тремя именами. Другой известный коммунист среди выпускников Высшей нормальной школы, Морис Кавейн, исключает, что Фуко таким образом сотрудничал с парижским интеллектуальным журналом, добавляя, что это противоречило бы его темпераменту. Мишель Крузе, бывший секретарь ячейки, признает, что тоже не был в курсе такого сотрудничества.

Остается лишь обратиться к адресату фразы, переданной Клодом Мориак — Жан-Клоду Пассерону. Но он заявляет, что никогда не писал для «La Nouvelle Critique» — ни под чужим, ни под своим именем, — и

сомневается в том, что Фуко этим занимался. Он припоминает лишь, что студенты Высшей нормальной школы составляли «drafts» — черновые наброски, которые известные авторы журнала могли использовать для своих статей. И еще: в те годы в конце каждого номера «La Nouvelle Critique» помещались небольшие заметки, обычно без подписи, касавшиеся событий, происходивших в Латинском квартале или в Эколь Нормаль. Однако вряд ли Фуко участвовал в написании всех этих текстов, полагает Пассерон. Луи Альтюссер категоричен в своем суждении: абсолютно исключено. А если кто и мог быть в курсе, имело место такое сотрудничество или нет, то это Альтюссер. «Я думаю, — говорит он, — что Фуко хотел сказать своей фразой, что мы не должны снимать с себя ответственности за «канапизм»».

Каков же вывод? Сейчас Клод Мориак не говорит, что реплика соответствует исторической правде. Он лишь утверждает, что Фуко произнес эту фразу в его присутствии. А Жан-Франсуа Сиринелли, изучавший послевоенное поколение коммунистов в Эколь Нормаль и беседовавший с Фуко в 1981 году, рассказывает, что Фуко заметил вскользь, что студенты Эколь писали для «La Nouvelle Critique», причем у Сиринелли создалось впечатление, что философ включал себя в эту группу корреспондентов журнала. Эту загадку пока невозможно разгадать.

И все же о двух вещах можно говорить с полной уверенностью. Во-первых, Фуко написал статью о Декарте для газеты молодых коммунистов «Clarté» по просьбе Мишеля Верре, стоявшего во главе этого издания. Но «блестящий», по словам члена редакционного комитета Александра Матерона, текст сочли слишком трудным для «учащихся масс». И он не был напечатан, несмотря на хвалебные отзывы Матерона и Верре. Во-вторых, вступление Фуко в компартию носило «маргинальный» характер. Об этом он прямо заявил в 1981 году в той же беседе с Сиринелли. И добавил, что состоял в ней недолго. Однако каким бы кратким ни являлось пребывание Фуко в стане коммунистов, оно, видимо, длилось дольше, чем те три месяца, полгода или полтора года, о которых он говорил разным собеседникам. В 1953 году Фуко выходит из компартии. Конечно, причин тому немало. Прежде всего, не стоит сбрасывать со счетов то, что ему было не по себе в структуре, которая отметала и осуждала гомосексуализм как буржуазный порок и признак декаданса. Фуко не мог не ощущать, что гомосексуализм отдалял его от общества. Некоторые гомосексуалисты в это же время были исключены из ячейки. Существует свидетель, подтверждающий эту гипотезу, и ему трудно не верить: это сам Луи Альтюссер. На вопрос, почему Фуко вышел из коммунистической партии,

он, не колеблясь, ответил:

«Из-за своего гомосексуализма».

Сам Фуко объяснял свой выход другой причиной: смущением, охватившим его после так называемого «дела врачей». В 1952 году кремлевских врачей обвинили в том, что они готовили покушение на жизнь «гениального вождя», «отца всех народов». Всё это пахло антисемитизмом, поскольку большинство арестованных врачей были евреями. Тогда все члены Французской коммунистической партии, в том числе и Фуко, поверили официальной версии событий. Вот что рассказал Фуко об этом эпизоде Дучо Тромбадори:

«Я вышел из Французской коммунистической партии после знаменитого «дела врачей», организованного не без участия Сталина зимой 1952 года, и сделал это из-за все возраставшего ощущения дискомфорта. Незадолго до смерти Сталина стало известно, что группа врачей готовила покушение на его жизнь. Андре Вюрмсер^[96] собрал нашу студенческую ячейку, чтобы объяснить суть заговора. Хотя нам все это и не показалось убедительным, мы старались поверить в то, что нам говорилось. Это было частью позиции, которую я охарактеризовал бы как губительную, но которую я разделял; своего рода способ состоять в партии, сводившийся к необходимости поддерживать то, что менее всего походило на правду, что входило в упражнение по «самоуничтожению» и в поиск того или иного способа быть «другим». Поэтому-то мы поверили словам Вюрмсера. Однако через три месяца после смерти Сталина мы узнали, что заговор врачей был чистой выдумкой. Что произошло? Мы написали Вюрмсеру, попросив его прийти и прояснить эту историю с заговором. Но он нам не ответил. Вы скажете: обычное дело, небольшой конфуз... Но именно с этого момента я начал отдаляться от партии»^[97].

Поскольку Сталин умер 5 марта 1953 года, охлаждение, о котором говорит Фуко, видимо, произошло летом или осенью этого года. Жан-Поль Арон рассказывает историю, доказывающую, что в апреле Фуко еще состоял в партии: в этот момент тот же Андре Вюрмсер проводил собрание в Лилле. На этот раз он обрушился с обличительной речью на Пикассо,

написавшего портрет Сталина, который был опубликован на обложке «Lettres françaises», органа Французской коммунистической партии — газеты, посвященной культуре и выпускавшейся Луи Арагоном. На собрании присутствовали Мишель Симон и Фуко. Вюрмсер заявил слушателям, что «не одобренный Торезом, этот портрет обречен на саморазрушение, на смерть от несовершенства или, что означает то же самое, от вредоносности». По словам Жан-Поля Арона, Фуко «начинает трясти» от подобных аргументов^[98]. Начинает трясти!

Как бы там ни было, он еще несколько раз присутствует на собраниях, когда там выступает Вюрмсер. Поскольку Фуко вступил в компартию в 1950 году, получается, что он состоял в ней примерно три года. Что же касается марксизма, то отход от него происходит еще медленнее. Мишель Симон вспоминает, что в 1954 году Фуко заявил в кругу студентов-коммунистов, что «марксизм — не философия, но опыт, лежащий на дороге, которая ведет к философии». А Этьен Верлей, коммунист из Эколь Нормаль, присутствовал вместе с Фуко на собрании, организованном Альтюссером с целью создания группы, которая приступила бы к работе над учебником марксистской психологии. Это было, говорит он, вскоре после выхода книги «Психическое заболевание и личность», то есть весной 1954 года.

Можно сказать, что Фуко вышел из Французской коммунистической партии и отошел от марксизма еще до отъезда в Швецию летом 1955 года. Но он продолжал поддерживать тесные связи с Луи Альтюссером. «Когда я покинул ряды коммунистической партии, он не предал меня анафеме и не захотел порвать отношения со мной»^[99]. Эти отношения, по всей видимости, много значили для обоих. В 1964 году, в книге «Читая «Капитал»», Альтюссер упомянет Фуко в числе «учителей, чьи книги несут знание», наряду с Гастоном Башляром, Кавайесом и Жоржем Кангийемом. Альтюссер, «Туте» или «старый Альт», как называл его Фуко, с энтузиазмом принял первые книги своего ученика. В 1960-е годы, когда вышли книги «Безумие и неразумие» (1961) и «Рождение клиники» (1963), сам он еще ничего не напечатал. Альтюссер отзывался сердечными письмами, в которых говорил о «пионерской работе» и «свободе». Однако выпады Фуко против марксизма, содержащиеся в книге «Слова и вещи», не могли не задеть «каймана», который в это время как раз начал печататься. Когда Фуко иронизировал по поводу теоретических бурь, «которые могли породить несколько волн и смутить водную гладь», называя все это «бурей в стакане воды», всем становилось ясно, что речь идет об Эколь

Нормаль ^[100]. И тогда Альтюссер дополняет английскую версию книги «Читая «Капитал»», появившуюся в 1970 году, примечанием о Фуко, напоминающим предостережение:

«Он был одним из моих учеников, и кое-что из моих наработок перешло в его исследования, в частности, отдельные формулировки. Но в русле его идей и под его пером смысл выражений, заимствованных у меня, превратился во что-то прямо противоположное тому, что я в них вкладывал» ^[101].

Несмотря на теоретические расхождения, о которых было заявлено сдержанно, но твердо, Альтюссер и Фуко останутся друзьями. Фуко всегда будет относиться к Альтюссеру с большим уважением. И находить самые резкие слова, бичуя тех, кто будет смеяться над профессором, когда задуют другие ветра и марксизм выйдет из моды.

Фуко был «коммунистом-ницшеанцем», поскольку все еще находился внутри теоретического пространства, задававшегося феноменологией и марксизмом, когда открыл для себя великих современных писателей — Батая и Бланшо, которые заворожили его, с которыми он будет себя сопоставлять и которых станет цитировать при всяком удобном случае. Именно благодаря этим авторам он порвет тенета, удерживавшие его на территории философии и политики. Это открытие не обошлось без вмешательства Сартра, точнее, его книги литературно-критических очерков «Ситуации», вышедшей в 1948 году, где указанным авторам были посвящены обширные статьи. «Мы приходили к Батаю и Бланшо через Сартра, но мы читали их вопреки Сартру», — объясняет Жак Деррида. Во всяком случае, они приведут Фуко к «ницшеанству», как он будет многократно повторять в дальнейшем. Он откроет также для себя Рене Шара и Беккета. В 1953 году будет поставлена пьеса Беккета «В ожидании Годо» — «спектакль, от которого перехватывает дыхание» ^[102].

Так начался для Фуко период увлечения литературой, длившийся вплоть до конца 1960-х годов, когда на смену литературному пришло политическое видение мира. Фуко скажет однажды Полю Вейну, имея в виду пятидесятые годы: «В то время я мечтал быть Бланшо». И расскажет о том, как со страстью поглощал обзоры, которые этот писатель регулярно публиковал в «Nouvelle Revue française» с января 1953 года. Заметим, что в октябре того же года Бланшо публикует длинный комментарий к «Безымянному» Сэмюэла Беккета и анализирует растворение,

исчезновение «я» и автора в этом тексте^[103]. Возможно, именно благодаря Бланшо Фуко обнаружил эту книгу, которую впоследствии будет часто цитировать, как, например, в 1970 году на инаугурационной лекции в Коллеж де Франс. Он будет приводить цитаты, но, конечно, без ссылки на автора. В том же 1953 году французский перевод книги Карла Ясперса «Стриндберг, Ван Гог, Гельдерлин...» вышел с предисловием Бланшо. Фуко — внимательный читатель Ясперса. В его ранних статьях часто упоминается «Общая психопатология» этого автора. В исследовании «Стриндберг, Ван Гог...» Ясперс набрасывает широкими мазками историю форм безумия:

«Представляется соблазнительным говорить об особой связи, существовавшей между истерикой и разумом, существовавшей до XVIII века, об особой связи, якобы существующей между шизофренией и разумом нашего времени»^[104].

Предисловие Бланшо называется «Безумие прежде всего». В нем можно прочесть:

«То, для чего наука ищет причины, еще не понято. Понимание гонится за ускользающим объектом, мощно и неустанно продвигаясь к области, где оно уже невозможно, где факт, взятый в своей абсолютно конкретной реальности, становится темным и непроницаемым»^[105].

Работы Бланшо, несомненно, являются одним из основных источников, позволяющих понять исследования Фуко в последующие годы.

Что же касается поэзии Шара, ее следы прослеживаются во многих работах Фуко — от самых первых до последних: в предисловии к статье Бинсвангера «Сон и экзистенция» 1953 года или в предисловии к книге «Безумие и неразумие» 1961 года, где Фуко заявляет:

«Что касается правила, метода, то я остановился на том, что содержится в одном тексте Шара, где также можно прочесть самое проникновенное и самое строгое определение истины: «Я сорвал с вещей иллюзию, которую они порождают, от нас защищаясь, и оставил за ними то, что они нам уступают»»^[106].

Предисловие заканчивается еще одной цитатой из Шара — три строчки, взятые в кавычки. На этот раз Фуко не дает никакой отсылки и даже не называет имени автора:

«Вдохновенные спутники, что едва шепчете, идите, потушив лампу, и отдайте сокровища. Новая тайна поет в ваших костях. Развивайте вашу законную непохожесть»^[107].

Рене Шар вновь появляется в 1984 году, на обложке последних книг Фуко «Использование удовольствий» и «Забота о себе». Поль Вейн рассказывает, что в начале пятидесятых годов Фуко знал стихи Шара наизусть и часто цитировал «Акулу и чайку». Несколькими годами позже в Швеции он будет требовать от своих студентов и друзей, чтобы они, прежде чем войти к нему, продекламировали стихотворение Шара.

Но странным образом Фуко, знавший многих и встречавшийся со многими, так и не увидел своих кумиров. Батай умер вскоре после возвращения Фуко во Францию. Ни с Бланшо, ни с Шаром у него не было никаких контактов. В книге «Мишель Фуко, каким я его себе представляю», появившейся после смерти философа, Бланшо рассказывает, что ему довелось поговорить с ним только один раз:

«С Мишелем Фуко у меня не было никаких личных отношений. Я его никогда не встречал, если не считать единственного раза — во дворе Сорбонны во время событий мая 1968-го, быть может, в июне или июле (но мне сказали, что его там не было), когда я обратился к нему с несколькими словами, причем он не знал, кто с кем говорит»^[108].

Бланшо отрецензирует книгу «История безумия» сразу после ее выхода, а через два года — книгу «Раймон Руссель». В 1966 году Фуко посвятит работам Бланшо длинную статью «Мысль извне». Таким будет их диалог, перетекавший из статьи в статью, из книги в книгу. «Вот так-то мы, быть может, и разминулись», — скажет Бланшо^[109]. Но, возможно, в глубине души они хотели, чтобы все обстояло именно так.

Что же касается Рене Шара, то Фуко также никогда с ним не встречался. Он ему даже не звонил — уточняет Поль Вейн, который был связан и с Фуко, и с Шаром. Как-то в 1980 году Вейн и Фуко «составили заговор» с целью провести Шара в Коллеж де Франс. «Заговор» тут же провалился, поскольку они обнаружили, что поэт... уже давно пенсионного

возраста. Сам Рене Шар с большим уважением относился к философу и восхищался его книгой «История безумия», а после смерти Фуко посвятил ему одно из своих последних стихотворений. Правда, это стихотворение, «Сумерки в Крезе», создано не в связи со смертью Фуко — оно написано 21 июня 1984 года, за четыре дня до смерти философа. Шар подарил автограф Вейну, который жил по соседству с ним, в деревне на юге Франции. Ему хотелось утешить Поля, оплакивавшего смерть друга. Но, когда Вейн прочел:

Пара лис, раскидывая снег,
Топтала кромку норы брачной:
В сумерках на иссеченных боках
Любовь жестокая открывается
Обжигающей жаждой в крошках крови, —

он взволновался до слез и сказал поэту: «Мы звали Фуко *Fuchs*». Так возникли посвящение Фуко и идея прочесть четверостишие на похоронах Фуко в Вандевре-дю-Пуату. Вопреки возникшей легенде, никаких других пересечений, кроме того, что произошло *post mortem*, между этими двумя людьми не было. «Как приятно верить в эту легенду! — говорит Поль Вейн в готовящейся им книге о Рене Шаре. — Но честнее раз и навсегда поставить точку».

Глава шестая

Гримасы любви

На заре пятидесятых годов в Лилльском университете было лишь три или четыре преподавателя философии. Преподавательский корпус на французских факультетах тогда еще сильно отличался от того, каким он стал через пятнадцать или двадцать лет. Раймон Полен, Оливье Лакомб и Ивонн Белаваль не хотели заниматься преподаванием психологии и решили найти кого-нибудь, кто снимет с них эту ношу и водрузит на свои плечи. Они составили идеальный образ такого человека: им нужен был философ, интересующийся психологией, и при этом не обычный ремесленник. Как-то, находясь в Париже, Раймон Полен изложил проблему одному из своих коллег, Жюлю Вильемену, и тот назвал имя Фуко. Вильемен сыграет важную роль в карьере Фуко, и нам еще представится случай вернуться к нему. Заметим лишь только, что он был другом Альтюссера и преподавал в Высшей нормальной школе на улице Ульм. Именно там он и познакомился с Фуко. Он вел также занятия в Эколь Нормаль для юношей, находившейся в Сен-Клу, где работал и Полен. Круг замкнулся: Полен связывается с Фуко и принимает его у себя. Фуко объясняет ему, что готовит диссертацию о «философии психологии». Профессор, и без того чувствовавший расположение к Фуко, поскольку до него донеслось эхо его успехов, очарован. И не принимает во внимание слухи о психической нестабильности кандидата, которые могли внушить некоторое беспокойство.

Итак, Мишель Фуко получает место ассистента на кафедре психологии Лилльского университета и приступает к исполнению своих обязанностей в октябре 1952 года. Но не перебирается в этот город. Он каждую неделю приезжает в Лилль на два-три дня и останавливается в небольшой гостинице рядом с вокзалом.

Филологический факультет занимает просторное здание, расположенное в центре города, на улице Опост-Анжелъе, за Дворцом изящных искусств. Фасад из серого камня украшен фронтоном, два ряда колонн ведут к вестибюлю. Все здесь выглядит величественно, пышно и мрачно. Фуко преподает психологию и историю психологии. Он растолковывает суть теорий, представляет отдельных авторов, говорит о психопатологии, о гештальте и тестах Роршаха... Он сбивает с толку студентов, комментируя «Ослиную шкуру» Шарля Перро в качестве

введения в психоанализ. Но затем подробно останавливается на Фрейде и рекомендует слушателям прочесть «Пять лекций о психоанализе». Он также задерживается на «экзистенциальной психиатрии» и работах Кюна и Бинсвангера. И, заключая годовой курс, обращается к советским физиологам, разрабатывавшим теорию Павлова. «То, что я слышал, имело явно марксистскую ориентацию», — говорит Жиль Делёз, посетивший одно из его занятий. Это произошло совершенно случайно. Делёз преподавал в лицее Амьена и приехал в Лилль, чтобы повидать своего друга Жан-Пьера Бамберже, который и повел его слушать Фуко. Это была их первая встреча: Бамберже пригласил обоих к себе на ужин. Вечер прошел неудачно, Фуко и Делёз общались холодно. Их дороги снова пересекутся только через несколько лет.

Никто не контролирует Фуко-преподавателя. Раймон Полен ограничивается лишь тем, что в начале каждого года просит его представить перечень тем, которые войдут в его курс. Он предоставляет ему полную свободу действий. Что хорошо, поскольку, видимо, отношения между профессорами и ассистентом, преподающим психологию, скорее натянуты. Однако курс Фуко имеет успех. В апреле 1954 года в официальном отзыве декан филологического факультета пишет: «Молодой ассистент динамичен. В том, как он организует преподавание научной психологии, чувствуется талант. Заслуживает повышения». Фуко был действительно молод: когда он получил работу в Лилле, ему исполнилось двадцать шесть лет. В двадцать девять он оставит университет и уедет в Швецию.

В Лилле Фуко встретился с некоторыми из друзей по Эколь Нормаль: с Мишелем Симоном, философом, окончившим Высшую нормальную школу в 1947 году и назначенным в лилльский лицей Федерб, с Жан-Полем Ароном, надеявшимся получить место в лицее Туркуан. В 1954 году в тот же лицей Федерб прибыл Марсель Неве, с которым Фуко учился на подготовительных курсах в лицее Генриха ГУ. Эта компания регулярно обедает вместе. Сотрапезники много говорят о политике (Неве и Симон состоят в коммунистической партии), а также о литературе: Симон чувствует тягу к Стендалю, Фуко и Арон предпочитают Бальзака. Все помнят, что Фуко неистово отстаивал еще одного автора — Жака Шардона^[110]. «Клер» — это шедевр», — повторял он.

К концу лилльского периода, длившегося с октября 1952-го по июнь 1955 года, Фуко много говорит о Ницше и о книге, которую он хотел бы написать в рамках увлекшего его философского направления. Но до того, как Фуко охватила новая страсть, его интересы лежали главным образом в

области психологии.

Фуко — психолог? Фуко — философ психологии? Представленный им список работ, написанных в 1952–1953 годах, ясно очерчивает поле исследований: тех, которыми он занят, и тех, которыми он хотел бы заняться. Вот этот список (автограф хранится в архивах Лилльского университета):

«Работы, выполненные в 1952–1953:

- 1) «Психическая болезнь и личность». Законченная работа (в печати, Французское университетское издательство).
- 2) «Фрагменты истории психологии». Статья для переиздания «Истории философии» Ф. Вебера. Законченная работа (в печати).
- 3) «Психиатрия и экзистенциальный анализ» (вторая диссертация). Законченная работа (в печати, изд. Декле).
- 4) Перевод «Gestaltkreis» Вайцзеккера^[111]. Выходит в июле.
- 5) Предисловие к «Traum und Existenz». Исследование должно выйти в июле, изд. Декле».

Два листка с перечнем работ не датированы. Скорее всего, список был составлен в конце 1952/53 учебного года, то есть в мае-июне 1953 года или, самое позднее, осенью 1953 года, в сентябре — октябре. Как бы там ни было, указанные даты выхода работ неверны: «Психическая болезнь и личность» вышла в 1954 году, как и книга «Сон и экзистенция» Бинсвангера, содержащая предисловие Фуко. Перевод «Gestaltkreis» фон Вайцзеккера и статья по истории психологии появятся только в 1957 году. Что же касается третьего пункта списка, то эта работа так и не была напечатана, и о ней вообще никому ничего не известно, хотя она и числится как законченная и отданная в печать. В предисловии к книге Бинсвангера Фуко упоминает о готовой «работе, в которой предпринята попытка найти место экзистенциальному анализу в современных исследованиях, посвященных человеку»^[112], однако она так и не увидела свет. Защита второй диссертации состоится лишь в 1961 году, после того, как будет закончена работа над «Безумием и неразумием», и она будет касаться не психологии и психиатрии, а «Антропологии» Канта. Как это все понимать? Вероятно, к такого рода перечням нужно относиться с осторожностью. Быть может, Фуко, желая удлинить список, включил в него предисловие к книге Бинсвангера дважды: этот текст действительно является пространством исследованием на тему «Психиатрия и экзистенциальный

анализ», своеобразные заметки на полях «Traum und Existenz»^[113].

Но даже если вычесть из лилльского списка одну из работ, количество исследований, сделанных за такой короткий срок, впечатляет и красноречиво свидетельствует о большой работоспособности Фуко: он читает, пишет, преподает... И так будет на протяжении всей его жизни.

Кроме уже упомянутого намерения написать работу о Ницше, у Фуко были и другие идеи. К моменту отъезда в Швецию у него созрели два проекта. Жаклин Вердо — опять она — отвела молодого философа к Колетт Дюамель, работавшей в издательстве «Табль ронд», и та заказала ему — или им? — две книжечки. В одной речь должна была идти об истории смерти, а в другой — об истории безумия.

Конец июля 1951 года: в аббатстве Руайомон, превращенном в культурный центр, проходит музыкальная декада, в которой участвует молодой композитор Пьер Булез^[114], который уже хорошо известен в музыкальных кругах Парижа. В один из вечеров он садится за рояль и играет сонату Моцарта. Слушатели, столпившиеся вокруг него, потрясены. Среди них — Мишель Фуко и Жан-Поль Арон. Они приехали в аббатство с Альтюссером и соучениками по Эколь Нормаль. «Кайман» школы завел обычай привозить учеников в аббатство, поистине идеальное место для работы, где те, кто прошел письменный конкурс на звание агреже, могли спокойно готовиться к серии устных экзаменов. Фуко, потерпевший неудачу годом раньше, оказался здесь во второй раз. Жан-Поль Арон тоже провалился. Он не числился студентом Эколь Нормаль, но был допущен в эту группу благодаря дружбе с Фуко. В книге «Новые» он рассказывает о первой встрече Фуко и Булеза:

«Я услышал, как окруженный толпой молодой человек с безбожным акцентом разглагольствовал о литературе. Он говорил в основном об Андре Жиде^[115], умершем год назад, причем в оскорбительных выражениях. Я навел справки об этом ораторе, вспыльчивом, резком, как бритва, уверенном в себе, словно пророчествовавшем и к тому же плохо воспитанном. Мне сказали, что его имя — Булез, что он известен в узком кругу, что опубликовал — чуть ли не в детстве — «Книгу для квартета» и две сонаты для фортепьяно и что Мессиян^[116] объявил его лучшим из лучших. Действительно, внутри парижской школы, испытывавшей подъем, объявившей себя после 1945 года преемницей венской школы и претендовавшей на то, что именно

благодаря ей во Францию устремился весь цвет европейской музыки, в частности Штокхаузен и Ксенакис, двадцатисемилетний Булез имел все основания считать себя избранным... Как это бывает в период переосмысления ценностей, он выбирает себе новых вождей: Шара и Малларме. Вскоре он посвящает им две большие партитуры: в 1955 году «Молот без мастера» на одноименное стихотворение первого, а в 1960-м — «Складка за складкой» на знаменитую поэму второго. Знакомство с Булезом сыграло важную роль в судьбе Фуко, который всегда испытывал слабость к музыке. Слово за слово, и Фуко сблизился с Булезом. Булез направлял его до тех пор, пока Фуко не сошелся с Жаном Барраке, рано умершим, Мишелем Фано, Жильбером Ами — всем кругом Булеза, позднее распавшимся из-за превратностей музыкальной жизни»^[117].

На самом деле Жан-Поль Арон сильно преувеличивает роль Булеза в становлении Фуко. Этот демонстративный выпад рожден скорее обидой, а не заботой об истине. Булез сблизился с Фуко только в конце семидесятых годов, то есть почти тридцать лет спустя. И еще: это не было тесной дружбой. Да, Фуко инициировал избрание Булеза в Коллеж де Франс в 1975 году, но к тому моменту, когда он позвонил композитору, чтобы поставить того в известность об этом, они не виделись двадцать лет. И официальное сообщение о кандидате сделает Леруа Ладюри. В 1981 году Булез организует colloquium, в котором примут участие Барт, Делёз и Фуко. В 1983 году Булез и Фуко опубликуют диалог о музыке в журнале, издававшемся Бобуром^[118]. Вот, пожалуй, и все. В любом случае, в начале пятидесятых годов они не встречались. Миф о крепкой дружбе Булеза и Фуко — чистая фикция, хотя он воспроизводится с завидным постоянством.

Заметим, что Булез никоим образом не способствовал распространению этого мифа. «Мы виделись, но скорее случайно сталкивались, чем встречались», — говорит он, вспоминая то время. Он очень хорошо помнит сцену в Руайомоне, о которой мы знаем из рассказа Жан-Поля Арона. Этим эпизодом все и ограничилось. Он больше не общался с Мишелем Фуко. Возможно, они виделись мельком благодаря Жану Барраке. И если Булез прочел «Сон и экзистенцию» сразу после ее выхода, то лишь потому, что Барраке одолжил ему свой экземпляр книги. Ибо композитором, много значившим для Фуко, был не Булез, а Жан Барраке — тоже ученик Мессиана, которого в начале его карьеры

воспринимали как соперника Булеза.

Барраке родился в 1928 году. В двадцать лет он начал учиться музыкальному анализу у Мессиана в Парижской консерватории. С 1951 по 1954 год стажировался в Группе исследований современной музыки вместе с Булезом и Ивет Гримо. В 1952 году закончил сонату для фортепиано. И, вероятно, в том же 1952 году познакомился с Мишелем Фуко. На протяжении некоторого времени их отношения оставались дружескими, но затем они переросли в бурную страсть.

В 1952–1955 годах вокруг них сложилась небольшая группа друзей, куда входил и Мишель Фано с женой. Фуко приходил в консерваторию к концу лекции Мессиана, которая была для молодых музыкантов своего рода литургией, и они все вместе шли обедать или ужинать. Их разговоры не касались серьезных тем; они шутили, острили, веселились, играли... «Это был бесконечный спектакль», — рассказывает Мишель Фано. И еще он вспоминает, что Фуко вовсе не привлекала современная музыка. Он предпочитал Баха, что подтверждает и Жаклин Вердо, с которой он регулярно ходил на концерты. Но отношения, сложившиеся между молодым музыкантом и молодым философом, много значили для обоих и не могли не сказаться на их работе. Создается впечатление, что в их взглядах на мир было много общего. Для Барраке музыка была «драмой, патетикой, смертью. Игра на всё, смертный трепет. Музыка — ничто, если она не выходит за пределы»^[119]. Фуко дает Барраке прочесть «Смерть Вергилия» Германа Броха, французский перевод которой вышел в начале 1955 года. Под впечатлением от этой книги Барраке напишет несколько композиций: «Обретенное время» (первый вариант закончен в 1957 году), «Рассуждение» (1961), «Песнь за песней» (1966). Затем он начнет работать над лирическим произведением «Лежащий человек», также по мотивам произведения Генриха Броха, но смерть остановит его. Именно Фуко даст ему стихи Ницше, которые композитор в 1955 году включит в свою «Секвенцию»^[120]:

Блажен, кто спит в своем дому.
Лишь ты, беглец,
Бредешь в отчаянье вперед.
Зачем, глупец, —
Что означает твой уход?
Ты мир искал,
Но мир — врата в пески пустынь,
Кто потерял

С твоё — тому тоска и стынь!
Теперь дрожишь,
На зимний подвиг обречен.
Как дым, бежишь —
Все холодней небесный склон.
Лети, птенец,
Туда, где тигром возревешь!
Упрячь, глупец,
Кровь праведности в лед и ложь!

Музыка, которую Фуко открыл для себя в те годы, в свою очередь, оказала на него огромное влияние. В беседе со Стефеном Риггинсом, опубликованной в журнале «Ethos» в 1983 году, он сказал:

«У меня был друг композитор, сейчас он уже умер. Благодаря ему я познакомился с поколением Булеза. Для меня это был очень важный опыт»^[121].

И сослался на текст 1982 года, посвященный Булезу. В этом тексте, написанном к десятилетию осеннего Фестиваля, проходящего в Париже, каждая строчка говорит о Барраке, хотя он и остается в тени, поскольку нигде прямо не называется. Уже самое начало текста содержит образ собеседника-адресата, отличного от Булеза, поскольку он говорит с ним о Булезе. Судите сами:

«Вы спрашиваете меня, что значило приобщиться благодаря привилегии обретенной дружбы к тому, что происходило в музыке почти тридцать лет назад? Я был в том мире лишь прохожим, удерживаемым привязанностью, некоторым волнением, любопытством, странным чувством вовлеченности в то, чему я не соответствовал как современник. [...] Я и сейчас не более, чем тогда, способен рассуждать о музыке. Могу лишь сказать, что смутное осознание того, что творилось вокруг Булеза, происходившее главным образом благодаря чужому посредничеству, позволило мне ощутить себя чужим в том мире мысли, в котором я сформировался, к которому я принадлежал и который для меня, как и для многих, представлялся тогда чем-то очевидным. [...] В те времена, когда нас учили, что приоритет

имеют чувства, жизненный опыт, плоть, экстравагантность, субъективность смысла, встреча с Булезом и его музыкой позволяла взглянуть на XX век под непривычным углом зрения, как на затянувшуюся битву вокруг формального; увидеть, как в России, Германии, Австрии и Центральной Европе формализм в музыке, живописи, архитектуре, философии, лингвистике, мифологии бросает вызов старым проблемам и перепахивает стиль мышления»^[122].

Таким образом, музыка, взломавшая систему культурных ценностей, с которой он уже сжился, позволила Фуко отстраниться и избавиться от чар феноменологии и марксизма. И именно это он имеет в виду, когда в 1967 году говорит Паоло Карузо, что музыка сыграла в его жизни такую же роль, что и чтение Ницше. При этом, чтобы придать своим словам большую конкретность, Фуко сообщает, что дал прочесть стихи Ницше Жану Барраке, «одному из самых гениальных и самых непризнанных музыкантов современности»^[123].

На протяжении двух или трех лет, пока Фуко тесно связан с Барраке, он купается в немного экзальтированной атмосфере новаторского искусства, дышит воздухом переосмысления ценностей, в котором уже вырисовываются личности и принимают очертания творения. Однако отношения с Барраке осложняются после отъезда Фуко в Швецию. Фуко все еще влюблен без памяти. Почти каждый день он пишет письма музыканту, оставшемуся во Франции. Переписка, хранящаяся в архивах Барраке, свидетельствует о силе чувств Фуко. Его экзальтированные письма представляют собой великолепные образцы любовных посланий, которые когда-нибудь следует опубликовать. Первые письма содержат жалобные стоны о том, что он находится далеко от Парижа. 29 августа 1955 года, через три дня после приезда в Швецию, Фуко пишет, что ему хочется как можно быстрее продвинуться в написании диссертации, чтобы вернуться во Францию. «Нам дана лишь одна жизнь, — замечает он, — к тому же, возможно, одна на двоих. И мы не имеем права утратить или испортить ее». Через несколько дней он снова пишет Барраке, чтобы сказать ему, что он не может без него и готов вернуться во Францию в мае.

В декабре 1955 года и в январе 1956 года Фуко приезжает во Францию на зимние каникулы. Какое-то время он проводит у родителей в Пуатье, а затем едет в Париж. Он встречается с Барраке. Весной все меняется к худшему. Через несколько недель после премьеры «Секвенции» в Петти Марини 10 и 11 марта 1956 года, на которой Фуко, к огромному своему

сожалению, не мог присутствовать, он получает от музыканта письмо, в котором тот сообщает, что между ними все кончено: «Я больше не хочу «декабрей»; я больше не хочу быть ни актером, ни зрителем этого унижительного спектакля. Я не могу оставаться в этом головокружительном безумии». И в ответ на письмо, адресованное одному из близких людей, Барраке получает такой совет:

«Вы погружены в ложные проблемы, точнее, в проблемы, которые Вас не касаются. Это проблемы Фуко — философа, а Вы — музыкант. Не позволяйте этому человеку, занятому саморазрушением, разрушить и Вас. Не думаю, что ему это по зубам, поскольку Вы — сильный человек».

В мае 1956 года Мишель Фуко предпринимает последнюю попытку примирения: он объявляет о том, что приедет во Францию летом, и предлагает Барраке провести каникулы вместе, как они планировали. Барраке отказывается. Но он не забудет Фуко. Среди немногих фотографий в его архиве сохранилась одна — 1966 года, на которой он запечатлен в своей парижской квартире. На книжной полке видна раскрытая газета с большой фотографией Фуко, сопровождавшая рецензию на «Слова и вещи». Вероятно, он хранил воспоминания о своем друге. Разве не слышится эхо далекого голоса Фуко в словах, сказанных Барраке в 1969 году в одном из интервью:

«Мне однажды привели фразу Ж. Жене: гений — это неукоснительность в отчаянии»^[124].

*

Что происходило с Фуко в середине 1955 года, когда он готовился надолго покинуть Францию? Он написал две большие статьи для коллективных изданий, предисловие к работе Бинсвангера и опубликовал первую книгу «Психическое заболевание и личность». Труд, выглядевший довольно скромно, вышел в 1954 году в издательстве «Пресс Университер де Франс» в серии «Начала философии», которую вел Жан Лакруа. Проект был предложен Луи Альтюссером, который имел связи в католическом интеллектуальном мире. Книга составила двенадцатый том серии. Первый том, написанный Жоржем Гюсдорфом, назывался «Речь», шестая книга

серии — «Введение в эстетику» Мориса Недонселя, восьмая — «Характер и личность» Гастона Берже.

Согласно правилам серии книга не должна была превышать положенного объема (сто четырнадцать страниц). «Мы хотели бы показать, — пишет Фуко в начале книги, — что психическая патология требует особых методов анализа, отличающихся от тех, которые используются при органической патологии, и что только изворотливость языка позволяет приписывать один и тот же смысл выражениям «болезни тела» и «болезни души»»^[125]. Что может быть понято как критика теорий Гольдштейна, вдохновлявших в то время как Мориса Мерло-Понти, так и Жоржа Кангийема.

Фуко подробно останавливается на «экзистенциальном анализе», о котором пишет с большей симпатией, признавая, что, благодаря этому методу, психиатрия сделала большой шаг вперед. Зато он сурово критикует психоанализ, упрекая его в том, что он «отношения человека с его средой выводит за рамки реального».

На очереди Павлов и его последователи. Им посвящена отдельная глава, что совсем не похоже на традицию краткой отсылки к данным физиологии, установившуюся в то время. Это настоящий политический маркер, поскольку имя Павлова в те годы служит знаменем для тех, кто пытается построить «материалистическую психологию», к чему всячески призывает коммунистическая партия. Эта тенденция, направленная против психоанализа, хорошо представлена в «La Raison. Cahiers de psychopathologie scientifique», журнале, созданном психологами-марксистами; главой его редакционного совета был Анри Валлон, а главным редактором — Луи ле Гийян. В первом номере журнала напечатаны перевод работы И. П. Павлова «Психиатрия и детство» и исследование Свена Фоллина «Вклад Павлова в психиатрию». Редакционная статья этого номера в 1951 году была перепечатана «La Nouvelle Critique», и в ней содержится восхваление «замечательных работ Павлова и его последователей», включающее в себя формулировки типа: «Человек — существо социальное, и его социальная жизнь не может не быть связанной со всем тем, что с ним происходит, в частности, с его болезнью». С уточнением, что под социальной жизнью следует понимать «материальную и идеологическую реальность», то есть «высокие цены на хлеб, низкие зарплаты, угроза войны...»^[126].

Формулировки, к которым прибегает Фуко в своей книге, сближаются с резким тоном этой редакционной статьи. Вот, например, что он пишет в

главе «Психология конфликта» после изложения теории Павлова:

«Когда условия среды препятствуют нормальной диалектике возбуждения и торможения, устанавливается защитное торможение. [...] Болезнь — это форма защиты»^[127].

Все это позволило Фуко прийти к выводу: «Человек болен не потому, что он безумен; он безумен, потому что болен». А несколькими страницами ранее, упомянув анализ отдельных случаев, предложенный Кюном и Бинсвангером, и, видимо, желая вписать их в марксистскую перспективу, Фуко пишет:

«Если болезнь выражается преимущественным образом в переплетении противоречивых манер поведения, то это происходит не из-за того, что элементы, образующие противоречие, противопоставлены парадоксальной природой человеческого бессознательного; только человек превращает человека в противоречивый опыт; социальные отношения, детерминированные существующей экономикой с ее конкуренцией, эксплуатацией, империалистическими войнами и классовой борьбой, поставляют человеку опыт общественной среды, постоянство которой в ее противоречивости»^[128].

Отсюда вытекает и определение психической болезни: это «последствие социальных противоречий, в которых человек исторически отчуждается»^[129]. Из этого следует, что терапия должна находиться в поиске новых путей: можно «предположить, что, когда болезнь отделят от умопомешательства, станет возможным рассмотрение диалектики болезни в личности человека»^[130]. И Фуко заключает:

«Выздоровление возможно лишь при установлении новых отношений со средой. [...] Подлинная психология должна избавиться от психологизма, если она как наука действительно имеет целью справиться с психическим заболеванием»^[131].

Заметим, что в этой книге в связи с тем, что в психоанализе называется «архаическими стадиями» эволюции личности, впервые появляется термин «археология»:

«Психоанализ считает, что может написать психологию детства, провоцируя патологию взрослого человека. [...] Чувственная стадия является потенциальной патологической структурой. Невроз — это спонтанная археология либидо»^[132].

Фуко не хотел, чтобы эта книга была переиздана. В 1962 году, после выхода «Безумия и неразумия», он переработает текст и даст ему название «Психическая болезнь и психология». Концовка будет сильно изменена, Павлов окажется выброшенным за борт, уступив место пересказу огромной книги, написанной в Швеции и недавно защищенной в качестве диссертации. Вторая часть книги — «Реальные условия болезни» — станет называться «Безумие и культура». А главы, составляющие эту часть — «Исторический смысл психических заболеваний» и «Психология конфликта», — превратятся в «Историческое основание психической болезни» и «Безумие, общая структура»^[133]. Однако новая редакция представляла собой странный гибрид, и Фуко наложит запрет на ее издание и будет пытаться, хотя и безрезультатно, воспрепятствовать ее переводу на английский язык. Фуко полностью отречется от этой книги: в дальнейшем, говоря в своих интервью о «первой книге», он всегда будет иметь в виду «Историю безумия», оставив краткий опус 1954 года и переиздание 1962 года историческому забвению и библиотечным каталогам.

В 1954 году, когда книга выходит в свет, Фуко часто обсуждает с Жаном Ипполитом, назначенным в том же году директором Эколь Нормаль, проблемы психологии, над которыми тот, как и многие другие философы, напряженно думал. Тема безумия, являвшаяся центральной в работе Фуко, доминировала в их философских дискуссиях. Ипполит настолько увлекся психиатрией, что на протяжении года посещал консультации профессора Барука в больнице Шарантон. На одной из лекций 1955 года он рассказывал:

«Я укрепился в мысли, что исследование безумия — умопомешательства в глубинном смысле этого термина — находится в центре антропологии, науки о человеке. Больница — это убежище для тех, кого не удалось заставить жить в нашей непростой для межличностных отношений среде. Следовательно, больница дает возможность косвенного исследования этой среды и проблем, которые она ставит перед каждым, в том числе и нормальным человеком»^[134].

Ипполит присутствует также на семинаре^[135] Лакана, проходившем с 1951 года в квартире психиатра в узком кругу (с 1953 года семинар перемещается в больницу Святой Анны и становится более доступным для слушателей). В 1954 году Лакан и Ипполит дважды публично спорят по поводу гегелевской философии и лингвистики. Эти дискуссии скажутся на формировании теории структур Лакана^[136]. Как свидетельствует Морис Пинье, Мишель Фуко каждую неделю ходил слушать психиатра, который в то время не был еще знаменит.

Из содержания бесед с Дучо Тромбадори вроде бы следует, что Мишель Фуко не посещал семинара Лакана. Если же обратиться к магнитофонной записи, то выясняется, что в 1978 году на вопрос Тромбадори Фуко отвечает, что недостаточно часто бывал на семинаре, чтобы вникнуть в теорию Лакана.

Ясно одно: в 1953 году Фуко слышал имя Лакана, он читал его работы, цитировал их... Их знакомство было тем более неизбежным, поскольку в то время Фуко часто бывал в больнице Святой Анны. После публикации в 1961 году «Безумия и неразумия» Фуко будет упоминать Лакана в ряду тех, кто действительно на него повлиял — Бланшо, Русселя и Дюмезиля.

*

Вернемся к Жану Ипполиту. Чтобы удовлетворить собственные интересы в области психиатрии и психоанализа, он попытается создать рабочую группу из философов и психологов. 5 февраля 1955 года в Эколь Нормаль состоялось общее собрание. Ивонн Брее хорошо помнит эту дату: в тот день во Франции пало правительство Мендес-Франса. На собрании среди прочих присутствовали Омбретан, Франсес, Фуко...

Но Фуко уже собирается уезжать из Франции. Возможно, в тот момент он еще не догадывается, что осуществит программу по психологии. Она была намечена им в коллективной статье «Исследователей интересует». Он писал ее одновременно с «Психической болезнью и личностью», но в совершенно другом ключе. Выступая против позитивистской психологии, возмнившей, что она достигла стадии научности, так как приумножила число тестов и методов исследования, он напоминает, что техническая изысканность, напротив, не более чем «знак, указывающий на то, что позабыта негативность человека»^[137]. Главное же — в анализе противоречий, который служит для психологии отправным пунктом и

является ее «родиной». Она забыла, что «если психическая патология всегда была и остается одним из источников психологического опыта, то не потому, что болезнь высвобождает глубоко спрятанные структуры... [...] иначе говоря, не потому, что в этом случае человеку легче взглянуть в лицо своей истине, но, наоборот, потому, что ему открывается ночь этой истины и абсолютная стихия его противоречивости. Болезнь — *это психологическая истина здоровья* в той степени, в которой она воплощает противоречие человека»^[138]. Науке о психологии, позабывшей свои корни, следует напомнить, что ее призвание глубоко «инфернально». И Фуко заключает:

«Психологию спасет только возвращение в ад»^[139].

Глава седьмая

Упсала, Варшава, Гамбург

«Когда вы стали бакалавром?» — спрашивает Жорж Дюмезиль, пародируя традиционную церемонию, называющуюся «Долой звания!». И, поняв, что получил диплом значительно раньше, чем собеседник (лет на тридцать), заявляет младшему коллеге: «Предлагаю перейти на «ты»». Мишель Фуко поднимает бокал шнапса за неимением медового напитка: «Track ska du ha» — «Благодарствую». Ему двадцать девять лет, а великому специалисту по индоевропейской культуре — около шестидесяти. Но в университетских кругах Швеции принято обращаться друг к другу на «ты» вне зависимости от возраста собеседников. Достаточно инициативы того, кто старше.

Итак, Швеция. Описанная сцена происходит в Упсале, в семидесяти километрах к северу от Стокгольма, весной 1956 года. Это первая встреча будущего автора «Истории безумия» со знаменитым ученым, профессором Коллеж де Франс. Хотя именно благодаря Дюмезилю Фуко оказался в маленьком шведском университетском городе в конце августа 1955 года. Но лично они не были знакомы. Корни этой поездки лежат в далеком прошлом. Перенесемся в 1934 год, когда Фуко только-только исполнилось восемь лет, а Дюмезиль уже опубликовал свою третью книгу «Уран-Варуна»^[140]. Сильвен Леви пригласил его презентовать свою работу в Институте индийской цивилизации, где каждый четверг организовывались дискуссии. В зале собрались выдающиеся историки, филологи и лингвисты: Жюль Блок^[141], Марсель Гране^[142], Эмиль Бенвенист^[143]... В то время Бенвенист был крайне враждебно настроен к теориям Дюмезиля — впрочем, Дюмезиль и сам отречется от них через несколько лет. Дискуссия проходит на повышенных тонах. В конце, когда студенты стали уходить из аудитории, один из них подошел к докладчику. Это был Рауль Кюрель, в будущем — известный археолог. Он обменивается с докладчиком мнениями по поводу некоторых положений, вызвавших споры. Оба они франкмасоны, и на «опознание» друг друга не уходит много времени. Так родилась дружба, длившаяся много лет.

Дюмезиль только что вернулся из долгих заграничных странствий. Он прожил шесть лет в Турции и два года в Швеции. С 1931 по 1933 год он преподавал французский язык в Упсале и надолго сохранил связи со

своими друзьями с Севера. После Второй мировой войны он часто бывает в Швеции, где его работы пользуются огромным успехом. Следует ли удивляться тому, что через двадцать лет после первого пребывания Дюмезиля в Швеции именно к нему обращается профессор Фальк, возглавлявший Институт романских языков, с просьбой порекомендовать кого-нибудь, кто согласился бы приехать, чтобы преподавать французский язык? Шел 1954 год. Дюмезиль в замешательстве: он плохо знает новое поколение выпускников Эколь Нормаль и уже готов отказать Фальку, но тут Рауль Кюрель рассказывает ему о молодом философе, с которым он недавно познакомился. «Это самый умный человек из всех, кого я знаю», — утверждает Кюрель. Дюмезиль доверяет другу и сообщает Полю Фальку, что отыскал подходящего человека. Одновременно он посылает записку Фуко. «Не спрашивайте меня, как я узнал о Вас, — пишет он. — Но знайте, если Вас интересует место в Швеции, то оно ждет Вас».

Им не удалось встретиться, поскольку Дюмезиль отправился «побродить», как он любил выражаться, по Уэльсу. Тем временем предприятие увенчалось успехом, и 26 августа 1955 года Фуко прибыл к месту назначения.

«Мне всегда было трудно выносить некоторые особенности социальной и культурной жизни Франции. Именно поэтому я покинул ее в 1955 году», — скажет он через много лет, объясняя причину отъезда. И добавит:

«В то время Швеция считалась более свободной страной. Довольно скоро я понял, что некоторые формы свободы оборачиваются ограничениями, характерными для репрессивного общества»^[144].

И действительно, он бежал из Франции в надежде избавиться от болезненности своего существования, от чувства дисгармонии, но надежды не оправдались — три года, проведенные в Упсале, дали ему тяжело. Прежде всего из-за климата. Было очень трудно привыкнуть к ледяному холоду скандинавской зимы. «Я — Дека рт XX века, — говорил он своим товарищам по замерзанию, — я сдохну здесь. Хорошо еще, что я избавлен от королевы Христины».

Удручала темень, наступающая в три часа дня в ноябре и в два часа в декабре. Она деморализовала тех, кто не привык к ней, погружая в хандру, с которой было трудно бороться. Университет в Упсале, один из самых престижных в Северной Европе, был безнадежно мал, как и сам городок:

шесть-семь тысяч студентов и семьдесят тысяч жителей. В университете царила строгая, отчасти напыщенная атмосфера: лютеранское пуританство давило всей своей массой. Через короткое время после приезда Фуко писал Жану Барраке: «Жизнь в Упсале мучительно похожа на жизнь в нашем университете». Он мечтал обрести широту взглядов, которой еще не существовало в Европе, но его ждало разочарование: однополая любовь находила в Упсале едва ли не худший прием, чем в Париже. Фуко страдает, но остается в Швеции. И вот, через несколько месяцев после приезда, он знакомится со знаменитым Жоржем Дюмезилем. Начиная с 1947 года Дюмезиль каждый год, окончив курс лекций в Коллеж де Франс, приезжает на два-три месяца поработать в Швецию. Университет выделяет ему маленькую квартирку. На протяжении трех упсальских лет Фуко часто и подолгу общается с Дюмезилем — между ними завязывается тесная дружба. Фуко, глубоко восхищавшийся работами Дюмезиля, был покорен и личностью ученого. Дюмезиль становится для него образцом строгости и терпения в работе, разносторонности, тщательности в изучении архивов. Нет ни малейшего сомнения в том, что мысль Фуко развивалась под сильнейшим влиянием Дюмезиля, и он не умолчал об этом. В предисловии к «Безумию и неразумию» он писал:

«Я должен поблагодарить тех, кто помогал мне в моих поисках. И в первую очередь — Жоржа Дюмезиля, без которого эта работа не была бы написана»^[145].

Эту фразу можно понимать как простую дань благодарности: именно Дюмезиль обеспечил Фуко условия, позволившие ему написать книгу. Но после выхода книги в интервью газете «Le Monde», опубликованном 22 июля 1961 года, Фуко еще раз скажет о своем интеллектуальном долге перед Дюмезилем. Отвечая на вопрос, кто оказал на него влияние, Фуко упомянул Бланшо, Русселя, Лакана и добавил: «Но также — и главным образом — Дюмезиль». Собеседник удивлен: «Каким образом человек, занимающийся историей религий, мог подтолкнуть к работе над историей безумия?» И Фуко объясняет:

«Через идею структуры. Дюмезиль применил ее к мифам, а я попытался выявить структурные нормы опыта согласно схеме, которая с модификациями может быть обнаружена на разных уровнях»^[146].

С еще большей силой дань Дюмезилю будет отдана в речи, произнесенной при вступлении в должность профессора Коллеж де Франс:

«Я считаю, что многим обязан Жоржу Дюмезилю, — это он побудил меня к работе в том возрасте, когда еще думаешь, что писать — это удовольствие. Но я многим обязан также и его творчеству; [...]... он научил меня анализировать внутреннюю экономику дискурса совершенно иначе, нежели методами традиционной экзегезы или методами лингвистического формализма; это он научил меня при помощи игры сопоставлений выявлять, от одного дискурса к другому, систему функциональных корреляций; именно он научил меня описывать трансформации дискурса и его отношения к институциям»^[147].

Итак, мощное интеллектуальное влияние, а наряду с этим — крепкая дружба, которую на протяжении почти тридцати лет не омрачит «ни единое облако, ни единая ссора», как скажет Дюмезиль, и которая оборвется только со смертью философа. Эта дружба сыграет роль — и какую! — в академической карьере Фуко, в частности, в момент избрания его в Коллеж де Франс.

Столь значимая встреча двух ученых произошла в Упсале, в Мезон де Франс^[148]. Преподаватель французского языка обязан был организовывать различные мероприятия в этом центре культуры, издавна существовавшем в маленьком университетском городке. Как и всякий другой культурный центр, Мезон де Франс должен был знакомить с французским языком и французской культурой. Этому служили конференции, дебаты, развлекательные программы... Упсальский Мезон де Франс помещался в квартире, на пятом этаже добротного особняка XIX века: дом 22 по патрицианской улице Сент-Юханнес, в двух шагах от реки Фирис, которая делит город на две части: по одну сторону — университетский квартал, по другую — жилой. Фасад первого этажа здания выложен красным камнем, а остальных — розовым. Над входной дверью — фигура льва. Квартира на пятом этаже поделена на две части: несколько комнат, являющихся собственно Мезон де Франс, отведены под библиотеку, коллекцию пластинок и зал для заседаний; две комнаты находятся в распоряжении директора. Там и жил Фуко во время своего пребывания в Швеции.

Хотя жизнь в миниатюрном «северном Кембридже» и была не слишком веселой, Фуко постепенно освоился и постарался сделать свое существование как можно более приятным. В самые первые дни он

познакомился с молодым французским биологом Жан-Франсуа Микелем, приехавшим в Упсалу в то же время. Они тут же решили обедать вместе. Появился и третий компаньон — Жак Папе-Лепин, физик, изучавший природу грозы и молний и работавший над диссертацией с достаточно смелым названием: «Вклад математики в теорию грозового разряда». Они по очереди готовят в квартире на улице Сент-Юханнес. К ним часто присоединяются преподаватель итальянского языка Констанца Паскуали, которую они зовут Мими, и преподаватель английского языка Петер Фисон — специалист по европейской поэзии и большой любитель оперы. Вся компания два раза в неделю, в пятницу вечером и в воскресенье в полдень, отправляется в ресторан «Форум», который им особенно полюбился. Однажды они даже устроили там прием в честь Мориса Шевалье. Мишель Фуко и Жан-Франсуа Микель съездили послушать концерт, который певец давал в Стокгольме. После концерта они отправились за кулисы поговорить с ним... и чуть позже уже ужинали в его обществе. Фуко и Микель пригласили знаменитого певца приехать с «ответным визитом» в Упсалу. Они показали ему город и отвели обедать в «Форум».

Как только Жорж Дюмезиль вошел в этот тесный кружок и стал своего рода духовным наставником его членов, в этом же ресторане стали отмечаться его приезды и отъезды. Маленькая община зажила своей жизнью, и Фуко впервые принимает коллективные формы существования, поддерживает и развивает их. Более того, становится центром общины. Мезон де Франс — место, где все собираются, проводят вечера и выходные.

Уже после того как сложился костяк общины, два новых лица, к радости Мишеля Фуко, шумно ворвались в ее жизнь, сея вокруг веселый беспорядок. Первым стал молодой шведский студент, приехавший из Франции, где его отец работал в посольстве Швеции. Он учился в лицее Жансон-де-Сайи и прибыл в Упсалу, чтобы изучать право, а впоследствии начать дипломатическую карьеру. Этот план будет реализован, и со временем он станет заметной фигурой в шведской внешней политике. Во время войны во Вьетнаме он будет послом в Ханое. В то время, когда писалась эта книга, Жан-Кристоф Оберг работал послом в Польше. Когда он приехал в Упсалу, ему только что исполнилось восемнадцать лет. Он начал работать в Мезон де Франс секретарем Мишеля Фуко. На следующий год он вызвал в Упсалу свою французскую подругу, которую звали Дани. Фуко тут же устроил на работу девушку, которую искренне полюбил: она также стала секретарем Мезон де Франс. Жан-Кристоф постепенно ретировался, передав ей свои функции. Фуко весело с ними. С Жан-

Кристофом он отправляется в Стокгольм, чтобы купить машину. Они возвращаются в роскошном бежевом «ягуаре», повергшем в шок упсальскую благоразумную общественность, привыкшую к строгому быту. К тому же жителям городка казалось диким, что богатство выставляет напоказ простой преподаватель, человек, занимавший последнее место в университетской иерархии. Кстати, Дюмезиль любил напоминать, что у Фуко водились деньги (так как семья продолжала помогать ему) и что тот вовсе не был монахом-аскетом, каким его рисовали впоследствии. Он любил вкусно поесть и выпить в ресторане, и кое-кто из его окружения тех лет рассказывает о наиболее запомнившихся эпизодах, когда Фуко был пьян «в стельку»; однажды, поднявшись, чтобы произнести тост, он рухнул без памяти на пол. Время от времени он переодевается шофером и возит Дани по магазинам. Его «ягуар» стал местной легендой. Все в один голос рассказывают, что он был лихачом-водителем. Дюмезиль вспоминает, что как-то раз поездка закончилась в канаве. Подобных происшествий было бесчисленное множество; к счастью, все они имели благополучный исход, хотя, если бы в это время шел снег или дождь, вполне могли бы обернуться трагедией.

И все же Упсала для Фуко была прежде всего местом работы. Его профессиональная деятельность имела три ипостаси. Во-первых, он занимался своими прямыми обязанностями — преподавал. И делал это с блеском. Дюмезиль, познакомившись с молодым человеком, назначению которого он споспешествовал, был поражен его успехами: открытые уроки его протеже собирали многочисленную аудиторию, явно горевшую энтузиазмом. Вся интеллигенция Упсалы рвалась на занятия; поговаривали даже, что матроны приводили с собой своих дочерей на выданье. Курс лекций, проходивших по четвергам в шесть часов вечера в главном здании университета, расположенном напротив собора из красного камня, не был вполне традиционным. Во всяком случае вначале. Первый год Фуко посвятил теме «Концепция любви во французской литературе от маркиза де Сада до Жана Жене», что, по всей видимости, повергло в смущение университетские круги. На следующий год Фуко обратился к более нейтральной теме: «Современный французский театр». Наконец, в 1957/58 учебном году он рассказывал о «Религиозном опыте во французской литературе от Шатобриана до Бернаноса». Впрочем, творчество последнего вполне могло вызвать скрежет зубовный в глубоко протестантской стране^[149].

Фуко шесть часов в неделю занят преподаванием (к этим часам следует приплюсовать еще четыре часа «разговорной практики»). Три часа

в неделю отведены преподаванию языка для начинающих и студентов всех специальностей, желающих читать по-французски. Три оставшихся часа посвящены литературе. Из них один час занимают те самые знаменитые публичные лекции, а два часа предназначены для семинарских занятий со студентами, выбравшими французский язык своей специальностью. В 1956 году, например, на этих семинарах речь шла о «Французском театре XVII века», в частности о Жане Расине и его «Андромахе», — вероятно, в этот момент родились страницы «Истории безумия», посвященные помешательству Ореста, — и о «современном театре». Если публичные лекции собирали сотню и даже больше слушателей, то на семинарах, естественно, круг людей был ограничен. Но ясно одно: мало кто действительно понимал речи лектора-философа. Очевидцы свидетельствуют, что Фуко-философ мешал Фуко-лектору. Преподаватели ценили своего молодого коллегу, а президент «Альянс франсез» даже говорил об «интеллектуальной радости», рождавшейся каждый четверг, однако для многих студентов эти лекции оставались лишь длинными заумными речами. Легко представить себе, что ощущали студенты восемнадцати-двадцати лет, едва овладевшие основами французского языка, когда на них обрушивались головокружительные интерпретации творчества де Сада или темы безумия у Расина! Многие из них до сих пор не могут без ярости вспоминать те занятия. «Так можно было лишь отвратить от французского!», «Мы шли на занятия как на пытку!» — говорят они. Другие же, наоборот, долго находились под впечатлением от лекций Фуко и вспоминают о них с восторгом. И все же восторг за год поубавился, а число потерянных слушателей возросло. Коллеги Фуко, смущенные тем, что их ученики начали игнорировать его занятия, ничего не могли с этим поделать. Сам Фуко испытывал неловкость, даже горечь, и все же не стал менять коней на переправе. Его интересовали лишь те немногочисленные слушатели, которые могли следовать за его мыслью. О прочих он отзывался с сарказмом.

*

Однако деятельность Фуко не ограничивалась преподаванием. Он должен был также организовывать работу Мезон де Франс. Приехав в Упсалу, Фуко рассказал о ключевых пунктах своей программы корреспонденту местной газеты «Uppsala Nya Tidning» (первое интервью Фуко!), а позже, в феврале 1956 года, передал в посольство пухлый доклад

с пространным изложением проектов. В этом докладе он описывает состояние дел и намечает направления своей дальнейшей деятельности. «Если в начале семестра, — пишет он, — в Мезон де Франс регулярно приходило лишь несколько студентов, то отныне можно рассчитывать на присутствие 30–35 человек. Но, поскольку эта цифра все еще мала по сравнению с общим количеством студентов, следует:

1) повысить интерес студентов к обучению в Мезон де Франс, увеличив число развлекательных программ (показ фильмов, прослушивание пластинок...), в связи с чем следует обратиться с соответствующим запросом в министерство (пластинки, книги, проигрыватель...);

2) открыть в Мезон де Франс нечто вроде клуба; для этого переоборудовать одну из комнат в помещение для работы и увеличить подписку на газеты и журналы. Мезон де Франс должен быть открыт для посещения несколько раз в неделю и, в той степени, в которой это представляется возможным, шведских студентов следует приглашать для обсуждения лекций и развлекательных программ на французском языке;

3) пополнять библиотеку».

Фуко добавляет, что Мезон де Франс должен привлекать широкую публику, а не только тех, кто имеет отношение к Институту романских языков при Упсальском университете. Действительно, говорит он, французская культура заметно утратила свое влияние в научных и нефилософских дисциплинах, и, скорее всего, с этим уже ничего нельзя поделать. В связи с этим он предлагает открыть при Мезон де Франс курс базового французского, предназначенный, например, для студентов или молодых исследователей, специализирующихся в разных областях, исследователей, которым иностранный язык может понадобиться в работе или в поездках.

Как можно видеть, Фуко отнюдь не был равнодушен к своим административным обязанностям руководителя. Больше всего его привлекает организация развлекательных программ. Он устраивает в Мезон де Франс вечера, стремясь превратить это учреждение в очаг упсальской культурной жизни. Он показывает фильмы и сам комментирует их. Дюмезиль любил вспоминать его блестящую импровизацию по поводу экранизации «Грязных рук» Сартра. В четыре часа дня Фуко еще не знал, какой фильм он получит. Вечером он покорила аудиторию эффектной речью. И потом, существовал еще и театр. Не как предмет анализа, а как сценическое действо.

Вместе с Жан-Кристофом Обергом он создал небольшую труппу,

ставившую спектакли для публики — конечно же на французском языке: «Грамматика» Лабиша, «Песнь песней» Жироду, «Капризы Марианны» Мюссе, «Бал воров» Жана Ануя. Фуко осуществляет постановку, Жан-Кристоф Оберг играет в спектаклях. Вместе с несколькими другими студентами. Премьеры проходят в Упсале, затем труппа отправляется «в турне» — в Стокгольм, Сундсвалль... Во время турне Фуко носит чемоданы, заботится о костюмах... Он вообще часто бывает в Стокгольме, где читает лекции в Институте французской культуры. Он ездит в столицу Швеции на машине или, когда бывает много спутников, на поезде. Поезд получил название «пьянограф». Из названия становится понятным обычное состояние, в котором компания возвращалась домой. «Мы смеялись беспрестанно», — рассказывает Эрик Нильсон, подружившийся с Фуко в то время. Он проходил воинскую службу в Упсале и явился в Мезон де Франс за книгами, где был принят с распростертыми объятиями. Нильсон участвовал во многих постановках. Фуко привязался к молодому человеку, который через несколько лет получил в подарок экземпляр его книги «Безумие и неразумие».

Фуко принимал в Упсале лекторов, которых присылало французское посольство. Ему выпала честь принять своего бывшего профессора Жана Ипполита, а также некоторых писателей, ставших впоследствии знаменитыми: Маргерит Дюрас, Клода Симона... А также политиков, например Пьера Мендес-Франса. Побывал здесь и Альбер Камю, который в 1957 году получил Нобелевскую премию по литературе. Лекция лауреата, традиционно читавшаяся в Упсале, проходила в довольно напряженной атмосфере: за два дня до этого, когда Камю находился в Стокгольме, один алжирец стал обвинять его в том, что он обходит молчанием проблемы колониализма. Тогда-то и была произнесена ставшая знаменитой фраза Камю: «Я всегда осуждал террор и должен осудить потому терроризм, который безоглядно практикуется сейчас на улицах Алжира и может погубить мою мать и близких. Я верю в справедливость, но если выбирать между справедливостью и матерью, я выберу мать». В Упсале все проходит гладко: студенты воздерживаются от вопросов о политике. Но конечно же все помнят об инциденте, имевшем место в Стокгольме. И Жан-Кристоф Оберг поражен тем, что Фуко никак не комментирует слова Камю и старательно обходит эту тему во время приема в Мезон де Франс. Оберг знает, что Фуко против колониализма и придерживается скорее взглядов Мендес-Франса. Но, возможно, директор Мезон де Франс должен занимать нейтральную позицию? И не давать воли собственным чувствам?

Дважды по приглашению Фуко в Упсалу приезжал Ролан Барт. Они

познакомились в конце 1955 года, когда Фуко был во Франции на рождественских каникулах. Знакомство произошло благодаря Роберу Мози, соученику Фуко по Эколь, с которым он поддерживал дружеские связи. Барт к тому моменту опубликовал лишь «Нулевую степень письма» — эта книга вышла в 1953 году. Фуко также имел в своем активе только одну книгу — «Психическая болезнь и личность».

Между Бартом и Фуко сразу же завязывается сдержанная дружба. Каждый раз, когда Фуко приезжает в Париж, они ужинают вместе в ресторанах Латинского квартала или посещают ночные кафе на улице Сен-Жермен. Однако эта дружба с самого начала отравлена интеллектуальным и человеческим соперничеством, сильно осложнившим их отношения. Несхожесть характеров порождает множество разногласий. Неудивительно, что в последующие годы периоды вражды будут длительней периодов примирения. Тем не менее в 1975 году Фуко сделает всё, чтобы Барт стал профессором Коллеж де Франс. Хотя, по всей видимости, кандидатура Барта была предложена кем-то другим, Фуко ее одобрит и произнесет в его адрес восторженную речь. Те, кто хорошо знал обоих, полагают, что Фуко двигала верность старой дружбе, а не искреннее восхищение творчеством Барта. Пьер Нора вспоминает, что как-то Фуко сказал ему: «Я нахожусь в очень неловком положении, я должен встретиться с Бартом, который хочет избираться в Коллеж де Франс. Я уже давно не виделся с ним. Не могли бы вы составить мне компанию?» Встреча пройдет гладко, и Пьер Нора, выждав десять минут, оставит старых друзей наедине. Фуко составит два текста, представляющих Барта своим коллегам по Коллеж де Франс. В конце одного из них он защищает Барта от обвинения в «модности», выдвинутого почтенным заведением:

«Скажу еще, что интерес к нему, как поговаривают, напоминает моду. Но всякий историк понимает, что мода, энтузиазм, пристрастие, даже преувеличение в какой-то момент выявляют существование мощного очага в культуре. Разве голоса, те немногие голоса, которые слышат и слушают в наши дни вне университетских стен, не являются частью современной истории? И разве они не достойны того, чтобы стать нашим рупором?»^[150]

Голос Фуко, по крайней мере, был услышан, и Барт был избран в Коллеж де Франс. Этот важный эпизод жизни Барта поднимет старые отношения на новый уровень, сделав их более искренними и безоблачными. Однако они не продлятся долго: 26 марта 1980 года Барт

погибнет под колесами грузовика на рю дез Эколь.

В апрельское воскресенье 1980 года перед собранием профессоров Фуко, как это предполагала традиция, произнесет речь-некролог:

«Несколько лет назад, когда я предложил вам принять его в наши ряды, оригинальность и важность работы, длившейся более двадцати лет и снискавшей всеобщее признание своей яркостью, позволила мне не подкреплять мое предложение упоминанием о нашей дружбе. Я помнил о ней. Но и трудов было достаточно. Теперь остались лишь труды. О них еще заговорят; другие заставят их говорить и станут говорить о них. Позвольте же мне сегодня дать слово дружбе. Дружбе, которая хотя бы своим умением держать язык за зубами могла бы сравниться с ненавистной ей смертью. Когда вы его выбирали, вы знали, о ком шла речь. Вы знали, что выбирали редчайшее сочетание ума и созидательности. Вы выбирали — и вы это знали — того, кто обладал поразительной способностью понимать истинную суть вещей и создавать невиданно свежее их восприятие. Вы отдавали себе отчет в том, что выбирали большого писателя и талантливого преподавателя, чьи лекции стали для тех, кто его слушал не уроком, но опытом. [...] Судьба распорядилась так, что тупая сила вещей — единственная реальность, которую он был способен ненавидеть, — положила всему этому конец здесь, на пороге Дома, в который он вошел, избранный вами по моей просьбе. Горечь была бы невыносима, если бы я не знал, что он был счастлив оказаться здесь, и если бы не чувствовал, что имею право поделиться с вами, несмотря на все горе, ускользающей улыбкой его дружбы»^[151].

*

Находясь в Упсале, Фуко принимал административные заботы близко к сердцу. Можно даже сказать, что он выбивался из сил. Главный инспектор Сантелли пишет 26 января 1956 года в отчете, переданном в министерство иностранных дел: «К реализации этой тяжелой задачи он относится со всей ответственностью и самоотверженностью, о чем свидетельствует его нездоровый вид; у меня создалось впечатление, что г-н Фуко изнуряет себя и совсем не отдыхает». Годом позже месье Гуйон, советник по культуре,

дает Фуко следующую характеристику: «Месье Фуко с блеском распространяет свое влияние как в Упсале, так и в Стокгольме, где за его лекции борются Институт и Школа права. Однако существует опасность, что он падет жертвой собственного успеха и постоянной доступности и в буквальном смысле положит жизнь на алтарь служения своей задаче: совершенно необходимо либо перевести его в Институт (с одновременным освобождением от работы в Упсале) или же, наоборот, назначить кого-либо в Стокгольм» (6 мая 1957 года). В мае 1958 года советник по культуре месье Шеваль так характеризует директора Мезон де Франс:

«Г-н Фуко с блеском представляет французскую культуру за границей. Он преуспел в Упсале, снискав доверие профессоров и студентов. Он прекрасный директор Мезон де Франс, и нам трудно представить, кто мог бы заменить его, если он — что, увы, может произойти — в конце концов устанет от северного климата. В любом случае г-н Фуко — один из немногих, кому можно без опасений доверить самый высокий пост за границей».

Для Мишеля Фуко пребывание в Упсале связано прежде всего с работой над диссертацией. Именно в Упсале он пишет «Историю безумия». Как свидетельствуют многие из его друзей, в 1958 году, уезжая оттуда, он увозит почти законченную рукопись. «Психическая болезнь и личность» должна была, согласно замыслу Фуко, представить понятие *безумие* в свете достижений современной психиатрической мысли, а также содержать критику медицинских и психологических теорий в свете марксизма, окрашенного влиянием Бинсвангера.

Как мы уже знаем, Фуко работал в психиатрических больницах. Врачи навели его на мысль написать историю психиатрии, однако его занимали не столько психиатры, сколько их пациенты, а точнее, отношения между больными и врачами, иначе говоря, отношения между разумом и тем, к чему он взывает: безумием. И потом, был еще заказ от Колетт Дюамель. Итак, все было подготовлено для того, чтобы его взгляд обратился к сокровищу, хранившемуся в большой упсальской библиотеке Каролина Редивива. Это было самое настоящее сокровище! Судите сами: в 1950 году некий коллекционер, доктор Эрик Валлер, отдал в библиотеку коллекцию, которую создавал многие годы. Собрание охватывало четыре века: с XVI по начало XX. Тысячи документов: письма, рукописи, редкие издания, колдовские книги... И, главное, внушительный корпус текстов, посвященных истории медицины. Почти все издания, вышедшие до 1800

года и большинство появившихся позже. Каталог этой «Bibliotheca Walleriana» был опубликован в 1955 году — крайне своевременно! Фуко, наткнувшись на архив, понял, что это кладезь, и принялся методично его исследовать, обогащая диссертацию, над которой работал. Каждый день в десять часов он отправляется в библиотеку, где проводит час с кем-то из секретарей: Жан-Кристофом или Дани, затем сидит в библиотеке один до трех или четырех часов дня. Он списывает страницу за страницей. И продолжает писать вечером, под музыку. Ни одного вечера не проходило без «Гольберг-вариаций» Баха. Музыка для Фуко — это Бах или Моцарт. Он пишет, переделывает, переписывает начисто, снова исправляет: слева стопка для переделки, справа — растущая гора белых листов. Книга приобретает форму, и Фуко подумывает о том, чтобы защитить диссертацию в Швеции.

Он надеется, что в Швеции найдет больше понимания, чем в академических кругах Франции. В библиотеке он встретился с профессором кафедры истории идей и наук Линдротом. Это заметная в Упсальском университете личность. У двух постоянных читателей общие интересы: Стирн Линдрот изучал историю медицины и философии эпохи Ренессанса, наследие Парацельса. Они разговорились, и Линдрот пригласил Фуко на ужин. Фуко обращается к профессору с просьбой прочесть фрагменты его работы и приносит отдельные главы — увесистую рукопись, написанную от руки на тонкой бумаге.

Увы! Профессор Линдрот — убежденный позитивист, не испытывающий любви к грандиозным умозрительным построениям. Он искренне напуган стилем и содержанием вверенных ему листов. Для него текст Фуко — не более чем мудреная беллетристика, и он абсолютно убежден, что труд, главы из которого он прочел, не может быть представлен как диссертация. О своем мнении он сообщает Фуко в письме, крайне нелицеприятном. Фуко пытается разъяснить, в чем суть теории. Все напрасно. Исправить впечатление невозможно. Вот что пишет Фуко в письме от 10 августа 1957 года:

«Я крайне благодарен Вам за Ваше письмо, которое помогло мне увидеть недостатки моей работы. Скажу сразу: первой моей ошибкой было то, что я не сумел объяснить Вам, что речь идет не о «фрагментах книги», а только о черновом варианте, о первой редакции, — все это будет еще переделываться. Не стану оспаривать, мой стиль отвратителен (я знаю за собой неспособность изъясняться внятно). Конечно же я надеюсь

вытравить все «замысловатые» выражения, оставшиеся незамеченными мной. Я дал Вам на прочтение свой опус, пусть даже с погрешностями стиля, чтобы узнать Ваше мнение, очень важное для меня, о качестве содержащейся в нем информации и об основных идеях. Очевидно, что именно последний пункт является камнем преткновения. И тут я опять совершил ошибку: я не объяснил, что суть проекта не в том, чтобы написать историю развития науки психиатрии. Речь идет скорее об истории *социального, морального и мифологического* контекстов, в которых психиатрия развивалась. Мне кажется, что, вплоть до XIX века, если не сказать вплоть до наших дней, не существовало объективного знания о сумасшествии, которое заменялось термином «безумие» — и описывалось как результат некоторого опыта (морального, социального и т. д.). С этим связан и подход к проблеме, не очень объективный, не очень научный и не очень историчный. Но, возможно, вся идея в целом абсурдна и ее воплощение заранее обречено на провал.

Наконец, третья моя ошибка состояла в том, что я написал страницы, посвященные медицинским теориям, оставив область «институтов», которая могла бы помочь мне изъясняться определеннее и в других частях текста, непроясненной. Если позволите, я покажу Вам то, что мне удалось написать об институтах во время каникул. Тут мы имеем дело с тем, что гораздо легче определить и что создает социальные условия для рождения психиатрии...»

Недоумение профессора так и не было рассеяно, и Фуко не стал защищать диссертацию в Упсале. По правде говоря, он тонул в материале, и ему было крайне трудно нащупать структуру книги. Дюмезиль, следивший за его работой и постоянно справлявшийся о том, как она продвигалась, читавший и комментировавший написанные страницы, не советовал Фуко защищать диссертацию в Швеции. «Опубликуй это во Франции», — говорил он.

Он, как никто другой, знал осторожность шведов. Профессор Хассельрот также был прав, когда говорил Фуко о своих коллегах: «Вы никогда не заставите их проглотить это». По мнению Жан-Кристофа Оберга, Фуко никогда не рассматривал всерьез возможность защищать диссертацию в Швеции. Жан-Франсуа Микель, напротив, полагает, что Фуко расстроила реакция Линдрота, и в этом следует видеть одну из

главных причин его отъезда. Как бы там ни было, очевидно, что шведы остались равнодушны к нарождающимся идеям Фуко.

Недавно в Швеции развернулась полемика, в которой больше всего досталось несчастному профессору Линдроту. Как мог он проглядеть признаки гениальности? Возможно, традиция истории науки, которую он представлял, не позволила этому германскому профессору с его сдержанным отношением к «литературе» определить значение книги, которую он получил на отзыв. Одни участники полемики изрыгали в его адрес проклятия, другие во всем винили обстоятельства. Но факт остается фактом: прошло несколько лет, прежде чем Фуко защитил диссертацию. Когда в 1958 году он покидал страну, которую нашел не слишком гостеприимной, работа, по сути, была уже закончена. Во всяком случае, все материалы были собраны, но предстояло еще немало потрудиться над редактурой и структурой текста.

Возможно, в Упсале были написаны и страницы другой книги. В нескольких километрах от городка находится дом Карла Линнея — деревянный, затерянный среди прекраснейших пейзажей. Фуко часто тащит всю компанию в паломничество к этому святому для историков науки месту. Глава книги «Слова и вещи», посвященная Линнею, вероятно, является результатом этих долгих изнурительных походов.

Фуко представлялись и другие случаи продемонстрировать свой интерес к науке. Упсальский университет дал, по крайней мере, двух нобелевских лауреатов 1926 и 1948 годов: биохимика Теодора Сведберга и его ученика Арне Тизелиуса. Фуко подружился с ними, и Сведберг показал ему третий подземный этаж упсальского экспериментального центра и в течение недели объяснял ему устройство циклотрона. По словам Жан-Франсуа Микеля, Фуко сетовал:

«Ну почему я стал изучать философию, а не естественные науки?»

Почему Фуко решил уехать из Упсалы? Он подписал контракт на два года, а затем продлил его еще на такой же срок. По мнению Гуннара Брёберга, причина проста: он должен был преподавать 12 часов в неделю, что делало невозможной работу над диссертацией. Поскольку к тому же стало ясно, что Фуко не сможет защитить ее в Швеции, он предпочел подать в отставку после третьего года. В университетском ежегоднике за 1958 год опубликованы лекции Фуко. В первый четверг учебного года он должен был снова прочесть лекцию на тему «Религиозный опыт во

французской литературе от Шатобриана до Бернаноса». Но лекция не состоялась: Фуко покидал Упсалу. Ни появление новых друзей (а с многими из них, например с Жан-Франсуа и Кристиной Микель, с Жан-Кристофом Обергом, с Эриком Нильсоном, он будет поддерживать отношения и в дальнейшем), ни почти законченная диссертация не сгладили неблагоприятное впечатление от Упсалы. Следующий этап его странствий — Польша.

*

Отъезд в Варшаву был тщательно подготовлен Фуко в июне 1958 года во время его продолжительного пребывания в Париже. Это была немного странная и спонтанная поездка в Париж, задуманная майским вечером, когда Мишель Фуко и Жан-Кристоф Оберг присутствовали, облаченные в смокинги, на приеме в некоем замке неподалеку от Упсалы. Они были приглашены наследницей одного из самых крупных состояний Швеции, влюбившейся в молодого преподавателя французского языка. Во время обеда Жан-Кристоф отлучился, чтобы послушать радио. Вернувшись, он сказал Фуко: «Во Франции что-то происходит». Это была по-шведски сдержанная характеристика разворачивавшихся событий: поддержанный сторонниками французского Алжира генерал де Голль вот-вот должен был вернуться к власти. Решение принято тут же без колебаний: «Едем!» Они вернулись в Упсалу, избавились от смокингов и выехали во Францию — само собой, на знаменитом «ягуаре».

Жан-Кристоф Оберг так рассказывает об этой эскападе:

«Мы с Мишелем выехали в среду, 28 мая 1958 года. Переночевали в Дании, в Таппернойе, в маленькой гостинице. На другой день, утром 29 мая, уже перебирались на пароме из датского Гедсера в немецкий Гроссенборд. Вторую ночь провели в Бельгии, в Ла-Каламине, в маленьком отеле «Селект». 30 мая продолжили путь и прибыли в Париж в три часа дня. Город бурлил. Причины этого оставались неясны, поскольку игра была уже закончена. Мы ехали в сторону Елисейских Полей по улице Бассано, однако у станции метро «Георг V» она оказалась заблокированной полицией. Мы бросили «ягуар» на авеню Марсо. Пробравшись через полицейские кордоны, мы двинулись по Елисейским Полям. Вскоре нас подхватила волна

манифестантов: я оказался на крыше машины,двигающейся к Триумфальной арке, а Мишель шел следом в окружении молодых участников марша, потрясавших сине-бело-красными флагами. Площадь Этуаль была также блокирована полицией, и машине пришлось разворачиваться. Я воспользовался этим, чтобы спрыгнуть с нее, но Мишель растворился в толпе. Мы встретились у «ягуара» и поужинали в Сен-Жермен-де-Пре. Потом мы расстались: я отправился в посольство Швеции, где меня ждали родители, сходявшие с ума от беспокойства, поскольку не знали, где мы и добрались ли мы вообще до Парижа, а Мишель пошел к брату, у которого жил».

Мишель Фуко провел в Париже месяц. В Упсалу он вернулся лишь для того, чтобы упаковать вещи после трапезы и обильных возлияний в обществе тех, с кем он провел три последних года.

*

Почему Варшава? И к этому назначению приложил руку Дюмезиль. У знаменитого профессора связи повсюду — в частности на набережной Кэ-д'Орсе^[152], где работал Филипп Ребейроль, выпускник Эколь Нормаль, возглавлявший отдел преподавания французского языка за границей. Благодаря его посредничеству французское правительство только что заключило с польским правительством соглашение о сотрудничестве в области культуры, в соответствии с которым на базе Варшавского университета должен был быть создан Центр французской культуры. Что означало наличие помещения, библиотеки и человека, уполномоченного организовывать различные мероприятия. В то время это событие казалось невероятным и расценивалось как исключительный дипломатический успех, ставший возможным благодаря временному улучшению обычно достаточно напряженных отношений между Востоком и Западом Европы.

Но одного создания вакансии недостаточно — нужно еще найти человека, способного ее занять: миссия обещала быть деликатной. Дюмезиль просит Ребейроля поручить ее Фуко, что тот и сделал. Он полностью доверял мнению Дюмезиля, к тому же официальные отзывы о работе Фуко изобилуют похвалами.

В октябре 1958 года Фуко вылетел в Варшаву и явился представиться Этьену Бюрену де Розье, только что назначенному послом Франции в

Польше. «Я помню улыбчивого, приятного, спокойного молодого человека, — говорит он, — с радостью взвалившего на себя задачу, всю занимательность, важность и трудность которой он сразу осознал»^[153].

Сначала Фуко поселяется в более чем скромной комнате в гостинице «Бристоль» неподалеку от университета — комплекса зданий, расположенного на Краковском проспекте. Затем он перебирается в квартиру в том же районе. Фуко продолжает работать над диссертацией. И конечно же приступает к доверенной ему преподавательской и административной деятельности. Ему предстояло создать «Центр французской цивилизации» с нуля. Нужно заказать столы и стулья, выписать книги и журналы. Фуко ведет занятия, читает лекции в университете и существующем при нем Институте романских языков на факультете современной философии. Он возобновляет лекции о современном французском театре, обкатанные в Упсале. И сразу же покоряет своих коллег и студентов умом, серьезным отношением к делу и любезностью. До сих пор многие помнят об изысканной куртуазности Фуко, проявлявшейся на каждом шагу. Он завязывает дружеские связи с президентом Академии наук профессором Котарбиньским, хорошо известным в университетских кругах Польши, но имевшим в глазах властей репутацию «буржуазного философа», поскольку он вдохновлялся теориями Венского кружка.

Постепенно деятельность Фуко расширяется. Советник посольства по культуре Жан Бурийи, намеревавшийся закончить диссертацию, подал прошение об отпуске. Поскольку Фуко состоял в прекрасных отношениях с Бюреном де Розье, в течение года он де-факто исполнял обязанности советника по культуре. В этой роли он проехал с лекциями об Аполлинере от Гданьска до Кракова и во всех городах представлял выставку, посвященную сорокалетию со дня смерти поэта. Замысел выставки принадлежал профессору Зуровскому.

«Он исполнял эти обязанности [советника по культуре] охотно и даже не без удовольствия, — вспоминает Бюрен де Розье, — раздаривая себя, появляясь на всех мероприятиях, посвященных культуре, в каком бы уголке Польши они ни происходили, не без снисходительности и веселья наблюдая суетные ритуалы повседневной дипломатической жизни»^[154]. Неудивительно, что посол предложил Фуко сменить Жана Бурийи, когда тот, закончив работу над диссертацией и рассчитывая получить кафедру в Сорбонне, заявил о своем намерении покинуть пост в посольстве. Фуко, прежде чем дать утвердительный ответ, поставил несколько условий. «Он

полагал, — рассказывает Бюрен де Розье, — что Кэ-д'Орсе совершает ошибку, формируя универсальные, если можно так выразиться, кадры проводников нашей культуры за границей, атташе по культуре или лекторов, призванных работать безразлично где — в Южной Америке, в скандинавских или славянских странах, на Ближнем Востоке. Что же касается поста в Польше, то Фуко согласился бы занять его только в качестве главы структуры, которая позволила бы ему отобрать (в чем он надеялся преуспеть) молодых славистов, способных работать под его началом в Варшаве, Кракове и в других городах»^[155].

Этот проект не получил развития, поскольку Фуко пришлось срочно покинуть Польшу. Причины этого не очень ясны, однако, видимо, речь идет о типичной для социалистических стран истории: он встретил юношу, с которым попытался на фоне грустной и удушливой повседневности наладить счастливую жизнь. Однако оказалось, что юноша работает на специальные службы, внедряющие своих агентов в западные дипломатические круги. Однажды утром Бюрен де Розье вызвал к себе Фуко: «Вы должны покинуть Польшу». — «Когда?» — спросил Фуко. «В ближайшие часы», — ответил посол.

Но и в этот раз Фуко получил самые хвалебные отзывы о своей работе. Жан Бурьи писал:

«Мишель Фуко, наделенный ясным и проницательным умом, прекрасно образованный, обладает к тому же способностями к организационной работе: он может самым удовлетворительным образом исполнять любые функции за границей, будь то преподавание или административные обязанности. Будучи в 1958–1958 годах главой Центра при университете, он столкнулся с большими трудностями как чисто практического, длившегося несколько месяцев (отсутствие помещения для Центра и жилья), так и содержательного характера, касавшегося сути и целей деятельности Центра. Тем не менее он сумел поставить на ноги это начинание в рамках франко-польского сотрудничества».

Мишель Фуко снова отправился на набережную Кэ-д'Орсе и предстал перед Филиппом Ребейролем, чтобы сказать ему, что он хотел бы получить назначение в Германию. Еще в Эколь Нормаль он начал изучать немецкий язык, читает в подлиннике Гуссерля и Хайдеггера. Затем он воспылал страстью к Ницше. Легко представить себе, чего он ждал от Германии! Он хотел пройти тем же путем, который до войны прошли Сартр и Арон:

провести год в одном из больших немецких городов. Ребейроль предлагает ему выбрать: Мюнхен, Гамбург... В Германии полным-полно Институтов французской культуры, но Фуко выбирает Гамбург.

Его обязанности здесь практически не отличаются от тех, которые он выполнял в Упсале и Варшаве: руководить институтом, принимать лекторов (так он познакомится с Аленом Роб-Грийе), преподавать на отделении романских языков философского факультета, эквивалента филологического факультета. Бывшие студенты, что не удивительно, до сих пор помнят лекции, посвященные французской литературе, на которых Фуко рассказывал о своем излюбленном предмете — современном театре — и комментировал Сартра и Камю. И непременно продолжительный экскурс в XVIII век. Поскольку его лекции имеют статус «дополнительных», что не предполагает экзамена в конце курса, он читает их перед немногочисленной аудиторией, в присутствии 10–15 человек. Студенты, слушающие курс, действительно интересуются литературой, и такое положение дел гораздо больше устраивает Фуко, чем то, которое было в Упсале. К тому же он читает только два часа в неделю.

Большую часть своего времени Фуко посвящает Институту французской культуры, располагавшемуся в доме 55 по Хайдемер-штрассе. Квартира директора, в которой он провел 1959/60 учебный год, занимала почти весь второй этаж. Кроме директора, в Институте работали четыре преподавателя французского языка. Среди них — Жан-Мари Замб, ставший впоследствии профессором Коллеж де Франс по кафедре немецкой цивилизации, и Жильбер Кан, племянник Леона Брюнсвика^[156], который когда-то был связан с Симоной Вейль^[157].

Как и в Упсале, Фуко отводит часть времени на то, чтобы позаниматься с небольшой театральной труппой, собранной Жильбером Каном. Именно он предлагает поставить пьесу Жана Кокто «Школа вдов» (премьера состоится в июне 1960 года) и подробно рассказывает об этом писателе нескольким студентам, образовавшим вокруг него своего рода дружеский кружок, в частности Юргену Шмидту и Ирен Стапс, основным актерам труппы.

И конечно же он проводит много времени в университетской библиотеке. Он заканчивает работу над основной диссертацией «Безумие и неразумие» и отправляется в Париж, чтобы отдать ее на прочтение Жану Ипполиту, которого хотел бы видеть научным руководителем. После чего приступает к редактированию дополнительной диссертации: перевода «Антропологии» Канта, к которому он намеревается присовокупить

пространное историческое предисловие. Когда обе диссертации приобретут окончательный вид и автор будет готов к тому, чтобы представить их к защите, для него найдется место в одном из высших учебных заведений Франции. Разумеется, место не профессора, поскольку ни одна из диссертаций еще не защищена, но преподавателя-лектора, руководителя семинаров. Предложение пришло из Клермон-Феррана, и Фуко решил прервать добровольную ссылку и вернуться во Францию.

*

Больше у него никогда не будет такого поста, где он мог бы заниматься одновременно административной и просветительской деятельностью. Тем не менее несколько раз речь заходила об этом поприще. В 1967 году Этьен Бюрен де Розье, став послом в Риме, позвонил Фуко, находившемуся в тот момент в Тунисе, и предложил ему стать атташе по культуре. Тот легко дал уговорить себя, однако на горизонте замаячил Коллеж де Франс. Немногим ранее, в 1963 году, Фуко согласился возглавить Институт французской культуры в Токио, однако декан факультета Клермон-Феррана умолил министерство не забирать у него преподавателя, благодаря которому процветало его учебное заведение. А через много лет, в 1981 году, когда к власти придут левые, будет обсуждаться назначение Фуко атташе по культуре в Нью-Йорк. Однако переговоры так ничем и не завершатся.

Фуко будет осуществлять миссию «посланника французской культуры», став преподавателем в Тунисе, разъезжая с лекциями по разным странам, а главным образом, благодаря своим книгам, имевшим успех по всем мире.

Он уехал из Франции в 1955 году и был убежден в том, что отныне постоянно будет путешествовать. Более того, он знал, что обречен на скитания. Жить завтра не там, где сегодня — такова идея. Навсегда расстаться с Францией? Возможно, однако следует использовать эту страну, с которой он был в разладе, как стратегическую базу, позволяющую организовывать длительное пребывание в других частях света. В начале 1968 года, приехав в Швецию с лекциями, он скажет в одном из интервью, что в 1955 году, покидая Францию, он твердо решил проводить жизнь «на чемоданах», переезжая из страны в страну и, главное, «никогда не касаться пера»:

«Мысль посвятить свою жизнь написанию книг казалась мне

абсурдной, я никогда не имел таких намерений. Только в Швеции, где ночи длятся долго, я подхватил этот вирус и выработал отвратительную привычку писать по пять-шесть часов в день»^[158].

В момент отъезда из Франции он чувствовал себя «путешественником, переезжающим из страны в страну, никому не нужным и ни на что не годным». «Я и сейчас ощущаю свою ненужность, — добавляет Фуко (напомню, что идет 1968 год), — с той только разницей, что уже не являюсь путешественником. Теперь я пригвожден к письменному столу»^[159].

Мишель Фуко — турист, не помышляющий о сочинении книг? Должно быть, он лукавит, ведь к 1955 году у него уже были публикации. Вместе с тем он пронес через всю свою жизнь убеждение, что, в сущности, не собирался становиться человеком пишущим. Когда он будет работать над последними книгами, продвигаясь с трудом, исполненный сомнений, раскаявшийся и, должно быть, с огромной усталостью и желанием бросить все, эта тема то и дело будет всплывать в его разговорах с друзьями: «Я случайно начал писать. А стоит только начать, как тут же попадаешь в плен, из которого невозможно бежать». Искушение избавиться от этой зависимости было велико. Но легко ли отказаться от роли, которая стала сутью жизни?

Фуко покинул Францию в августе 1955 года. Летом 1960 года он возвращается. Ему еще нет тридцати четырех лет. Что значимого произошло за годы его отсутствия? Прежде всего, значимым было само отсутствие. Фуко пропустил политические события, развернувшиеся в стране: войну в Алжире и приход к власти генерала де Голля. Он остался в стороне от бурной деятельности, развернутой левыми, от создания мощного студенческого профсоюзного движения, от появления в университетской среде течений, не связанных с коммунистической идеологией, от всего того, что приведет страну к кризису 1968 года. Именно во время пребывания Фуко за границей появятся трещины, которые через несколько лет станут причиной разлома в обществе. Но и тогда Фуко не окажется во Франции. В то время, когда Францию сотрясали битвы вокруг войны в Алжире, он жил в Швеции, Польше, Германии. Когда студенческие волнения весны 1968-го сметут социальные, политические и институциональные основы страны, он будет в Тунисе.

Несомненно, значимым было и то, что Мишель Фуко закончил работу над диссертацией «Безумие и неразумие: история безумия в классическую эпоху». Эта работа могла бы называться «Иное безумие», что

перекликалось бы с цитатой из Паскаля, открывающей первый вариант предисловия. Но, поскольку речь шла о том, чтобы представить ее к защите, Фуко остановился на более академическом названии.

Первый вариант предисловия начинается так:

«Паскаль: «Люди неизбежно столь безумны, что было бы безумием впасть в иное безумие — не быть безумным». А вот что пишет Достоевский в «Дневнике писателя»: «Тем, что другого запрешь в сумасшедший [дом], своего ума не докажешь». Необходимо написать историю подлинного безумия — иного безумия, благодаря которому люди, запирая соседей волею высочайшего разума, узнают друг друга и общаются при помощи не знающего пощады языка не-безумия; нащупать момент возникновения заговора, когда он еще не взошел на престол правды и не был одобрен лиризмом протеста. Попытаться достичь внутри истории нулевой степени истории безумия, где оно представляет собой недифференцированный опыт, опыт, еще не разделенный механизмом деления. Описать от исходной точки поворота это «иное безумие», которое единым мановением роняет то, что отныне является чем-то внешним, глухим к любым изменениям, и словно умирает одно в другом, Разум и Безумие».

Фуко с самого начала заявляет, что достичь этого «неудобного пространства» можно, лишь отказавшись «от комфорта конечных истин», то есть освободившись от концептов, выработанных современной психопатологией: «Важно движение, разделяющее безумие, а не наука, которая возникает в обретенном спокойствии, когда деление уже произошло». Медицинское знание замуровывает сумасшедшего в его безумие. Сумасшедший и здравомыслящий перестают разговаривать друг с другом: «Что касается общего языка, то его не существует, точнее, его больше не существует: осознание безумия как психической болезни, имевшее место в конце XVIII века, свидетельствует о прерванном диалоге, об уже достигнутом разобщении и погружает в забвение неловкие слова, не имеющие строго синтаксиса, почти бормотание, при помощи которого происходил обмен между безумием и разумом. Язык психиатрии, являющийся монологом разума о безумии, мог вырасти только на таком молчании». Далее следует часто цитирующийся пассаж, в котором Фуко дает определение своему замыслу:

«Я хотел создать не историю такого языка, а, скорее, археологию этого молчания»^[160].

Намерение создать «археологию молчания» ведет к необходимости прозондировать всю западную культуру. Поскольку «европеец с самого раннего средневековья имел дело с тем, что он нетвердо называл *безумием, слабоумием, неразумием*», следует, видимо, признать, что отношение *разум* — *неразумие* составляет для этой культуры «одно из мерил ее оригинальности», что она определяется этой пучиной, угрожающей ей. Именно к этой пучине, к этой «области, где следует ставить вопрос о границах, а не об идентичности культуры», Фуко и намерен нас подвести. Нужно «написать историю границ — тех смутных движений, неизбежно забывающихся после того, как они совершены, благодаря которым культура отбрасывает то, что должно стать для нее чем-то внешним; и на протяжении всей истории это зияние, это пустое пространство, служащее для самоизоляции, определяет ее не менее, чем выработанные ею ценности. [...] Выпытывать предельные опыты культуры значит расспрашивать ее о границах истории, о разрыве, который подобен самому рождению ее истории».

Фуко опирается в первую очередь на работу Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»: «В центре этих предельных опытов западного мира стоит, конечно, опыт трагического — Ницше показал, что структура трагического, на котором строится история западного мира, является не чем иным, как забвением трагедии, отказом и молчаливым отходом от нее». Но «многие другие опыты вращаются» вокруг этого — центрального, и каждый оставляет на границах нашей культуры «линию, означающую в то же время первоначальный раздел». Фуко хотел создать археологию отчуждения всех подобных опытов — представлявших угрозу, отвергнутых, изгнанных, забытых, но, тем не менее, живущих. Он предполагал серию исследований, которые должны разворачиваться «под солнцем великой теории Ницше», и поведать о других разделах, лежащих в основе нашей культуры. Он упоминает два из них: отказ от «снов, к трактовке которых человек постоянно прибегает, чтобы найти истину о самом себе, идет ли речь о его судьбе или о его сердце, но делает это наряду с глобальным отречением, которое выделяет их и отбрасывает в область галлюцинаций, подлежащих осмеянию». И еще: «...история сексуальных запретов, взятая не только в русле этнологии: оставаясь внутри нашей культуры, рассказать о постоянно меняющихся и упорно преследующихся формах, но не с целью создания хроники морализаторства

или терпимости, а ради выявления трагического раздела счастливого мира и желания как границы западного мира и истока его морали». Однако главным являлось намерение рассказать «об опыте безумия», застигнутого в том виде, в котором оно существовало до того, как на него наложили лапу знания и научный дискурс, и позволить ему самому выразить себя, описать себя при помощи «тех слов, тех текстов, которые всплывают из глубины языка и не предполагают употребления в речи»^[161].

Таким представал замысел Фуко в предисловии, насчитывавшем с десяток страниц, от которого автор отказался, переиздавая книгу в 1972 году. Соответствует ли ему книга? Конечно, невозможно пересказать все, что содержится на более чем шестистах печатных страницах, изобилующих сведениями, фонтанирующих мыслями, подчас путанными, иногда уводящими в сторону, содержащими противоречия, перепрыгивающими с одной сферы на другую. Автор внедряется то в экономику (эта область всегда присутствует в исторических книгах Фуко, который порой предстает вполне сведущим экономистом), то в юриспруденцию, искусство, что позволяет выстраивать передовую линию аргументации. Попробуем просто обратиться к некоторым сочленениям этой пространной конструкции, вслушаться в голос Фуко, модуляции которого изменятся впоследствии.

Когда безумие имело еще права гражданства в обществе, то есть в эпоху расцвета Ренессанса, между двумя формами безумия уже пролегла трещина. Одну из форм изображали Босх, Брейгель или Дюрер. Это безумие, внушающее страх, навязчивое, грозное, свидетельствующее о глубокой тайне, поглощающей правду доступной нам реальности; безумие, породненное с силами зла и тьмы, в которой есть свидетельство силы Сатаны. Другая форма, предстающая в «Похвале глупости» Эразма, еще вступает в диалог с разумом, но уже далеко отстоит от него, и если и помещается в дискурс, то лишь для того, чтобы управлять ею, используя ее ради критики иллюзий и претензий человечества. С одной стороны, мы сталкиваемся с глубоко трагическим безумием. С другой стороны, — с почти прирученным безумием, смягченным ироническим взглядом гуманистов. Между этими двумя формами уже произошел разрыв, и расстояние между ними будет увеличиваться из века в век. Возможно, именно в этот момент расходятся две дороги. Одна из них, дорога критического разума, приведет к медицинскому знанию. Другая, дорога трагических масок, ведет к молчанию, однако будет воссоздаваться в произведениях Гойи, Ван Гога, Ницше и Арто. Но, в любом случае и независимо ни от чего, в эпоху, когда происходит разрыв, безумие еще соседствует с жизнью и является частью мира.

В XVII веке ситуация меняется: безумие оказывается вышвырнутым из жизни и отмеченным клеймом проклятия. Это событие, которое Фуко называет «классическим», имеет два «аспекта». С одной стороны, безумие отвержено высочайшим мановением разума, обрекающим его на изгнание и молчание в соответствии с прагматической формулой Декарта «это всего лишь сумасшедшие», выведенной в первой части «Метафизических размышлений», где он воссоздает и отвергает основы возможного сомнения касательно истин, представляющихся разуму чем-то совершенно очевидным^[162]. Человек может оказаться безумным, но это безопасное для разума безумие. С другой стороны, безумие запирается под ключ, попадает в заточение. И тут экономические, политические, моральные или религиозные обоснования работают в полную силу: «великому заточению», ознаменовавшему XVII век, подвергнутся нищие, безработные, попрошайки, бродяги, к которым присоединятся либертины, венерические больные, гомосексуалисты; все они окажутся в стенах приютов наряду с теми, кто утратил разум. Фуко полагает, что «безумие поселяется по соседству с грехом, и, быть может, именно поэтому неразумие на века породнится с виной: в наши дни душевнобольной ощущает это родство как свою личную участь, а врач открывает его как естественнонаучную истину»^[163]. Мы прошли путь от безумия к неразумию, от эпохи, когда безумие стояло особняком, к эпохе, когда оно растворилось среди пороков, подлежащих изоляции с целью «исправления». Ибо дисциплинарные учреждения организуются ради наказания тех, кто вместе с прочими попадает в него, а не для врачевания.

Однако, обозначив тех, на кого налагается печать проклятия, и очистив от них общество, исполнители «великого заточения» сыграли не только негативную роль. Изоляция «образовала определенную сферу человеческого опыта», поскольку «в ее единообразном пространстве пришли в соприкосновение такие категории людей и такие ценности, между которыми культура предшествующих эпох не усматривала ни малейшего сходства; она незаметно придвинула их к безумию, подготовив тем самым новый его опыт — наш опыт, — в рамках которого ценности эти заявят о себе как о неотъемлемой принадлежности сумасшествия»^[164].

С другой стороны, неразумие в своем конкретном проявлении локализовано и очищено. Оно может стать «предметом восприятия». И тут мы подходим к одному из ключевых положений книги Фуко: «Но каков горизонт этого восприятия? Очевидно, что он совпадает с горизонтом социальной действительности. Начиная с XVII века неразумие перестает

неотступно преследовать мироздание; оно не выступает больше и естественным измерением разума во всех его перипетиях. Оно приобретает характер явления сугубо человеческого, какой-то стихийно возникшей разновидности среди прочих социальных видов. Прежде оно было неотвратимой угрозой, заключенной в мире вещей и в языке человека, в его разуме и его земле; ныне оно предстало в виде некоего лица. Вернее, лиц: людей, отмеченных неразумием, типажей, распознаваемых обществом и подвергаемых изоляции — развратника, расточителя, гомосексуалиста, колдуна, самоубийцы, либертина. Впервые мерой неразумия становится определенное отклонение от социальной нормы. [...] Вот это и есть самое главное: то, что безумие внезапно оказалось перенесено в сферу социального и отныне будет проявляться преимущественно и почти исключительно здесь; то, что ему, бродившему прежде во всех пределах, тайно обитавшему в самых привычных местах, вдруг, едва ли не в одночасье (менее чем за полвека во всей Европе), отвели особую область, где всякий может его распознать и разоблачить; что с той поры его, словно нечистую силу, стало возможным разом изгнать из каждого конкретного человека, в которого оно вселилось, с помощью мер и предосторожностей правопорядка». Фуко ставит вопрос так:

«Разве не существенно для нашей культуры то обстоятельство, что неразумие смогло сделаться для нее объектом познания лишь постольку, поскольку предварительно стало объектом отлучения?»^[165]

Однако внутри созвездия неразумия безумие постепенно завоюет совершенно особое место. Поскольку в конце концов встал вопрос об экономической целесообразности изоляции социально проблемных индивидуумов и о том, не лучше ли отправить на рынок труда всех тех, кто способен работать. Разве можно победить нищету путем ее изоляции? И, как только этот шаг сделан, безумие оказывается отделенным от последней из всех форм неразумия, с которыми оно еще недавно делило обитель. Оно одно останется в заключении, утратив своих сокамерников. Безумцы окажутся наедине с врачами, которые вплотную займутся ими. И тут происходит рождение психиатрических больниц, превращение мест заключения в медицинские учреждения. Безумие стало классифицироваться как «душевное заболевание». Сумасшедшие отныне освобождены от оков, однако следует остерегаться наивного принятия мифологии позитивизма, воспевающей достоинства такого освобождения и

приписывающей их собственным заслугам: «Лечебница эпохи позитивизма, заслуга создания которой приписывается Пинелю, — это не пространство свободы, где наблюдают больных, ставят им диагноз и проводят терапию; это пространство правосудия, где человека обвиняют, судят и выносят ему приговор и где освобождение достигается лишь через перенос судебного процесса в глубины собственной психологии, то есть через раскаяние. В лечебнице безумие будет наказано — пусть даже вне лечебницы оно признано невиновным. Отныне безумие надолго, во всяком случае, до наших дней, заточено в тюрьму морали». Фуко добавляет:

«Считается, что Тьюк и Пинель открыли медицинской науке доступ в психиатрическую лечебницу. Однако они ввели в лечебницу не науку как таковую, а определенного персонажа — носителя сил, заимствующих у науки всего лишь ее внешнюю оболочку либо, самое большее, свое оправдание. [...] Врач способен очертить границы безумия не потому, что обладает знанием о нем, а потому, что может его обуздать; позитивизм будет воспринимать как объективность всего лишь другую сторону, противоположный скат этого превосходства медика над больным»^[166].

Хотя медицина постоянно празднует свои теоретические победы, партия еще не сыграна. Ибо, как считает Фуко, лечебница, созданная Пинелем, не в состоянии избавить современный мир от безумия. Пусть безумие «не является больше ночью, противостоящей дневному лику», став наблюдаемой реальностью, о которой нормальный человек изрекает истину — следует признать, что эта истина идет вслед за безумием: «В наши дни человек обладает истиной лишь в загадке безумца, каким он является и каким не является; каждый безумец несет и не несет в себе эту истину человека, которую он обнажает самым упадком своей человечности». Иначе говоря, человек и безумец «связаны неощутимыми узами присущей им обоим и несовместимой истины». А кроме того, необходимо услышать тех, к кому в тот момент, когда неразумие приговаривается к исчезновению, переходит факел. Факел тьмы, ночи, безбрежного отрицания. Вот Гойя с его образом безумия, глубоко чуждым современному опыту, разве он не «передает тем, кто способен услышать и понять — Ницше и Арто, — едва различимые речи классического неразумия, речи небытия и ночного мрака, — но усиливая их, доводя до вопля и буйного неистовства? И быть может, именно оно впервые наделяет их неким выражением, дает им право

гражданства и известную власть над западной культурой — власть, благодаря которой становятся возможны все отрицания ее, и тотальное отрицание? Быть может, оно возвращает им всю их дикую первобытность?». И у Гойи, и у Сада «неразумие по-прежнему неусыпно бдит в ночи, но в бдении своем оно соотносится с новыми, нарождающимися силами». Благодаря Гойе и Саду «западный мир вновь обрел возможность перейти черту разума в неистовстве насилия и, минуя все обетования диалектики, вернуться к трагическому опыту безумия».

Книга Фуко заканчивается так:

«Хитрость безумия торжествует вновь: мир, полагающий, будто знает меру безумию, будто находит ему оправдание в психологии, принужден именно перед безумием оправдывать себя, ибо в усилиях своих и спорах он соразмеряется с безмерностью таких творений, как произведения Ницше, Ван Гога, Арто. И нигде — менее всего в своем познании безумия — он не находит уверенности, что эти творения безумия оправдывают его»^[167].

Часть вторая
ПОРЯДОК ВЕЩЕЙ

Глава первая

Поэтический дар

Начатое «северными ночами» и законченное под лучами «упрямого солнца польской свободы»^[168], «Безумие и неразумие» представляло собой внушительную рукопись, насчитывавшую около тысячи страниц. «Девятьсот сорок три, — уточняет Жорж Кангийем, — не считая примечаний и библиографии». Предисловие, написанное в Гамбурге после того, как работа над текстом была завершена, датировано 5 февраля 1960 года. В те времена соискатель докторской степени должен был представить две диссертации. В качестве основной Фуко был намерен предложить «Безумие и неразумие», а в качестве дополнительной — перевод «Антропологии» Канта, снабженный комментариями и предисловием в сто двадцать восемь машинописных страниц.

Еще до возвращения во Францию Фуко принялся искать человека, который согласился бы сыграть роль научного руководителя, а точнее, допустить диссертацию к защите, поскольку руководить уже было нечем: работа над теорией подходила к концу. Приехав ненадолго в Париж, Фуко отправляется к Жану Ипполиту с просьбой взять его под свое крыло. Ипполит, занимавший в то время пост директора Эколь Нормаль, соглашается стать руководителем дополнительной диссертации. Прекрасный знаток истории философии и немецкой мысли, он чувствует себя в этой области как дома. Однако он советует Фуко отнести основную диссертацию, прочитанную им «с восхищением»^[169], одному из своих бывших учеников — Жоржу Кангийему, вот уже несколько лет преподававшему историю науки в Сорбонне. Ипполит полагает, что будет лучше, если гигантский труд, повествующий о восприятии безумия в разные века — явно не традиционная диссертация по философии — попадет под покровительство университетской науки. Работа должна заинтересовать Кангийема: ведь он и сам когда-то защищал диссертацию по медицине на тему «Норма и патология». И Мишель Фуко обращается к человеку, который уже выступал в качестве жреца во время ритуалов, положивших начало его научной карьере: на вступительном экзамене в Эколь Нормаль и на устном экзамене на получение звания агреже.

Встреча произошла в старой Сорбонне, перед одной из аудиторий — за несколько минут до начала очередной лекции Кангийема. Фуко коротко

изложил свой замысел: он намерен показать, как после прихода к власти классического рационализма произошел разрыв, который вывел безумие из игры, и как психиатрия придумала, обработала и расчленила свой предмет — душевную болезнь. Кангийем выслушал его и в ответ лишь ворчливо, как это было ему свойственно, обронил: «Если бы это было так, об этом уже было бы известно». Однако рукопись повергла его «в настоящий шок». Он не сомневается, что перед ним выдающаяся работа, и без колебаний соглашается допустить ее к защите, впрочем, он предлагает Фуко изменить или смягчить некоторые, по его мнению, слишком категоричные формулировки. Однако Фуко крайне дорожит литературной формой изложения и решает не менять ни строчки. Вскоре после защиты рукопись будет напечатана — такой, какой ее прочел Кангийем.

Видимо, стоит подробнее рассказать о человеке, которому в очередной раз, теперь уже во время испытания на пути к званию доктора философии, пришлось экзаменовать Фуко и выносить суждение о его работе. Первые встречи с Сангом, как его звали в Эколь Нормаль, оставили некоторый осадок в душе Фуко, но в конце концов он прочел его работы — и не без пользы для себя. Почему он раньше игнорировал их? Ведь Альтюссер еще в эпоху, когда главенствовали экзистенциалисты, при всяком удобном случае обращал внимание своих студентов на работы великого глашатая философии науки. Фуко, преодолев личную неприязнь, осилил «Норму и патологию» и статьи Кангийема, которые тот изредка печатал в специальных журналах. Жорж Кангийем был прежде всего профессором и, как говорил Дезанти, организатором «философского племени». Он мало публиковал — и не толстые талмуды, а отдельные страницы, которые лишь со временем составят тома, столь ценимые в профессиональных кругах: «Познание жизни», «Очерки по истории и философии науки», «Идеология и рациональность науки о жизни»... В предисловии к «Безумию и неразумию» Фуко назовет Кангийема своим учителем и повторит то же самое в декабре 1970 года в речи, произнесенной им при вступлении в должность профессора Коллеж де Франс. Однако на самом деле он испытывал влияние Кангийема в промежутке между этими двумя событиями: оно более заметно в «Рождении клиники», чем в «Безумии и неразумии». В письме, отправленном Кангийему в июне 1965 года, Фуко говорит, в сущности, об этом:

«Когда десять лет назад я лишь приступал к работе, я не знал Вас — то есть Ваших книг. Но я конечно же не смог бы сделать то, что я сделал, если бы не прочел их. Мои труды отмечены

Вашей печатью. Я не могу сказать, что именно и каким образом отмечено ею, в частности, в самом «методе», однако Вам следует знать, что даже мои «контрдоводы», и особенно мои «контрдоводы», например, по поводу витализма, появились лишь благодаря Вашим трудам, благодаря тому аналитическому слою, который Вы создали, благодаря изобретенному Вами «эпистемиологическому» и «эйдетическому». На самом деле «Клиника» — лишь продолжение всего этого и, возможно, целиком укладывается в данные рамки. Я был бы рад когда-нибудь ухватить суть этой связи».

Чтобы «ухватить суть этой связи» и, быть может, понять тайное влияние профессора на целое поколение философов, следует обратиться к пространной статье, написанной Фуко в 1977 году в качестве предисловия к американскому изданию книги «Норма и патология». В этом тексте Фуко настаивает на той исключительной роли, которую Кангием сыграл в дебатах, перетряхнувших французскую философскую мысль в шестидесятые и семидесятые годы:

«Этот человек, писавший скупой, намеренно ограничивавший себя, во всем преданный особой области истории науки, дисциплине, в любом случае не претендующей на зрелищность, оказался некоторым образом втянутым в дискуссии, в которые старался не ввязываться»^[170].

Кангием действительно вступил в спор лишь однажды, прокомментировав в значительной статье, замеченной всеми, «Слова и вещи»^[171]. «Просто я был задет критикой в адрес Фуко со стороны сторонников Сартра», — вспоминает Кангием. После смерти Фуко он отдаст должное ушедшему другу в блестящей статье, раскрывающей эволюцию мысли философа от «Безумия и неразумия» до последних томов «Истории сексуальности»^[172]. В январе 1988 года он будет председательствовать на коллоквиуме «Философ Фуко», который соберет в Париже множество исследователей со всего мира.

Жорж Кангием родился в 1904 году в Кастельнодари, на юго-западе Франции. Он учился в Эколь Нормаль и, наряду с Ароном, Сартром и Низаном, принадлежал к знаменитому выпуску 1924 года. Получив звание агреже по философии, Кангием принялся изучать медицину. В 1943 году, в разгар войны и оккупации, он защитил диссертацию. Страсбургский

университет, где он преподавал, ютился в то время в Клермон-Ферране. Продолжая работать, Кангийем активно участвовал в Соппротивлении. После Освобождения он преподавал в Страсбурге, а затем был назначен главным инспектором национального образования. В этот период он заработал глубокую неприязнь преподавателей среднего звена образовательной системы, чью компетенцию ему по долгу службы приходилось оценивать. Его боялись и даже ненавидели из-за частых вспышек гнева и грубости в манерах. И сейчас можно услышать множество малоприятных историй о его поведении и речах «при исполнении обязанностей», да и само по себе освобождение от должности говорит не в его пользу. Однако в 1955 году он заменяет в Сорбонне Гастона Башляра, и, по всей видимости, именно с этого момента его влияние на французскую мысль становится наиболее ощутимым: влияние подспудное, ускользающее от восприятия, оно будет оставаться в тени до тех пор, пока Фуко не явит его на всеобщее обозрение. Кангийем всю жизнь размышлял над проблемами научной практики, идя по стопам Башляра, но отбросив физику и сосредоточившись на науках о жизни. Его интересуют прежде всего отношения между идеологией и рациональностью в процессе открытия, роль ошибки в поисках «истины», понятия, которое также занимает его... И эти занятия, как замечает Фуко в тексте 1977 года, поставили его в один ряд с другими философами, изучавшими концепты, такими, как Башляр, Кавайес, Койре, которые словно испокон веков противостояли другому лагерю, наиболее яркими представителями которого были Сартр и Мерло-Понти — философам опыта и смысла, экзистенциалистам и феноменологам.

Кангийем, таким образом, притягивал всех тех, кто стремился свернуть с проторенной дороги субъективной философии, то есть тех, кто на протяжении тридцатилетнего периода, с пятидесятых по восьмидесятые годы, пытался обновить теоретический дискурс философии, социологии или психоанализа. Его имя стало лозунгом, воинственным кличем... Кангийема можно назвать предшественником структуралистов. Точнее, он приучил молодых исследователей к тому, что впоследствии станет структурализмом, излагая им курс истории науки и опираясь при этом на структуры.

*

В те годы, чтобы защита состоялась, диссертацию следовало

опубликовать. А для этого — получить разрешение на публикацию от декана факультета, на котором должна была присуждаться степень доктора. И вот Кангийем садится составлять отзыв в связи с выдачей разрешения на публикацию основной диссертации, представленной на соискание степени доктора наук. 19 апреля 1960 года из-под его руки выходят машинописные страницы, напечатанные с минимальным отступом, на которых он излагает основные положения работы. О высокой оценке диссертации можно судить по длинному фрагменту, сохранившемуся в его домашнем архиве: «Значение этой работы очевидно. Поскольку г-н Фуко ни на минуту не выпускает из виду разнообразие опытов безумия, имевших место от Возрождения до наших дней, доступных современному человеку отраженными в зеркалах пластических искусств, литературы и философии; поскольку он то распутывает, то запутывает основные нити, его диссертация является одновременно и анализом и синтезом, строгость которых не облегчает чтения, но компенсируется мыслью». И далее: «Что же касается источников, г-н Фуко перечел и пересмотрел огромное количество архивных материалов, а многие вошли в научный оборот впервые. Профессиональному историку не могут не импонировать усилия, приложенные молодым ученым для того, чтобы черпать информацию из подлинников. И ни один философ не сможет упрекнуть г-на Фуко в том, что он ущемил автономию философского суждения, подчинив ее источникам с историческими сведениями. Впитывая значительный документальный материал, мысль г-на Фуко с начала и до конца сохраняет диалектическую строгость, идущую частично от симпатии к гегельянскому видению истории и от хорошего знания «Феноменологии духа». Оригинальность работы состоит, главным образом, в возвращении на новом уровне к философской рефлексии в связи с материалом, который до сих пор игнорировался философами и историками психиатрии, отданный на откуп тем из них, кто, в силу моды или убеждений, интересовался историей или предысторией своей специальности». Отзыв заканчивается формулировкой, принятой в официальных документах:

«Таким образом, я полагаю, что исследования г-на Фуко имеют большую значимость и что его работа заслуживает того, чтобы быть представленной к защите в присутствии комиссии филологического факультета, и прошу декана разрешить ее публикацию»^[173].

Разрешение конечно же было получено. Оставалось найти издателя.

Мишель Фуко уже давно остановил свой выбор на «Галлимаре»: он мечтал, чтобы его книга была опубликована издательством, выпускавшим труды авторов предыдущего поколения, в частности Сартра и Мерло-Понти. И он относит рукопись Брису Парену^[174], входившему в редакционную группу издательства, расположенного на улице Себастьян-Боттен. Брис Парен дружит с Жоржем Дюмезилем. Они познакомились после Первой мировой войны в Эколь, когда объявление мира и демобилизация смешали студентов разных курсов. В период между 1941 и 1949 годами Парен издал многие книги Дюмезиля. Однако из-за низких продаж серии, затеавшиеся им, долго не жили^[175]. Возможно, именно эти неудачи заставили Парена с недоверием относиться к рукописям, имевшим академический характер.

В начале пятидесятых годов он отклонил сборник статей, представленный неким этнологом, автором единственной книги «Элементарные структуры родства». Клоду Леви-Стросу — он и был этим этнологом — пришлось ждать публикации этого сборника много лет. Наконец он вышел в издательстве «Плон» под названием, которое не могло не обеспечить ему успех — «Структурная антропология»^[176].

Брис Парен отверг и рукопись молодого философа, несмотря на уверения Дюмезиля, помогавшего Фуко на всех этапах его карьеры. «Мы не печатаем диссертаций», — объяснил он раздосадованному автору. Фуко на протяжении многих лет излагал друзьям следующую версию этой истории: «Они не захотели печатать мою рукопись, потому что в ней содержались постраничные сноски». И все же поход в издательство «Галлимар» не был совсем бесполезным. Ибо среди работавших там людей нашелся еще один читатель: Роже Кайуа^[177]. Он также был связан с Дюмезилем, у которого учился в Высшей школе практических исследований. Кайуа входил в комиссию по присуждению «Премии критиков». Он решил дать рукопись на прочтение другому члену комиссии, чтобы узнать, имеет ли подобный труд шанс на получение премии. У Мориса Бланшо не было времени прочесть рукопись полностью. Однако того, что он прочел, оказалось достаточно, чтобы оценить значимость работы. Своим восторгом он поделился с Кайуа. Годом позже, когда книга выйдет из печати, он повторит свой отзыв уже во всеуслышание.

Однако одобрения Бланшо недостаточно, чтобы получить «Премии критиков». А одобрения Кайуа недостаточно, чтобы «Галлимар» принял рукопись к печати. Что ж, Фуко найдет выход. Жан Делай предложил ему опубликовать рукопись в одной из серий издательства «Пресс университет де Франс», составлением которой он занимался. Но Фуко не хотел, чтобы

его книга попала в гетто для диссертаций. Успех Клода Леви-Строса произвел на него большое впечатление, о чем он открыто говорил впоследствии: его восхитило, как тот перешел границу между читателями-специалистами и широким кругом образованных людей. Леви-Строс, получив отказ от «Галлимар», нашел приют в издательстве «Плон», где в 1955 году опубликовал «Печальные тропики», а в 1958-м — «Структурную антропологию».

Мишель Фуко хорошо знал Жака Бельфруа, работавшего в издательстве литературным консультантом. Он познакомился с ним в Лилле. В то время Бельфруа был лицеистом и много общался с Жан-Полем Ароном. Впоследствии он перебрался в Париж, где занялся издательской и литературной деятельностью. Бельфруа посоветовал Фуко отдать рукопись издателю, который дал ход рукописям Леви-Строса. Двадцать лет спустя Фуко так рассказывал об этом:

«По совету одного друга я отнес свой труд в «Плон». Через несколько месяцев я решил забрать его назад. Мне дали понять, что сразу вернуть рукопись затруднительно, поскольку для этого еще ее нужно найти. И в один прекрасный день ее нашли в каком-то ящике. И тут вдруг обнаружилось, что это книга по истории. Ее отдали на чтение Ариесу. Так я с ним и познакомился»^[178].

Филипп Ариес^[179] возглавлял серию «Цивилизация: прошлое и настоящее». Издательство «Плон» вознамерилось изменить политику и продвигать престижные серии. Эрик де Дампьер специализировался на социологии и опубликовал переводы трудов Макса Вебера; Жан Малори основал серию «Земля людей»; Ариес отвечал за исторические исследования. В его серии уже вышли «Рабочий класс, опасный класс» Луи Шевалье и его собственный труд «Ребенок и семья при Старом режиме». И вот как пишет он в своих воспоминаниях:

«Мне принесли объемную рукопись: диссертацию по философии, посвященную соотношению безумия и неразумия в классическую эпоху, написанную автором, о котором я ничего не знал. Я прочел ее и был сражен наповал. Однако чего мне стоило протолкнуть ее!»^[180]

Увы, ветер перемен, подувший было в издательстве «Плон», ослабел, и новые хозяева, взявшие дело в свои руки, косо смотрели на серии, пусть

даже и престижные, но малорентабельные. Ариес дерется как лев — и побеждает. Книга «Безумие и неразумие» появится под маркой издательства «Плон».

Фуко навсегда сохранит глубокую благодарность человеку, к которому мог бы испытывать враждебность. Они походили друг на друга как ночь и день, дьявол и Бог. Ариес — католик, консерватор. Долгое время он был монархистом и не скрывал своих правых и даже крайне правых взглядов. Трудно представить себе большего традиционалиста. И тем не менее! Этот историк без кафедры, маргинал, державшийся в стороне от академических учреждений, называвший себя «историком выходного дня», оказался более других способен вопреки всему увидеть всю мощь новаторства странного, не вписывающегося в академические рамки труда, который попал ему в руки.

После смерти Ариеса Мишель Фуко напишет: «Филиппа Ариеса трудно было не любить: он исправно посещал мессы в своем приходе, но каждый раз вставлял в уши затычки, чтобы не слышать литургических пошлостей Ватикана...» И следом так отзовется о его исторических исследованиях:

«Круг за кругом, он изучал сначала факты демографии, которые были для него не биологическим фоном общества, а средством осознать себя, свое прошлое и будущее; затем детство, понимаемое им как этап жизни, препарированный, оцененный и сформированный взглядом на него мира взрослых и его чувствительностью к нему; наконец, смерть, которую люди ритуализируют, превозносят, обставляют подобно спектаклю, а иногда, как в наши дни, нивелируют и отменяют. Это он произнес слова «история менталитета». Достаточно прочесть его книги: он создал «историю практик», одна из них порождает униженную и сопротивляющуюся форму, другая — величественное искусство; он пытался разгадать взгляд, способ делания, бытия или действия, из которого вырастают обе практики — та и другая. Внимательный к немоу жесту, существующему испокон веков, к своеобразному предмету, дремлющему в музее, он выработал принцип стилистики бытия — я хочу сказать, исследования форм, при помощи которых человек проявляет, придумывает и забывает или отрицает себя, будучи обреченным на жизнь и смерть»^[181].

Этот текст, написанный в феврале 1984 года, очевидным образом является передачей чувств Фуко особым языком — языком исследования, посвященного искусству владеть собой, эстетике личности, над которой он в то время работал. Фуко закончит этот труд через четыре месяца, незадолго до смерти. Он составит два объемных тома, озаглавленных «Использование удовольствий» и «Забота о себе». Читая этот текст, можно угадать мотивы, которые легли в основу долгой дружбы этих людей, какой бы невероятной она ни казалась. И главное, он показывает, с какой искренностью и преданностью Фуко относился к Ариесу, насколько велика была его потребность говорить о «личном долге» перед ним^[182].

*

20 мая 1961 года, суббота. «Чтобы говорить о безумии, нужно иметь поэтический дар», — заключает Фуко, ослепивший комиссию и публику блестящим изложением сути своей работы. «Но вы им обладаете, месье», — парировал Жорж Кангийем. Между первой встречей в коридоре Сорбонны, на которой обсуждалась защита, и этим весенним днем, когда соискатель, в соответствии со старинным ритуалом, перед тем как комиссия подвергнет его пристрастному допросу, изложил основные положения своей работы, прошло чуть больше года. Заседание началось в половине второго в зале Луи Лиара, предназначенном для громких защит. Здесь все пропитано торжественностью: возвышение, длинная деревянная кафедра, громоздящаяся на нем, древняя обшивка стен, ряды скамеек, нависающие с двух сторон наподобие балконов в итальянском театре, тусклое приглушенное освещение — в зале почти темно... Зал заполнен. Конечно, через десять лет, когда Фуко должен будет произносить речь по случаю вступления в Коллеж де Франс, послушать его будут ломиться толпы. Но и в этот день собралось не меньше ста человек, и о том, что событие неординарно, догадывался каждый, кто пришел сюда.

Комиссию возглавляет известный историк философии Анри Гуйе, с 1948 года преподающий в Сорбонне. Среди членов комиссии он — «самый титулованный и имеющий самое высокое звание из старейших профессоров». Именно поэтому он председательствует: таково правило. Гуйе — приветливый, открытый человек, исключительно эрудированный, и не в одной области. Он знаменит своей работой «Метафизическая мысль Декарта», занимался Мальбраншем, Мен де Бираном и Огюстом Контom. Известен он также своей страстью к театру. В 1952 году опубликовал эссе

«Театр и существование», а в 1958-м — эссе «Театральное искусство». В те же годы он вел колонку драматургии в журнале «Круглый стол». Жорж Кангийем и Даниель Лагаш, глава кафедры психопатологии в Сорбонне, с которым Фуко изучал когда-то психологию, входили в его окружение. Кангийем и Лагаш — давние друзья. Они познакомились в Эколь Нормаль, преподавали вместе во время войны, вместе оказались в Сорбонне. В 1939 году Лагаш был мобилизован и работал на фронте в качестве судебно-медицинского эксперта. Попал в плен, бежал и прибил к Страсбургскому университету, переехавшему в Клермон-Ферран. В этом городе он обретает Жоржа Кангийема, который присутствует на его лекциях и демонстрациях больных. Когда Кангийем опубликовал свою диссертацию, посвященную медицине, Лагаш поместил краткое изложение ее содержания в бюллетене филологического факультета Страсбургского университета, которое было тремя месяцами позже перепечатано в «*Revue de métaphysique et de morale*»^[183]. В 1946 году он защитил диссертацию «Любовная ревность» и на следующий год получил место в Сорбонне. В 1953 году вместе с Жаком Лаканом, несмотря на разногласия, отдалившие друг от друга этих двух людей, он создал французское Общество психоанализа. В 1958 году он опубликовал труд «Психоанализ и структура личности» и приступил к осуществлению другого обширного замысла — «Словаря психоанализа», к работе над которым привлек своих коллег Жана Лапланша и Жан-Бернара Понталиса.

Гуйе, Кангийем, Лагаш... Без сомнений, схватка диссертанта со знаменитым трио обещала быть жаркой. Тем более что защита включала помимо диспута своего рода обряд инициации — с обязательными испытаниями и ловушками.

Публике, в нетерпении ожидавшей выступлений и обмена мнениями по поводу «Безумия и неразумия», пришлось набраться терпения. Так как в начале защиты рассматривалась дополнительная диссертация, Фуко должен был прежде всего ответить на вопросы по «Антропологии» Канта. Его основными оппонентами были Жан Ипполит и Морис Гандийяк, профессор Сорбонны, большой знаток Средних веков и Возрождения, на счету которого числилось немалое количество переведенных немецких текстов. Фуко, объясняя свой замысел, замечает, что, для того чтобы понять текст Канта, писавшийся, переписывавшийся и редактировавшийся на протяжении двадцати пяти лет, необходимо совместить структурный анализ и анализ генезиса. Как складывался этот текст, из каких пластов он состоит — это анализ генезиса. Каков его статус внутри кантианской системы, как он соотносится с «критическим» направлением, развивавшимся Кантом, —

это структурный анализ.

В устном выступлении, равно как и в тексте диссертации, Фуко широко использует собственную лексику — вскоре она широко войдет в научный обиход. Он говорит об «археологии текста Канта», задается вопросом о «пластах» и «глубокой геологии» и т. д. Дополнительная диссертация так и не будет опубликована. Перевод же текста Канта в 1963 году выпустит издательство «Врен», хотя Фуко, отвечая на замечания членов комиссии, заявил, что не предполагал публикацию «Антропологии» и взялся за эту работу только ради того, чтобы поставить вопрос о возможности философской антропологии. Что же касается исследования, то Фуко предпочел похоронить сто тридцать страниц в архивах Сорбонны, где они и покоятся в настоящее время. Но пусть нас это не обманывает: их нельзя классифицировать как мертвый груз. В дальнейшем мы увидим, насколько важным было это исследование и к чему оно привело. Возможно, именно эти страницы стали толчком к исследованию, вышедшему впоследствии под названием «Слова и вещи».

Но пока эта работа — всего лишь дополнительная диссертация, поданная на закуску. Наступило время приступить к главному блюду: основной диссертации.

Спектакль продолжился после краткого антракта. Председатель комиссии предоставляет слово соискателю. Высокий голос Фуко звучит напряженно. Он говорит отрывисто, мерно, его формулировки огранены, как бриллианты. «Приступая к исследованию, — объясняет Фуко, — я намеревался писать о сумасшедших, а не о врачах».

Однако это оказалось невозможным, поскольку голос безумия был задушен, сведен к немоте. Следовало собрать воедино отзвуки вечной битвы разума и неразумия, заставить заговорить то, что еще не стало языком, словами самовыражения, поэтому-то он и обратился к архивам. И пыльные документы открыли очевидное: безумие является не «фактом природы», но «фактом цивилизации». Оно всегда, в любом обществе, представляет собой «иное поведение», «иной язык». Следовательно, история безумия невозможна «без истории культур, которые определяют и преследуют его». И Фуко добавляет: чтобы довести расследование до конца, нужно было освободиться от концептов современной психиатрии, ибо медицинское знание о безумии возникло как «одна из многих форм отношения безумия и неразумия». В заключение Фуко ставит вопрос:

«Чем рискует культура, вступив в спор с безумием?»

После выступления Фуко начинается дискуссия. Всем запомнились возражения Лагаша. Сейчас принято иронизировать над непониманием, проявленным представителями французской традиционной психиатрии начала шестидесятых годов в отношении труда Фуко, сотрясавшего постулаты научного знания и психопатологических служб. Кстати, и Кангийем в предварительном отзыве, предупреждая возможную реакцию, подчеркивал: «Пересмотр основ научного статуса психологии является одним из сюрпризов, которые преподносит это исследование». Действительно, Лагаш раздражается замечаниями и высказывает недовольство. Но не следует также забывать — и об этом свидетельствуют записи, сделанные Анри Гуйе, — что Лагаш от начала и до конца дискуссии проявляет большую осторожность. Его критика касается лишь деталей, причем замечания лишены агрессивности. По сути, он отказался от спора и скорее принял работу Фуко. В конечном итоге его выступления ограничились рассмотрением уязвимых мест (информация о медицине, психиатрии и психоанализе), а также констатацией того, что автор не сумел, вопреки замыслу, в полной степени отрешиться от современных концептов. Лагаш воздержался от тотальной критики видения проблемы, которое, скорее всего, было ему совершенно чуждо.

Главным оппонентом соискателя на этой знаменательной защите, видимо, являлся председатель комиссии. Но дело было не во враждебном отношении к Фуко или к его работе, а в профессиональной и интеллектуальной совестливости. «Меня попросили войти в комиссию как специалиста по истории философии, — объясняет он, — и я был обязан сыграть отведенную мне роль». Таким образом, перед Гуйе стояла конкретная задача, и он справился с ней с блеском. Его вопросы и комментарии не иссякают. Он оспаривает отдельные интерпретации текстов и произведений. «Нужно разграничивать философию текста и философию, основанную на тексте», — бросает он соискателю. Вносит исправления в историческую часть работы... Изложить все замечания, высказанные профессором, упомянуть о всех ссылках, подсказанных его могучей эрудицией, которые он обрушивал на соискателя, представляется непосильной задачей. Однако профессор оценил талант и красноречие Фуко, а также изящество его стиля. Возражения профессора касались всех аспектов книги, в частности, страниц, посвященных Священному Писанию. «Я не готов принять вашу интерпретацию, — говорил он. — Фрагменты Писания, которые Вы цитируете, а также комментарий святого Винцента де Поля говорят не о том, что Иисус был безумен, а о том, что он намеренно вел себя так, чтобы его принимали за помешанного». И еще:

«Думаю, вряд ли можно говорить о «безумии Распятия», как это делается в главе об умалишенных, поскольку существует представление о высшей мудрости».

Гуйе оспаривает также подход к теме «плясок смерти», согласно которому выражение безумия могло заменять в театре и изобразительном искусстве образ смерти. «Мне ясно, как вы к этому пришли. Для вас важна философская преемственность: безумие — своего рода смерть. И вы переносите эту преемственность на искусство». По мнению профессора, такая транспозиция незаконна. Он не согласен также и с описанием картин Босха. Гуйе обнаруживает некоторые пробелы в знаниях классики:

«Там, где вы цитируете Шекспира, следовало бы также обратиться к Джону Форду, к безумию Пентеи в «Разбитом сердце»»^[184].

Профессор не принимает произвольное, с его точки зрения, прочтение «Племянника Рамо»: соискатель манипулирует текстом, приписывая героям Дидро те или иные мысли. То же самое происходит с текстами Декарта. На интерпретации текстов Декарта Гуйе останавливается особенно подробно. Вот что он говорит по поводу «злокозненного гения» из «Метафизических размышлений»: «Злокозненный гений символизирует гипотезу о существовании абсурдного мира, в котором $3+2$ не равно пяти. Однако я не усматриваю здесь ни малейшей связи с символикой безумия: эта идея навязывается сближением понятий злокозненности и вседозволенности. Психология этого персонажа намечена в начале четвертого размышления: речь идет о представлении о вседозволенности, подсказанном расцвеченными образами макиавеллизма, которая лежит в основе бытия. Вы видите в нем угрозу неразумия. Но нет, это лишь обоснование возможности существования иного разума. Именно в этом состоит метафизическая основа гипотезы». Гуйе также возражает против того, чтобы видеть в формуле из первого размышления Декарта «но ведь это помешанные!» — жест, подстрекающий к отделению разума от неразумия. Гуйе понял, что страницы, посвященные Декарту, являются центром здания, выстроенного Фуко, поэтому-то он и уделяет им особенное внимание. Он также упрекает Фуко в том, что тот «мыслит аллегориями»: «Безумие персонифицировано, оно развивается, двигаясь от одного мифологического концепта к другому: Средние века, Возрождение, классическая эпоха, европейский человек, Судьба, Ничто, память людей...

Благодаря этой персонификации происходит вторжение метафизики в историю, которое превращает повествование в эпопею, историю в аллегорическую драму, оживляющую философию». В заключение председатель комиссии заявляет: «Я не понимаю, что вы имеете в виду, когда определяете безумие как отсутствие творения». Фуко, по всей видимости, учтет это последнее замечание, поскольку чуть позже посвятит длинную статью разъяснению данной фразы^[185]. Во втором издании «Истории безумия» он признает, что написал ее «необдуманно»^[186].

Спектакль окончен. Председатель комиссии провозглашает, что соискателю присуждается степень доктора *des lettres* (филологии) с квалификацией «весьма похвально». Через несколько дней Анри Гуйе составит официальный отчет, в котором изложит ход защиты. Это заслуживает того, чтобы привести его полностью, так как в нем запечатлена первая реакция на появление философии Фуко.

20 мая г-н Мишель Фуко, преподаватель факультета филологии и гуманитарных наук Клермон-Феррана, представил следующие диссертации на соискание степени доктора:

Кант: «Антропология». Введение, перевод и комментарии. Дополнительная диссертация, основной оппонент — г-н Ипполит;

«Безумие и неразумие». История безумия в классическую эпоху. Основная диссертация, первый оппонент — г-н Кангийем, второй оппонент — г-н Лагаш.

Из членов комиссии в дебатах по дополнительной диссертации выступал г-н де Гандийяк, а по основной — председатель комиссии.

Г-н Фуко представил две очень несхожие работы, вызвавшие как похвалы, так и критику самого живого характера. Г-н Фуко, несомненно, яркая личность, обладающая большой культурой и недюжинным интеллектуальным багажом. Защита лишь подтвердила то, что он наделен всеми этими качествами: изложение основных положений обеих диссертаций отличалось ясностью, непринужденностью, изяществом, точностью, стройностью в разворачивании мыслей, которые отличала строгость и твердость. Однако кое-где проскальзывало некоторое небрежение правилами — а они не отменяются, даже если работа написана на самом высоком уровне: перевод текста Канта хотя и точен, но несколько незрел и неотточен, идеи соблазнительны, но

сформулированы несколько скоропалительно и на основе лишь нескольких фактов: г-н Фуко больше философ, чем комментатор или историк.

Оппоненты дополнительной диссертации обратили внимание на то, что в ней содержатся две работы:

1) Предисловие исторического характера, являющееся наброском книги об антропологии, более связанной с Ницше, чем с Кантом.

Это замечание г-на Ипполита. Второе сделано Гандийяком:

2) Перевод текста Канта, играющий в диссертации подчиненную роль, должен быть переработан.

Г-н Гандийяк советует разделить диссертацию на две части и подготовить к публикации, с одной стороны, книгу, набросок которой содержится в предисловии, а с другой стороны — критический перевод Канта.

Трое оппонентов, ознакомившихся с основной диссертацией, признают оригинальность этой работы. Автор полагает, что в каждую эпоху люди формируют свое представление о безумии, и определяет многие ментальные «структуры» «классической эпохи», то есть XVII, XVIII и начала XIX века. Невозможно дать перечень всех вопросов, возникающих в связи с работой. Упомянем лишь некоторые из них. «Имеем ли мы дело с диалектикой или с историей структур?» — спрашивает г-н Кангийем. «Смог ли автор действительно освободиться от концептов, выработанных современной психиатрией, определяя структуры и создавая историческую фреску?» — спрашивает г-н Лагаш.

Председатель комиссии предлагает разъяснить глубинную метафизику исследования: некоторое превознесение опыта безумия в свете таких личностей, как Арто, Ницше или Ван Гог.

Защита примечательна странным контрастом между талантом соискателя, который все признают, и сдержанным отношением к его работам, демонстрировавшимся на всем протяжении заседания. Г-н Фуко, несомненно, наделен писательским даром, однако г-н Кангийем обратил внимание на риторичность отдельных фрагментов, а председатель комиссии нашел, что соискатель явно стремится произвести эффект. Эрудиция соискателя несомненна, но председатель комиссии выявил места, где происходит спонтанный отход от фактов:

создается впечатление, что замечания такого рода были бы приумножены, если бы в комиссию входили специалисты по истории искусства, литературы и общественных институтов. Г-н Фуко весьма компетентен в области психологии, тем не менее г-н Лагаш находит, что информация, касающаяся психиатрии, дается скупо и что страницы, посвященные Фрейду, написаны слишком бегло.

Таким образом, можно констатировать, что обе диссертации были подвергнуты достаточно серьезной критике. Однако нельзя не признать, что мы столкнулись с весьма оригинальной основной диссертацией и с личностью, наделенной интеллектуальным «динамизмом» и талантом к описанию, то есть качествами, необходимыми для преподавателя высшей школы. Именно поэтому, несмотря на сдержанность в оценке работ, квалификация «весьма похвально» была присуждена единогласно.

Анри Гуйе 25 мая 1961 года.

Несмотря на «сдержанность в оценке», указанную в отчете председателя комиссии, книга «Безумие и неразумие» получила медаль Национального центра научных исследований. Каждый год за совокупность работ присуждается одна золотая медаль, за постдиссертационные исследования — одна серебряная медаль, а за лучшие диссертации по разным областям знания — двадцать четыре бронзовые медали. Бронзовая медаль за лучшую диссертацию по философии была присуждена Мишелю Фуко. И, поскольку Фуко стал доктором, он претендует на место штатного профессора в университете Клермона. И получает эту должность осенью 1962 года. Теперь дело за книгой: она должна пробиться к читателю, и путь ее будет нетрадиционным и причудливым. Ей предстоит также обрести статус или, точнее, статусы, благодаря комментариям, которыми она обрастет и которые сделают из ее появления событие^[187], своеобразную точку отсчета для множества других событий, поскольку число читателей будет расти, множиться и... разниться.

Глава вторая

Книга и ее двойники

В семидесятые годы Фуко часто сетовал на то, что книга «Безумие и неразумие» была встречена достаточно прохладно. Так, в 1975 году он заявил в одном из интервью:

«Когда я заинтересовался сюжетами, составляющими фон социальной жизни, некоторые исследователи, такие, например, как Барт, Бланшо и английские «антипсихиатры», отнеслись к этому сочувственно. Однако следует отметить, что философское и политическое сообщества остались совершенно равнодушны к моей работе. Ни один из профессиональных журналов, пристально следивших за малейшими изменениями в мире философии, не обратил на нее внимания»^[188].

Фуко имеет в виду журналы «Les temps modernes» и «Esprit», к которым никогда не испытывал симпатии. Действительно, эти журналы встретили книгу молчанием. Правда также и то, что книга осталась незамеченной широким кругом образованных читателей. Но действительно ли Фуко надеялся, что она заденет их за живое? В 1977 году он снова возвращается к этой теме, представив свое объяснение тому, что он называет полумолчанием. Фуко говорит о гнете коммунистической партии и марксистской идеологии, влиявшем на поведение интеллектуалов и не позволявшем им оценить критическую силу книги^[189], которая не вписывалась в строго очерченные рамки.

Но так ли обоснованно его разочарование — возможно, ретроспективное? Фуко утверждает, что только отдельные маргиналы сумели оценить значимость работы. Однако к статьям Бланшо^[190] и Барта^[191], упомянутым Фуко, следует присовокупить отклик Мишеля Серра^[192] и подробный отзыв в «Annales», подписанный Робертом Мандру, секретарем редакции^[193]. Примечательно, что за отзывом Роберта Мандру — и это очень важно — следует «заметка» Фернана Броделя, в которой патриарх нового направления в исторической науке благословляет автора книги^[194].

Официальные отзывы, составленные Жоржем Кангийемом и Анри

Гуйе, не были переданы заинтересованному лицу. Поэтому можно сказать, что эффектная гроздь откликов на появление книги составляет первую публичную реакцию на труд Фуко. Кажется нелишним привести здесь некоторые отрывки из них. Ведь Фуко в ту пору еще никому не известен и восприятие читателей не замутнено уже сложившимся образом автора. Мишель Серр^[195] связывает книгу Фуко с работами Дюмезиля. «На самом деле, — пишет он, — история безумия никогда не будет пониматься как генезис психиатрических категорий, как поиск внутри классической эпохи предчувствий позитивных идей... Реально описанию подлежат вариации структур, которые можно натянуть на этот двойной тип пространств и которые действительно оказались натянутыми на него: структур разлучения, отношения, слияния, основы, взаимности, изъятия»^[196]. Однако Серр не оставляет без внимания и другое влияние, отразившееся в книге:

«Строгость архитектуры пропала бы втуне, если бы наряду со структурным пониманием подспудно не обнаружилось более тайное видение, более ревностное отношение; без этого труд был бы точным, но не вполне верным. Не случайно в глубине логической аргументации, тщательного исторического расследования эрудита бьется потаенная любовь — почти религиозная, а не вызванная наносным гуманизмом — к темному люду, к которому автор оказывается бесконечно близок. Поэтому эта книга есть, помимо всего прочего, крик. [...] Прозрачная геометрия является патетическим языком людей, которые подвергаются высокой пытке отсекаания, немилости, изгнания, карантина, остракизма и отлучения»^[197].

Иначе говоря, это книга, «посвященная одиночеству, взятому во всей его полноте»^[198]. Серр не выпускает из виду и тень Ницше:

«Книга Мишеля Фуко является по отношению к классической трагедии (и, шире, к классической культуре) тем же, чем являлось ницшеанство по отношению к культуре эллинизма: он указывает на очевидность существования оргиастически-буйного дионисийского начала под лучами Аполлона»^[199].

Барту пришла по душе идея, что Люсьену Февру понравилась бы книга Фуко:

«...ибо он возвращает истории фрагмент «природы» и превращает в факт цивилизации то, что мы привыкли считать фактом медицины: безумие»^[200].

Далее он добавляет: «В сущности, Мишель Фуко нигде не дает определения безумия; безумие не становится объектом познания, историю которого следует воссоздать; если угодно, оно само является знанием: безумие — не болезнь, а смысл, меняющийся в зависимости от века и, возможно, гетерогенный; Мишель Фуко не считает безумие единицей функциональной реальности, он видит в нем чистую производную от пары «разум-неразумие», отражающее и отраженное»^[201]. Однако и Барт тоже отдает себе отчет в том, что толстый том Фуко «не просто книга по истории», но «своего рода катарсический вопрос, поставленный перед знанием вообще, а не только перед тем его разделом, который говорит о безумии».

В заключение Барт называет то, что наряду с вопросами, обращенными к знанию, станет предметом работы мысли Фуко в последующие годы, а именно «головокружительный дискурс, явленный Мишелем Фуко в ослепительном свете, который рождается не только при контакте с безумием, но при отстранении, позволяющем увидеть мир другим, иначе говоря, который рождается каждый раз, когда человек берется за перо»^[202].

Статьи Барта и Серра, разные по стилю и рассматривающие книгу под разными углами зрения, представляют собой уникальные прочтения «Безумия и неразумия», умные и тонкие. Но Барт — друг Фуко, а Серр — его коллега по Клермону. Однако и Бланшо говорит о «книге поразительной, изобилующей сведениями, настаивающей на своем и, в силу неизбежности повторений, почти неразумной» и в конце разбора упоминает Батая^[203]. Ни Мандру, ни Бродель также не приходились Фуко друзьями или коллегами. Мандру начинает с того, что указывает на лучший способ понять мысль автора. Он советует идти не напрямую, через «слишком блестящие формулировки», а кружным путем, начав с предисловия Фуко к книге Бинсвангера, «в котором сон исследуется как способ познания, в каком-то смысле параллельный к познанию через пробужденный разум... Подобно сну, безумие рассматривается автором как способ познания, иная и та же самая истина; то, что в современном мире оно существует только в художественных формах — от Нерваля до Арто,

— ранит автора. Он яростно протестует против этого вытеснения»^[204]. Мандру также ссылается на Дюмезиля, упомянув отзыв, данный о нем Фуко в интервью газете «Le Monde», а также фразу из «Безумия и неразумия», звучащую совершенно по-дюмезилевски:

«Неразумие могло бы быть памятью народов, тем, что более всего связывает их с прошлым»^[205].

И заключает свой отзыв следующим суждением о Фуко:

«Эта книга помещает автора в эпицентр исследований, которые не оставляют равнодушными ни его, ни нас»^[206].

За отзывом Мандру следует заметка Броделя:

«Я хотел бы в дополнение к отзыву, помещенному выше, еще раз обратить внимание на оригинальность и новаторский характер книги Мишеля Фуко. Я вижу в ней не только исследование коллективной психологии — тему, которую историки затрагивают нечасто и обращения к которой после Люсьена Февра мы ждем с особым нетерпением. Я вижу и приветствую в ней особую приверженность к выявлению трех или четырех аспектов проблематики, взятой во всей ее амбивалентности, отражения которой в материальном не всегда стоит искать (эту нить следует и тянуть большой осторожностью), но которая, тем не менее, является амбивалентностью, как в случае любого коллективного феномена. Цивилизационная истина погружается во тьму противоречивых мотиваций, осознанных и бессознательных. В этой прекрасной книге автор пытается проследить на примере особого феномена — безумия — таинственный путь, который проделывают ментальные структуры, свойственные некоторой цивилизации, понять, как она отпускает часть себя, отсекает ее и, обращаясь к своему прошлому, проводит границу между тем, что подлежит сохранению, и тем, что она намерена отринуть, отодвинуть, забыть. Эта трудная задача требует гибкого ума, способности не замыкаться в истории, философии, психологии, социологии... Ни один метод тут не подходит: эта задача не всякому таланту по плечу»^[207].

Так что же, выход «Безумия и неразумия» остался незамеченным? Существуют и другие свидетельства того, что книга была встречена более чем благожелательно. Например, письмо Башляра, которому Фуко прислал свою книгу в подарок. 1 августа 1961 года знаменитый философ, лучше других способный понять синтез истории науки и «поэтическое» видение проблемы, писал: «Я только что закончил читать Ваш труд... Куда только не отправляются социологи в поисках чужих племен. Вы показываете им, что мы сами представляем собой сообщество дикарей. Вы — настоящий путешественник. Ваша работа подсказала мне прекрасную мысль отправиться в XIX век...» Письмо заканчивается приглашением:

«Я вынужден покинуть наш чудесный Париж, но в октябре надеюсь увидеть Вас у себя. Мне хотелось бы воочию поздравить Вас, поблагодарить за ту изысканную радость, которую мне доставило чтение книги, короче, лично засвидетельствовать Вам свое искреннее уважение»^[208].

Среди тех, кто отозвался на выход книги, следует особо назвать молодого философа Жака Деррида — ученика Фуко из Эколь Нормаль, ставшего к тому времени ассистентом Жана Валя. Его отзыв заслуживает особого упоминания, поскольку он будет иметь немалые последствия для развития французской философской мысли в последующие годы. Жан Валь попросил своего ассистента выступить в Философском коллеже, который он возглавлял. Деррида выбрал в качестве темы комментариев к «Безумию и неразумию», а точнее, к фрагменту книги, в котором говорится о Декарте. Он счел, что весь проект Фуко можно свести к этим нескольким довольно загадочным и содержащим множество намеков страницам и что предложенное прочтение Декарта и картезианского «*cogito*» влечет за собой всю проблематику «Истории безумия», постановку ее задач и условий осуществления^[209]. Речь идет о знаменитой лекции «*Cogito* и история безумия», которую Деррида прочел 4 марта 1963 года^[210]. В начале лекции он признался, что осознает, насколько непросто вступать в дискуссию с книгой «замечательной, мощной по своему дыханию и стилю». Непросто еще и в силу выпавшего на долю докладчика «счастья учиться у Мишеля Фуко». «Я блюду сознание восхищенного и признательного ученика», — заявил Деррида^[211]. И продолжил: «Но ведь сознание ученика, когда последний начинает, не скажу спорить, но вступать с учителем в диалог или, скорее, высказывать вслух тот нескончаемый и

безмолвный диалог, который и делал его учеником, сознание ученика в таком случае — несчастное сознание». Деррида сетует на несчастную долю ученика: его желание полемизировать всегда — «и напрасно» — воспринимается как «оспаривание»^[212]. Возможно, подобное восприятие действительно ошибочно, но оно обосновано: тон лекции Деррида лихорадочен и суров. Несмотря на восторженное отношение к «монументальному» труду, ученик вовсе не расположен щадить учителя. Деррида, вслед за Анри Гуйе, отказывается видеть в восклицании Декарта — «Но ведь это помешанные!» — грубую форму остракизма, брошенного в лицо безумию. Деррида находит такое прочтение картезианского текста наивным. И даже опасным, втискивающим текст в «историческую структуру», в «совокупность фактической истории», что ведет, в свою очередь, к насилию, «ибо существует также насилие в отношении рационалистов и в отношении смысла, здравого смысла»^[213]. Подстраховав себя риторическими оборотами, Деррида приходит к довольно рискованной формулировке:

«Структурный тоталитаризм совершает здесь, возможно, акт заточения по отношению к *cogito*, применяя традиционное насилие»^[214].

Что почувствовал Фуко, услышав такое? Ведь он присутствовал в зале! Видимо, его легендарная обидчивость в тот момент дремала. Во всяком случае, как свидетельствуют очевидцы, он не рассердился на своего бывшего ученика за аргументированный выпад. Через несколько месяцев текст лекции будет опубликован в «*Revue de métaphysique et de morale*», главным редактором которого состоял все тот же Жан Валь^[215]. И на этот раз Фуко не выражает никаких эмоций. Так же будет и в 1967 году, когда Деррида перепечатает этот текст в книге «Письмо и различие»^[216]. Фуко даже пошлет ему вполне дружеское письмо, оповещая о получении тома. И все же гроза разразится, но не тогда, когда ее ждали. Из-за чего? Трудно сказать. Возможно, Фуко все-таки вывело из себя то, что Деррида включил в свою книгу лекцию, предназначенную для узкого круга слушателей. Некоторые придерживаются этой гипотезы. Оставим ее как данность и не станем гадать, объясняет ли она полностью внезапное изменение поведения Фуко. Когда книга «Письмо и различие» вышла в печати, Фуко и Деррида входили в редакционный совет журнала «*Critique*». В редакцию поступил отзыв Жерара Гранеля на сборник Деррида. В нем расточались

бесконечные похвалы автору, а вся желчь досталась Фуко, который, впад в ярость, попросил Деррида помешать публикации отзыва. Деррида отказался, предпочтя устраниваться от обсуждения вопроса о статье, непосредственно касавшейся его работы. Отзыв был опубликован. Чуть позже Фуко написал ответ Деррида, исполненный большой силы. Этот ответ он опубликовал в 1971 году в журнале «Paideia» под заглавием: «Мое тело, эта бумага, этот огонь», а в 1972 году воспроизвел в новом издании «Истории безумия»^[217]. Эту книгу Фуко послал Деррида со следующей надписью: «Прости, что отвечаю так поздно». Прошло девять лет! Концовка текста звучит почти как открытое объявление войны. Участники дуэли поменялись местами. Наступила очередь учителя судить бывшего ученика:

«Я согласен, по меньшей мере, с одним обстоятельством: отнюдь не из невнимания классические толкователи, равно как и Деррида, но задолго до него, замалчивали это место. Здесь говорит система. Система, коей Деррида выступает сегодня самым решительным, самым блистательным представителем: речь идет о сведении дискурсивных практик к текстуальным следам; об устранении событий, которые в них имеют место, в пользу знаков чтения; об изобретении затекстового голоса, предоставляющем возможность уклониться от анализа типов вовлечения субъекта в дискурсы; о вписывании в текст некоего истока, в виде сказанного и несказанного, позволяющем избежать необходимости помещать дискурсивные практики в то поле трансформаций, где они реализуют себя»^[218].

Приговор Фуко гласит:

«Я не стану говорить, что это метафизика, настоящая метафизика или ее завершение, что скрывается в этой «текстуализации» дискурсивных практик. Я пойду дальше и скажу, что это исторически обусловленная мелкая педагогика, заявляющая о себе в полный голос. Педагогика, внушающая ученику, что вне текста ничего не существует. [...] Педагогика, придающая голосу учителя то безграничное превосходство, которое позволяет ему пересказывать текст бесконечное число раз»^[219].

Так «деконструкция» Деррида была приравнена к «реставрации» традиции и авторитета. С рапир были сняты предохранительные наконечники. С этого момента разрыв между двумя философами стал тотальным, абсолютным и категоричным — и оставался таким на протяжении десяти лет. Ситуация изменилась лишь после того, как в 1981 году Деррида, отправившийся в Прагу на семинар, организованный диссидентами, был арестован по обвинению в «распространении наркотиков». Францию захлестнули эмоции. Представители французского правительства пытались повлиять на чешские власти, а интеллектуалы выступали с публичными протестами. Среди тех, кто первыми подписались в защиту Деррида, был Фуко. Он также выступил по радио с поддержкой действий бывшего ученика. Вернувшись в Париж через несколько дней, Деррида позвонил Фуко, чтобы поблагодарить его. Они успеют еще несколько раз встретиться.

Но вернемся к «Истории безумия» или, точнее, к «Безумию и неразумию», поскольку именно так называлась книга, вышедшая в мае 1961 года. Нужно упомянуть также о том, что Фуко дал интервью газете «Le Monde»^[220] и даже удостоился статьи в «Times Literary Supplement»^[221]. Однако книга оказалась трудна для чтения. Все читатели, даже те, кто был настроен благожелательно и принял книгу с восторгом, отмечали ее путаность, мудреность, витиеватость, почти заумность. В 1972 году, когда готовилось ее второе издание, сам Фуко скажет Клоду Мориаку:

«Если бы я писал эту книгу сегодня, я поубавил бы риторики»^[222].

И конечно же книга распродавалась медленно. Первый тираж, поступивший в продажу в мае 1961 года, насчитывал 3 тысячи экземпляров, в феврале 1964 года было выпущено дополнительно еще 1200. В это же время появился «карманный», значительно сокращенный вариант книги, читавшийся на протяжении восьми лет, отделявших первое издание от второго, и проложивший работе Фуко путь к широкому кругу читателей. В 1966 году появилась книга «Слова и вещи», имевшая поразительный успех.

К сожалению, именно сокращенный вариант книги лег в основу английского перевода, вышедшего в 1965 году под названием «Madness and Civilization». Несмотря на то что Фуко жаловался на малый отклик, который его труд получил во Франции, мы должны признать, что интерес к изданию со стороны «антипсихиатров» существовал. Английский перевод

книги вышел в серии «Studies in existentialism and phenomenology» (составитель Рональд Ленг). Предисловие к книге написал Дэвид Купер. Ленг и Купер разрабатывали основы «антипсихиатрии», возникшей в Лондоне в начале 1960-х годов. Группа психиатров, клиницистов, психоаналитиков стала переосмысливать свой опыт. По их мнению, шизофрения, понимаемая в самом широком смысле, является следствием репрессивной системы, существующей в семье и в обществе. За «первичным насилием» следует лишение прав, ведущее в психиатрические учреждения. С их точки зрения, классическая психиатрия является последним — ультрарепрессивным — звеном общей цепи. «Антипсихиатры» ссылались на Ницше, Кьеркегора, Хайдеггера, а также — и особенно — на Сартра, которому Ленг и Купер потом посвятили целую книгу. Купер, работавший в больнице на севере Лондона, первым из традиционных психиатров пошел на эксперимент. Он начал группировать больных по корпусам. Однако из-за враждебного отношения персонала эксперимент пришлось прервать. Тогда «антипсихиатры» стали создавать особые учреждения для больных — так была основана Филадельфийская ассоциация. Они открыли многочисленные «households», в частности, в 1965 году знаменитый Кингси-Холл. Одновременно психиатры развернули политическую дискуссию, очевидно, спровоцированную левыми, которая привела, среди прочего, к созыву в 1967 году Международного конгресса по диалектике освобождения. Ленг и Купер входили в организационный комитет. В конгрессе участвовали также Грегори Батесон и Герберт Маркузе^[223].

Книга Фуко попала в поле зрения Ленга и Купера. Они направили прожектор, высветивший в трудах Фуко особый смысл, не прочитанный во Франции и, возможно, даже не вкладывавшийся в него автором. Ибо если книга в момент ее появления не была замечена политиками, как жалуется Фуко в семидесятые годы, то именно потому, что этот аспект не входил в замысел автора. Робер Кастель в статье, посвященной судьбе «Истории безумия», пишет об этом с особой силой:

«Роль знаменосца, возглавляющего движение по ниспровержению отдельных психиатрических практик, выпавшая на долю Мишеля Фуко, возникла в силу исторического процесса. Она отнюдь не явилась непосредственным результатом выхода его книги. [...] «История безумия» имела, прежде всего, судьбу академического труда, ставившего академические вопросы. В этом нет ничего уничижительного, ничего, что подвергало бы

сомнению оригинальность работы. Ее новизна хорошо вписывалась в контекст эпистемологии, вехами которой помечено интеллектуальное поле эпохи. Академическая традиция, которую продолжил Фуко (Брюнsvик, Башляр, Кангийем), задается вопросом о претензиях научного дискурса на истину и об условиях реализации его возможностей по ту сторону порога рефлексивности, начиная с которого классическая история науки развивается как расфасовка чистых продуктов ума»^[224].

Кастель добавляет:

«Анализ Фуко смог поспособствовать изменению взгляда на психиатрию и безумие, существовавшего в начале 60-х годов, только минуя чисто практический регистр»^[225].

Кастель прекрасно описывает реакцию на выход книги и суть регистров, служивших для Фуко, по всей видимости, отправными точками:

«История безумия» прочитывалась в середине 60-х годов одновременно и как академическая диссертация, продолжающая традиции эпистемологических исследований Башляра и Кангийема, и как бунт против темной власти условностей, вызывающий в памяти имена Лотреамона или Антонена Арто. Это парадоксальное соединение придавало произведению особый статус, восхищая одних, раздражая других или вызывая сразу и восхищение и раздражение. Однако то, что работа являлась диссертацией, исключало конкретный политический аспект, а также прочтение ее как проекта изменений практического характера»^[226].

Только после 1968 года, с наступлением эпохи «отраслевой борьбы» вокруг тюрем и психиатрии, книга в буквальном смысле попала в плен к социальному движению, которое навязало особое ее прочтение и придало ей политический смысл, не проявившийся в момент выхода. Фуко прекрасно отдавал себе в этом отчет. В 1972 году, переиздавая книгу, он изымает из нее предисловие, написанное в 1960 году. После долгих размышлений, следует ли писать новое предисловие и разъяснять свое видение движения «антипсихиатров», он решает предварить издание коротким «антипредисловием», оправдывая свой отказ от обновления

старого текста тем, что автор не должен навязывать свое прочтение книги. «Книга появляется на свет, — пишет он, — как крошечное событие, вещь в чьих-то руках. С этого момента она включается в бесконечную игру повторов; вокруг нее — да и на удалении — начинают роиться двойники; каждое прочтение на миг облекает ее неосязаемой, неповторимой плотью; ее фрагменты получают самостоятельное бытие, им дают оценку вместо нее самой, в них пытаются втиснуть чуть ли не все ее содержание, и, случается, именно в них она в конце концов находит последний приют; возникают двойники-комментарии — иные дискурсы, в которых она должна, наконец, предстать такой, какая она есть на самом деле, сознаться в том, что скрывала прежде, освободиться от всего напускного и показного». И, в силу этого, лучше не пытаться «ни объяснять, чем была в свое время эта книга, ни вписывать ее в реалии сегодняшнего дня; той цепи событий, к которой она принадлежит и которая и есть настоящий ее закон, пока не видно конца»^[227]. Можно ли лучше выразить мысль, что книга меняется со временем? Что, по крайней мере, эта книга изменилась?

Как, собственно, изменилось и восприятие книги французскими врачами-психиатрами. Отнюдь не все они после выхода книги были готовы осудить ее и приговорить к сожжению на костре. Послушаем, что говорил по этому поводу Фуко:

«Врачи и психиатры по-разному встретили ее: одни, либеральной и марксистской ориентации, демонстрировали явный интерес, зато другие, принадлежавшие к более консервативной среде, полностью отвергли ее»^[228].

Как мы уже знаем, Фуко еще в студенческие годы сблизился с представителями прогрессивной психиатрии, пытавшимися с начала послевоенной эпохи обновить теорию и практику. Но конечно же книга Фуко не имела ничего общего с этими попытками. Как замечает Робер Кастель, «наиболее прогрессивные психиатры того времени разработали — или же полагали, что разработали, — собственную формулу обновления практики. Устанавливая «отраслевую политику», они претендовали на то, что осуществляют «третью психиатрическую революцию» (после Пинеля и Фрейда), призванную примирить психиатрию со своим веком через разрушение больничных стен и перенесение оказания помощи умалишенным в коммуны, отвечающие нуждам населения»^[229].

Эта концепция несовместима с тезисами Фуко, который видит в

подобном прогрессивном оптимизме новое воплощение позитивизма, по-прежнему отрицающего глубинную «инакость» безумия, навязывающего ей молчание. Как бы там ни было, «психиатрические эволюционеры» отнеслись скорее сочувственно к появлению «Истории безумия». Но пройдет время, и они выступят с ее осуждением. Это произойдет в тот момент, когда книга приобретет новое звучание и станет «ящичком с инструментами», как любил говорить Фуко, для отдельных движений, которые, роясь в этом «ящичке», будут находить там «инструменты» для радикальной критики психиатрических учреждений. И тогда те, кто сначала с симпатией отнесся к труду Фуко, пересмотрят свои взгляды. Когда из Англии во Францию с опозданием в несколько лет докатится волна «антипсихиатрии», ее потенциальные жертвы сомкнут ряды и преисполнятся враждебности к книге, которая будет предъявлена им как бомба, подрывающая их уверенность в себе и их позиции. Так, Люсьен Боннафе, член компартии, которого Фуко упоминал среди тех, кто благожелательно отнесся к книге в момент ее появления, в 1969 году примет участие в традиционном ежегодном собрании группы «Психиатрическая эволюция», проходившем в Тулузе 6–7 декабря, с тем чтобы в полном смысле вытравить «идеологическую концепцию «Истории безумия»». Но Фуко уклонится от встречи, назначенной ему хулителями его книги. В первых рядах критиков — Анри Эй, который заявил:

«Речь идет об убийстве психиатрии, о позиции, имеющей самые тяжелые последствия для гуманитарной идеи как таковой, в силу чего было бы желательно видеть Мишеля Фуко среди нас. Его присутствие позволило бы нам выразить ему самое искреннее восхищение постоянной работе его мысли и, вместе с тем, протест против приписывания «душевной болезни» статуса высшего проявления безумия или же, в более редких случаях, искры поэтического гения, поскольку она отнюдь не является культурным феноменом. Многие из нас, смущенные уязвимостью собственных позиций или же плененные блестящими парадоксами г-на Фуко, предпочли бы не вступать в спор с г-ном Фуко. Что же касается меня, то я искренне сожалею, что не имею возможности встретиться с ним лицом к лицу. Г-н Фуко, приглашенный мною, сообщил, что не имеет возможности приехать в Тулузу в эти дни, о чем также сожалеет. Что ж, будем считать, что он находится среди нас. Тем более что речь идет об идеологическом споре, не требующем физического присутствия

противника»^[230].

Профессор Анри Барук^[231] также обрушит на голову Фуко гром и молнии. Выдающийся психиатр будет из статьи в статью, из книги в книгу, на каждой лекции и на каждой конференции твердить о разрушительной роли Фуко, который станет для него навсегда подстрекателем, вдохновителем «антипсихиатрии», вождем «некомпетентных лиц», замахнувшихся на гуманистическую и «освободительную» медицину, основанную Пинелем^[232].

Фуко признает интересным новое прочтение книги. После 1968 года он сблизится с «антипсихиатрическим» движением и время от времени будет встречаться с его представителями. Однако его не мог не раздражать инфантилизм некоторых радикалов. Сближение с «антипсихиатрами» будет идти в кильватере вслед за другим предприятием Фуко: в 1971 году он создаст «Группу информации о тюрьмах» (ГИТ). Его вовлеченность в борьбу, развернувшуюся вокруг психиатрических клиник, никогда не достигнет уровня заинтересованности проблемами пенитенциарных учреждений. Он не станет непосредственно участвовать в акциях движения. Оставаясь в стороне, Фуко ограничится лишь выражением общего одобрения^[233]. Тем не менее он не раз встретится с Купером и Базаглием. В 1976 году благодаря Фуко Купер будет приглашен в Коллеж де Франс с серией лекций. В 1977 году они оба примут участие в дебатах, организованных Жан-Луи Файе под эгидой журнала «Change»^[234]. Фуко поддержит перевод на французский язык трудов Томаса Шаша, войдет в группу институциональной критики, основанную радикальными итальянскими психиатрами, и напишет статью для коллективного сборника «Crimini di rase», чтобы поддержать Базалья, столкнувшегося с итальянским правосудием. Среди авторов сборника — Сартр, Хомский, Кастель...^[235] Но, даже если Фуко откликнулся лишь *a minima*, как говорит тот же Кастель^[236], на зов «антипсихиатрического движения», он все же признавал его необходимость. Через несколько лет, вспоминая пережитое, Фуко объявит «важные перемены, произошедшие в психиатрии», результатом «особых локальных войн»^[237].

«Пересмотр» книги Фуко может быть оценен по-разному. Можно, соглашаясь с Робером Кастелем, «интерпретировать его как обеднение» смысла, создававшегося широкой палитрой регистров, что позволяло говорить о книге как о «структуралистской истории»: она объединяла элементы разных уровней — экономики, институций, политики,

философии, науки, приобретающие особое звучание. И вдруг оказалось, что эта книга служит всего лишь выявлению механизмов подавления:

«Размах теоретического вклада и тонкость анализа ситуаций сводятся к нескольким упрощенным формулам и аргументации, бесконечно воспроизводящейся эпигонами: повсюду и всегда есть только подавление, насилие, произвол и изгнание»^[238].

Возможно, обеднение, но одновременно и выявление точки крепления, объединившей все то, чем Фуко занимался в те годы и будет заниматься впоследствии: понятия «власти» и пары «знание — власть». После 1970 года Фуко будет смотреть на свои старые работы именно под этим углом зрения. «То, что всплыло, — признается он Дучо Тромбадори, — словно написанное симпатическими чернилами и проступившее благодаря подходящему реактиву, было словом ВЛАСТЬ»^[239].

Глава третья

Денди и реформа

Диссертация Мишеля Фуко нашла вдумчивых читателей еще до того, как была опубликована. Рукопись ходила по рукам. Конечно, Луи Альтюссер ознакомился с ней одним из первых — и одобрил. А затем передал труд Жюлю Вюйемену, возглавлявшему в то время отделение философии в университете Клермон-Феррана. Они знали друг друга давно. В 1939 году оба стали студентами Эколь Нормаль, хотя Альтюссер был на два года старше Вюйемена. Но их знакомство было прервано: Альтюссера мобилизовали, и он провел пять лет в концентрационном лагере в Германии. Однако после войны они снова встретились. Став «кайманом», Альтюссер много раз приглашал Вюйемена читать лекции студентам. Как уже говорилось, Фуко получил место в Лилле именно благодаря этой дружбе. Вюйемен также хорошо знал Мерло-Понти. Вплоть до начала пятидесятых годов он был близок с экзистенциалистами и марксистами. Диссертации, представленные им к защите в 1948 году, несут печать этого двойного влияния. Одна из них называлась «Опыт о значении смерти», а вторая — «Бытие и работа». Он сотрудничал с «Temps modernes», где публиковал исследования по эстетике.

В пятидесятые годы Вюйемен изменился и, хотя дружеские связи с Мерло-Понти сохранились, круг его интересов стал иным. Он углубился в философию науки, в математику, логику... Иными стали, по всей видимости, и его политические взгляды. Уважение, которое испытывали друг к другу Альтюссер и Вюйемен, не пошатнулось, несмотря на то, что их дороги разошлись. Еще не наступил 1968 год, и французские университетские круги пока не были захлестнуты политическими и идеологическими раздорами, которые вскоре рассекут их на две части.

В 1951 году Вюйемен получил место в университете Клермон-Феррана. Этим он был обязан Мерло-Понти. Автор «Гуманизма и террора», уезжая из Лиона в Париж, где его ждало преподавание в Сорбонне, хотел, чтобы освобождающееся место занял его ученик и друг. Однако университетские интриги сорвали этот план. Тогда Мерло-Понти лично отправился в министерство с просьбой найти вакансию для Вюйемена. Через некоторое время Вюйемена принял чиновник, отвечавший за высшее образование. Вот что он заявил: «Мы нашли для вас место в Клермон-Ферране. Речь идет о кафедре психологии. Но есть одно условие: вы

должны там жить». Вюйемен согласился и вскоре обосновался в столице Оверни. Он прибыл туда одновременно с несколькими другими профессорами, отправленными министерством в Клермон-Ферран с целью расшевелить университет, впавший в спячку. Среди них были историк Жак Дроз и эллинист Франсис Виан. На протяжении нескольких лет Вюйемен преподает психологию, затем — начинает читать курс философии и становится главой философского отделения. Придерживавшийся строгих академических принципов, он больше всего ценил серьезный подход к делу и прежде всего заботился о поддержании высокого уровня преподавания. Поэтому он задался целью собрать вокруг себя блестящие умы и превратить отделение в своего рода экспериментальную лабораторию. В поисках молодых талантов он забрасывает сети в Эколь. И вылавливает Мишеля Серра, Мориса Клавлена, Жана-Клода Парианта, Жана-Мари Бейсада... Все они сделают прекрасную карьеру: Серр, Клавлен и Бейсад будут преподавать в Сорбонне и Нантере, а Париант возглавит в Клермоне комиссию по присвоению звания агреже. Вюйемен намеревался также заполучить Альтюссера, но тот из-за психологической нестабильности предпочел не покидать заповедной территории Эколь Нормаль.

В 1960 году Вюйемен обратил внимание на Мишеля Фуко. Он прочел рукопись «Безумия и неразумия» и написал автору в Гамбург: «Не согласитесь ли Вы взять на себя преподавание психологии в Клермоне?» Фуко сразу же откликнулся: «Конечно, с удовольствием». После долгих скитаний за границей ему хотелось приземлиться где-нибудь во Франции. Предложение было заманчивым — отныне он не должен был жить в Клермоне и, следовательно, мог обосноваться в Париже. Предстояло уладить различные формальности, однако все завершилось быстро и без препон. Чтобы получить место преподавателя высшей школы, нужно было сначала попасть в список кандидатов. Характеристику Фуко составил философ Жорж Бастид. 15 июня 1960 года он писал: «Мишель Фуко — автор нескольких небольших работ: переводов трудов немецких мыслителей, главным образом по истории и методологии психологии, ее популяризации. Это доброкачественные работы. Однако его основным достижением являются диссертации». И вывод:

«Г-н Мишель Фуко включается в пространный список кандидатов. Но следует обсудить, по какому разделу он должен числиться: психологии? истории науки?»^[240]

Чтобы поддержать кандидатуру Фуко, Кангийем приложил к

характеристике Бастида отзыв, составленный в связи с получением разрешения на публикацию «Безумия и неразумия», а Ипполит — рекомендательное письмо. Все прошло без сучка и задоринки. Фуко назначили в Клермон, «начиная с 1 октября 1960 года», преподавателем «кафедры философии», где он должен был заменить г-на Сезари, находившегося «в продолжительном отпуске», как гласила официальная бумага министерства.

После смерти Сезари, 1 мая 1962 года, Фуко будет принят в штат на кафедру философии. Во всех административных документах значится «философия». В то время психология как университетская дисциплина еще не получила автономии и, подобно социологии, числилась по отделению философии. Но Фуко должен был, как и его предшественник, преподавать именно психологию. В докладной записке декана, датированной 1962 годом, в которой он просил назначить Фуко на освободившуюся должность, так и написано: «Его специальность — психопатология». И на протяжении всего времени, пока Фуко работал в Клермон-Ферране, он официально числился преподавателем психологии, хотя на самом деле уклонялся от своих прямых обязанностей довольно часто (но реже, чем можно было бы предположить).

Фуко начал новую жизнь. С осени 1960 года по весну 1966-го он каждую учебную неделю приезжает из Парижа в Клермон-Ферран на один день. В этот день он ночует в гостинице. Дорога занимает шесть часов. В то время поезда не были комфортабельными: вагоны трясло так, что преподаватели, приезжавшие из Парижа (их называли «спутниками», поскольку термин «турбопроф» еще не был придуман), устраивали состязание: кто сумеет выпить чашку кофе, не расплескав его, — и при этом хохотали как безумные. Фуко усердно предавался этому рискованному занятию, выполняя свой коронный «трюк»: фиксируя чайную ложечку в определенном положении.

В те годы университет Клермона размещался в здании из белого камня на проспекте Карно, неподалеку от крупного лицея Блеза Паскаля, где когда-то преподавал Бергсон. Здание 1936 года было построено в соответствии с вкусами той эпохи и представляло собой уменьшенную копию парижского дворца Шайо. Изнутри фасад выглядел неприветливо: уже двор навевал тоску — все было мрачным, унылым, словно подернутым черной пылью. Эта пыль, казалось, являлась фирменным знаком города с его собором из черного камня, белесыми домами, украшенными черными бордюрами, которые делали их похожими на участников траурной церемонии, как заметит Фуко, взглянув на них в первый раз. Отделение

философии находилось на первом этаже здания на проспекте Карно. Небольшой коридор, по бокам размещалось всего несколько аудиторий — не больше десяти. Этот коридор числился за философами испокон веков, Жорж Кангийем ходил по нему во время войны. Но в 1963 году философам пришлось оставить эту территорию и перебраться в новую постройку — здание-уродец, одно из тех, что имеют статус временок, но используются годами. Впоследствии в нем разместились административные службы. И именно в том мрачном каземате Фуко излагает студентам начала того, что впоследствии станет книгой «Слова и вещи». Студентов немного. По отделению философии их числится не больше десятка. Аудитория Фуко более многочисленна: к студентам-философам присоединяются те, кто изучает психологию дополнительно с целью получить диплом медицинского работника среднего звена или социального работника. В целом лекции Фуко собирают человек тридцать.

В первые два клермонских года Фуко сближается с Жюлем Вюйеменом. Они часами гуляют по улицам старого города, обедают вместе — вдвоем или с другими коллегами по отделению философии. Порой за обедом или ужином собирается человек десять. Вюйемен и Фуко прекрасно ладят и в обществе клермонских философов, где царит теплая братская атмосфера, чувствуют себя как нельзя лучше. И это несмотря на то, что многое могло их развести. Вюйемен, как мы видели, тяготел к философии науки, к аналитической традиции англосаксов, интересовался логикой, математикой, трудами Бертрانا Рассела... В те годы он публикует два тома «Философии алгебры». И в политических взглядах они расходятся: Вюйемен постепенно дрейфует в сторону правых, а Фуко остается левым. Они много спорят, и часто Фуко, подытоживая обмен мнениями, говорит: «В сущности, мы оба — анархисты, но ты — правый анархист, а я — левый». Что могло быть общего у профессора, придерживавшегося правых взглядов и интересовавшегося логикой, с профессором, придерживавшимся левых взглядов и писавшим о Бланшо, Русселе и Батае? Фуко и Вюйемен сходятся в том, что подход к исследованию прежде всего должен быть строго научным. Взаимное уважение значит больше, чем разница во взглядах. Во многом они настроены на одну волну.

Эта дружба будет длиться долго и отразится на карьере Фуко. В 1962 году Жюль Вюйемен уедет из Клермона. Морис Мерло-Понти внезапно скончается от сердечного приступа, и Вюйемена пригласят в Коллеж де Франс. Кстати, Мишель Фуко поспособствовал избранию Вюйемена, попросив Дюмезиля поддержать кандидатуру его коллеги по Клермону, благодаря чему тот и получил необходимые голоса. Вюйемен стал

профессором Коллеж де Франс, обойдя Раймона Арона, которому придется много лет ждать новой возможности выставить свою кандидатуру. Через год после Вюйемена в Коллеж де Франс будет избран Ипполит. Оба философа почти сразу начнут подготавливать почву для того, чтобы престижное учреждение на рю дез Эколь, святая святых академической славы Франции, открыло свои двери перед Фуко. Стоит ли говорить о том, что они нашли поддержку Жоржа Дюмезиля! Избрание состоится в 1969 году. Май 1968-го обострил разницу во взглядах Вюйемена и Фуко. Однако Вюйемен, крайне враждебно принявший студенческую революцию — о чем он открыто заявит в книге «Перестроить университет», вышедшей в конце 1968 года, — верный своим принципам, откажется ставить политику выше науки.

Но было ли что-то еще до 1968 года, что могло бы поссорить их? Или хотя бы охладить дружбу? Да, они часто говорили о политике. Но они не состояли в политических партиях, не были активистами, и их жизнь и мысли определялись отнюдь не политикой. Важно не проецировать на Фуко 1960-х годов образ того Фуко, каким он стал позже. Те, кто работал рядом с ним в то время, относят его «скорее к левым», хотя и не единодушно. Зато они единодушно говорят о его политической неангажированности, признавая в то же время его интерес к политике. В семидесятый годы все они будут поражены, если не сказать шокированы, его переходом на ультралевые радикальные позиции. «Мне так и не удалось поверить в это», — признается Франсин Париант, работавшая на протяжении четырех лет, с 1962 по 1966 год, ассистентом Фуко.

Некоторые из тех, кто знал Фуко в те годы, с уверенностью дают ему другую политическую характеристику. «Он был голлистом», — говорят они. Жюль Вюйемен отменяет эту гипотезу. Он достаточно долго общался с Фуко, чтобы убедиться, что тот не был голлистом. Но Фуко дал повод: он поддерживал тесные отношения с послом Франции Этьеном Бюреном де Розье. Вскоре после того, как Фуко покинул Варшаву, де Розье тоже вернулся на родину и стал главой администрации Елисейского дворца. Это был один из ключевых политических постов; по сути, Этьен де Розье выполнял функции теневого премьер-министра. У Фуко появилась возможность проникнуть за кулисы власти, побывать на улице Фобур-Сент-Оноре, в президентском дворце.

«Когда он в 1962 году нанес мне визит, — пишет Бюрен де Розье, — его живо интересовало будущее нашей высшей школы. Он охотно согласился встретиться с Жаком Нарбоном, в чье ведение входило университетское образование»^[241]. Жак Нарбон действительно принял его.

Речь шла о пресловутой университетской реформе. Однако обмен мнениями носил неформальный характер, и за ним не последовало никакого официального рапорта. Угодничества тоже не было.

В последующие годы контакты с представителями голлистской власти упрочатся. Так, будет рассматриваться возможность назначения Фуко в министерство национального образования заместителем главы департамента высшего образования. Это назначение многие ректоры академии сочтут делом решенным и даже пошлют Фуко поздравления. Преждевременно! Кандидатура будет отвергнута. Среди противников назначения — влиятельный Марсель Дюрри, декан Сорбонны, и не менее влиятельная Мари-Жанна Дюрри, его жена и директор севрской Эколь Нормаль для девушек. Их не устраивают «особенности личности» кандидата — иными словами, то, что он гомосексуалист. «Разве может гомосексуалист стоять во главе высшего образования?!» — вопрошают противники Фуко. Всплывает и варшавская история. В итоге пост достается другому. Тем не менее этот эпизод заслуживает внимания. Он показывает, кем был Фуко в те годы: классическим представителем академических кругов, не гнушавшимся политическими и административными функциями заместителя директора департамента высшего образования. Классический представитель университетских кругов? Это может показаться удивительным. Не следует забывать также, что в те годы он входил в приемную комиссию Эколь Нормаль и в выпускную комиссию Национальной школы администрации! Да, Национальной школы администрации! В этой истории со всей очевидностью проступает роль, которую сыграл гомосексуализм в установлении барьера между Фуко и общественными институтами. Возможно, именно этим определялся путь Фуко — философа и политика. Каким стал бы Фуко, если бы оказался высокопоставленным работником министерства? Или каким-нибудь другим чиновником? Но история не знает условного наклона.

Возвратимся к реальной истории 1960-х годов. В 1965-м Фуко принимает участие в разработке университетской реформы под руководством министра образования Кристиана Фуше. Эта реформа являлась одним из глобальных проектов голлистского правительства и, в частности, премьер-министра Жоржа Помпиду. Проект вызвал бурю страстей. «Разработка реформы Фуше — Эгрена, — пишет Жан-Клод Пассерон, — была начата в 1963 году. Реформа заключалась в научной и профессиональной специализации конкретных отделений, пересмотре курсов и программ, контроле над количеством и потоками студентов,

ужесточении отбора при поступлении на факультеты. То, что отделилось от этого проекта в 1964 году, послужило толчком к дискуссии, в которую немедленно вступили отраслевые профсоюзы и Национальный союз студентов Франции, объединения интеллектуалов (клуб Жана Мулена), журналы (специальный номер «Esprit», май — июнь 1964), и которая стала разрастаться как снежный ком. Именно проект Фуше окажется, начиная с 1965 года, в центре дебатов, выдвинувших проблему университетского образования на передний край злободневных событий»^[242].

Кристиан Фуше создал специальную комиссию, которая должна была изучить проблемы высшего образования в их комплексе. Эта группа, так называемая «Комиссия восемнадцати», работала с ноября 1963-го по март 1964-го. За это время были выработаны общие принципы реформы. Оставалось лишь воплотить их в жизнь. Для этого была создана другая комиссия, окрещенная на этот раз «комиссией филологического и естественно-научного образования». Она начала работать в январе 1965 года. Ее цель: придать реформе конкретность. В эту комиссию входили профессора Коллеж де Франс Фернан Бродель, Андре Лихнерович и Жюль Вюйемен, впрочем, подавший в отставку после первого же заседания, а также многие деканы: Жорж Ведель, декан парижского юридического факультета, Марк Замански, декан факультета естествознания... Входили в нее также Робер Фласелльер, директор Эколь Нормаль, и многочисленная профессура из представителей разных дисциплин. И Мишель Фуко. Как он попал в эту компанию? Его порекомендовал его однокашник Жан Кнап, технический советник министра. В 1962 году Кнап работал в Копенгагене советником посла по культуре и пригласил Фуко прочесть лекцию о безумии и неразумии. Послом же Франции в Дании был в то время Кристиан Фуше, до которого не могло не долететь эхо восторга, вызванного этим выступлением. Став министром образования, Фуше привел в свой кабинет Жана Кнапа, а тот предложил включить в состав комиссии Мишеля Фуко. В этом нет ничего удивительного: мы уже не раз имели возможность убедиться в том, что солидарность выпускников Эколь Нормаль сыграла важную роль в академической, культурной и политической жизни Франции. Фуко соглашается войти в комиссию и, в свою очередь, просит включить в нее и Жюля Вюйемена.

Первое заседание состоялось 22 января 1965 года. Комиссия собиралась раз в месяц в библиотеке министерского кабинета вплоть до начала 1966 года. Фуко аккуратно являлся на все заседания. В протоколах работы комиссии отражены его выступления. Так, например, протокол от 5 апреля 1965 года заседания, когда обсуждалось содержание среднего

образования, гласит: «Г-н Фуко предлагает при составлении программ делать акцент на общеобразовательных дисциплинах, а не на предметах, предвосхищающих высшее образование. Он высказывает пожелание, чтобы фундаментальные дисциплины преподавались глубже». А вот мнение Фуко по поводу присвоения звания агреже: сложившаяся процедура «не дает возможности выявить, способен ли кандидат к исследовательской работе. По сути, она является лишь тестом на гибкость ума». Тем не менее Фуко согласен с тем, что присвоение звания должно происходить на конкурсной основе. Последнее заседание состоялось 17 февраля 1966 года в присутствии министра. Изучение протоколов этого заседания не дает оснований предполагать, что Фуко был несогласен с общими принципами реформы или с конкретными решениями, выработанными комиссией. Франсуа Шаму, эллинист, также работавший в комиссии, подтверждает впечатление, складывающееся при обращении к письменным источникам. Более того, Фуко составил множество рапортов, служивших основанием для включения некоторых вопросов в работу комиссии. Один из них, подготовленный совместно с Шаму и датированный 31 мая 1965 года, касается проблем внутренней жизни факультетов и, в частности, процедуры защиты диссертаций. Авторы полагают, что существующая система слишком тяжеловесна и старомодна, и предлагают заменить ее присвоением степени за серию публикаций: «Окончание работы над основной диссертацией не будет в этом случае, как часто происходит сейчас, восприниматься как венец усилий и забирать у автора столько сил, что он не в состоянии возобновить свою научную деятельность до конца жизни». В другом рапорте, составленном Фуко, речь идет о курсе философии. Он разработал подробный план преподавания философии в высшей школе. Он также предложил план двухступенчатого преподавания философии в средних школах: согласно этому плану изучение философии должно начинаться в предпоследний год обучения с общего введения в психологию и продолжаться в выпускном классе знакомством с отдельными уже чисто философскими проблемами и вкладом в философию других гуманитарных наук (психоанализа, социологии, лингвистики).

Одновременно с заседаниями министерской комиссии проходили специальные собрания в университетах, призванные придать дискуссии как можно более широкий размах. Споры набирали обороты. В области естественно-научных дисциплин все прошло довольно гладко и согласие было достигнуто быстро. Но в других областях проект реформы столкнулся с большим сопротивлением. Анри Гуйе вспоминает, что на одном из собраний в Эколь Фуко призывал своих коллег — профессоров,

представлявших все университеты Франции, — реалистично глядеть на вещи. «Не забывайте, — говорил он, — что мы двигаемся к ситуации, когда в каждом регионе будет по университету». Надо полагать, что Фуко очень серьезно отнесся к своей работе по воплощению реформы. В те годы он много рассказывал студентам о дискуссиях, разворачивавшихся в Париже. Часто, прежде чем начать лекцию, он спрашивал студентов: «Хотите узнать, как продвигается реформа?» И не менее двадцати минут тратил на разъяснение ее целей, поднятых вопросов и найденных ответов.

Реформа была принята в 1967 году. Начиная с декабря 1964-го Национальный союз студентов Франции принялся организовывать собрания, на которых критиковались ее основные положения. В марте 1966 года Национальный профсоюз высшего образования провел трехдневную забастовку, протестуя против заключений комиссий и министерства. Согласно отзывам газеты «Le Monde», это движение нашло широкий отклик. Следует ли видеть в «реформе Фуше», как это часто делали впоследствии, один из основных факторов, приведших к майским событиям 1968 года? Столь сложный феномен не может иметь такого примитивного объяснения. Забавно, что Фуко является одним из основных участников событий. И это, кстати говоря, выбивает почву из-под ног эссеистов, пытающихся отыскать в работах Фуко, опубликованных в шестидесятые годы, базовые схемы «идеи-68», напрямую связывая ее с событиями того же года^[243]. Когда Фуко писал «Слова и вещи», он не готовил революции и не помышлял о баррикадах... Нет, он обсуждал в кабинетах голлистского министерства будущее среднего и высшего образования.

И все же существует характеристика политических взглядов Фуко, которую никто не оспаривает: он был ярким антикоммунистом. Выйдя из коммунистической партии и пожив какое-то время в Польше, Фуко воспылал жгучей ненавистью ко всему, что хоть как-то было связано с коммунизмом. Перипетии университетской жизни в Клермоне предоставили ему возможность выразить ее в полной мере. Когда Жюль Вюйемена избрали в Коллеж де Франс, он стал думать над тем, кто заменит его в Клермоне. Фуко упомянул Делёза. Фуко и Делёз не виделись с памятного ужина в Лилле — почти десять лет. Однако Делёз опубликовал книгу, которая привлекла внимание Фуко. В то время Делёз представлял собой тип классического историка философии, но в его работах уже проглядывала та оригинальность, которая расцветет пышным цветом в более поздних работах. После небольшой книги о Юме он выпустил

исследование «Ницше и философия»^[244], получившее признание в профессиональных кругах и приведшее в восторг Фуко. Вюйемену понравилась идея Фуко, и он написал Делёзу, который жил по соседству, в Лимузене, и приходил в себя после тяжелой болезни.

Через некоторое время Делёз приехал в Клермон и провел день с Фуко и Вюйеменом. Встреча прошла гладко. Казалось, все были довольны. Кандидатура Делёза нашла единодушную поддержку отделения философии, Совет факультета также проголосовал «за»... Но, несмотря на единогласное решение, место досталось другому кандидату, заручившемуся поддержкой министерства — Роже Гароди^[245], который являлся членом политбюро коммунистической партии. На протяжении долгого времени, в самый расцвет сталинизма, он стоял на страже ортодоксального марксизма.

Почему министерство вмешалось в дела Клермона и навязало университету этого кандидата? По слухам, за него попросил сам премьер-министр Жорж Помпиду. Какая сделка за этим стояла? Неизвестно. Декан факультета составит официальный протест, который был оставлен без ответа. Гароди получает место и обустраивается в Клермоне. Лучше бы он этого не делал! Его ждет непримиримая ненависть Фуко. После того как Вюйемен уехал, а план с назначением Делёза провалился, Фуко решает оставить Клермон. И развязывает войну против Гароди, войну достаточно эффективную, поскольку теперь именно он возглавляет отделение философии. Он пользуется любой возможностью, любым поводом, чтобы дать выход своей ненависти. Он неутомим. Гароди старается урегулировать конфликт. Однажды вечером он звонит в дверь парижской квартиры Фуко и просит уделить ему немного времени. Фуко пытается захлопнуть дверь перед его носом, но Гароди не дает ему сделать это и настаивает на своем желании войти. Борьба заканчивается потоком брани.

Ненависть Фуко объясняется двумя причинами. Во-первых, он восстает против «интеллектуальной импотенции» нового профессора. «Гароди не философ, — утверждает он каждому, кто готов его слушать, — ему не место здесь». Это официальная причина, которую Фуко неизменно излагает, когда публично поносит Гароди. Однако от приближенных к нему лиц Фуко не скрывает другой причины: глубокого отвращения, которое внушает ему этот унылый представитель сталинизма французского разлива, являвшийся фигурой первого плана в то время, когда он сам чуть было не попался в сети марксизма и даже поддался мании массового вступления в компартию. Фуко предъявляет Гароди счет — и заставляет его

платить.

В адрес Гароди сыплются насмешки и проклятия, на которые неистощим ум директора отделения. Приходится терпеть и вспышки гнева. Гароди сделал орфографическую ошибку в библиографии? Фуко немедленно вызывает его к себе и бичует за некомпетентность. Жизнь отделения философии пестрит происшествиями подобного рода. Конфликт достигает высшей точки, когда Гароди действительно совершает ляп, предложив студентке перевести с латыни «Размышления» Марка Аврелия, написанные по-гречески. Находится свидетель: Мишель Серр делит кабинет с Гароди. Серр пересказывает сцену Фуко, который в буквальном смысле впадает в неистовство, осыпает Гароди ругательствами и грозит ему административным судом по статье «профессиональная некомпетентность». И аппаратчик сталинской закалки, много чего повидавший за свою жизнь, сдается перед настойчивым натиском становившегося все более агрессивным Фуко. Он просит перевести его «на любую другую аналогичную должность». Через два года после вмешательства министерства в жизнь университета он перебирается в Пуатье. Фуко торжествует. Он победил — и приобрел друга, поскольку за это время сближается с Делёзом, получившим в конце концов назначение в Лион. Когда Делёз бывает в Париже, они регулярно встречаются. Они общаются настолько тесно, что Фуко даже разрешает Делёзу с женой жить в его квартире в то время, когда она пустует.

За годы работы в Клермоне Фуко сходитя также с Мишелем Серром. Серр изучает наследие Лейбница. У него редкие для философа научные познания. Фуко обсуждает с ним страницы готовящейся книги «Слова и вещи», поверяет ему свои гипотезы, открытия, делится с ним интуитивными догадками... Серр внимает, комментирует, критикует. Они работают часами. Когда Фуко уедет из Клермона, они потеряют друг друга из виду и встретятся вновь лишь в 1969 году в Венсенне.

Денди — такая характеристика может удивить, но она неизменно присутствует в свидетельствах коллег и учеников. Денди еженедельно прибывает преподавать в Клермон. В черном вельветовом пиджаке, белом свитере с высоким закатанным воротником, зеленом шерстяном пальто... Те, кто помнил Фуко по Эколь Нормаль, с трудом узнавали в этом человеке измученного болезненного юношу, пребывавшего не в ладах с собой и миром, каким он им запомнился. Прошло пять или шесть лет, как он исчез с поля их зрения. Они знали, что он работал за границей, написал диссертацию, готовился к защите... и вдруг после долгого отсутствия явился преобразенным, в расцвете сил, свободный, язвительный. Человек,

сохранивший любовь к сарказму и провокациям, стал личностью, примирившейся с самим собой и с миром, хотя по-прежнему для многих загадочной.

Мишель Фуко организовал свою работу таким образом, чтобы отсечь то, что его раздражало. В 1962 году он взял двух ассистенток, Нелли Виалланейкс и Франсин Париант — «Foucault's sisters», как вскоре стали называть их на факультете. Они читали социальную и детскую психологию — курсы, которые Фуко ненавидел и поэтому не хотел преподавать сам. Он оставил за собой лишь курс «общей психологии». Термин достаточно расплывчатый, позволявший ему помещать в рамках курса все, что заблагорассудится. В начале занятий он предупреждал студентов: «Общей психологии, как и всего, что является общим, не существует». Он мог останавливаться на языке, истории лингвистических учений или психоанализе. Как-то раз, обращаясь к Франсин Париант, он заявил: «В этом году я прочту курс истории права». Что и не преминул сделать. Исследование, посвященное безумию, только-только закончено, а он уже вступает на стезю, ведущую к новым книгам. Курсы, прочитанные с 1960 по 1966 год, несут отпечаток двойственности: того, кем он был, и того, кем он станет; прошлого и будущего, опубликованного и зарождающегося. Это свидетельствует о глубинной целостности интуиции, лежащей в основе его мышления, хотя разновременные проявления этого мышления разнятся по форме. Отталкиваясь от изложения взглядов Фрейда и теории детской сексуальности, он читает курс, посвященный этому предмету. Он не скрывает, что собирается написать труд о сексуальности — в том же стиле, что «История безумия». Когда в 1976 году вслед за книгой «Надзирать и наказывать» он опубликует первый том обширного исследования, названного «История сексуальности», его будут спрашивать о переходе от одной работы к другой и о связи между ними. На самом деле, обе темы сосуществовали уже в шестидесятые годы. Об этом свидетельствуют лекции Фуко, в которых он переходит от сексуальности к власти и от власти к сексуальности.

Фуко уделяет немало внимания психоанализу. Он давным-давно отрекся от Маркса, но сохранил верность Фрейду. Он по-прежнему комментирует «Пять лекций о психоанализе» и «Толкование сновидений». Он часто цитирует Лакана и советует студентам читать статьи этого автора в журнале «Психоанализ». Как преподаватель психологии, он не может не познакомить студентов с тестами Роршаха и из года в год посвящает им один или два часа в неделю. И, конечно, подробно знакомит их с «современными теориями перцепции и восприятия». Следует заметить, что

лекции Фуко отвечают всем требованиям методики преподавания. Не следует воображать себе вдохновенных тирад, витающих над головами студентов и недоступных их пониманию. Всё это осталось в Упсале. В Коллеж де Франс целью лекций будет изложение новых идей, проверка их на публике. В Клермоне Фуко следует определенной программе: трактует понятия, излагает суть различных теорий, обобщает пройденное. Чтобы в этом убедиться, достаточно прослушать магнитофонные записи лекций, сделанные студентами: тут и четкое деление на параграфы, и небольшие пояснительные схемы. Его курс — школярский, в хорошем значении этого слова, и, несмотря на дистанцию, предполагающуюся статусом профессора, и вольности, которые он себе позволял, Фуко преподавал вполне традиционно. Он именно «вводил» студентов в курс дела, обрисовывая проблематику со всей возможной простотой и точностью. Конечно, он использовал в своих лекциях материал, собиравшийся им для собственных исследований; так, например, многое из курса лекций о «современных проблемах дискурса» попадет в его книгу «Слова и вещи». И все же он проводил границу между этими двумя видами деятельности и различал два регистра собственного дискурса — преподавание и создание книг, избавляя слушателей от путаницы.

Лекции Мишеля Фуко завораживали. Он расхаживал на возвышении, излагая очередную теорию, и только изредка обращался к стопке карточек, лежавших на столе. Бегло проглядев записи, он возвращался к теме, говорил отрывисто, ритмично, в быстром темпе. Голос его то взмывал вверх, повисая в конце фраз на острие мелодической интонации вопроса, то совершал стремительный уверенный рывок вниз. Иногда он прерывал изложение и спрашивал студентов: «Хотите знать, что такое структурализм?» Никто не осмеливался ответить, и тогда, выждав несколько минут, он пускался в длинное объяснение, ошеломлявшее аудиторию. После чего возвращался к теме, оставленной двадцать минут назад. Занятия, посвященные тестам Роршара, вызывали у студентов особую дрожь — они и завораживали, и пугали. Обычно они проходили вечером; утром Фуко говорил о сексуальности или праве, а днем — о психоанализе, языке или гуманитарных науках. Фуко делил студентов на группы по семь человек, а тех двоих или троих, кто оставался лишним, усаживал отдельно. Во время занятия на несчастных изгоев, которых он называл «бедуинами», обрушивался шквал вопросов. Неправильный ответ встречался насмешками. А правильный — не менее насмешливой репликой: «...мадемуазель такая-то заслужила конфетку». Студенты понимали, что у них есть лишь один путь к спасению — любой ценой не

стать «бедуином». Но как справиться с темами научных работ? Они дьявольски трудны. Вот, например, одна из них: «Любая семья невротична». Никто не осмеливается шагнуть в это болото. Фуко избавлен от чтения студенческих сочинений: все находят способ уклониться от предложенных им тем. Но есть еще одно препятствие — устный экзамен в конце года. Фуко задает вопрос студентке, едва живой от страха: «Что вы намерены делать, когда вырастаете?» Студентка пытается выжать из себя что-нибудь внятное, но Фуко прерывает ее: «Можете ли вы назвать пять типов невроза, описанных Фрейдом?» Она приступает к перечислению. Экзамен окончен.

Но, несмотря ни на что, студенты любят своего профессора и восхищаются им. Он часто остается поболтать с ними после занятий, они провожают его на вокзал, он пьет с ними кофе в привокзальном кафе в ожидании поезда... В последний год пребывания Фуко в Клермоне каждая его лекция заканчивается аплодисментами. Такого здесь еще никогда не было. И больше не будет.

Манеры Фуко, его стиль поведения, странные отношения со студентами, пристрастность при выставлении отметок... Не всем коллегам это нравится. Фуко ценят на кафедре философии, однако на факультете он нажил не только друзей. Многие считают его — ни больше ни меньше — «дьяволом во плоти». И, как легко себе представить, он не отказывает себе в удовольствии поддерживать эту репутацию: к образу «денди» следует присовокупить сардонический смех, подчеркнутое высокомерие, эксцентричность поведения, о которых твердят коллеги. Все делается для того, чтобы всколыхнуть маленький провинциальный факультет, спровоцировать на открытую демонстрацию неприятия «парижских интеллектуалов».

«Парижский интеллектуал!» В этом-то и проблема. Фуко живет в Париже — 15-й аррондисман, улица Доктер-Фенлей, посещает литераторов-авангардистов, сотрудничает с журналами «Critique», «Tel Quel», «NRF», где печатаются его статьи о Батае, Бланшо, Клоссовски... Почему он преподает в далекой провинции? Возможно, в наши дни студенты и профессура не удивлялись бы этому. Но до 1968 года приезды Фуко не только радовали, но и шокировали. За пределами небольшой группы коллег и друзей к нему относились неприязненно и даже с суровым осуждением. Ему не простили того, что он назначил Даниэля Дефера ассистентом по отделению философии. Когда Фуко познакомился с ним, вернувшись из Германии, Дефер был студентом Эколь Нормаль в Сен-Клу. Связь с ним длилась до самой его смерти. Даниэль Дефер более двадцати

пяти лет будет разделять жизнь с Фуко. И Фуко будет любить его до самого конца, несмотря на тягостные и сложные периоды. Многие вспоминают о мучениях и отчаянии Фуко, охвативших его в момент кризиса, когда разрыв казался неизбежным. Однако эта связь устояла, выдержав испытания счастьем и несчастьем. В 1981 году в разговоре с немецким режиссером Вернером Шрётером Фуко заговорит о силе этих отношений:

«Я жил страстью. Возможно, в какой-то момент эта страсть приняла облик любви. Но на самом деле речь шла именно о страсти, о состоянии, которое может прекратиться только по причинам, скрытым в нем самом, в которое я вложил всего себя, которое я полностью пропустил через себя. Думаю, ничто в мире не могло бы остановить меня в стремлении отыскать этого человека, поговорить с ним»^[246].

В клермонский период их отношения были еще в самом начале, и Фуко не преминул воспользоваться положением главы отделения, чтобы взять на работу своего возлюбленного. Ему было наплевать на то, что он шокировал университетскую общественность. Когда один из членов совета факультета спросил его, по каким критериям был выбран этот кандидат и отвергнута дама, старше по возрасту и более именитая, Фуко ответил:

«Просто мы здесь не любим старых дев».

*

Возможно, Фуко надоело преподавать психологию? Или все же ему было не по себе в этом куцем мирке? Или просто, как утверждают его друзья, ему «не сиделось на месте»? Вероятно, все эти причины привели к тому, что Фуко уехал из Клермона. Закончился учебный год — 1965/66-й. Он и раньше пытался вырваться из душноватой университетской атмосферы. В 1963 году он был близок к тому, чтобы занять место директора французского культурного центра в Токио. Но уступил мольбам декана, не хотевшего отпустить его.

2 сентября 1963 года декан обратился в министерство с просьбой не забирать у него профессора:

«Отъезд г-на Фуко нанесет большой урон нашему

факультету. Критическая ситуация, сложившаяся на отделении философии в Клермоне, о которой я многократно сообщал, препятствует смене его директора в настоящем учебном году, не говоря уже о том, что мы не сможем найти нового преподавателя до его начала. Должен добавить, что г-н Фуко — единственный, кто, обладая соответствующими познаниями, способен провести реорганизацию Института прикладной психологии, затеянную нами. В связи с этим я взял на себя смелость настойчиво просить г-на Фуко отказаться от поступившего предложения. Я крайне признателен ему за проявленную объективность в оценке ситуации, позволившую ему согласиться с доводами, высказанными мной».

В 1965 году Фуко снова подумывает об отъезде: социолог Жорж Гурвич^[247] предлагает ему попробовать пройти по конкурсу в Сорбонну и обещает поддержку. Однако Кангийем советует Фуко ничего не предпринимать, поскольку ситуация складывалась не в его пользу: большая часть отделения философии: философы, социологи и психологи — была против его кандидатуры. С одной стороны, Сорбонна не очень-то была расположена принять Фуко в свое лоно, с другой стороны, Гурвич имел немало недоброжелателей, которые с удовольствием насолит бы ему, отвергнув предложенного им кандидата. Фуко отказывается от этого предложения и посылает Жоржу Кангийему письмо, в котором благодарит его за то, что тот открыл ему глаза на реальное положение вещей: «Вы решительно оказали мне услугу, как принято говорить, помешав совершить глупость, на которую меня толкал Гурвич. Теперь-то, благодаря Вам, это представляется мне во всей ослепительной ясности». Фуко останется в Клермоне. Но будет неоднократно обращаться к Жану Сиринелли, главе службы французских образовательных программ за границей, с просьбой подыскать ему место. Они познакомились в Эколь, где оба преподавали в начале пятидесятых годов. Кроме того, Сиринелли был хорошо знаком с Бартом. Место вскоре отыскалось. Однако Сиринелли не очень хорошо понимает, с какой публикой придется столкнуться Фуко в Конго-Киншасе, где университет был под сильным влиянием профессоров-католиков из Лувена, и он отговаривает его туда ехать, хотя Фуко, судя по всему, этого очень хотел.

Не останется Фуко и в Бразилии, где проведет в 1965 году два месяца по приглашению Жерара Леброна, учившегося у него в Эколь Нормаль в 1954 году и перебравшегося в Сан-Паулу. Фуко прочтет в Бразилии серию

лекций. Нет, Фуко решительно не сиделось на месте. В 1966 году он получает назначение в Тунис. «Слова и вещи» только что вышли из печати и неожиданно снискали сногсшибательный успех. Шум, поднявшийся после выхода книги, еще стоял в ушах, когда студенты узнали, что Мишель Фуко покидает город.

Глава четвертая

«Вскройте несколько трупов...»

Целиком погрузившись в доработку текста «Безумия и неразумия», Фуко ничего не публиковал на протяжении всего времени, пока жил в Швеции, Польше и Германии. Но, едва оказавшись во Франции, он разражается книгами, проектами книг, статьями, предисловиями... Поступательное движение, по ходу менявшее формы, завершилось в 1966 году, накануне отъезда в Тунис, выходом книги «Слова и вещи».

Сначала о проектах. Их было много. Первый непосредственно вытекал из «Истории безумия». Пьер Нора, работавший в то время в издательстве «Жюльяр», затеял новую серию «Архивы» и обратился к историкам с просьбой собрать и прокомментировать источники, относящиеся к определенной теме или эпохе. Прочтя «Безумие и неразумие», он написал автору. Пьер Нора хорошо помнит первую встречу с Фуко: «...одет во все черное», «на голове шапочка, как у нотариуса», «золотые запонки»... Фуко принимает предложение издателя. Он предполагает собрать тексты о сумасшедших, попавших в заточение. Книга анонсируется в рубрике «Готовится к печати», прилагавшейся к первым томам серии: «Сумасшедшие. Мишель Фуко, продвигаясь от XVII к XIX веку, от Бастилии к больнице Святой Анны, отправляется в путешествие на край ночи». «Готовится к печати»... Но книга так и не выйдет. Другие проекты родятся и поблекнут, чтобы много позже принять совсем иные формы. Так, в феврале 1964 года Фуко подписывает с издательством «Фламмарион» и его серией «Новая научная библиотека», возглавлявшейся Фернаном Броделем^[248], договор на книгу «История истерии». Знаменитый историк, как мы уже видели, сразу же признал талант молодого философа. Рукопись книги должна была поступить в издательство осенью 1965 года.

Но Фуко стремительно меняет замысел и подписывает новый договор. На этот раз речь идет о книге «Идея декаданса». Единственное, что объединило оба текста: они так и не были изданы.

Но Фуко неистощим на замыслы. В 1963 году он выпускает две совершенно разные книги: «Раймон Руссель. Опыт исследования», которая вышла в издательстве «Галлимар», в серии «Путь» (ее вел Жорж Ламбриш), и «Рождение клиники: археология взгляда медика». Он сделал все для того, чтобы книги вышли в один день. Чтобы подчеркнуть

одинаковую значимость этих двух сфер интересов? Или же показать, что в обеих книгах говорится, в сущности, об одном и том же?

Книга о Русселе входит в определенный цикл. Можно даже сказать, в «литературный цикл». В семидесятые годы появится другой, «тюремный цикл». Здесь же в центре — книга, ей сопутствуют статьи, предисловия, интервью... Между 1962 и 1966 годами Фуко публикует серию статей о писателях. Хотя Русселя трудно оторвать от этого фона, следует отметить, что это единственный автор, которому Фуко посвятил целую книгу. И этот автор — не только не философ, но и в наименьшей степени философ из всех писателей, которые нравились Фуко. И вместе с тем — самый загадочный, самый эзотерический писатель. Поэт и драматург, не снискавший известности при жизни, был заново открыт для читателя благодаря ряду авангардистских романистов, в частности Мишелю Лейрису. В книге «Перечеркивания», первом томе большого автобиографического цикла, вышедшего в свет в 1948 году, Лейрис вспоминает о Русселе, которого хорошо знал в юности^[249]. Но как пришел к Русселю Фуко? Случайно, объяснит он в интервью, ставшем послесловием к американскому изданию 1983 года: «Я помню, как открыл его для себя. В то время я жил в Швеции и приезжал во Францию только летом — на каникулы. Как-то раз в поисках уже не помню какой книги я отправился в книжный магазин «Жозе Корти». Жозе Корти сидел там собственной персоной за огромным столом. Величественный старик! Он был занят разговором. Я терпеливо ожидал, пока он освободится, и рассматривал книги. И тут я обратил внимание на серию желто-фиолетовых книг: это раритеты, продукция издательских домов конца XIX века. Оказалось, что это были труды, выпущенные издательством «Лемер». Из любопытства я взял одну из них. Мне хотелось посмотреть, что Жозе Корти надеется продать из устаревшего фонда «Лемера». Я наткнулся на имя, которое ничего мне не говорило: Раймон Руссель» Книга называлась «Зрение». С первых же строк на меня повеяло прекрасной прозой, странным образом напоминавшей прозу Алена Роб-Грийе^[250], который в то время только-только начал печататься. В моем сознании «Зрение» сразу же соединилось с Роб-Грийе, особенно с его «Соглядатаем». Когда Жозе Корти окончил разговор, я робко спросил его, кем был этот Раймон Руссель. Он взглянул на меня с великодушной жалостью и сказал: «Ну, Раймон Руссель...» Я понял, что мне следовало бы знать, кто такой Раймон Руссель, и столь же робко поинтересовался, можно ли купить эту книгу, раз уж она продается. Цена расстроила и разочаровала меня: книга стоила

дорого. Кажется, в тот день Жозе Корти сказал мне:

«Вам следует также прочесть ‘Как я написал некоторые из моих книг’. Впоследствии я систематически на протяжении долгого времени скупал книги Раймона Русселя, не на шутку заинтересовавшие меня. Я был покорен этой прозой, ее своеобразной красотой, не успев еще не вникнуть в то, что за ней скрывалось. А когда мне открылись приемы и техника стиля Раймона Русселя, я был покорен вторично. Возможно, дала о себе знать присущая мне склонность к навязчивым мыслям...»^[251]

Раймон Руссель родился в 1877 году в Париже. Он начал было учиться музыке, но в семнадцать лет внезапно забросил все, заперся с чернилами и бумагой и принялся сочинять. Он чувствовал жар солнечных лучей вдохновения над головой, и его нисколько не занимало, как он сам неустанно твердил, что по этому поводу думали окружающие. Русселем интересовался знаменитый психиатр Пьер Жане. В книге «От тревоги к экстазу» он разбирает это состояние озарения и сравнивает литературную экзальтацию с религиозным экстазом. В 1897 году Руссель опубликовал длинную поэму «Раздвоение», повествовавшую о жизни актера-дублера. Потом появилось «Зрение» — поэтические тексты, в которых описывается пейзаж, зримый лишь тому, кто преникал глазом к поверхности, на которую он был нанесен. Как говорит Юбер Жюэн, представляя книгу «Как я написал некоторые из моих книг», Руссель остается наедине с поэмой, безразличной к окружающему миру^[252]. И наедине с романами, созданными благодаря приемам, ключ к которым содержится в этом произведении, опубликованном после смерти автора.

Первый роман — «Африканские впечатления» — вышел в 1910 году. Затем появилась книга «Новые африканские впечатления», написанная во время путешествия в Австралию и Новую Зеландию, на протяжении которого Руссель, запершись в каюте и опустив занавески, упорно отказывался смотреть на пейзажи. Он писал также пьесы для театра, но они с треском проваливались или же вызывали чудовищные скандалы, из-за чего его всячески поддерживали сюрреалисты... После его смерти о нем совершенно забыли. И только Лейрис раздул рано погасший огонь. А затем «сияние славы» привлекло взгляд молодого философа, жившего в Швеции и бывавшего во Франции лишь наездами, который писал книгу о безумии, стремясь дать слово тем, кого коснулось крыло сумасшествия. Как, должно быть, поразился Фуко, узнав, что Руссель был пациентом Пьера Жане! Не

могло не поразить его и то, что в 1933 году Рассель решил пройти курс лечения в клинике Бинсвагере в Крейцлингине, но прежде чем отправиться в Швейцарию, поехал в Палермо, где его и обнаружили мертвым в гостиничном номере. Покончил ли он с собой, как гласила официальная версия, или был убит случайным любовником, как считают некоторые, — неизвестно. Фуко, видимо, исходил из версии самоубийства, ведь его книга начинается и заканчивается описанием церемонии, придуманной Расселем: он готовится к смерти и посылает издателю труд, разъясняющий, как он работал над своими произведениями. Фуко упоминает самоубийство Расселя также в статье, опубликованной в газете «Le Monde» в 1964 году^[253].

Впрочем, взаимообмен письма и смерти, представленный в странном жесте Расселя, — скорее исключение. Книга Фуко содержит крайне мало биографических сведений. Она посвящена литературным приемам, тропам и игре слов, присущей Расселю. Всей той механике, о которой говорится в книге «Как я написал некоторые из своих книг»; механике, способной бесконечно расширять язык. «Рассель изобрел речевые машины, весь секрет которых, если взять его вне литературного приема, в том очевидном и сокровенном отношении, которое всякий язык поддерживает — то завязывая, то развязывая — со смертью»^[254].

Прежде чем начать работу над книгой, Мишель Фуко нанес визит Мишелю Лейрису, чтобы расспросить его о Расселе и его сочинениях. Однако Лейриса теории философа оставили равнодушным. «Он приписывает Расселю философские идеи, которых у него и в помине не было», — скажет он впоследствии. Именно для того, чтобы дистанцироваться от образа Расселя, созданного Фуко, Лейрис назовет сборник своих статей о писателе «Рассель-простак»^[255]. Роб-Грийе также проявит холодность. Он напишет большую статью о Расселе в связи с выходом книги Фуко, однако умудрится ограничиться лишь упоминанием об этом «страстном эссе», свидетельствовавшем, по его мнению, об интересе к «прародителю современного романа»^[256]. Позже он признается, что ему не понравился анализ Фуко. Бланшо же, наоборот, говорит о «творчестве Расселя, ожившем благодаря книге Мишеля Фуко», и с восхищением цитирует фразу Фуко — отголосок и отражение мыслей, занимавших его самого:

«Это солнечное зияние является языковым пространством Расселя, пустотой, откуда доносится его голос, отсутствием,

через которое сообщаются и исключают друг друга творение и безумие. «Пустота» — не метафора: речь о нехватке слов, которых всегда меньше, чем именуемых ими вещей, в силу чего слова всегда чего-то значат»^[257].

Отдавая должное Русселю, Фуко не забывал и о других писателях, покоривших его сердце еще до автора «Африканских впечатлений». Так, после смерти Батай он напишет о нем большую статью «Предисловие к трансгрессии», которая выйдет в специальном номере журнала «Критик» («Critique»). Батай основал этот журнал, а Жан Пьель собрал в номере созвездие имен: Мишель Лейрис, Альфред Метро, Раймон Кено, Морис Бланшо, Пьер Клоссовски, Ролан Барт, Жан Валь, Филипп Соллер, Андре Массон... В своей статье Фуко еще раз заявит об интересе — и даже страсти — к группе писателей, открытых им за десять или пятнадцать лет до этого:

«Чтобы пробудить нас от сна, замешанного на диалектике и антропологии, нужны были ницшевские фигуры трагического и Диониса, смерти Бога и философского молота, сверхчеловека, что приближается голубиным шагом, и Вечного возвращения. Но почему же дискурсивный язык столь немощен в наши дни, когда ему приходится удерживать присутствие этих фигур и себя удерживать в них? Почему перед ними он сникает почти до немотства, а чтобы все-таки предоставить им слово, вынужден уступать тем крайним, предельным формам языка, которые Батай, Бланшо, Клоссовски обратили пристанищем и вершинами современной мысли?»^[258]

Фуко полагает, что сила и литературная значимость творчества Батай состоят в том, что он взорвал традиционный философский язык, уничтожив идею говорящего субъекта: «Это противоположность того движения, что поддерживалось всей западной мудростью со времен Сократа: этой мудрости философский язык гарантировал безмятежное единство субъективности, которая должна была восторжествовать в нем, ибо только в нем и через него она сложилась». Тогда как Батай, как кажется Фуко, выделил «пространство опыта, где субъект, который говорит, вместо того, чтобы выражать себя, себя выставляет, идет навстречу собственной конечности и в каждом слове посылает себя к собственной смерти»^[259]. Будет не лишним заметить, что в этой статье, написанной в 1963 году,

появляются наброски к археологии сексуальности. Но мы еще далеки от того, что станет «Волей к знанию». Фуко еще мыслит в терминах запрета и трансгрессии:

«Открытие сексуальности, этих небес безграничной ирреальности, куда сразу же вознес ее Сад, систематические формы запрета, которыми она была, как нам известно, захвачена, трансгрессия, наконец, избиравшая ее во всех культурах объектом и инструментом — все это категорически указывает на невозможность заставить говорить этот основополагающий для нас опыт на тысячелетнем языке диалектики»^[260].

Фуко напишет также предисловие к полному собранию сочинений Батай, первый том которого выйдет в 1970 году в издательстве «Галлимар». «Батай, — напишет он в начале этого короткого текста, — относится к числу самых значительных писателей столетия: в «Истории глаза» и «Мадам Эдварде» нить повествования рвется, уступая место тому, о чем раньше никто никогда не рассказывал; в «Сумме ателогии» мысль стала играть — игрой рискованной — понятиями предела, крайности, вершины, трансгрессии. В «Эротизме» Сад стал нам ближе и... трудней для понимания. Мы обязаны Батаю львиной долей того, что составляет наш опыт сегодня... Ему остается и долгое время будет обязанным все то, что еще надлежит сделать, помыслить и высказать»^[261].

В июне 1966 года в том же журнале «Критик» была опубликована статья о Бланшо «Мысль вовне». В ней он заявляет:

«Прорыв к языку, из которого исключен субъект, обнаружение безоговорочной, по всей видимости, несовместимости между появлением языка самого по себе и самосознанием человека в его идентичности — вот опыт, который сказывается в весьма различных элементах нашей культуры: как в самом акте письма, так и в многочисленных попытках его формализовать, как в изучении мифов, так и в психоанализе...Вот мы снова перед зиянием, которое долгое время оставалось незримым: бытие языка обнаруживается не иначе, как в исчезновении субъекта»^[262].

Упомянем также статью о Клоссовски: Фуко настойчиво объединяет эти три имени — Бланшо, Батай, Клоссовски. «Проза Актеона» вышла в

1964 году в «NRF»^[263]. Фуко не ограничится истолкованием творчества Клоссовски. Он будет регулярно общаться с ним. Их познакомит Барт в 1963 году. Они часто ужинают втроем, а после того, как Фуко рассорится с Бартом — вдвоем. Клоссовски читал Фуко отрывки из книги, над которой он работал. Его роман «Бафомет» выйдет в 1965 году с посвящением Фуко. «Ибо он был первым слушателем и первым читателем», — объясняет Клоссовски. В те же годы Клоссовски занимался Ницше. Он пишет «Ницше и замкнутый круг», готовит к печати свой перевод «Веселой науки» и вариантов этого сочинения, сотрудничает с издательством «Галлимар», где готовится издание Полного собрания сочинений Ницше. На форзаце издания значится: «Под редакцией Жилия Делёза и Мишеля Фуко». В первом вышедшем томе — пятом по общей нумерации — содержится предисловие, подписанное этими двумя философами. Мир тесен! В те годы Делёз также связан с Клоссовски и, как и Фуко, посвятит ему статью, которая войдет в книгу «Логика смысла».

Фуко всегда будет относиться к Клоссовски с большим почтением. Об этом говорят письма к Клоссовски, написанные Фуко в 1969 и 1970 годах, в них идет речь о «Замкнутом круге» и «Живых деньгах». «Это самая великая философская книга из тех, что я читал, включая самого Ницше», — пишет он в июле 1969-го по поводу первого сочинения. А зимой 1970-го он отзывается о втором так:

«Создается впечатление, что все, в той или иной степени значимое — Бланшо, Батай, «По ту сторону добра и зла» неявно вело к этому: и вот, теперь всё сказано... Вот о чем следовало думать: желание, ценность и симулякр — треугольник, подавляющий и определяющий нас уже на протяжении многих веков истории. Вот на что бросались, вылезая из убежищ, говорившие и говорящие, Маркс-и-Фрейд: теперь это выглядит смешно, и мы знаем, почему. Без Вас, Пьер, нам только бы и оставалось, что стоять перед этим упором, который как-то раз пометил Сад и который никому до Вас не удавалось обойти — к которому, по правде говоря, никто даже не приблизился»^[264].

В 1981 году, когда левые пришли к власти, Жан Гаттеньо, коллега Фуко по Тунису и Венсенну, будет назначен директором отдела книг в министерстве культуры. Он позвонит Фуко: «Кому, по вашему мнению, следует присудить Национальную премию по словесности?» И Фуко ответит: «Клоссовски, если он согласится ее принять». Клоссовски

согласился.

Все тексты Фуко той эпохи отмечены обращением к Ницше. На конференции, посвященной Ницше, которая состоялась в Руайомоне 4–8 июля 1964 года, он читает знаменитый доклад «Ницше, Маркс, Фрейд». Фуко не скрывает, что отдает предпочтение первому из этой троицы. После доклада состоялась дискуссия, во время которой имел место следующий странный диалог:

«Демонбинес: «Кстати, по поводу безумия: Вы сказали, опыт безумия является точкой наибольшего приближения к абсолютному знанию... Вы действительно так думаете?» Фуко: «Да».

Демонбинес: «Не имели ли Вы в виду скорее «сознание» или «преддверие» или предчувствие безумия? Полагаете ли Вы, что можно иметь... что такие великие умы, как Ницше, имели «опыт безумия»?

Фуко: «Именно так»»^[265].

Через несколько лет, в 1971 году, работа Фуко «Ницше, генеалогия, история» будет опубликована в сборнике, посвященном Жану Ипполиту.

В этот период размышлений о литературе Фуко писал также о Алене Роб-Грийе (связи с которым он поддерживал со встречи в Гамбурге), о писателях-авангардистах, объединившихся вокруг Филиппа Соллерса и журнала «Tel Quel», а также о других классических авторах: его перу принадлежит предисловие к такому поистине безумному сочинению, как «Диалоги» Руссо, он комментирует Флобера, Жюль Верна, Нерваля, Малларме. Первым текстом из этой серии стала статья о Гёльдерлине — «Отцовское «нет»», вышедшая в журнале «Critique» в 1962 году. Жану Пьелю, заказывавшему статьи для журнала, очень понравилась книга «История безумия», и он связался с Фуко, чтобы предложить ему сотрудничество. Он давно знал семью Фуко, поскольку во время Освобождения был адъютантом комиссара республики в Пуатье. Доктор Фуко оперировал его. В 1962 году, после смерти Жоржа Батая, приходившегося Пьелю родственником, он побоялся целиком взять на себя ответственность за журнал и попросил Фуко войти в редакционный совет наряду с Роланом Бартом и Мишелем Деги. Собрания комитета в форме обедов будут проходить в доме Пьеля. Мишель Фуко примет участие в подготовке посмертного издания книги Мориса Мерло-Понти «Видимое и невидимое», а также специального номера журнала, вышедшего в декабре 1964 года. Он закажет статьи Жюлю Вюйемену, Пьеру Кауфману и Андре Грину. Со временем редакционный комитет журнала расширится, в 1967 году в него войдет Жак Деррида. Последняя публикация Фуко в журнале «Critique» датируется 1970 годом. Статья «Theatrum philosophicum»

посвящена двум книгам Жюль Делёза. Она заканчивается так:

«Дунс Скот просовывает голову в круглое окошечко будки Люксембургского сада; у него пышные усы Ницше, переодетого Клоссовски»^[266].

*

В 1963 году выйдет книга «Рождение клиники: археология взгляда медика». Отец Мишеля Фуко умер в 1959 году. Быть может, Фуко погрузился в медицинские архивы, желая вернуться к прошлому? Свести счеты с отцом, ушедшим в небытие? Или, наоборот, запоздало отдать ему дань уважения? Фуко заметил как-то, что идея этой книги, как и других, была подсказана личным опытом. Но не уточнил, о чем идет речь. Не станем делать этого за него.

Предисловие начинается так:

«В этой книге идет речь о проблеме пространства, языка и смерти, проблеме взгляда»^[267].

Причудливое сочетание тем и словаря, которыми переполнены работы о литературе. Хотя предметом книги является история науки. Книга вышла в серии «Галиан», которую в издательстве «Пресс-университер» возглавлял Жорж Кангийем. Кангийем вовсе не заказывал этой книги Фуко, как принято считать. «Я никогда ничего не заказывал Фуко, — объясняет он. — Фуко сам предложил мне эту книгу, когда закончил над ней работать». И все же! Что связывает Кангийема и Клоссовски? Возможно, общие истоки: Ницше. Фуко внятно ответил и тем, кто видел противоречие в совмещении двух разных путей в его исследованиях, и тем, кто видел противоречие между ницшеанством и традициями истории науки: разве вам не известно, что Кангийем сам числил Ницше среди своих учителей? И Кангийем это подтверждает. Однако если читать «Рождение клиники...» в контексте работ Фуко, посвященных литературе, поражает не противоречивость разных подходов, а, наоборот, удивительная слаженность двух регистров. Очевидность этого сближения станет ясна через несколько лет, с выходом книги «Слова и вещи».

«Рождение клиники...» является непосредственным продолжением «Безумия и неразумия» и переходом к новым замыслам. Непосредственным

продолжением «Безумия и неразумия», поскольку распространяет на медицину в целом анализ, которому уже подверглись концепты медицины душевных заболеваний: речь идет о рождении медицины, условиях, делающих ее возможной... Но, в отличие от «Безумия и неразумия», где многовековая история излагается на шестистах страницах, книга «Рождение клиники...» — небольшая по объему, насчитывающая чуть больше двухсот страниц, повествует лишь о конце XVIII — начале XIX века, периоде, когда медицина как практика и как наука меняется в связи с возникновением патологической анатомии. И здесь принципы «структурной истории», связывающие разные регистры — экономику, социологию, политику, идеологию, культуру, проводятся вполне последовательно, раскрывая трансформации, затронувшие комплекс способов видеть и описывать и, глубже, всего того, что поддается видению и описанию, видимого и описываемого. Реорганизация больничной сферы, переворот в медицинском образовании, научная теория и практика, экономические проблемы — все работает на готовящийся разрыв... Переворот совершается в тот момент, когда возникает осознание необходимости вскрывать трупы. Чтобы взгляду врача причины смерти открылись во всей своей целостности, следовало проникнуть внутрь тела. В изложении Фуко — «Вскройте несколько трупов, и вы сразу же увидите, как исчезнет темнота, рассеянная одним внешним наблюдением», — заявление Биша предстает во всей его яркости. Фуко комментирует эти слова, прибегая к одной из своих магических формул, которые, как всегда в его работах, рассыпаны по страницам в изобилии:

«Живой мрак рассеивается в свете смерти»^[268].

Вследствие этого «жизнь, болезнь и смерть теперь образуют техническую и концептуальную триаду. Древняя непрерывность тысячелетних навязчивых идей, размещавших в жизни угрозу болезни, а в болезни — приближающееся присутствие смерти — прервана: вместо нее артикулируется треугольная фигура, вершина которой определяется смертью. Именно с высоты смерти можно видеть и анализировать органические зависимости и патологические последовательности»^[269]. Но происходит и другой сдвиг, теперь уже в области языка: Фуко обращается к текстам Пинеля и к провозглашенному в них намерению дать точный и исчерпывающий перечень болезней и организмов, являющихся их носителями. В обоих случаях речь идет не только о перестройке медицинских технологий, но также и о пересмотре взглядов на жизнь и

смерть, самих основ знания:

«Эта структура, где артикулируются пространство, язык и смерть — то, что в совокупности называется клинико-анатомическим методом, — образует историческое условие медицины, которое представляет себя и воспринимается нами как позитивное»^[270].

Именно это положение открывает путь для дальнейших исследований Фуко. «Рождение клиники...» показывает, как выкристаллизовывалась возможность «знания об индивидууме»:

«Без сомнения, для нашей культуры решающим останется то, что первый научный дискурс, осуществленный ею по поводу индивида, должен был обратиться, благодаря этому моменту, к смерти. Именно потому, что западный человек не мог существовать в собственных глазах как объект науки, он не включался внутрь своего языка и образовывал в нем и через него дискурсивное существование лишь по отношению к своей деструкции: опыт «безумия» дал начало всем видам психологии, и даже самой возможности существования психологии; от выделения места для смерти в медицинском мышлении родилась медицина, которая представляет собой науку об индивиде»^[271].

Это переход к работе «Слова и вещи». Фуко осознает в этот момент, что дал описание основы, на которой процветают все науки о человеке: возможности быть одновременно и субъектом и объектом познания.

«Но не стоит увлекаться, — добавляет он. — Рождение позитивной медицины, принципа научности, благодаря которому медицина вырвалась из власти химер, наступление эры новых знаний соседствует и солидаризируется с движением, определившим современную культуру тем, что сделало смерть центральным событием истории индивида». По мнению Фуко, смерть напрямую связана с опытом индивидуализма в современной культуре — от «Смерти Эмпедокла» Гёльдерлина до «Так говорил Заратустра» Ницше и фрейдизма. Именно смерть дает возможность каждому быть услышанным:

«Движение, которое поддерживает в XIX веке лирику, реализуется только одновременно с тем, благодаря которому

человек приобретает позитивное знание о самом себе. И стоит ли удивляться, что фигуры знания и языка подчинены одному и тому же глубокому закону и что вторжение конечности бытия так же возвышает связь человека со смертью, здесь позволяя вести научное рассуждение в рациональной форме, а там — открывая источник языка, который бесконечно развивается в пустоте, оставленной отсутствием богов?»^[272]

Книга «Рождение клиники...» не нашла широкого отклика. Но она не ускользнула от внимания Жака Лакана, который посвятил ей один из своих семинаров. После чего были раскуплены десятки экземпляров книги. Фуко бывал в доме Лакана, хотя между ними не было тесной дружбы. Сильвия Лакан помнит, как однажды Фуко, обедавший у них на улице Лилль, сказал:

«Пока браки между мужчинами не признаны, нельзя говорить о цивилизации».

Глава пятая

Оплот буржуазии

Август — сентябрь 1965 года: Мишель Фуко в Бразилии, в Сан-Паулу. Он предлагает прочесть свою объемную рукопись Жерару Лебрану. Можно сказать, дает на консультацию эксперту: Лебран — специалист по Канту и Гегелю, а также прекрасный знаток феноменологии и творчества Мерло-Понти...

Он изучает рукопись. Они беседуют... Когда спустя несколько месяцев книга будет опубликована, Лебран с изумлением обнаружит в ней главу, отсутствовавшую в рукописи. Во «Введении», где обрисовывается основная тематика книги, Фуко анализирует картину Веласкеса «Придворные дамы». Это блестящий фрагмент, дописанный в последний момент, должно быть, сыграет не последнюю роль в успехе книги. Речь идет о статье, опубликованной Фуко в «Mercure de France». Как рассказывает Пьер Нора, Фуко долго не решался вставить статью в книгу. «Он полагал, что она слишком литературна для книги, но я так не считал».

Фуко хотел назвать книгу так, как впоследствии будет названа ее вторая глава — «Проза мира». Однако именно такое название намеревался дать Мерло-Понти одному тексту, обнаруженному после его смерти^[273]. Фуко не слишком стремится во весь голос заявить о влиянии на него философа, которым он восхищался на протяжении долгого времени. И раздумывает, не назвать ли ему книгу «Порядок вещей». Или: «Слова и вещи». Фуко больше нравится первое название. Пьер Нора склоняется ко второму. И Фуко принимает его аргументы. Английский перевод выйдет под названием «Порядок вещей». А сам Фуко во многих интервью будет повторять, что оно лучше отвечает сути книги.

«Фуко нарасхват, как булочки». Это заголовок статьи, посвященной книгам — лидерам продаж лета 1966 года. Она опубликована в «Le Nouvel Observateur»^[274]. Это может показаться удивительным, но книга «Слова и вещи» имела невероятный успех. Автор и издатель поражены — ведь речь идет о тяжеловесном исследовании, предназначенном для узкого круга читателей, интересующихся историей науки.

Книга вышла в апреле 1966 года в издательстве «Галлимар», уже выпустившем исследование Фуко о Русселе. Фуко предложил рукопись Жоржу Ламбришу. Поскольку в этот момент Пьер Нора перешел из

издательства «Жюллиар» в «Галлимар», чтобы возглавить «Библиотеку гуманитарных наук», было решено, что книга «Слова и вещи» откроет эту серию. Впоследствии все книги Фуко будут выходить под маркой этой коллекции или же в родственной серии — «Библиотека исторических наук». Уровень и престиж обеих серий был задан с самого начала именно Фуко.

Первый тираж книги — 3500 экземпляров — разлетелся мгновенно. В июне была сделана допечатка — пять тысяч экземпляров, В июле выпущено еще три тысячи экземпляров. И еще три тысячи пятисот — в сентябре. Столько же — в ноябре. Допечатки пришлось делать и последующие годы: четыре тысячи в марте, пять тысяч в ноябре 1967 года, шесть тысяч в апреле 1968 года, шесть тысяч в июне 1969 года и т. д. Книги по философии редко издаются такими тиражами. Всего было продано более 110 тысяч экземпляров.

Прежде всего книга имела успех среди философов: в ноябре 1966 года Жан Лакруа в статье, опубликованной в газете «Le Monde», сообщал, что в конкурсных работах на звание агреже чаще всего фигурируют два имени: Альтюссер и Фуко. Но книгу читали не только будущие философы. Пресса того времени сообщает, что ее читают на пляжах — во всяком случае, приносят на пляж, — а также небрежно кладут на столики кафе, чтобы показать свою вовлеченность в гущу культурных событий... Успех книги был столь громким, что его эхо можно обнаружить и в романе Луи Арагона «Бланш, или Забвение», вышедшем в 1968 году, и в фильме Жана-Люка Годара «Китаянка» (1967), едко высмеивавшем сам феномен моды... В одном из интервью Жан-Люк Годар прямо заявил, что его фильм направлен против таких как «преподобный отец Фуко».

«Я не люблю Фуко за то, что он говорит: «В такую-то эпоху люди говорили и думали так-то, а потом, начиная с такого-то года, они полагали то-то...» Возможно, но вряд ли мы можем судить об этом с уверенностью. Мы стремимся снимать фильмы именно для того, чтобы лишить будущих Фуко возможности говорить о подобных вещах с таким апломбом»^[275].

*

Как мы уже знаем, в 1961 году Фуко решил не издавать свое введение в «Антропологию» Канта. В последней части этого машинописного текста

он страстно набрасывается — прибегая к довольно темному стилю — на современные теории «антропологии», выдержанные не в духе Леви-Строса, а в духе Сартра и Мерло-Понти. Отвергая «иллюзии», которыми кишат эти теории, Фуко удивляется тому, что они процветают, не встречая никакой критики.

«Между тем пример такой критики, — говорит он в заключение, — был явлен нам более полувека назад. Ницшеанский демарш может быть понят как заслон, наконец-то останавливающий почкование рассуждений о человеке. Разве «смерть бога» не проявляется в дважды убийственном жесте, который, приканчивая абсолют, уничтожает тем самым и человека? Ведь человек с его смертностью неотделим от бесконечного, отрицанием и вестником которого он является. «Смерть бога» осуществляется лишь в смерти человека». На кантовский вопрос «Что такое человек?» и на все его отзвуки в современной философии, от Гуссерля до Мерло-Понти, следовало, таким образом, дать «разоружающий и убийственный ответ: Der Übermensch» — сверхчеловек^[276]. Итак, последние страницы этой «малой» диссертации, по всей видимости, в целом направлены против «Критики диалектического разума» Жана-Поля Сартра, опубликованной в 1960 году (хотя отдельные ее фрагменты начали печататься с 1958 года в «Les Temps modernes»), а также — и в еще большей степени — против работ Мерло-Понти. Эти страницы стали отправной точкой для книги «Слова и вещи». Более того, они включены в эту книгу почти без изменений:

«Мысль Ницше возвещает не только о смерти Бога, но и (как следствие этой смерти и в глубокой связи с ней) о смерти его убийцы. Это человеческое лицо, растерзанное смехом; это возвращение масок...»^[277]

Не так давно Жерар Лебран еще раз напомнил, до какой степени книга «Слова и вещи» является отторжением Мерло-Понти. Все исследование Фуко базируется на полемике с мыслью Гуссерля и ее интерпретацией, предпринятой Морисом Мерло-Понти. «Слова и вещи» прежде всего жест отталкивания — отказ от феноменологии. Разрыв в полном смысле слова! Но, поскольку та эпоха уже ушла в прошлое — говорил Лебран на конференции, посвященной Фуко, состоявшейся в Париже в январе 1988 года, — и волна феноменологии схлынула, книга «Слова и вещи» очевидным образом утратила способность вызывать «полемический задор»: «Современный читатель забыл, что первоначально речь шла не столько о философии, сколько о полемике, а быть может, вообще этого не

знает — в зависимости от возраста». Следовательно, необходимо вернуться к этому отправному пункту, позволяющему понять, почему книга «была встречена как акт агрессии, а не как изложение нового метода»^[278]. Во время дискуссии, развернувшейся после доклада Лебрана, Раймон Беллур рассказал, что ему довелось читать корректуру книги незадолго до ее выхода: в ней содержалось множество выпадов против Сартра — их Фуко не включил в окончательный текст.

Труд, вызвавший такой переполох, относился к археологии знания. «Археология гуманитарных наук» — так гласит подзаголовок. Речь идет о том, чтобы понять, когда именно в европейской культуре появился интерес к человеку; в какой момент человек превратился в объект исследования. Страница за страницей множатся прекрасные описания форм знания с начала XVI века по наше время. Четыреста страниц свидетельствуют об эрудиции, от которой захватывает дух. Попытаемся обобщить сказанное: для каждой эпохи характерен свой подземный рельеф, определяющий ее культуру, своя решетка знаний, делающая возможным научный дискурс, высказывание. Это «историческое а priori» Фуко называет эпистемой, глубоким фундаментом, определяющим и ограничивающим то, о чем каждая эпоха думает или не думает. Любая наука развивается в рамках определенной эпистемы и, следовательно, не может не быть связанной с другими современными ей науками. Взгляд Фуко направлен главным образом на три области знания, развивавшиеся на базе классической эпистемы: всеобщая грамматика, теория богатства и естественная история. В XIX веке эти три области сменяются другой триадой, формирующейся на основе заявляющей о себе новой решетки знаний: филологией, политической экономикой и биологией. Фуко показывает, как проявляется в этом становлении сам объект познания: человек говорящий, человек работающий, человек живущий.

Гуманитарные науки рождаются в момент глобальной перестройки эпистемы. Однако близость к другим областям знания лишает их возможности подтверждения научного статуса. «Они не в состоянии быть наукой», — считает Фуко, поскольку само их существование возможно лишь в ситуации «соседства» с биологией, экономикой или филологией, «проекциями» которых они являются^[279]. Однако — в этом и состоит противоречие, взрывающее их изнутри, — археологическая укорененность в современную эпистему заставляет их стремиться к научности:

«Под именем человека западная культура создала существо, которое по одним и тем же причинам должно быть позитивной

областью знания и вместе с тем не может быть объектом науки»^[280].

Ставя под вопрос саму правомерность словосочетания «гуманитарные науки», Фуко признает, что психоанализ и этнология занимают среди них особое место. Он называет их «антинауками»: они обращают вспять другие науки, «непрестанно «разрушая» того человека, который в гуманитарных науках столь же непрестанно порождает и возрождает свою позитивность». И Фуко добавляет: «Что Леви-Строс сказал об этнологии, то можно сказать и о психоанализе: обе науки растворяют человека». Над этими двумя антинауками или, скорее, рядом с ними возникает третья, попирая сложившееся поле гуманитарных дисциплин, образуя в самой общей форме противодействие ему: лингвистика. «Все три «антинауки» обнажают и тем самым ставят под угрозу то, что позволило человеку быть познаваемым. Таким образом раскручивается перед нами — правда, вспять — нить человеческой судьбы, наматываясь на эти удивительные веретена; она приводит человека к формам его рождения, в тот край, где это произошло. Однако разве не тот же путь ведет его и к собственной гибели? Ведь о самом человеке лингвистика говорит ничуть не больше, чем психоанализ и этнология»^[281].

Привилегия, данная лингвистике, ставит нас перед проблемами, о которых Фуко не перестает говорить с начала шестидесятых годов в статьях о литературе: «Так путем более длинным и неожиданным мы приходим к тому самому месту, на которое указывали Ницше и Малларме, когда один задал вопрос: «Кто говорит?», а другой увидел, как ответ просвечивает в самом Слове». Вопрос о языке открыт двум горизонтам: попыткам формализовать мысль и, на другом конце культуры, современной литературе. «Пусть литература наших дней очарована бытием языка — это не есть ни знак, ни итог, ни доказательство ее коренного углубления: это явление, необходимость которого укореняется в некоей весьма обширной конфигурации, где прорисовываются все изгибы нашей мысли и нашего знания». И из-под пера Фуко появляются в порядке выхода на сцену имена: Арто, Руссель, Кафка, Батай и Бланшо^[282].

Опыты противоположные и взаимосвязанные, опыты современной культуры: формирование знания по модели лингвистической модели и, с другой стороны, насилие, переизбыток, крики, «стертый в пыль» язык литературы, очень может быть, что и тот и другой возвещают конец *эпистемы*, обозначившей вхождение человека в знание. Последнюю

страницу книги цитируют так часто, что мы не без колебаний решились еще раз обратиться к ней:

«Во всяком случае, ясно одно: человек не является ни самой древней, ни самой постоянной из проблем, возникавших перед человеческим познанием. Взяв относительно короткий временной отрезок и ограниченный географический горизонт — европейскую культуру с начала XVI века, — можно быть уверенным, что человек в ней — изобретение недавнее. Вовсе не вокруг него и его тайн издавна ощупью рыскало познание. [...] Человек, как без труда показывает археология нашей мысли, — это изобретение недавнее. И конец его, быть может, недалек»^[283].

Итак, эта блистательная книга, переливающаяся всеми гранями писательского стиля, имела стремительный и шумный успех. Отзывы, статьи, рецензии сыпались как из рога изобилия. Полемике не было конца. Не осталось ни одной газеты, ни одного журнала, которые бы не добавили своего штриха к общей картине. Фуко даже пригласили принять участие в телевизионной программе «Чтение для всех», которую вел Пьер Дюмайе. Вот несколько высказываний из прессы того времени. «Книга Фуко — одна из важнейших, появившихся в наше время», — пишет Жан Лакруа в колонке, посвященной философии, в газете «Le Monde»^[284]. «Слова и вещи» — впечатляющее произведение», — говорит Робер Кантер в «Le Figaro»^[285]. А Жиль Делёз, избравший своей трибуной «Le Nouvel Observateur», полюбовавшись сверкающими гранями книги, заканчивает статью так:

«На вопрос: «что нового в философии?» книги Фуко дают самый глубокий, захватывающий и убедительный ответ. Полагаю, «Слова и вещи» — великая книга о новом мышлении в философии»^[286].

Франсуа Шатле предвосхитил события, написав еще в апреле в «La Quinzaine littéraire»:

«Строгость, оригинальность и вдохновенность Мишеля Фуко таковы, что чтение его последней книги неизбежно рождает абсолютно новый взгляд на прошлое европейской культуры и со всей ясностью высвечивает смуту ее настоящего»^[287].

Успех книги «Слова и вещи» отчасти объясняется культурным контекстом, в котором она появилась. «Дискуссия о структурализме» была в самом разгаре. «Структурная антропология» Клода Леви-Строса вышла в 1958 году. Это был манифест новой школы, нового «философского» направления. В 1962 году Леви-Строс внес полную ясность: в конце книги «Первобытное мышление» он атаковал Сартра, низведя философию своего противника до уровня современной мифологии. Впервые был нанесен серьезный удар по Сартру, философу, который на протяжении двадцати пяти лет безраздельно господствовал во французском интеллектуальном пространстве. Сколько молодых исследователей восприняли атаку против него как освобождение? Пьер Бурдьё, например, вспоминает в предисловии к «Практическому смыслу» экзальтацию, вызванную появлением книги Леви-Строса и, в особенности, «новым способом представления интеллектуальной деятельности», которое впитало в себя целое поколение^[288]. Можно было бы привести тысячи свидетельств тому, что шок от книг Леви-Строса чувствовался во всех сферах культуры. Тем более что этнолог вывез из Соединенных Штатов лингвистику Якобсона и подарил несколько важных звеньев формировавшейся теории своему другу Лакану — Лакану, подготовившему к изданию тексты, публиковавшиеся раньше... Издание вышло в 1966 году. С самого начала шестидесятых во всех интеллектуальных журналах только и говорят что о структурализме, многие из них посвящают ему целые выпуски. Структурализм и марксизм, структурализм против марксизма, структурализм и экзистенциализм, структурализм против экзистенциализма... Одни были «за», другие — «против», третьи пытались прийти к некоторому синтезу... Каждый, кто причислял себя к интеллектуалам, считал себя обязанным занять какую-либо позицию в этих спорах или, по крайней мере, высказаться. Никогда еще культура не знала такого бурления.

Декорации были смонтированы. Оставалось только поднять занавес и начать новую схватку. Страсти кипели вокруг «смерти человека». Фуко дает несколько примечательных интервью. Одно из них опубликовано 15 апреля 1966 года в «Quinsaine littéraire». «Мы почитали поколение Сартра, — заявляет он, — как поколение, несомненно, мужественное и щедрое, со страстью относившееся к жизни, к политике, к существованию. Но мы открыли нечто другое, достойное страсти: мы относимся со страстью к концепту и к тому, что я бы назвал «системой».

Вопрос: Что занимало Сартра-философа?

Ответ: В целом можно сказать, что Сартр, столкнувшись с миром истории, который буржуазная традиция, ничего в нем не понимавшая,

хотела бы считать абсурдным, решил показать, что, наоборот, во всем есть *смысл*. [...]

Вопрос: Когда вы перестали верить в *смысл*?

Ответ: Разрыв произошел в тот момент, когда Леви-Строс и Лакан — первый для обществ, а второй для бессознательного — показали, что *смысл* является, скорее всего, неким поверхностным эффектом, отражением, пеной, что то, что существует до нас, что перепахивает нас и поддерживает во времени и пространстве, называется *системой*».

Фуко дает определение этой *системе*, ссылаясь на работы Дюмезиля и Леруа-Гурана, имена которых хотя и не назывались, но легко угадывались, а затем снова обращается к Лакану:

«...Значимость работ Лакана состоит в том, что он показал, как через речь больного и симптомы его невроза дает о себе знать не субъект, а структуры, сама система языка... Мы заново открываем знание, существовавшее еще до появления человека...

Вопрос: Но тогда кто рождает эту *систему*?

Ответ: Кто носитель этой анонимной бессубъектной *системы*? «Я» взорвалось — взгляните на современную литературу — и было заново открыто «имеет место». В «имеет место» говорит безличность. В каком-то смысле мы возвращаемся к точке зрения XVII века, но на новом уровне: место Бога занимает не человек, а анонимная мысль, бессубъектное знание, безличная теория...»^[289]

В интервью, которое Фуко дал в июне 1966 года, стрелы опять летят в Сартра:

«Критика диалектического разума» является примером величественного и патетического усилия, предпринятого человеком XIX века, с тем чтобы объяснить век XX. В этом смысле Сартр является последним гегельянцем и, скажу больше, последним марксистом»^[290].

Во всех интервью Фуко ясно очерчивает теоретическое пространство, в которое помещает свою книгу. Он потрясает как хоругвью одними и те же именами: Лакан и Леви-Строс, а также Дюмезиль, «современная литература», сочленявшаяся в его сознании с трудами по первобытной истории, этнологии или римской мифологии. Иногда он упоминает Русселя и «аналитический разум», формальную логику, теорию информации, Кангийема и историю науки, Альтюссера и его «отважные попытки» сдуть пыль с христианизированного марксизма в духе Тейяра де Шардена... Было

очевидно, что Фуко избрал своей галактикой «структурализм».

Реакция последовала незамедлительно. Марксисты перешли в контратаку. В партийных кругах книгу предали анафеме. Фуко не могли простить утверждения, что «марксизм был как рыба в воде в философии XIX века, что означает, что в иной среде он перестает дышать». Жак Мийо писал в «Cahier du communisme»:

«Антиисторические предрассудки Фуко не могли бы существовать без поддержки неоницшеанской идеологии, которая служит — вольно или невольно — интересам класса, стремящегося завуалировать объективно существующие пути будущего»^[291].

Жанетт Коломбель атаковала Фуко на страницах «La Nouvelle Critique», однако ее критика носила более умеренный характер. Она упрекает Фуко главным образом в том, что он игнорирует параметр темпоральности и историю, выпячивая *status quo* благодаря своим «апокалипсическим» взглядам и провозглашая «распад человека»:

«Для Фуко мир — это спектакль или игра. Он призывает нас к магическому отношению к миру. [...] Понятый таким образом, структурализм служит защите существующего порядка вещей»^[292].

Однако в интеллектуальных, а не политических кругах партии критика носит более профессиональный характер: не без влияния Пьера Декса еженедельная литературная газета «Les Lettres Francaise» вполне доброжелательно приняла проклятый труд. В марте 1966 года Раймон Беллур берет интервью у Фуко. «Вторая беседа» состоялась на следующий год^[293].

В споре участвовали также и католики. Жан-Мари Доменак, возглавлявший журнал «Esprit», так комментирует «новую страсть»:

«Вызывающее интервью Мишеля Фуко, опубликованное в «La quinzaine littéraire», звучит как манифест новой школы, и обращений к нему нет числа. [...] Сколько вопросов мы могли бы задать! И сколько вопросов зададим! А пока поприветствуем это событие»^[294].

Жан-Мари Доменак действительно направит свои вопросы Мишелю Фуко. Тот выделит один из них, одиннадцатый и последний: «Не выбивает ли философия, говорящая о противоречивости системы и отсутствии непрерывности в истории разума, почву из-под прогрессивной политики? Не приводит ли она к дилемме: принять систему или же призвать к выплеску дикости и насилия, которые признаются единственной силой, способной сотрясти эту систему?» В ответ Фуко объяснит свое видение «прогрессивной политики»: «...политика, которая признает наличие исторических условий и особых правил, соотносимых с некой практикой, там, где другие видят лишь абстрактную необходимость, однозначный детерминизм или свободную игру индивидуальных инициатив...» Мяч отбит. Однако этот важный текст останется незамеченным. Нужно сказать, что он будет опубликован лишь в мае 1968 года. Основные положения своего ответа Фуко воспроизведет в «Археологии знания» — ответа, в котором он заговорил о совершенно новой книге, посвященной «проблемам исторического дискурса». Книге, которая должна была называться «Прошлое и настоящее. Другая археология гуманитарных наук», было не суждено увидеть свет ^[295].

Франсуа Мориак в своем знаменитом «Блокноте», публиковавшемся в «Figaro littéraire», также прокомментирует предмет всеобщего увлечения:

«Но если это сознание существовало, с чего бы ему исчезнуть? В конце концов вы заставите меня проникнуться братскими чувствами к моему давнишнему противнику Сартру» ^[296].

А сам Сартр? Сартр, в муках писавший второй том «Критики диалектического разума», одержимый идеей продемонстрировать эффективность синтеза экзистенциализма и марксизма? Что ж, Сартр отвечает. Именно так — «Сартр отвечает» — озаглавлено интервью, опубликованное в специальном посвященном ему номере журнала «L'Arc». И его ответ соответствует накалу атаки.

Вопрос Бернара Пенго:

«Видите ли вы что-то общее в отношении к вам молодого поколения?»

Ответ Сартра:

«Можно говорить о доминирующей тенденции отказа от истории, но этот феномен все же не является всеобщим. Успех последней книги Мишеля Фуко достаточно показателен. Что мы находим в книге «Слова и вещи»? Уж, конечно, не «археологию» гуманитарных наук. Археолог — это тот, кто ищет следы исчезнувшей цивилизации, чтобы реконструировать ее. [...] То, что предлагает нам Фуко, является, как верно заметил Кантер, геологией: речь идет о слоях, формирующих нашу «почву». Каждый слой определяет условия, делающие возможным тип мышления, доминировавший в некоторую эпоху. Однако Фуко не отвечает на самые главные вопросы: как устроено мышление, соответствующее этим условиям, и как осуществляется переход от одной формы мышления к другой. Для этого ему пришлось бы обратиться к практике, то есть к истории, то есть к тому, что он отвергает. Конечно, перспектива, очерченная им, исторична. Он различает эпохи — предшествующую и последующую. Но заменяет кинокамеру волшебным фонарем, движение — последовательностью стоп-кадров. Успех его книги показывает, что она отвечает ожиданиям. Однако мысль, действительно оригинальная, всегда неожиданна. Фуко дал людям то, в чем они нуждались: эклектичный синтез, в котором Роб-Грийе, структурализм, лингвистика, Лакан, «Tel Quel» используются по очереди для демонстрации невозможности исторического мышления».

И конечно же Сартр указывает на связь отказа от истории с отречением от марксизма:

«Мишенью Фуко является марксизм. Речь идет о строительстве новой идеологии, последнего оплота буржуазии в борьбе с Марксом»^[297].

Очевидно, что «Слова и вещи» в момент публикации воспринималась как «правая» книга. Именно так характеризует ее Робер Кастель, сблизившийся с Фуко в семидесятые годы, на страницах написанного в марте 1968 года предисловия к французскому переводу книги Маркузе «Разум и революция». Фраза Фуко о том, что следует противопоставить философический безмолвный смех «тем, кто по-прежнему хочет говорить о человеке, его господстве и его освобождении... всем формам левизны и

левачества», не осталась незамеченной Кастелем, который увидел в ней прямую атаку на Маркузе^[298].

«Бедная буржуазия! Она не имеет иного оплота, кроме моей книги», — иронизировал впоследствии Фуко. В начале 1968 года, выступая на радио «France-Inter», в ответе на вопрос Жан-Пьера Элькабака, Фуко заметил, что, повинувшись заезженной пластинке истории, Сартр просто-напросто пустил в ход против него словарь, применявшийся коммунистами пятнадцать лет назад в борьбе с экзистенциализмом. И Фуко сухо парировал: «Сартр слишком занят трудами литературного, философского и политического характера, чтобы со вниманием отнестись к моей книге. Он не прочел ее.

Следовательно, его слова ничего не значат для меня». И, поскольку журналист упомянул формулировку «отказ от истории», Фуко продолжил:

«Ни один историк не упрекнул меня в этом. Существует миф об Истории философии. Знаете, философы в основной своей массе малосведущи в других дисциплинах. У них своя математика, своя философия и — что вполне естественно — своя история. Философы воспринимают историю как бескрайний широкий континуум, в котором реализуются свобода индивидов и экономическая или социальная детерминация. Когда речь заходит об одной из этих трех базовых тем — континууме, эффективности опыта свободы человека, связи свободы индивида с социальной детерминацией, — когда прикасаешься к одному из этих трех мифов, тут же все эти люди начинают кричать о насилии и убийстве Истории. На самом деле уже давным-давно такие замечательные специалисты, как Марк Блок, Люсьен Февр, английские историки и т. д., положили конец мифу об Истории. Они занимаются историей совсем в ином ключе, и если философский миф об Истории, тот философский миф, в убийстве которого меня обвиняют, умер, то я рад, что сумел убить его. Его-то я и хотел убить, а вовсе не историю. Историю нельзя убить, но можно уничтожить Историю для философов, и именно это я и намеревался сделать».

Публикация полного текста записанного на магнитофон шокировавшего интервью в газете «La quinzaine littéraire» наделала много шума. Фуко направил в редакцию газеты письмо, в котором говорил, что не давал разрешения на публикацию интервью и что не несет за него ответственность^[299]. Хотел ли он спустить полемику на тормозах?

За год до этого, в январе 1967 года, журнал «Les Temps modernes» опубликовал две злобные статьи о книге «Слова и вещи», подписанные Мишелем Амио и Сильвией Левон. Видимо, эта мобилизация просартровских сил заставила Кангийема нарушить молчание. В журнале «Critique» он опубликовал обширное исследование, посвященное Фуко. Оно стало одним из лучших его сочинений. «Нужно ли сохранять хладнокровие, как, по всей видимости, сохраняют его многие из великих современных умов, — спрашивает историк науки, изумляясь позиции, которую занял Сартр, его товарищ по Эколь Нормаль. — Нужно ли реагировать на отказ жить, как того требует университетская рутина, как наставник, раздраженный неизбежностью смены?» И после этих ремарок *ad hominem* переходит к прямой атаке: «Вопреки мнению многих критиков Фуко, термин «археология» отвечает своему содержанию. Речь идет об условии существования другой истории, в которой сохраняется концепт события, но события соотносятся с концептами, а не с людьми». В конце статьи Кангийем касается политического аспекта полемики. Фуко записывают в реакционеры, поскольку он хочет заменить человека «системой». Но разве не эту задачу двадцать лет назад поставил перед философией Жан Кавайес, логик, специалист по эпистемологии: «Заменить примат пережитого или обдуманного сознания приматом концепта, системы или структуры»? Кавайес, знаменитый деятель Сопротивления, расстрелянный немцами. Кавайес, «не веривший в историю в экзистенциальном смысле» и «сумевший своим участием в трагической истории, которой он отдал жизнь, перечеркнуть аргументы тех, кто пытается дискредитировать так называемый структурализм, вменяя ему среди прочих зол пассивное отношение к реальности»^[300].

Эта статья Кангийема имеет историческое значение, и было бы ошибкой недооценить ее. Ибо она выявляет подспудную роль, которую играл этот историк науки в истории французской философии. Немного утрируя, можно сказать, что настоящая борьба, разворачивавшаяся среди философов в пятидесятые и шестидесятые годы, была вызвана противостоянием двух начал, воплощением которых являлись Сартр и Кангийем. Нельзя забывать, что у Кангийема было бесчисленное количество учеников, оттачивавших свой теоретический инструментарий на экзистенциализме и персонализме. Очевидно, что бывший главный инспектор был главным вдохновителем организованного в Эколь Нормаль Альтюссером и Лаканом «Кружка эпистемологии», который в 1966 году начал публиковать «Cahiers pour l'analyse»: в каждом номере этого журнала

на почетном месте печаталась какая-нибудь цитата из Кангйема^[301].

Структурализм, воспринимавшийся как «правое» учение большинством «левых», процветал тем не менее в окружении Альтюссера, в группах, которые впоследствии — незадолго до 1968 года и в последующие годы, — станут центрами крайне левых маоистских движений. Сейчас трудно представить себе истинное влияние Альтюссера на все выпуски Эколь Нормаль шестидесятых и семидесятых годов. С момента выхода в 1965 году книг «За Маркса» и «Читая «Капитал»» Альтюссер, как пишет Жаннин Верде-Леру, как никто другой стал объектом «страсти, почитания и подражания»^[302]. Страсти теоретической и одновременно политической, позиционировавшейся на самом левом фланге левых. Фуко особенно подчеркивал это в интервью, которое он дал в Швеции в марте 1968 года. Фуко противопоставляет «мягкотелый, бледный гуманистический» марксизм Гароди динамическому обновленному марксизму учеников Альтюссера, относившихся к «левому крылу коммунистической партии» и принявших основные положения структурализма.

«Понятно, что движет Сартром и Гароди, — объясняет Фуко, — когда они характеризуют структурализм как типично правую идеологию. Это позволяет им сделать сообщниками правых людей, которые, на самом деле, еще левее их, и позиционировать себя в качестве единственных представителей коммунистической и левой идеологии. Это всего лишь тактический ход». Фуко предпринимает попытку в самых общих чертах наметить связь между политической деятельностью и теоретическими размышлениями в терминах структур: «Я полагаю, что строгий теоретический анализ способа функционирования экономических, политических и идеологических структур является одним из обязательных условий политической деятельности, поскольку сама политическая деятельность является способом манипулирования структурами, способом изменить, трансформировать их, сотрясти их основы. [...] Не думаю, что структурализм представляет собой теоретическое упражнение для кабинетных ученых; оно может и должно отразиться на практике». И еще:

«Полагаю, что структурализм должен дать политической деятельности необходимый аналитический инструмент. Политика вовсе не обречена на невежество»^[303].

Однако очень быстро Фуко отмежевался от структурализма и даже впадал в ярость, когда на него пытались навесить соответствующий ярлык.

Что значили вся эта полемика вокруг плавающей номинации и вовлеченность Фуко в ее тяжелые, хотя и неявные перипетии? Был ли он структуралистом? Клод Леви-Строс говорил много позже, что Фуко имел все основания настаивать на своем нежелании быть причисленным к модному течению: его работы и работы структуралистов не имели между собой ничего общего. И что публичная возня вокруг группы исследователей была лишь данью преходящей моде. Но одно остается очевидным: все комментаторы единодушно причисляли Фуко к племени структуралистов. Знаменитый рисунок Мориса Анри, помещенный в газете «La Quinzaine littéraire»^[304], на котором изображены беседующие Леви-Строс, Лакан, Барт и Фуко, переодетые в костюмы индейцев, — всего лишь обобщенное выражение всеобщего мнения. Газеты и журналы говорили о структурализме и структуралистах, пытаясь разобраться, что может их объединять или, наоборот, разобщать. Что же происходило на самом деле? Можно констатировать следующее:

1. По всей видимости, Фуко примеривал к себе понятие «структуралист». В интервью, опубликованном в одной из туниских газет 2 апреля 1967 года, он пространно рассуждает об этом. Его спросили: «Широкая публика считает вас жрецом структурализма. Почему?» Он ответил: «Я всего лишь «первый певчий» структурализма. Скажем так: я дернул за колокольчик, верующие преклонили колени, а неверующие подняли крик. Но служба идет уже давно». Фуко продолжает в более серьезном тоне, выделяя две формы структурализма: с одной стороны, это метод, плодотворно применяющийся в отдельных областях, таких как лингвистика, история религии, этнология; с другой — структурализм можно рассматривать как «деятельность, к которой теоретики-неспециалисты прибегают, пытаясь определить существующие отношения между некоторыми элементами нашей культуры, между науками, практикой и теорией».

Иначе говоря, речь могла бы идти о «своего рода общем структурализме, не ограниченном какой-либо конкретной областью знаний». Структурализм такого рода мог бы «сохранить для нас нашу культуру, наш сегодняшний мир, комплекс отношений практического и теоретического характера, определяющий современность. Именно в этом значимость структурализма как философского направления, если исходить из того, что призвание философии — ставить диагноз». Философом-структуралистом, следовательно, признается тот, кто диагностирует «то, что мы имеем сегодня». Этот текст-декларация предвещает определения роли интеллектуалов, которые Фуко предложит, когда его путь снова

пересечется с политикой. Во всяком случае, в этом тексте он, безусловно, относит себя к «структуралистам»^[305].

2. Все причисляли Фуко к структуралистам, не только «враги». Приведем лишь один пример: Жиль Делёз в тексте 1966 года, пытаясь ответить на вопрос: «Что такое структурализм?» — говорит не только о Леви-Стросе и Лакане, но и об Альтюссере и Фуко. Он прекрасно осознает степень различия. Поэтому его работа строится как ответ на вопрос, «по каким признакам распознается структурализм». Делёз выделяет некоторые формальные критерии, на основании которых можно вычислить в исследованиях гетерогенной ориентации магистральные линии, позволяющие причислять их к структуралистским^[306].

1. Действительно, Фуко довольно быстро и яростно сбросил с себя этот ярлык. «Следует спросить тех, кто, говоря о совершенно разных работах, использует ярлык «структуралист», что дает им повод называть нас так, — заявляет он в одном из интервью 1969 года. — Вы, должно быть, знаете, какая разница между Бернардом Шоу и Чарли Чаплином? Никакой, поскольку они оба носят бороды, за исключением, конечно, Чаплина!»^[307] В 1981 году он скажет Хьюберту Дрейфусу и Полу Рабиноу, которые работали над книгой о нем, что он не только никогда не был структуралистом, но даже намеревался дать подзаголовок своей книге «Археология структурализма», позиционируя себя таким образом в качестве внешнего наблюдателя, непричастного к практике гуманитарных дисциплин. Тем не менее он признается американским авторам, что «поддался искушению словаря, введенного представителями структурализма». Что не помешало Дрейфусу и Рабиноу посвятить целую главу структуралистскому периоду и «провалу», который за ним последовал^[308].

Примерно в это же время Фуко пытается проанализировать, обратившись к недавнему прошлому, враждебность, с которой был принят структурализм во Франции. Он увидит в этом, если переформулировать Сартра, последнюю попытку марксизма противостоять неумолимому развитию идей.

Структурализм бил в набат, предупреждая о марксистском догматизме, и французская культура, находившаяся под большим влиянием коммунизма, тут же почувствовала опасность. И это неудивительно, объяснял Фуко: структурализм как явление пришел с Востока (через Якобсона, русских формалистов и т. д.), и сталинская гвардия трудилась,

чтобы оттеснить его и раздавить в самом «логове». Фуко подкрепляет это рассуждение следующей историей: в 1967 году он отправился читать лекции в Венгрию. Все шло хорошо, лекции собирали большую аудиторию. Но, когда он решил рассказать о структурализме, ректор университета сообщил ему, что лекция состоится в его кабинете — для избранных, поскольку эта тема слишком сложна для студентов. Что пугающего было в этом слове, в этой проблематике, в этой идее? — спрашивает Фуко. В 1978 году Фуко дает ответ в беседе с Дучо Тромбадори^[309].

*

Успех к лицу Фуко. Те, кто виделся с ним весной 1966 года, описывают счастливого человека. Он в восторге от удачи и зарождающейся славы. Доволен ли он своей книгой? Когда эйфория пройдет, он будет более прохладно относиться к работе, которая принесла ему известность, и ценить ее меньше других своих книг. В какой-то момент Фуко совершенно отречется от нее и обратится к Пьеру Нора с просьбой больше не переиздавать ее. Когда-то он решил ограничить хождение книги «Психическая болезнь и личность». Он полностью переработал ее, но, в конце концов, наложил запрет и на новую версию. Что же касается «Истории безумия», то тут самокритика проявилась по-другому: переиздавая книгу через одиннадцать лет, Фуко исключил из нее предисловие, в котором чересчур много говорилось об оригинальном «опыте» безумия. «Слова и вещи» требовали появления другой работы, которая помогла бы расставить всё по местам.

Чтобы ответить тем, кого Фуко считал дурными читателями, рассеять недоразумения, уточнить понятия, вызвавшие проблемы, и отмежеваться от структурализма, Фуко напишет книгу «Археология знания», которая выйдет в 1969 году. В 1972 году при переиздании книги «Рождение клиники» Фуко также внесет поправки. Например, он изменит фразу: «Мы намеревались предложить структурный анализ означаемого — медицинского опыта...» В исправленном виде она выглядит так: «Хотелось бы попытаться проанализировать здесь один тип дискурса...» Слово «структурный» исчезнет и со следующей страницы^[310].

На каждом этапе Фуко вносит последовательные изменения. Он работает, правит. Он заявляет о своем праве на это в предисловии к «Археологии знания»:

«Неужели вы думаете, что я бы затратил столько труда и так упорствовал, склонив голову, в решении своей задачи, если бы не заготовил дрожащей рукой лабиринт, по которому смог бы путешествовать, располагая свои посылки, открывая тайники, уходя все глубже и глубже в поисках вех, которые бы сократили и изменили маршрут, — лабиринт, где я мог бы потерять себя и предстать перед глазами, которые больше уже никогда не встречу. Без сомнения, не я один пишу затем, чтобы не открывать собственное лицо. Не спрашивайте меня, что я есть, и не просите остаться все тем же: оставьте это нашим чиновникам и нашей полиции — пусть себе они проверяют, в порядке ли наши документы. Но пусть они не трогают нас, когда мы пишем»^[311].

Одно ясно: впоследствии, когда Фуко будет вспоминать о своих ранних работах, предпочтение будет отдаваться отнюдь не «Словам и вещам» или «Археологии знания» — книгам периода «формализма».

Из всех откликов на книгу «Слова и вещи» один будет особенно дорог Фуко. Это письмо Рене Магрита. Художник пошлет ему несколько замечаний, касающихся понятий похожести и подобия, и приложит к письму серию рисунков, в частности, репродукцию картины «Это не трубка». В ответном письме Фуко поблагодарит его и попросит сообщить ему некоторые сведения, касающиеся картины по мотивам «Балкона» Мане, которой он особенно интересовался. Из этой переписки вырастет работа Фуко о Магрите «Это не трубка», которая будет напечатана в 1973 году в «Cahiers du chemin», а впоследствии перерастет в небольшую книжку. Что же касается ответа Магрита относительно Мане, то Фуко решит использовать его в новой книге, к написанию которой он приступил^[312].

Глава шестая

Открытое море

Мишель Фуко прибыл в Тунис в ореоле славы, которую принесла ему книга «Слова и вещи». Почему он оказался так далеко от Франции? Он больше не хотел оставаться в Клермон-Феране, но не так-то просто было найти другое место. Почему Тунис? Туда его привело странное стечение обстоятельств. В то время во главе отделения философии стоял Жерар Деледаль, специалист по англосаксонской традиции. Он приехал в Тунис в 1963 году и ввел программу лиценциата по философии. В 1964 году он пригласил своего бывшего преподавателя Жана Валь прочесть серию лекций о Витгенштейне^[313]. И, воспользовавшись случаем, предложил ему приехать преподавать в Тунис. Жан Валь согласился, однако семейные обстоятельства и беды страны, которые он остро чувствовал, заставили его вернуться во Францию через полгода. Узнав, что Фуко ищет место за границей, он написал Деледалю, спрашивая, свободна ли должность, которую он занимал. Да, вакансия была. Но все не так просто! Сначала следовало проконсультироваться с местными властями. Только после их разрешения Фуко мог официально предложить свою кандидатуру. С французской стороны проблем не предвиделось: Жан Сиринелли взял дело в свои руки. Фуко «изъят» из Клермон-Ферана благодаря усилиям министерства иностранных дел. Срок контракта: три года. Но для Фуко эта новая добровольная ссылка — лишь ожидание. Он хочет получить место в Париже.

В конце сентября 1966 года он приезжает в Тунис. «Страна истории, заслуживающая вечности хотя бы потому, что видела Ганнибала и святого Августина», — скажет он Джелилу Хафсия^[314] во время одной из прогулок по развалинам Карфагена, месту раскопок неопишуемой красоты. Ширь моря, ослепительное солнце, рождающие ощущение погружения в глубину времени. Но еще до Карфагена Фуко открыл для себя великолепие другого пейзажа. Жерар Деледаль приехал с женой в аэропорт. Они отвезли Фуко в Сиди-Бу-Саид, где они жили: Фуко поселили в Дар-Саиде, в небольшой гостинице, комнаты которой располагались вокруг квадратного дворика, омываемого запахом жасмина и апельсиновых деревьев. В этой деревне Фуко проведет два своих тунисских года. Деревня нависала над бухтой, раскинувшись на вершине холма, в нескольких километрах от Туниса.

Место, о котором можно только мечтать. Фуко сменил три дома, похожих друг на друга как близнецы: белые стены, голубые ставни. «В этой деревне он был счастлив, — пишет Жан Даниэль ^[315], познакомившийся с Фуко в то время. — О нем знали лишь то, что он встречал каждый рассвет, сидя за работой у окна виллы, выходившей на море, что он с жадностью относился к жизни и любил солнце. Когда я навещался в Тунис, то каждый раз отправлялся с ним на прогулки, гуляли мы подолгу, ему нравилось ходить быстро, порывисто. Он приглашал меня зайти в комнату, где тщательно поддерживались прохлада и сумрак. В углу комнаты находилось нечто вроде большой плиты, приподнятой над полом, на которую он стелил покрывало, служившее ему постелью. Днем он сворачивал его, как делают арабы или японцы. [...] Иногда я приезжал в Тунис в то же время, что и друг Фуко Даниэль Дефер. Втроем мы ходили на пляж, имевший форму полуострова, защищенного от всего человечества дюнами. По этой воображаемой пустыне разливался молочно-желтый свет, заставлявший Фуко вспоминать «Берег Сирта». В последний раз, когда я встретился там с Фуко, он говорил о Жульене Граке и Жиде, писателях, о которых с таким же удовольствием отзывался его друг Ролан Барт. Казалось, Фуко бежал философии, а литература служила ему убежищем» ^[316].

Фуко приехал в Тунис, чтобы преподавать философию, и делал это с большим успехом. Факультет филологии и гуманитарных наук находится в большом здании пятидесятых годов, на бульваре 9 апреля. Это бывший лицей, переоборудованный под университет. Здание возвышается над Касбой и озером Сиджуми. Сначала Фуко ездил из Сиди-Бу-Саида в Тунис на поезде. Он любит ходить пешком: пересечь Медину, пройти по проспекту Бургиба. Позже он купит машину, белый кабриолет «Пежо-204». Студенты жадно слушают его. Тематика лекций самая разнообразная, поскольку Фуко читает на всех трех курсах программы лиценциата. Одним он рассказывает о Ницше, другим — о Декарте, пропущенном через призму «Картезианских размышлений» Гуссерля. Он повествует об эстетике, анализирует эволюцию живописи от Ренессанса до Мане, демонстрируя диапозитивы картин и комментируя их. Он не упускает из виду и психологии. Один курс касается «проекции», и Фуко излагает данные психологии, психиатрии и психоанализа. И конечно же задерживается на Роршахе. Был еще знаменитый публичный курс о «человеке в западной философии», о котором бывшие ученики до сих пор вспоминают с восторгом. Книга «Слова и вещи» только что написана. Аудитория обширная — каждую пятницу собирается более двухсот человек — и очень

пестрая. Как и в Упсале, курс лекций очень ценится образованной частью горожан: приходят люди разных возрастов и профессий. Молодежь, присутствующая на занятиях Фуко, с энтузиазмом принимает его лекции, однако куда более сдержанно относится к его политическим взглядам. Как утверждают свидетели, довольно долго Фуко воспринимали как классического представителя «голлистской технократии», «западного человека, не способного понять Тунис». Его враждебное отношение к марксизму сбивает с толку учеников, которые готовы отнести его к правым, тем более что они не придают особого значения многочисленным цитатам из Ницше, полагая, что профессор попросту провоцирует их.

Фуко активно участвует в университетской и интеллектуальной жизни Туниса. Конечно же он тесно общается с преподавателями французского языка. Особая дружба связывает его с Жераром Деледалем и его женой, а также с Жаном Гаттено, с которым он снова встретится в Венсенне. Фуко сотрудничает с философским клубом, организованным студентами, и читает лекции в клубе «Тахар Хадад», что на бульваре Пасетра, во главе которого стоял Джелил Хафсия, восплаивший страстью к французской философии. Первая лекция, состоявшаяся в феврале 1967 года, была посвящена структурализму и литературному анализу, а вторая, прочитанная в апреле того же года, называлась «Безумие и цивилизация».

В 1967 году по инициативе Фуко факультет приглашает Жана Ипполита. Фатима Хаддад, состоявшая в те годы ассистенткой Фуко, помнит, как он был взволнован, когда представлял аудитории своего бывшего учителя. Ипполит должен был говорить о Гегеле и современной философии. Перед тем как начать, он указал на Фуко, сидевшего рядом с ним, и сказал: «Не знаю, зачем меня пригласили: ведь современная философия и так перед вами». Фуко произнес вступительное слово: «Любое философское рассуждение вступает в диалог с Гегелем; заниматься современной философией — значит писать историю философии Гегеля». А вот встреча с Полем Рикером скорее разочаровала слушателей. Спор о структурализме был в самом разгаре, и все ждали ожесточенной стычки между двумя мыслителями. Рикера пригласил Культурный центр Карфагена. Он должен был прочесть цикл лекций о философии языка. Фуко пришел на одну из них вместе с Жераром Деледалем. «Он сидел рядом со мной, — вспоминает Деледаль, — и без умолку отпускал иронические замечания. Рикер заметил это». Но, когда после лекции завязалась дискуссия, Фуко не проронил ни слова. В этот момент Деледаль осознал, что, по всей видимости, погорячился, пригласив в тот вечер на ужин обоих философов. Ему запомнилась напряженная, тяжелая

атмосфера, отравившая встречу. Ни одна тема разговора не казалась безопасной. Вскоре Рикер покинул Тунис. В аэропорту он заметил Фуко, летевшего тем же рейсом, что и он, и сказал сотруднице центра, провожавшей его: «Теперь-то мы поспорим». Через некоторое время Рикер написал этой сотруднице, выразил благодарность за прием и сообщил, что разговора с Фуко не получилось: тот делал вид, что не замечает его, и уселся в другом конце салона. Отказавшись участвовать в «стычке идей», Фуко охотно делился своими соображениями со студентами. «Я коротко изложу то, что сказал Рикер», — заявил он. И стал пересказывать лекцию, то и дело осведомляясь у студентов, точно ли он излагает. После того как с этим было покончено, он сказал им:

«А теперь мы опровергнем все это».

До выхода книги «Слова и вещи», он подписал с Жеромом Линдоном, директором издательства «Минюи», договор на эссе, которое должно было называться «Черное и плоскость». Книга так и не была издана, но Фуко посвятил не одну лекцию описанию того, что привлекало его в картинах Мане. Создатель «Бала в Опере», «Бара в Фоли-Бержер» и «Балкона» интересовал его не как художник, благодаря которому возник импрессионизм, а, скорее, как художник, благодаря которому через импрессионизм возникла современная живопись. Ибо Мане порвал с правилами, установившимися со времен Кватроченто, согласно которым художник должен был предать забвению, спрятать, замаскировать тот факт, что живопись воплощается на некоем фрагменте пространства, на стене или холсте. Мане разрушил эту условность: он изобрел картину-объект, полотно, обладающее материальностью. Он включил в игру текстуру полотна, интегрировал элементы живописи в изображение: падающий на него свет, широкие вертикальные и горизонтальные линии, увеличивающие пространство картины, саму ткань. Он уничтожил глубину, и картина превратилась в пространство, на которое зритель может и должен смотреть под разными углами зрения. Конечно, Мане не изобретал нерепрезентативную живопись. В его работах все репрезентативно. Но он освободил живопись от условностей, тяготевших над репрезентативностью, создав условия, позволявшие порвать с ней. Благодаря Мане живопись обрела способность играть свойствами пространства — материальными, незамутненными, взятыми такими, каковы они есть.

Фуко занят главным образом правкой «Археологии знания». Он пишет

со страстью, бьется над понятиями «высказывание», «дискурсивное образование», «регулярность», «стратегия»... Он пытается разработать и закрепить специальный словарь, определить и выразить борьбу концептов. В аннотации, помещенной на обложке, автор так представляет свою работу читателям:

«Идет ли речь о разъяснении того, о чем я уже писал в книгах, содержащих много темных мест? Не только и не столько об этом. Я хотел бы двинуться дальше, вернуться к тому, что уже сделано мной, совершив новый виток по спирали, показать, на какой точке зрения я стоял, пометить пространство, делающее возможным мои поиски и, быть может, какие-то другие, к которым я никогда не приду, короче, придать значение слову «археология», оставленному мной пустым. [...] Там, где история идей пытается пробиться, расшифровывая тексты и тайное движение мысли (с его медленной поступью, битвами, падениями и обойденными препятствиями), я хотел бы выявить во всей своей специфике уровень «высказанного»: условия его появления, формы накопления и сцепления, правила трансформаций, разрывы, которые его прошивают. Область высказанного — это то, что можно назвать архивом; археология предназначена для его анализа»^[317].

Фуко знает, каковы ставки в этой игре. Его считали восприимчивым Сартра, но оспоренный наставник уже нанес ему контрудар. Партия начата, и, чтобы получить все, Фуко не должен был обмануть ожиданий публики, напряженно следившей за атаками и контратаками. Фуко постоянно в работе: на рассвете — дома, за столом; после обеда — в Национальной библиотеке. И конечно же он много беседует с директором отделения философии, поскольку тот живо интересуется проблемами языка и философии языка, которым посвящена книга. Фуко консультируется с ним как со специалистом по англосаксонской философии, которую он знает недостаточно хорошо. Жерар Деледаль ежедневно навещает Фуко во время прогулки по Сиди-Бу-Саиду. С каждым днем гора исписанных листков растет. Фуко одержимо, но с тщательностью ювелира оттачивает формулировки. Книга приобретает все более явные черты. Она будет закончена, когда Фуко уедет из Туниса, и выйдет в начале 1969 года.

Но Тунис для Фуко — не только наслаждение солнцем и философская аскеза. Когда-то он ускользнул от политики. Пришло время, когда политика

снова наложила на него свою руку. Судьбе было угодно, чтобы это произошло в Тунисе, в тот момент, когда французских интеллектуалов закрутило вихрем «мая 1968-го», свидетелем которого Фуко не был: он провел в Париже лишь несколько дней в самом конце месяца. Ему удалось побывать на митинге на стадионе «Шарлети», где группы левых братались с Пьером Мендес-Франсом в надежде на скорое падение власти голлистов. Фуко гулял по Парижу с Жаном Даниэлем.

«Они не делают революцию, они сами — революция», — сказал Фуко главному редактору «Nouvel Observateur», завидев толпу студентов. Он вернется в Тунис в уверенности, что эра голлистов подходит к концу, что левые возьмут власть в свои руки и что Мендес-Франс или Миттеран сыграют важную роль в судьбе страны.

Фуко не сомневался, что французское правительство вот-вот падет. Однако этого нельзя было сказать о политическом режиме Туниса. В Тунисском университете волнения начались в декабре 1966-го: полицейские жестоко избили студента, отказавшегося платить за проезд в автобусе. Этот инцидент послужил искрой, от которой вспыхнул огонь. Студенчество взбунтовалось. Ситуация сильно осложнилась в июне 1967 года. После разгрома израильянами арабской армии во время Шестидневной войны по столице Туниса прокатилась волна насилия: пропалестинские демонстрации переросли в еврейские погромы. Эти чудовищные события потрясли Фуко. В письме Жоржу Кангийему от 17 июня 1967 года он с отвращением пишет:

«Прошлый понедельник стал днем (или полуднем) погромов. Все было гораздо страшнее, чем в пересказе газеты «Le Monde»: пылало не менее пятидесяти домов. 150 или 200 лавчонок — конечно же самых жалких — разграблено, незабываемое зрелище разгромленной синагоги. По улицам раскиданы ковры, их топтали и жгли. Люди метались по городу, забивались в здания, которые толпа осаждала, пытаясь поджечь. И с тех пор — тишина, жалюзи на окнах, пустынный или почти пустынный квартал, дети играют с обломками. Реакция правительства была, видимо, вполне искренней — незамедлительной и жесткой. Но кто-то организовал все это. Для всех ясно, что вот уже несколько недель, а может быть, и месяцев, «они» серьезно работали — без ведома правительства и в пику ему. В любом случае, сочетание национализма и расизма дало чудовищный результат. И, что совсем грустно, к этому приложили руку студенты — из-за

левачества. Поневоле задаешься вопросом, в силу какой такой хитрости (или глупости) истории марксизм предоставил повод (и словник) для всего этого безобразия».

Фуко не скрывает от студентов, с каким отвращением он относится к подобным событиям. Однако беспорядки, произошедшие в июне 1967 года, были лишь началом. Волна агитации захлестнула университет, проживший в напряжении больше года. Объединившиеся в движение «Перспективы» студенты-марксисты, большая часть которых первоначально исповедовала троцкизм, а затем перешла на позиции маоизма, — выступают в защиту «палестинских братьев», но в то же время все сильнее и сильнее ввязываются в борьбу против правительства и президента Бургибы. Между мартом и июнем 1968 года, после волнений, вызванных визитом в Тунис американского вице-президента Хамфри, на них обрушились репрессии. Среди арестованных много учеников Фуко. Французские преподаватели, объединившись, протестуют против арестов и пыток. Однако некоторым из них протесты представляются слишком мягкой реакцией. Они предлагают более жесткие и внятные способы выражения солидарности. На общем собрании французских преподавателей, созванном профсоюзной организацией, Мишель Фуко и Жан Гаттено остаются в меньшинстве: их коллеги полагают, что в чужой стране следует проявлять сдержанность. Фуко отправляется к послу Франции и просит его о содействии. Дипломат отвечает, что не имеет права вмешиваться во внутренние дела Туниса.

Фуко, Гаттено и некоторые другие преподаватели не смиряются. Они помогают студентам, которым удалось бежать во время облав, укрывают их у себя. А Фуко прячет в своем доме ротатор, так что какие-то листовки были напечатаны у него. Вернувшись в Тунис после летних каникул 1968 года, Фуко сделал попытку выступить свидетелем на процессе студентов. Он готовит заявление в защиту Ахмеда Бен Османа в надежде получить возможность огласить его на суде. Однако не получит на это разрешения. Процесс будет проходить при закрытых дверях. Фуко упорствует, и на него сыплются угрозы со стороны полицейских в штатском. Или добровольных помощников полиции? Однажды, когда Фуко шел по дороге, которая вела в Сиди-Бу-Саид, на него напали и избили. Это было недипломатическое предупреждение, исходившее от властей Туниса. Однако никаких официальных шагов против него не предпринимается. Фуко настолько известен, что правительство не решается подступить к нему. Жорж Лапассад, выдворенный из страны, будет упрекать Фуко в мягкотелости.

Фуко предпочитал действовать скрытно, но эффективно, а не

безответственно, обрекая дело на провал. Контракт Жана Гатгено был расторгнут в июле 1968 года, а самого его заочно приговорили к пяти годам тюрьмы. Студенты получили ошеломляюще большие сроки заключения. Вернувшись в Тунис в 1971 году, Фуко еще раз попытается посодействовать им и попросит встречи с министром внутренних дел, который согласится принять его. Пустая затея. Тогда Фуко решит не приезжать в эту страну до тех пор, пока там не освободят политических заключенных. Ясно одно: все эти события сильно изменили его. Он говорит об этом в беседе с Дучо Тромбадори, вспоминая свой политический опыт:

«Мне повезло: я видел Швецию, социал-демократическую страну, где все шло «хорошо», и Польшу, народную демократию, где все шло «плохо». Я видел Германию шестидесятых годов, совершавшую экономический скачок. А потом страну третьего мира, Тунис. Я прожил там более двух с половиной лет. Это незабываемо: я стал свидетелем мощных студенческих выступлений, на несколько недель опередивших майские события во Франции. Шел март 1968 года. Волнения длились целый год: забастовки, отмена занятий, аресты. В марте во время всеобщей забастовки студентов полицейские ворвались в университет и стали избивать студентов дубинками. Многие из них были тяжело ранены. Потом начались аресты, процессы. Кто-то получил восемь лет тюрьмы, кто-то — десять, кто-то — четырнадцать. Я составил себе достаточно ясное и точное представление о том, каковы были ставки в борьбе, охватившей многие университеты мира. Французское гражданство давало определенную защиту от властей и позволило мне (а также многим моим коллегам) совершать некоторые поступки, видеть то, что происходило, видеть также, как власти, французское правительство реагировали на все это... довольно неприглядная картина. Эти мальчики и девочки, которые шли на страшный риск, изготавливая и распространяя листовки, призывая к забастовке... (они рисковали свободой!) произвели на меня сильное впечатление. Для меня это был реальный политический опыт. Не стану скрывать, краткое пребывание в коммунистической партии, впечатления от Германии, череда событий, проплывшая передо мной, когда я вернулся во Францию, связанных с проблемами, которые я намеревался поставить по отношению к психиатрии... — все это сделало мой политический опыт горьким,

приправленным немного спекулятивным скептицизмом... Там, в Тунисе, обстоятельства вынудили меня оказывать студентам конкретную помощь. [...] В каком-то смысле я оказался втянут в политическую дискуссию».

Фуко был поражен не только особенностями тунисского восстания, развивавшегося на его глазах, но и ролью, которую сыграла в нем политическая идеология. Он говорит о студентах: «Все они с поразительной силой, энергией и страстью объявляли себя марксистами. Они полагали, что это не только позволяет им наиточнейшим образом анализировать происходящее, но и придает некий моральный импульс, совершенно особенный смысл существованию». И добавляет (беседа была записана в конце 1978 года, то есть в тот момент, когда он превозносил достижения иранской революции):

«Что в современном мире может пробудить в человеке стремление, вкус, способность и возможность принести жертву в чистом виде? Не запятнанную выгодой, амбициями, жаждой власти? Я видел это в Тунисе. Необходимость мифа очевидна... Политическая идеология или политический взгляд на мир, на отношения между людьми, на ситуации были совершенно необходимы для борьбы. Однако точность теории, ее научная ценность имели второстепенное значение и, всплывая в дискуссиях, служили скорее приманкой, чем истинным принципом, формирующим справедливое и правильное поведение...»^[318]

Видимо, в продолжение этого разговора Фуко, вернувшись во Францию в конце 1968 года, говорил об изумлении, в которое его повергла «гипермарксизация» дискурса: «Разгул теорий, дискуссий, анафем, изгнаний, дроблений группировок привел меня в полное замешательство... В 1968–1969 годах я застал во Франции картину, обратную той, что я видел в Тунисе в марте 1968 года». Так он объяснял свое желание продолжить конкретную, точечную борьбу, далекую от болтовни и интриг.

Осенью 1968 года Фуко возвращается во Францию. Он сохранил за собой дом в Сиди-Бу-Саиде, но ему хорошо известно, что его не хотят видеть на тунисской земле. И он находит пристанище в Париже. Точнее, под Парижем: Дидье Анзье приглашает его преподавать на отделении психологии, созданном им в Нантере. Фуко колеблется. По многим

причинам: во-первых, ему не хочется составлять конкуренцию Пьеру Кофману, психоаналитику лакановской школы, о котором известно, что во время войны он сражался в Сопротивлении. Письмо Кангийему, в котором Фуко описывал антиеврейские погромы, заканчивается признанием, что ему «физически невыносима мысль о столкновении с евреем», даже если это столкновение имеет вид «обычной университетской игры». Должно быть, имелись и другие причины: Фуко не очень-то хотел преподавать психологию. «Психология — это не мое», — сказал он Роберу Франсезу, одному из преподавателей отделения в Нантере, вспоминающему этот «вальс колебаний» Фуко. Кроме того, Фуко начеку — в Сорбонне освобождается кафедра. Речь заходит и о Высшей школе практических исследований... И, главное, Вюйемен и Ипполит пытаются проложить ему дорогу в Коллеж де Франс. Но, в конце концов, Фуко принимает предложение Анзье, выигрывает конкурс и получает назначение в Нантер, куда он не поедет, поскольку предпочтет присоединиться к группе основателей университета в Венсенне. 18 ноября 1968 года Фуко напишет декану в Нантер о своем отказе занять пост, на которое министерство назначило его несколько дней назад, объяснив, что экспериментальный центр в Венсенне предложил ему только что созданную кафедру философии. Возникнет необычная бюрократическая и финансовая проблема: кто должен платить Фуко зарплату между 1 октября 1968 года, датой, когда оканчивается его тунисский контракт, и 1 декабря 1968 года, датой его назначения в Венсенн? Министр национального образования отправляет декану в Нантер официальное письмо: ему предлагается выплачивать зарплату Мишелю Фуко на том основании, что на протяжении этого времени он числится преподавателем этого факультета.

Фуко принял предложение Дидье Анзье, а затем приглашение из Венсенна потому, что очередная попытка устроиться в Сорбонну не имела успеха. Верный рыцарь Жорж Кангийем говорил об этом со своим коллегой по отделению философии Раймоном Ароном. За несколько месяцев до этого Арон пригласил Фуко на свой семинар. «Я буду счастлив, — писал Арон 27 февраля 1967 года, — предложить вам аудиторию человек в пятьдесят. Ее средний уровень достаточно высок, и вы сможете свободно говорить о том, что вас интересует, например, о вашей концепции знания как гуманитарных наук. Обещаю вам заранее, что не стану вступать в полемику и мирно отдам вас на растерзание молодым львам, если таковые найдутся». 7 марта Фуко писал в ответ: «Я с благодарностью пойду на риск, воспользовавшись вашим любезным предложением. Мне хотелось бы попытаться снять некоторую двусмысленность, существующую в

предпринятом мною описании «знания». Мне доставит удовольствие выслушать ваших молодых львов, даже если они разнесут меня в клочья. Честное слово!» Лекция состоялась 17 марта и прошла очень успешно. «Фуко рядом с Ароном выглядел мальчиком», — рассказывает один из тех, кто присутствовал на ней.

Арон доброжелательно отнесся к просьбе Кангийема. 28 апреля 1967 года он писал Фуко в Сиди-Бу-Саид:

«Дорогой друг, мы с Жоржем Кангийемом говорили о Вас и о Ваших шансах получить в следующем году кафедру в Париже. Должен сразу сказать, что шансы попасть в Сорбонну невелики. Я подумал о Высшей школе практических исследований. Хеллер утверждает, что Бродель будет рад видеть Вас у себя, однако он опасается, что поступление в шестое отделение школы снизит Ваши шансы пройти в Коллеж де Франс, где оно не котируется, поскольку уступает четвертому отделению. Конечно же выбор остается за Вами, и я не стану ничего предпринимать, пока Вы не сообщите, каковы Ваши намерения и обстоятельства. Я не очень-то ценю университетскую карьеру, но мне хотелось бы, чтобы Вы — хотя бы ради Ваших исследований — оказались избавлены от забот такого рода и деятельной враждебности коллег, с трудом переносящих чужой талант и успех. Конечно же я не сомневаюсь, что Вы с легкостью перенесете эту враждебность. Но для внутреннего равновесия и спокойной научной работы лучше не иметь необходимости подавлять защитные рефлексy».

Заканчивая письмо, Арон вспоминает февральскую лекцию: «Наш диалог доставил мне большое удовольствие, и я надеюсь, Вы не сердитесь на меня за то, что я поддразнивал Вас. До скорого, надеюсь. Искренне Ваш». Это письмо, проникнутое симпатией, Фуко воспринял как отказ дать делу ход. Через несколько дней он писал Кангийему: «Мне неловко, что Вы теряете время и вынуждены вникать во всю эту кухню. Посылаю Вам письмо, которое я получил сегодня утром от г-на Арона. Мне оно показалось достаточно прозрачным и, ей-богу, честным. Вопрос ставится так: да или нет, Сорбонна или Коллеж». И ниже: «Коллеж кажется мне слишком жирным куском, я не так много сделал, чтобы претендовать на него. Что же касается Сорбонны, то большинство философов не поддерживают меня, так что шансов попасть туда у меня нет. Поэтому я склоняюсь к тому, чтобы остаться там, где я нахожусь сейчас и где мне, честное слово, не так

уж плохо. М. Ипполит, должно быть, говорил Вам об этом». Письмо датировано 2 мая 1967 года. Клеман Хеллер подтверждает версию, касающуюся позиции Броделя, изложенную Ароном. Бродель относился к Фуко с большим уважением и боялся снизить его шансы избрания в Коллеж де Франс. Как следует из письма Фуко Броделю от 27 декабря 1969 года, написанного сразу после избрания Фуко в коллеж, Бродель активно содействовал этому избранию.

Конец 1968 года. Позади остается факультет. Фуко уезжает из Туниса. Он покидает Сиди-Бу-Саид, раскинувшийся на холме, возвышающемся над Казбахом. Он оставляет солнце и море, которые так любит. Он возвращается во Францию, чтобы окончательно обосноваться там. Отныне он будет покидать ее лишь на короткое время. Вскоре после приезда он устроится в большой квартире на улице Вожирар, на девятом этаже современного здания, рядом со сквером Адольф-Шериу. Из огромных окон открывается изумительный вид на западную часть Парижа. Фуко часто принимает солнечные ванны на балконе, идущем вдоль гостиной и кабинета. Позади него отныне высятся не горы Сиди-Бу-Саида, а ровные полки книг и журналов.

Часть третья

**«ПОЛИТБОЕЦ И ПРОФЕССОР
КОЛЛЕЖ ДЕ ФРАНС...»**

Глава первая

Венсенн: интермедия

23 января 1969 года ночью небольшие группы республиканских отрядов безопасности приблизились к причудливому корпусу здания, выросшего за несколько месяцев на опушке Венсеннского леса. Новый университет только что распахнул двери перед студентами. С открытия прошло несколько дней, но этого времени оказалось достаточно, чтобы организовать первую забастовку, занять помещение... и вступить в схватку с полицией. В ту ночь, 23 января, Мишель Фуко примкнул к левому движению. Он сделал это с опозданием, когда оно уже обросло историей, традициями и выдвинуло своих лидеров. Но, примкнув к нему, Фуко не врос в него телом и душой. Тем не менее факт остается фактом: он примкнул к нему, и часть жизни, прожитой им в семидесятые годы, будет тесно связана с этим движением.

Правительство, сильно напуганное маем 1968 года, решило залатать бреши и быстро предприняло «реформу высшего образования». Так возник «закон о профессиональной ориентации», представленный в начале учебного года новым министром образования Эдгаром Фором и принятый 10 октября 1968 года. Отныне управление университетами должно было осуществляться на основании принципов автономии и многопрофильности с участием студентов. Еще до того, как закон, который получит имя нового министра, снискал одобрение, было решено начать в августе строительство новых зданий для «экспериментальных центров» — рядом с воротами Дофин и в Венсеннском лесу. В первом случае — на территории, освобожденной НАТО, а во втором — на земле, более ста лет принадлежавшей армии. На четырех с половиной гектарах предполагалось возвести сборные современные здания для «Венсеннского экспериментального центра». Эдгар Фор поручил декану Сорбонны, Раймону Лас Верньясу, известному англисту, заняться организацией нового университета на самой окраине Парижа и вывести его на орбиту. В начале октября 1968 года вокруг него формируется Комиссия по ориентации — таково официальное название этой структуры, — в которую входило около двадцати человек. Среди них Жан-Пьер Вернан, Жорж Кангийем, Эмманюэль Леруа Ладюри, Ролан Барт, Жак Деррида... Комиссия должна была подобрать первую команду преподавателей, чтобы те в дальнейшем кооптировали весь состав профессоров, преподавателей и ассистентов для

работы на новом факультете. Едва лишь комиссия была сформирована, как правая пресса и популистские газеты немедленно заявили о ее левацком характере. «Большинство рекрутеров с экспериментального факультета в Венсенне леваки» — такой заголовок появился в «Paris-presse»^[319]. Этот ярлык был наклеен как на Ролана Барта, «одного из лидеров школы структурализма и ультралевых», так и на Владимира Янкелевича^[320], «активного подписанта ультралевых манифестов»... Тон был задан, и завязалась полемика. Тем не менее пока что комиссия собирается, несмотря на сгущающуюся атмосферу, чтобы составить список преподавателей, которые должны составить «кооптирующее ядро» факультета.

Дело идет быстрым ходом: за несколько недель в список занесена дюжина фамилий. Социология — Жан-Клод Пассерон и Робер Кастель, история — Жан Бувье и Жак Дроз, французский язык и литература — Жан-Пьер Ришар... В области философии выбор по просьбе Жоржа Кангийема был сделан в пользу Мишеля Фуко. Новость стала сенсацией — ведь Фуко уже известен и его имя притягивает внимание. Прежде всего левых, в глазах которых его репутация отнюдь не блестяща. Фуко считают человеком неангажированным, а в глазах прибывающих активистов всех мастей, которые после 1968 года превратят Венсенн в «красный бастион», это смертельный грех. Поговаривают, что Фуко голлист. Обвиняют его в том, что он «ничего не сделал» во время майских событий 1968 года. Это совершенно справедливо: в то время Фуко не было во Франции. И, когда 6 ноября в помещении Сорбонны — поскольку здание в Венсенне еще не готово — для обсуждения того, как поставить на ноги Экспериментальный центр, собирается общая ассамблея, Фуко воочию может наблюдать своих недоброжелателей. Он тихо говорит Жану Гаттено, которому декан Лас Верньяс поручил вести запись студентов на новый факультет:

«Я скажу им: «Пока вы развлекались на баррикадах в Латинском квартале, я в Тунисе был занят серьезными делами»».

Но бывший коллега по Тунису уговаривает Фуко воздержаться от реплик: «Это ни к чему не приведет». Фуко молчит. Но он понимает, что его ждет. Тем более что «комитет действия», объединяющий экстремистов, среди которых Жан-Марк Сальмон и Андре Глюксман, бывший ученик Раймона Арона, примкнувший к наиболее радикальному и сектантскому крылу левых, только что опубликовал в ноябрьском номере газеты «Action» свой манифест. Тексту предшествовала врезка, которая, в частности, гласила: «Эдгар Фор пускает пыль в глаза: «новый факультет станет

пилотным университетом», «университетом XX века». Оглашены имена профессоров-знаменитостей, среди которых оказался и Мишель Фуко, звезда «структурализма». Он возглавит отделение философии. Министр надеется таким образом отвлечь общественное мнение внутренними раздорами: подобно тому как он говорил об отмене преподавания латыни в шестом классе, пытаясь отвлечь лицеистов от вопроса о свободе. В «France-Soir» будет размещать статьи в защиту и против структурализма в надежде, что всё остальное канет в Лету». И заканчивалась эта «диатриба» так:

«Вовсе не это интересует студенческое движение»^[321].

Газета «Le Monde» опубликовала заявление одного из составителей манифеста, сделанное во время общей ассамблеи:

«Мы должны настаивать на том, чтобы преподавание в Венсенне развивало политическое мышление и закладывало основы деятельного отношения к миру»^[322].

Но Фуко уже приступил к работе. Он пытается объединить людей, составляющих, по его мнению, «цвет современной французской философии», как он сказал кому-то из своего окружения. То же самое хотел сделать Вюйемен в Клермон-Ферране за десять лет до этого. Фуко начинает с Делёза. Но тот болен и не в состоянии принять приглашение. Делёз окажется в Венсенне через два года, когда Фуко там уже не будет. Зато Мишель Серр согласился сразу же. Он даже официально вошел в «кооптирующее ядро», хотя держался в стороне от назначений. Фуко ищет коллег и среди молодых — учеников Альтюссера и Лакана, в частности, в группе, основавшей «Cahiers pour l'analyse». Он делает, что может: многие из тех, кого он хотел бы привлечь к работе на факультете, проходят военную службу, как, например, Ален Гроришар. «Я получила место на факультете потому, — говорит, смеясь, Жюдит Миллер, — что у меня не было этой проблемы!» Кроме дочери Лакана работать с Фуко пришли Ален Бадью, Жак Рансьер, Франсуа Рено. Однако интеллектуальные критерии постоянно душились политическими. Чтобы получить право преподавать в Венсенне — особенно философию, — следовало иметь в «послужном списке» участие в мае 1968-го или принадлежать к одной из многочисленных расплодившихся группировок, которые после отката вала свободы беспрестанно грызлись между собой.

Чтобы достичь некоторого равновесия, иначе говоря, чтобы не допустить господства на отделении философии маоистов, составлявших большинство отобранных преподавателей, Фуко обратился к Анри Веберу, лидеру троцкистов. Этьену Балибару, члену коммунистической партии, также принятому на факультет, впоследствии пришлось нелегко. Наконец, на роль примирителя в эту агрессивную среду Фуко пригласил мудреца, известного своим педагогическим талантом и способностями объединителя — Франсуа Шатле.

Фуко занимается не только своим отделением. Он участвует в собраниях, на которых идет подготовка к открытию центра. Они проходят в Сорбонне под председательством Лас Верньяса, декана или Жана-Батиста Дюрозеля, историка, выбранного «делегатом» от «кооптирующего ядра». Вскоре, однако, испугавшись ската в левизну, историк откажется от своей миссии. Собрания проходили также у Элен Сиксус, англиста, человека, близкого Лас Верньясу. Эта женщина сыграла важную роль в реализации Венсеннского проекта. Фуко был озабочен также тем, чтобы отодвинуть психологов и психологию и отдать посты и средства отделению психоанализа. При поддержке Кастеля и Пассерона он борется за приглашение на факультет Сержа Леклера. Дискуссии приведут к компромиссу: будут созданы два отделения — психологии и психоанализа. Но все отметили «стратегические» таланты Фуко, его умение «маневрировать» и, по мнению некоторых, «манипулировать» людьми.

Однако нужно было дожидаться и официального назначения самого Фуко. На других отделениях все проходит гладко, но отделение философии консультативного Совета университетов, организации, в чью компетенцию входило передвижение преподавателей высшей школы, пришло к выводу, что Фуко не может быть назначен заведующим кафедрой философии, поскольку сам осуществляет набор. 9 ноября 1967 года декан Лас Верньяс писал министру национального образования:

«В соответствии с мнением Комиссии по ориентации, заседавшей 23.10.68, я предложил Вам пригласить Фуко войти в «кооптирующее ядро» Венсенна и назначить его на кафедру философии. Однако после неблагоприятного решения, принятого консультативным Советом университетов во время заседания 5 ноября 1968 года, Мишель Фуко заявил мне о своем намерении выйти из «кооптирующего ядра», чтобы получить возможность быть назначенным коллегами. Голосование состоялось 16 ноября 1968 года. В нем должны были принять участие одиннадцать действительных профессоров, получивших уведомление об их назначении в университетский центр в Венсенне от 15.11.68. Результаты

голосования:

Присутствовало: 10 человек (один отсутствовал).

Мишель Фуко: 10 голосов.

Таким образом, я имею честь возобновить просьбу о рассмотрении вопроса о назначении Мишеля Фуко на кафедру философии университетского центра в Венсенне и о новом представлении его кандидатуры в консультативный Совет университетов».

На этот раз затруднений не возникло. Фуко мог официально приступить к работе 1 декабря.

Университет в Венсенне открылся в декабре 1968 года. Занятия начались в январе 1969-го. Но активная жизнь в университете закипела лишь в феврале и марте. «Университет в Венсенне напоминает гудящий улей, где все заняты поиском своего места», — писала 15 января газета «Le Monde». Суетливое роение скоро сменится хаосом куда более крупного масштаба. Впрочем, напряжение чувствуется не только в Венсенне. На протяжении всей осени и зимы газета «Le Monde» каждый день посвящает от одной до трех страниц «университетскому волнению». Забастовкам и митингам, охватившим лицеи и факультеты Парижа и провинций, как и столкновениям с полицией, нет числа. Венсенн немедленно включается в общий танец. 23 января «комитет действия» лицея Сен-Луи решил собрать учащихся для показа фильма о событиях мая 1968 года. Ректорат запретил это мероприятие, было отключено электричество. Но триста лицеистов вошли в здание и принесли с собой блок питания. Показ фильма состоялся. После сеанса они вывалились толпой, чтобы не дать полиции провести задержания, и присоединились к митингу, начавшемуся в двух шагах от лицея, во дворе Сорбонны, на другой стороне бульвара Сен-Мишель. Молнией пронесся приказ: занять ректорат, располагавшийся внутри старой Сорбонны. Сказано — сделано. Однако появилась полиция и очистила помещение. В Латинском квартале уже шли драки. Несколько сотен студентов из Венсенна и кое-кто из преподавателей решили проявить солидарность и занять свой факультет. Они забаррикадировались чем попало. В ход шло всё: столы, стулья, шкафы, телевизоры... Все новенькое, прямо из магазинов, только-только доставленное на факультет. Когда глубокой ночью явилась полиция, две тысячи человек приняли первый бой. Слезоточивый газ — с одной стороны, камни и метательные снаряды — с другой. Полиция постепенно очищала помещения и сгоняла студентов и преподавателей в одну из лекционных аудиторий.

Мишель Фуко и Даниэль Дефер задержаны одними из последних. Их глаза красны из-за газа. Фуко сказал Пассерону: «Они все разнесли в твоём

кабинете». Потом бунтовщиков погрузили в машины и отправили кого в Божон, кого в контрольный центр парижской полиции — всего двести двадцать человек. Фуко, как и прочих, отпустили ранним утром. Последовала достаточно жесткая реакция правительства и прессы. Эдгар Фор называет инцидент «абсурдным» и оплакивает урон, нанесенный зданию университета. А консервативные круги обрушиваются на министра с упреками в «либерализме» и возлагают на него ответственность за беспорядки и «разгром». Знаменитый портрет Ришелье кисти Филиппа де Шампеня, находившийся в Сорбонне и испорченный в тот день граффити, стал символом «гошистского вандализма». В результате этого инцидента тридцать четыре студента были исключены из университета, а ста восьмидесяти одному угрожало уголовное преследование. 10 февраля 1968 года в Мютюалите состоялся митинг против этих дисциплинарных мер. Перед переполненным залом выступали среди прочих Жан Поль Сартр и Мишель Фуко. Газета «Le Monde» назвала Фуко самым яростным оратором. Он обвинял силы правопорядка, говоря о провокации и «просчитанных репрессиях».

Пройдя через это оглушительное посвящение, Венсенн погрузился в атмосферу общих собраний, демонстраций, столкновений с полицией, схваток между коммунистами и левыми, а также между разными группами левых. Но, несмотря на все это, занятия продолжились, переходя порой в психодраму, словесные поединки, бесконечные дискуссии, яростный обмен мнениями о революции, борьбе классов, пролетариате... Мишель Серр ушел из университета через год, сохранив об этом периоде самые мрачные воспоминания.

«Мне казалось, — рассказывает он, — что я погрузился в ту же атмосферу интеллектуального террора, которая царила благодаря сталинистам на улице Ульм, когда я там учился». Тем не менее он считал своим долгом довести курс до конца и принять экзамен.

Мишель Фуко исполняет обязанности «директора» отделения философии, хотя идея руководства в подобном контексте утратила свой смысл. Тем не менее программа вывешена. Список курсов красноречиво говорит об интеллектуальной атмосфере эпохи и о видении мира Венсенном. Вот что предлагалось студентам в 1968/69 учебном году:

Жак Рансьер «Ревизионизм-гошизм»;

Этьенн Балибар «Социальные формации и марксистская философия»;

Жюдит Миллер «Культурные революции»;

Ален Бадью «Идеологическая борьба»...

Конечно, некоторые преподаватели пытаются читать более

классические курсы, принятые в университетах: Мишель Серр излагает позитивистские теории науки и рассказывает о связи между греческим рационализмом и математикой; Франсуа Шатле преподает греческие политические теории, а также идентичность и противоречие в греческой философии. Что же касается самого Мишеля Фуко, то он анализирует «Дискурс сексуальности» и «Конец метафизики». Следующий учебный год проходит в той же тональности. В программе намешано все. Студентам предлагаются:

Жак Рансьер «Теория второго этапа марксизма-ленинизма: сталинизм»;

Жюдит Миллер «Третий этап марксизма-ленинизма: маоизм»;

Анри Вебер «Введение в марксизм XX века: Ленин, Троцкий и большевистское движение»;

Ален Бадью «Диалектика марксизма».

В то время как Франсуа Шатле стоически продолжает читать курс античной философии «Критика греческой спекулятивной философии» и лекции на тему «Эпистемиологические проблемы исторических наук», Фуко преподает эпистемиологию «наук о жизни» и философию Ницше. Лекции о Ницше лягут в основу статьи «Ницше, генеалогия, история», которая войдет в сборник памяти Жана Ипполита, умершего 27 октября 1968 года^[323]. Уже в первый год на лекции Фуко будет собираться такая толпа — более шестисот человек, — что он попытается ограничить запись на свои курсы. «Не более двадцати пяти человек», — приказывает он Ассии Меламед, секретарю отделения. Но в самую маленькую аудиторию, выбранную Фуко, набивается добрая сотня слушателей.

Итак, тематика лекций, за небольшим исключением, достаточно необычна, и это не остается незамеченным. 15 января 1970 года Оливье Гишар, министр образования, сменивший Эдгара Форэ, критикует отделение философии. Полагая, что обучение в 1968/69 учебном году носило «марксистско-ленинский» характер, он принимает решение лишить дипломы по философии, выдаваемые Венсенном, национального статуса. Это означало, что студенты не смогут претендовать на звание агреже и участвовать в конкурсе на получение места преподавателя средней школы. Удар был точен. К тому же министр, выступая на радио, предал гласности названия некоторых курсов. 24 января преподаватели собирают пресс-конференцию, на которой Фуко отвечает министру. «Поскольку Венсенн специализируется на изучении современного мира, — объясняет он, — отделение философии просто обязано изучать политические учения». Через несколько дней он снова поднимает голос в защиту своего отделения.

«Можно ли говорить о полном и всестороннем образовании, если на девятьсот пятьдесят студентов приходится всего восемь преподавателей?» — провозглашает он в интервью «Le Nouvel Observateur». «Никто мне не объяснил внятно, — добавляет он, — что понимается под словом «философия» и во имя чего, на основании каких критериев или правил, ради какой истины отвергается то, что мы делаем». Затем Фуко переходит в контратаку: «За всеми выпадами, которые сделал министр в наш адрес, следует видеть решение, которое он собирается принять. Оно прозрачно: студенты, учившиеся в Венсенне, будут лишены права преподавать в средней школе. В связи с этим у меня возникает несколько вопросов. Для чего создается этот санитарный кордон? Что такого опасного происходит на отделении философии, чтобы так защищаться от него? И чем так опасны наши студенты?» Фуко утверждает, что университетские и политические власти приготовили «ловушку» для венсеннского отделения философии, обещав полную свободу действий. Как только эта свобода приобрела конкретные черты, начались репрессии^[324].

Но тяготы только начинаются. Через небольшой промежуток времени новое происшествие опять притягивает внимание к университету в Венсенне и отделению философии. На этот раз гнев министерства вызвала система педагогического контроля во время прохождения экзаменов. Аттестация по каждому курсу, имевшая место в конце года, проходила достаточно необычно. Никто из преподавателей и не думал проводить экзамены. Как рассказывает бывший секретарь отделения философии, в первый год преподаватели закрылись в аудитории, а студенты просовывали под дверь клочки бумаги со своими фамилиями. На второй год список был перепечатан, но каждый мог попросить его и вписать свое имя. Когда Жюдит Миллер рассказала Мадлен Шапсаль и Мишель Мансо, интервьюировавшим преподавателей для книги «Для чего нужны профессора», что она выставляет оценки в автобусе, добавив при этом, что «университет — это всего лишь островок капиталистического общества» и поэтому она делает все возможное, чтобы дела там шли «все хуже и хуже», раздались новые раскаты грома. Скандал разразился, когда фрагменты книги опубликовал журнал «Express». Министр был взбешен.

3 апреля 1970 года дочь Жака Лакана, участница маоистской группы «Пролетарские левые силы», получила письмо из министерства, в котором сообщалось, что она отзывается из университета и направляется в школу, где раньше работала. Это решение министерства вызвало новую смуту в Венсенне. Опять баррикады в здании, столкновения с полицией...

Эти происшествия — всего лишь отдельные звенья в цепи событий,

составивших Венсеннскую хронику. Они подпитывали дискуссии об университете в Венсенне и его праве на существование. Начиная с 8 октября 1969 года президент университета Жак Дроз настойчиво предупреждает: «Если безответственные поступки будут находить поддержку большинства студентов, боюсь, Венсенн постигнет катастрофа: он перестанет существовать». На протяжении нескольких лет пресса будет вновь и вновь возвращаться к этой проблеме. В зависимости от политической ориентации газеты задаются вопросом: «Будет ли закрыт университет в Венсенне?» или «Следует ли закрыть университет в Венсенне?» «Венсенн приговорен», «Венсенн должен жить», — сообщают газеты из месяца в месяц. За каждым инцидентом следует все та же давно знакомая обедня. Венсенн выстоит. Но на протяжении многих лет будет жить в атмосфере опасности новой грозы.

Как свидетельствуют очевидцы, отделение философии всегда оказывалось на гребне волны беспорядков. Один преподаватель, участвовавший в создании факультета, утверждает, что это отделение «с момента рождения было одержимо манией саморазрушения». Мишель Фуко, возможно, не одобрял всего этого полностью, но участвовал в происходящем. Он достаточно безболезненно приспособился к ультралевой среде и, кажется, не без энтузиазма присоединялся к различным акциям, которыми фонтанировало его окружение. Но усталость наступила довольно быстро. Некоторые даже полагают, что опыт пребывания в Венсенне, когда преподаватели то и дело подвергались преследованиям, сильно травмировал Фуко. Да, его видели с железным прутом в руках, готовым вместе с коммунистами вступить в схватку, да, люди видели, как он бросал камни в полицейских... Однако атмосфера Венсенна была не такого сорта, чтобы долго нравиться ему. «Я устал жить среди полубезумцев», — скажет он друзьям вскоре после ухода с факультета. Он неохотно общается со студентами и, чтобы больше времени уделять работе в Национальной библиотеке, старается проводить в кампусе как можно меньше времени. В глубине души он желает покинуть Венсенн и прекрасно понимает, что его пребывание здесь временно. Все это время он не выпускает из виду Коллеж де Франс: составляет представление своей кандидатуры, совершает визиты к профессорам коллежа, осваивает ритуалы, которые это престижное заведение навязывает тем, кто хочет переступить его порог.

Фуко пробыл в Венсенне два года. Всего два года, оставившие глубокий отпечаток на его жизни, карьере и творчестве. В этот период он окунулся в политику и встретился с историей. Как сказал он сам, «батискаф, долго таившийся в глубине моря, внезапно оказался

выброшенным на берег бурей». Этот образ Жюль Вюйемен вспомнит в речи памяти Фуко, произнесенной им в Коллеж де Франс^[325].

Вовлечению Фуко в политику немало способствовал Даниэль Дефер, взгляды которого эволюционировали в сторону маоизма. Он работал в Венсенне ассистентом на отделении социологии.

По сути, в этот период родился новый Фуко. Он уже не тот человек, который работал в министерской комиссии и принимал экзамены в Национальной школе администрации. Тот человек уходит в прошлое, забывается, а его место занимает ангажированный философ, получивший боевую закалку в Венсенне, участвующий в битвах на всех фронтах, деятельный и размышляющий. С 1969 года в Фуко начинают видеть воплощение интеллектуала-борца. Так формируется тот образ, к которому все привыкли: Фуко манифестаций и манифестов, «борьбы» и «критики», упрочивший свое положение и влияние благодаря кафедре в Коллеж де Франс. Однако эта вовлеченность в политику поначалу никак не отразилась на его интеллектуальных занятиях. В Венсенне Фуко читает лекции о Ницше, в декабре 1970 года произносит инаугурационную речь в Коллеж де Франс, оставаясь ближе к проблематике «Археологии знания», чем к более поздним работам о власти. Статьи, которые он публикует, и лекции, которые он читает в этот период, по стилю и теоретическим основам примыкают к его более раннему творчеству. Как, например, лекция, прочитанная во французском философском обществе 22 февраля 1969 года: «Что такое «автор»?» Тема, конечно же связанная со словами Беккета: «Какая разница, кто говорит», — сказал кто-то, какая разница, кто». Это безразличие, по мнению Фуко, «возможно, самый фундаментальный этический принцип современного письма». К размышлению о безразличии Фуко добавляет еще один сюжет — «родство письма и смерти»^[326].

После доклада развернулась дискуссия, ставшая знаменитой. Начало ей положила перепалка между Люсьеном Гольдманом и Фуко. Гольдман критикует структурализм и под конец цитирует фразу, написанную студентом в мае 1966 года на доске в одной из аудиторий Сорбонны: «Структуры не выходят на улицу». И добавляет: «Историю делают не структуры, а люди». Фуко сухо отвечает: «Что касается меня, то я никогда не пользовался словом «структура». Поэтому я просил бы избавить меня от льгот структурализма». Затем он переходит к сюжету «смерть человека»: «Эта тема позволяет выявить, как концепт человека функционировал в знании. Речь идет не об утверждении, что человек смертен. Нужно понять, каким образом, в соответствии с каким правилом сформировался и начал

функционировать концепт человека. Подобные же задачи ставились и для понятия «автор». Поэтому не надо слез». Один из присутствующих приходит на помощь Фуко. Это Жак Лакан. «Не думаю, — заявляет психоаналитик, — что фраза о структурах, которые не выходят на улицу, справедлива, поскольку если события мая 1968 года о чем-то и говорят, то именно о выходе структуры на улицу. То, что надпись сделана там, где произошел этот самый выход на улицу, свидетельствует просто-напросто о хорошо и даже слишком хорошо известном свойстве этого акта не узнавать самого себя»^[327].

*

Что сделал Фуко за время работы в Венсенне? Он сформулировал некоторые положения, которые будут иметь определенные последствия для французского интеллектуального ландшафта. Несмотря на все встряски, Венсенн стремительно развивается, а его отделение философии процветает. И не случайно, ведь здесь преподают Делёз, Лиотар, Шерер... Планы Фуко собрать в отделении «лучшие силы» отчасти реализовались, а отделение психоанализа быстро превратится в блестящую школу лакановского толка. В июле 1969 года, когда в Эколь Нормаль отказались предоставить кров семинару Лакана, Фуко пригласил его в Венсенн. В конце концов семинар продолжил работу в помещении юридического факультета на площади Пантеон, но Лакан выразил согласие прочесть в Венсенне цикл лекций. Этот цикл оборвался сразу после первой лекции — 3 декабря 1969 года. Освистанный агрессивно настроенными по отношению к нему студентами, Лакан произнес: «Вы затеяли революцию, потому что нуждаетесь в хозяине. И вы его получите». После чего встал и покинул аудиторию. Потом он позвонил на отделение философии и предупредил, что «прогуляет» следующую лекцию, назначенную на Масленную неделю, а следующие просто отменяет.

Передавая отделение философии в Венсенне Франсуа Шатле, Мишель Фуко знает, что оставляет наследство, которым непросто управлять. Он знает, что препоручает его заботам очаг конфликтов — а также кипучих интеллектуальных поисков.

Глава вторая

Одиночество акробата

«Дорогие коллеги, мадам, месье...»

Зал затих. Голос взлетает, глухой, напряженный, странно изменившийся от эмоционального накала и волнения. Слова не выстреливают, а шелестят:

«...в речи, которую я должен произнести сегодня, равно как и во время тех, что мне, возможно, придется произносить здесь в течение многих лет...»^[328]

2 декабря 1970 года Мишель Фуко читает в Коллеж де Франс инаугурационную лекцию.

Несколько сотен слушателей набилось в большой лекционный зал, где по традиции происходила церемония. Здесь ничего не меняется: люстры — ведь действие происходит до модернизации, — деревянные скамьи и немного мрачная атмосфера. В этот день, как это часто случалось в ту беспокойную эпоху, Латинский квартал осажден. Тем, кто шел в коллеж, пришлось, пересекая улицы вблизи Сорбонны, пробираться сквозь заграждения из полицейских машин и ряды республиканских отрядов безопасности. Шлемы и дубинки — странная декорация к речи, в которой зазвучат слова «заклучение», «власти» и «нормы». Полиции конечно же нет дела до Фуко, но все отмечают это странное совпадение. Через несколько дней Пьер Деке сообщит в «Les Lettres françaises», что «огромная толпа» пробивалась на лекцию философа, и не преминет упомянуть «проходы, забитые людьми, по большей части молодыми». И добавит:

«Словно май 1968 года отправил большую делегацию в степенное собрание»^[329].

«Делегатов мая» легко узнать. Они встречают негромкими смешками вступительную речь Этьена Вольфа, поприветствовавшего нового члена коллежа, прибывшего в «страну свободы», как он называет внушительное здание на площади Марселен-Бертело...

Фуко приступает к чтению — ибо перед ним лежит текст — под пристальным взглядом Бергсона, чей бронзовый профиль охраняет зал. «Я

хотел бы, чтобы позади меня был голос — голос, давно уже взявший слово, заранее дублирующий все, что я собираюсь сказать, голос, который говорил бы так: «Нужно продолжать, а я не могу продолжать, — нужно продолжать, нужно говорить слова, сколько их ни есть, нужно говорить их до тех пор, пока они не найдут меня, до тех пор, пока они меня не выскажут», — странное наказание, странная вина, — нужно продолжать, хотя, быть может, это уже сделано, — быть может, они меня уже высказали, быть может, они доставили меня на порог моей истории, к двери, которая открывается в мою историю; откройся она теперь — я бы удивился». Так, погрузившись во фразы Беккета из «Неназываемого», Фуко покоряет аудиторию. Его слушают Жорж Дюмезиль, Клод Леви-Строс, Фернан Бродель, Франсуа Жакоб, Жиль Делёз...

Мишель Фуко только что принят в святая святых французской академической среды. Такая же церемония состоялась и накануне, но в присутствии другой публики: инаугурационную речь произносил Раймон Арон. Через два дня, 3 декабря, коллеж откроет свои двери для Жоржа Дюби. То, что Мишель Фуко и Раймон Арон читают лекции друг за другом, не является случайным совпадением. Они были избраны на собрании профессоров коллежа в один день. По тому, как протекали выборы, можно было догадаться, что сторонники того и другого договорились: баш на баш.

Чтобы понять, что стояло за избранием Мишеля Фуко, следует вспомнить происходившее несколько лет назад. Прежде всего его дружбу с Дюмезилем. К моменту избрания Фуко он ушел из Коллеж де Франс, поскольку достиг пенсионного возраста. И все же Дюмезиль принял участие в судьбе Фуко, отослав из Америки, куда он уехал преподавать, пять или шесть писем тем своим бывшим коллегам, которые, как ему казалось, настороженно или неприязненно относились к Фуко из-за его скандальной репутации. К Дюмезилю все относятся с большим почтением, и его поддержка была очень важна. Но главное — он настойчиво предлагал кандидатуру Фуко еще до ухода из коллежа.

Еще в 1966 году Жан Ипполит воспользовался успехом книги «Слова и вещи», чтобы поставить вопрос об избрании Фуко в Коллеж де Франс. Ипполит начал прощупывать почву, беседуя с коллегами и наблюдая за их реакцией. Отношение к проекту было разным. Его поддержал Жюль Вюйемен, у которого была своя кафедра — «История философской мысли». Дюмезиль, Ипполит, Вюйемен — блестящая троица! И еще Фернан Бродель, также хлопотавший о Фуко не покладая рук. Увы! Ипполит так и не увидит счастливого конца предприятия: он умер 27 октября 1968 года. И когда встал вопрос о передаче осиротевшей кафедры, естественно, взоры

обратились к Фуко. Вюйемен официально выдвинул кандидатуру своего бывшего коллеги по Клермону — точнее, предложил собранию профессоров создать кафедру и отдать ее Фуко. Поскольку выборы проходили в два этапа: сначала голосовали за кафедру, без упоминания имени того, кто должен ее занять, а затем — собственно за кандидата.

30 ноября 1969 года собрался ученый совет обсудить кандидатов на заведование двумя кафедрами: социологии и философии. На кафедру философии претендуют три кандидата, поскольку в борьбу за наследие Жана Ипполита вступили еще два философа: Поль Рикёр и Ивон Белаваль. Мишель Фуко составил, следуя установленной процедуре, представление, в котором перечислял свои титулы и работы, обосновал тематику научных занятий: «История систем мысли» и обрисовал основные направления будущих лекций. Текст — более десяти страниц — был представлен каждому из профессоров Коллеж де Франс. Вначале Фуко останавливается на своей академической карьере: образование, дипломы, должности... Затем дает список публикаций: книги, статьи, предисловия, переводы... И под конец излагает результаты исследований — от «Истории безумия» до «Археологии знания».

В этом интереснейшем документе, заслуживающем внимания, тем более что он распространялся в небольшом количестве экземпляров и сегодня практически недоступен, Фуко раскрывает логику развития своих научных интересов:

«В «Истории безумия в классическую эпоху» я хотел выявить, что было тогда известно о душевной болезни. Конечно, это знание отражается в медицинских теориях, называющих и классифицирующих разные типы патологий и пытающихся объяснить их; оно также всплывает в феномене мнения — в древнем страхе, который преследует безумных, окруженных игрой легковерия, в том, как их изображают на сцене или в литературе. Повсюду я следовал за историками, анализировавшими эти аспекты. Однако одно измерение показалось мне неисследованным: следовало понять, как безумные были признаны таковыми, выделены, выброшены из общества, изолированы для лечения; каким институтам было поручено принимать и удерживать их, а иногда и лечить; какие инстанции констатировали безумие и на основании каких критериев, что за методы применялись для того, чтобы воздействовать на них, наказывать или врачевать их; короче

говоря, какая сеть инстанций и практик выявляла безумных и идентифицировала их. Эта сеть, если присмотреться к ее функционированию и системе защиты, существовавшей в ту эпоху, выглядит последовательной и отлаженной: ей служит целое точное и ясное знание. Таким образом, я увидел особый объект исследований: знание, инвестированное в сложные системы институций. Вычленялся и метод: не ограничиваться, как это часто делается, штудированием библиотеки научных книг, но обратиться также к материалам архива — декретам, регламентам, больничным и тюремным регистрам, юридическим актам. Я изучал знание, видимый корпус которого составляют не теоретические или научные диспуты и не литература, а каждодневная упорядоченная практика в Арсенале и национальных архивах. Однако пример безумия показался мне недостаточно типичным; в XVII и XVIII веках психопатология была еще слишком рудиментарной, чтобы отделить ее от простой игры традиционных мнений; я подумал, что клиническая медицина в момент своего рождения формулировала проблему в более строгих терминах; в начале XIX века она оказалась связанной с сформировавшимися или формирующимися науками — такими, как биология, физиология или патологическая анатомия; с другой стороны, она была связана с институтами — больницами, домами вспомоществования, клиниками, где шло обучение, — а также с практиками, например, с административными расследованиями. Я задался вопросом: каким образом из этих двух явлений зародилось знание, как оно трансформировалось и развивалось, предлагая научной теории новые области наблюдений, неведомые проблемы, не замечавшиеся прежде объекты, и как, в свою очередь, научные знания приобрели значимость, авторитетность предписаний и этические нормы? Занятия медициной не ограничиваются выстраиванием из смеси непостоянного состава строгой науки и неясной традиции; они складываются как система знания, обладающая равновесием и свойственной ей последовательностью. Таким образом, следует предположить, что существуют области знания, не являющиеся простыми ментальными обыкновениями, которые при этом трудно идентифицировать с науками. В книге «Слова и вещи» я прибегнул к обратному опыту: попытался нейтрализовать всю

практическую и институциональную сторону дела, не отказываясь, впрочем, от идеи вернуться к ней позже и рассмотреть различные виды знаний, существовавшие в определенную эпоху (естественнонаучные классификации, общую грамматику и теорию богатства в XVII и XVIII веках), изучая их по очереди для того, чтобы выделить тип проблем, задаваемый ими, концепты, с которыми они играли, теории, которые подвергались проверке. Следовало описать не только «археологию», имеющую внутреннюю связь с каждой из областей, взятых по отдельности, но также проступающие связи между ними — общность, аналогии, пучки различий. Вырисовывалась общая конфигурация: конечно, она не могла охарактеризовать классический разум в целом, но тем не менее выстраивала логическим образом всю область эмпирических знаний. Итак, я имел перед собой два разных результата: с одной стороны, я констатировал относительно автономное существование особых «включенных знаний»; с другой стороны, в архитектуре каждого из них я выявил системные связи. Возникла необходимость довести исследования до конца. Эту задачу я решал в книге «Археология знания»: между мнением и научным знанием следует выделить особый уровень, который можно назвать уровнем знания. Знание проявляется не только в теоретических текстах или инструментах опыта, но и во всем комплексе практик и институтов. Оно не является чистым и простым результатом, полуосознанным выражением; на самом деле, оно содержит собственные правила, касающиеся его существования, функционирования и истории; некоторые из этих правил присущи лишь одной области, другие — нескольким областям, возможно, кое-какие из них охватывают все области в пределах одной эпохи. Наконец, развитие знания и его трансформации вводят в игру сложные отношения каузальности...»^[330]

Изложив основные положения «прошлых работ», Фуко переходит к «проекту лекций». Эти лекции, по его словам, будут подчинены двум императивам:

«Никогда не терять из виду конкретный пример, который может служить экспериментальной областью для анализа;

разрабатывать теоретические проблемы, с которыми я столкнулся или с которыми я столкнусь в будущем»^[331].

Конкретный пример, который «на протяжении некоторого времени» будет являться предметом исследования, — это «знание о наследственности»^[332]. Теоретические же проблемы таковы:

«Попытаться придать некий статус этому знанию: где оно содержится, в каких границах, какой инструмент следует выбрать, чтобы описать его...»

После этого необходимо задуматься над тем, как обрабатывается это знание «в научном дискурсе», иначе говоря, над тем, как складывается наука, «когда анализ происходит не в трансцендентальных, а в исторических терминах»^[333].

И еще одна проблема:

«Каузальность в структуре знания: определить, как — через какие каналы и коды — знание регистрирует, производя отбор и модифицируя, феномены, которые до некоторого момента лежали вне его, каким образом оно открывается для чуждых ему процессов...»^[334]

В заключение Фуко пишет: «Наряду со сложившимися науками (историю которых обычно пишут) и феноменами мнения (которые умеют изучать историки) нужно провести анализ истории систем мысли». Что должно в конце концов возвратить к проблеме «знания, условиям его существования и статусу субъекта, который знает»^[335]. Фуко не станет следовать программе, намеченной в этом тексте. Другой «конкретный пример» будет занимать его начиная с 1971 года: тюрьма займет место наследственности. В самом деле, это очень «конкретная» проблема, поскольку речь пойдет не только об архивах, но и о политической деятельности, социальном движении, в котором он будет участвовать самым непосредственным образом, сотрясая основы пенитенциарной системы.

Но это будет потом. Текст написан, отпечатан и передан профессорам Коллеж де Франс для ознакомления. Жюлю Вюйемену предстоит вновь выступать перед высоким собранием, отстаивая идею создания кафедры. Чтобы подготовиться к выступлению, он приглашает к себе Фуко. В

маленькой квартире в Маре, где живет Вюйемен, Фуко проводит несколько вечеров подряд. Они обсуждают аспекты, которые следует проработать особенно тщательно. И, поскольку Вюйемен стремится сделать доклад прозрачным и понятным для представителей всех дисциплин, он просит Фуко уточнить и растолковать некоторые положения, вызывающие у него сомнения. Все идет гладко до тех пор, пока речь не заходит о понятии «высказывание» — в том смысле, в котором оно используется в «Археологии знания». Тут кандидат и его «крестный» не находят общего языка. Напрасно Фуко снова и снова растолковывает, что именно он хотел сказать, Вюйемен настаивает на своем: это понятие крайне туманно. Фуко приходит в ярость, обвиняет Вюйемена в трусости и уходит, хлопнув дверью. Но после «церемонии примирения» они снова принимаются за работу, и Вюйемен доводит работу до конца.

Семь страниц отпечатанного на машинке с одинарным интервалом текста: доклад Жюля Вюйемена безупречно строг и убедителен. Вюйемен предлагает квинтэссенцию исследований Фуко, подчеркивая сильные стороны и очерчивая эволюцию его мысли. В конце доклада он дает определение усилиям Фуко, представленным в книгах «Слова и вещи» и «Археология знания», не называя, впрочем, ни имени автора, ни названий самих книг, поскольку речь идет о выработке общих принципов создаваемой кафедры:

«Таким образом, история систем мысли не является историей человека или людей, которым они свойственны. В конце концов, конфликт между материализмом и спиритуализмом сталкивает братьев-врагов, спотыкающихся на одной и той же проблеме, именно потому, что он существует в терминах этой последней альтернативы: являясь субъектами мыслей, мы выбираем индивидуумов или коллективы, но выбираем мы всегда субъектов. Тем, кто сомневается в этом, следует перечитать часто цитирующиеся слова Маркса, который говорил, что каким бы примитивным ни был архитектор, он всегда отличается от пчелы тем, что сначала строит дом в своем воображении. Необходимо забыть о дуализме и построить акартезианскую эпистемиологию: выбросить субъекта, сохранив мысль, и попробовать создать историю, существующую помимо человека»^[336].

30 ноября 1969 года. Заседание началось в половине третьего. Проект Фуко конкурировал с двумя другими: профессор Пьер Курсель, специалист

по латинской литературе, защищал идею создания кафедры «Философия действия», предназначавшейся Полю Рикёру, а профессор Альфред Фессар, специалист по нейрофизиологии, отстаивал кафедру «История рациональной мысли» Ивонн Белавалю. Марсиаль Геру, профессор, ушедший на пенсию, которому была невыносима мысль о том, что Фуко станет членом Коллеж де Франс, специально пришел на заседание, чтобы поддержать кафедру «История рациональной мысли». Его не остановила даже давняя дружба с Вюйеменом. Трое докладчиков выступают по очереди, согласно жребию: Пьер Курсель, Жюль Вюйемен, Альфред Фессар. Наконец настал момент голосования. В нем участвуют сорок шесть человек. Вот результаты: за кафедру «Философия действия» — 11 голосов; за кафедру «История систем мысли» — 21 голос; за кафедру «История рациональной мысли» — 10 голосов; бюллетени, помеченные крестиком («против всех») — 4. Однако для победы необходимо двадцать пять голосов (абсолютное большинство плюс еще один голос). Поэтому назначается второй тур голосования. Его результаты: за кафедру «Философия действия» — 10 голосов; за кафедру «История систем мысли» — 25 голосов; за кафедру «История рациональной мысли» — 9 голосов; бюллетени, помеченные крестиком («против всех») — 1 голоса.

Вюйемен победил. Фуко избран. Ему сорок три года. Совсем недавно будущее представлялось ему как постоянный переезд с места на место, скитания из одного города в другой, — и вот он накрепко связан с Парижем, с прославленным храмом знания.

Профессорам остается лишь официально передать ему созданную кафедру. 12 апреля 1970 года проходит новое голосование. Вюйемен опять произносит длинную речь. На этот раз он анализирует книги Фуко и перечисляет магистральные направления будущих лекций, основываясь на тексте-представлении, составленном самим кандидатом^[337]. Голосующих тридцать восемь. Фуко получает двадцать четыре голоса, на пятнадцати бюллетенях стоит крест — знак несогласия оставшихся в меньшинстве профессоров. Теперь коллеж должен получить одобрение одной из академий из тех, что входят в Институт Франции. И только после этого представить кандидатуру на утверждение министру. Коллеж обращается в Академию этики и политики. Мнение академий имеет консультативный статус — это просто дань традиции. Обычно министр не оспаривает результатов голосования в коллеже — к счастью для Фуко, поскольку в академии он не находит поддержки. На заседании — тридцать один человек, из них двадцать семь пожелали высказаться. Результат голосования: двадцать два бюллетеня, помеченных крестом, и пять пустых.

Пьер Кларак, бессменный секретарь Академии этики и политики, объясняет эти странные результаты в специальной докладной записке, поданной министру: «Академия руководствовалась сведениями о том, что при повторном голосовании в Коллеж де Франс на трети бюллетеней стоял крест... Было решено воздержаться от представления кандидата по этой кафедре». Министр конечно же утвердил кандидатуру Фуко, несмотря на мнение академии.

Итак, 2 декабря 1970 года Фуко предстал перед изысканной аудиторией — профессорами Коллеж де Франс, представителями культурной и университетской элиты и безымянными юными поклонниками. Вступительную лекцию, прочитанную глухим и напряженным, поразившим слушателей голосом, Фуко впоследствии опубликует под названием «Порядок дискурса»^[338], восстановив фрагменты, которые он опустил в ней, опасаясь, что ему не хватит отведенного времени. Предмет этой лекции — сам дискурс. Словно иронично намекая на происходящее, он начинает с упоминания страха перед говорением, тревоги, связанной с необходимостью говорить, и установлений, способствующих успокоению, придающих подступам к речи «торжественности» и смягчающих страхи оратора. «Но что уж такого опасного и губительного в том факте, что люди разговаривают и что их дискурсы бесконечно множатся? — спрашивает Фуко. — В чем тут опасность?»^[339]

И дает ответ:

«Вот гипотеза, которую я хотел бы предложить сегодня. [...] Я полагаю, что в любом обществе производство дискурса одновременно контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого числа процедур, функция которых — нейтрализовать его властные полномочия и связанные с ним опасности, обуздать непредсказуемость его события, избежать его такой полновесной, такой угрожающей материальности»^[340].

Фуко посвящает лекцию этим механизмам контроля и обуздания дискурса. Речь идет не об истории вообще, но о нашей истории:

«Казалось бы, какая цивилизация более уважительно, чем наша, относилась к дискурсу? Где еще его столь почитали? Где еще его, казалось бы, так радикально освободили от

принуждений и универсализировали? И однако же, мне кажется, что за этим видимым глубоким почтением к дискурсу, за этой видимой логофилией прячется своего рода страх. Все происходит так, как если бы запреты, запруды, пороги и пределы располагались таким образом, чтобы хоть частично овладеть стремительным разрастанием дискурса, чтобы его изобилие было избавлено от своей наиболее опасной части и чтобы его беспорядок был организован в соответствии с фигурами, позволяющими избежать чего-то самого неконтролируемого; все происходит так, как если бы захотели стереть все, вплоть до следов его вторжения в игры мысли и языка. В нашем обществе, как впрочем, я полагаю, и во всех других, несомненно, существует, но только по-другому прочерченная и расчлененная, глубокая логофобия, своего рода смутный страх перед лицом всех этих событий, перед всей этой массой сказанных вещей, перед лицом внезапного появления всех этих высказываний, перед лицом всего, что тут может быть неудержимого, прерывистого, воинственного, а также беспорядочного и губительного, перед лицом этого грандиозного, нескончаемого и необузданного бурления дискурса»[\[341\]](#).

Системы принуждения, которыми вооружается общество, чтобы смирить бурление дискурса, Фуко делит на три категории. Во-первых, это внешние процедуры исключения: запрет и табу (всего говорить нельзя), разделение и отбрасывание (в частности, применявшиеся к речи сумасшедших) и, наконец, воля к истине — эффективная система, укреплявшаяся из века в век, но изученная меньше других. «И в нашей истории именно тот, — говорит Фуко, — кто снова и снова попытался так или иначе обойти это стремление к истине и поставить его под вопрос в противовес самой истине, и именно там, где истина берется оправдать запрет и определить безумие, — тот, будь он Ницше, Арто или Батай, должен теперь служить нам образцом, безусловно недостижимым в нашей работе»[\[342\]](#).

Во-вторых, это процедуры ограничения, действующие внутри самого дискурса. Комментарий, дублирующий текст или речь, предотвращая случайность дискурса; принцип авторства, преобразующий установленную идентичность между индивидуальностью и «я»; наконец, принцип «дисциплин», научных и других, упорядочивающий и классифицирующий знание и вытесняющий на периферию то, что не поддается обработке.

В-третьих, это правила подчинения дискурса некоторым условиям. Чтобы получить право на дискурс, необходимо соответствовать требованиям, ритуалам, принятым в обществе:

«вспомним о технических или научных секретах, о формах распространения и обращения медицинского дискурса; вспомним, наконец, о тех, кто присвоил себе экономический или политический дискурс»^[343].

Или роль школы:

«Любая система образования является политическим способом поддержания или изменения форм присвоения дискурсов — со всеми знаниями и силами, которые они за собой влекут»^[344].

Заявить о своих правах на отказ от порядка? Быть может, такую задачу ставил перед собой Фуко в начатой им борьбе против дисциплинарных систем, проявляющихся в «порядке дискурса»? Или же его задачей было разрушить этот порядок? Или, быть может, он хотел только проанализировать его и сделать видимым, сорвать с него маску, скрывающую его истинное лицо? Поскольку философы, в частности, те, кто определял лицо философии в послевоенные годы, лишь усилили и умножили игру исключения благодаря идеям основополагающего субъекта, изначального опыта и универсальной медиации, Фуко призывает перевернуть шкалу философских ценностей. Эта работа, которую Фуко намерен осуществлять в ближайшие годы в рамках лекционного курса, потребует обращения к двум методикам. Прежде всего к критике, позволяющей разрушить заговор запретов, исключений и ограничений, в которые заключен дискурс. А также — к «генеалогии», позволяющей обратиться к дискурсу в момент его возникновения, в тот момент, когда он появляется вопреки системам принуждения или в согласии с ними.

Программа, которой собирается придерживаться Фуко в своих исследованиях, содержит несколько направлений. Прежде всего предстоит проанализировать одно из главных звеньев процедуры исключения: волю к истине и волю к знанию. И в связи с этим «оценить воздействие, которое претендующий на научность дискурс — медицинский, психиатрический, социологический — оказал на ансамбль предписывающих практик и дискурсов, которые конституируют дисциплинарную систему. Исходной

точкой и базовым материалом для этого анализа послужит изучение психиатрических экспертиз и их роли в дисциплинарной системе»^[345]. В этом будет состоять критический подход к проблеме.

Что же касается генеалогии, то Фуко предполагает анализировать «дискурсы, относящиеся к наследственности», уже упоминавшиеся им в тексте-представлении, а также «запреты, наложенные на дискурсы о сексуальности». «Генеалогия» тут тесно связана с критикой, поскольку «было бы трудно вести это изучение, или, во всяком случае, оно было бы абстрактным, если не анализировать при этом самые разные ансамбли дискурсов — литературных, религиозных и этических, биологических и медицинских, так же как и юридических, — где речь идет о сексуальности и где последняя называется, описывается, метафоризируется, объясняется, где о ней выносятся суждения»^[346].

Фуко заканчивает лекцию словами благодарности в адрес Жана Ипполита:

«Я знаю, что было такого опасного в том, чтобы взять слово, поскольку брал я это слово в том месте, откуда я слушал его и где его уже больше нет, — нет его, чтобы услышать меня»^[347].

На другой день Жан Лакутюр публикует в газете «Le Monde» отчет о «церемонии инициации», во время которой философ «проявил гибкость диакона эпохи ересей»^[348].

*

Инаугурационная речь и есть начало лекционного курса. Фуко будет читать лекции каждую неделю вплоть до 1984 года. Каждая из них — событие в интеллектуальной жизни Парижа. Сначала лекции будут проходить по средам вечером, затем Фуко перенесет занятия на девять часов утра, что было связано с желанием сократить число слушателей. Однако из этого мало что получилось. Эрудиция Фуко, его педагогический талант неизменно собирали толпы людей. Слушатели набивались в зал № 8 и в смежные аудитории, куда шла трансляция лекций через громкоговорители. Вот что говорилось об этих лекциях в репортаже 1975 года, посвященном самым известным профессорам французских университетов: «Фуко быстро, как перед прыжком в воду, входит в

переполненную аудиторию, пробирается к своему столу, отодвигает стоящие на столе магнитофоны, чтобы положить свои бумаги, снимает куртку, включает лампу и, не теряя времени, начинает лекцию. Голос у него сильный, энергичный, он разносится микрофонами, и это единственная уступка модернизму в зале, едва освещенном светом, идущим из мраморных ниш. Триста мест и еще пятьсот человек, заполнивших всю аудиторию так, что даже мышь не проскочит. Я имел неосторожность прийти за сорок минут до начала лекции. Результат: все болит. Просидеть два часа на краешке подоконника — это, знаете, нелегко. К тому же нечем дышать... Никаких ораторских эффектов. Все ясно и очень действенно. Никакой импровизации. У Фуко есть двенадцать часов, чтобы публично представить результаты своих исследований за истекший год. Поэтому он максимально сжимает материал и «заполняет поля», как делают корреспонденты, когда они уже использовали отведенное им в газете место, а многое еще нужно сказать. 19 часов 15 минут. Фуко заканчивает. Студенты устремляются к его столу. Не для того, чтобы ему что-то сказать, а чтобы выключить микрофоны. Никаких вопросов. В этой толпе Фуко одинок». Фуко признается журналисту после лекции:

«Обсуждения того, о чем я говорю, не хватает. Иногда лекция оказывается не совсем удачной: возможно, самая малость, какой-нибудь вопросик все поставили бы на место. Но вопросов никогда не бывает. Во Франции эффект толпы делает невозможной дискуссию. А так как нет обратной связи, лекция становится похожей на театрализованное представление. Для людей, сидящих в аудитории, я — актер, акробат. Когда лекция заканчивается, мною овладевает чувство бесконечного одиночества»^[349].

Коллеж де Франс — особенное учреждение: строго говоря, у профессоров нет студентов. Перед ними — слушатели, которые не сдают экзаменов и не получают дипломов, с которыми нет диалога, нет контакта. Есть лишь эта странная еженедельная эквилибристика и зрители, аплодирующие отважному акробату.

На лекциях в Коллеж де Франс Фуко обкатывает работы, которые он публикует с начала семидесятых годов. Такова традиция учебного заведения — профессор должен излагать то, над чем он трудится, демонстрировать саму «созидающуюся науку», согласно формуле Ренана. Каждый год — что-то новое. И Фуко формулирует гипотезы, над которыми

он размышляет. «Надзирать и наказывать», «Воля к знанию», последние части «Истории сексуальности». Лекции требуют серьезной подготовки. В последние годы жизни он будет часто говорить о своем желании сбросить с себя ношу, которая с каждым годом все сильнее давила на него. Но в тот день, 2 ноября 1970 года, им владело ликование, а не усталость.

Глава третья

Урок сумерек

Эта брошюрка необычного формата озаглавлена «Нестерпимо!». На форзаце — список того, что должно идти под нож:

«Нестерпимы: трибуналы, полицейские, больницы, психиатрические лечебницы, школа, военная служба, пресса, телевидение, государство».

Но основная мишень — тюрьмы. Поскольку эта тоненькая тетрадка в сорок восемь страниц, опубликованная в мае 1971 года, является первым выпуском серии, которую намерено выпускать новое движение: «Группа информации о тюрьмах» (ГИТ)^[350].

Движение было создано по инициативе Фуко. 8 февраля 1971 года он объявил о его рождении в капелле Святого Бернара, под сводами вокзала Монпарнас. «Никто из нас не может быть уверен, что не попадет в тюрьму. Особенно в наши дни», — сказал он. И продолжил:

«В нашу повседневную жизнь все плотнее внедряется полицейский террор: на улицах и на дорогах, там, где есть иностранцы и молодежь, снова говорят о преступности убеждений; меры по борьбе с наркотиками усугубляют произвол. Над нами нависло «смирно!». Нам говорят, что правосудие перегружено. Для нас это очевидно. Но разве не полиция тому виной? Нам говорят, что тюрьмы переполнены. Но, возможно, туда заталкивают слишком много людей? До нас доходит очень мало информации о тюрьмах; это одна из самых потаенных областей нашей социальной системы, «черный ящик» жизни. Мы имеем право на информацию. Мы хотим знать. И поэтому мы вместе с заинтересованными судьями, адвокатами, журналистами, врачами, психологами создали «Группу информации о тюрьмах». Мы хотим знать, что представляют собой тюрьмы: кого и как отправляют туда, за что, что там происходит, как живут заключенные и те, кто их охраняет, в каком состоянии здания, каково положение с питанием, гигиеной, каков распорядок дня, медицинский контроль, что там за мастерские,

как оттуда выходят и какой прием находит бывший заключенный в нашем обществе. Все эти сведения отсутствуют в доступных нам официальных отчетах. Мы надеемся получить их от тех, кто по тем или иным причинам имеет опыт заключения или же как-то связан с тюрьмами. Мы обращаемся к этим людям с просьбой связаться с нами и сообщить то, что им известно. Мы разработали вопросник, который готовы предоставить всем желающим. Как только наберется достаточно свидетельств, мы опубликуем результаты»^[351].

Текст обращения подписан Мишелем Фуко, Пьером Видаль-Наке, историком, специалистом по античной Греции, получившим известность во время войны в Алжире тем, что он заговорил о пытках, применявшихся французской армией, и Жаном-Мари Доменаком, возглавлявшим в то время католический журнал «Esprit». Адрес группы: «Абонентский ящик 285, улица Вожирар» — адрес Фуко. Да и большая часть текста обращения написана им. В этом обращении отчетливо проступают области интереса, притягивавшие Фуко.

Линия раздела, отделяющая «нормального» человека от заключенного, как и в случае с безумием, менее очевидна, чем это может показаться, и поэтому здесь следует разместить наблюдательный пункт, который может позволить понять, как действуют механизмы власти. Однако Фуко ввязался в это движение по соображениям, которые не носили теоретического характера. Этому предшествовало погружение в действие, в каждодневную борьбу. Как далек текст обращения главы группы от инаугурационной лекции, прочитанной... двумя месяцами ранее.

Всплески волнений, последовавшие за маем 1968 года и выразившиеся в отчаянных демонстрациях, сопровождались арестами воинствующих левых, гошистов, и вынесением приговоров. Им вменялись в вину призывы к насилию, посягательство на государственную безопасность, выпуск запрещенных газет — таких как «La Cause du peuple». Среди арестованных были Ален Гейсмар, Мишель Ле Бри, Жан-Пьер Ле Дантек...

В сентябре 1970 года двадцать девять активистов, находившихся в тюрьме, объявили голодовку, требуя, чтобы их признали политическими заключенными и перевели на «особый режим» (они имели статус уголовников и содержались на общих основаниях). Акция, продлившаяся месяц, привела лишь к незначительным уступкам: те, кто был задержан исключительно по политическим мотивам и должен был предстать перед

судом государственной безопасности, получили некоторые послабления — право на посещения, книги и газеты... Те же, кто, согласно терминологии того времени, считался обычным «хулиганом» и подпадал под специально принятый «антихулиганский» закон, по-прежнему рассматривались как уголовники. Борьба была временно приостановлена.

Она продолжилась в январе 1971 года и была поддержана извне. Группы объявивших голодовку появились у капеллы Сен-Бернар, на вокзале Монпарнас, в Сорбонне, в Алье-о-Вен. Многие знаменитости выступили в их поддержку: Ив Монтан и Симона Синьоре^[352], Владимир Янкелевич, Морис Клавель... А депутат Национальной ассамблеи Франсуа Миттеран направил министру юстиции Рене Плевену запрос, требуя объяснений по поводу обращения с активистами, «чьи поступки, даже если они и предосудительны, диктуются идеологическим выбором».

8 февраля Плевен идет на уступки. Он возвещает о создании комиссии, которой поручено изучить предложенные бастующими меры по смягчению условий содержания политических заключенных. Несмотря на это, «Красная помощь», организация, созданная для борьбы с репрессиями, все же решила не отменять демонстрацию, назначенную на следующий день. Префектура полиции немедленно запретила эту демонстрацию и разогнала собравшихся: десятки задержанных, множество раненых, среди которых юноша с изуродованным лицом — в него попала граната со слезоточивым газом. В тот же день в капелле Сен-Бернар состоялась пресс-конференция. Адвокаты левых активистов — Жорж Киейман и Анри Леклерк — настаивали на том, что основные требования их «клиентов» были удовлетворены. Затем Пьер Альбвош, пресс-секретарь «Красной помощи», передал микрофон Мишелю Фуко, и тот зачитал манифест «Группы информации о тюрьмах».

Движение гошистов, оказавшихся в заключении, положило начало более общей дискуссии об условиях содержания под стражей. Еще в сентябре, объявляя голодовку, гошисты, вполне отдавая себе отчет в том, насколько парадоксально выглядит их требование предоставить им особый статус, опубликовали коммюнике, «составленное во французских тюрьмах». Оно датировано 1 сентября. «Мы требуем реального признания за нами статуса политических заключенных. Нам не нужны особые привилегии: мы полагаем, что прочие заключенные являются жертвами социальной системы, которая, сделав их таковыми, отказывается исправлять совершенное и просто-напросто выбрасывает их из жизни. Более того, мы хотим, чтобы наша борьба, направленная на то, чтобы предать гласности существующий позорный тюремный режим, пошла на

пользу всем заключенным».

«Всем заключенным!» — Мишель Фуко не мог оставаться безучастным к этому заявлению, пробудившему в нем болезненные воспоминания о голосах, доносившихся до него сквозь толщу архивной пыли, сквозь еще более толстый фильтр психиатрических, экономических и юридических концептов. В сущности, все, что будет интересоваться его в семидесятые годы, уже содержится в книге «Безумие и неразумие». Кажется удивительным, насколько эволюционировало, изменилось творчество Фуко с шестидесятых по восьмидесятые годы. Как усложнились проблематика и словарь. И насколько все новое, все то, что родилось в процессе работы, поисков и поступков, оказывается вызванным внутренним импульсом. Достаточно прочесть недавно изданные конспекты лекций, прочитанных в Коллеж де Франс^[353], которые Фуко составлял в конце каждого года: все темы взаимосвязаны, малейшее отступление продиктовано, если взглянуть с нынешней точки зрения, тем, что предшествовало, или тем, что следовало впоследствии... всё это производит впечатление исключительной связности.

Вскоре после оглашения манифеста «Группа информации о тюрьмах» приступает к обещанному расследованию. Вопросники раздаются семьям заключенных, которые в ожидании положенных свиданий выстраиваются в очереди перед тюрьмами. Мишель Фуко стремится получить свидетельства об условиях содержания из первых рук. Его интересуют также рассказы заключенных об их прошлом, эти фрагменты личной истории, причудливые зигзаги жизни. Он погружается в полную жестокости жизнь, протекающую на периферии общества. К вопроснику приложен небольшой текст, описывающий ситуацию в тюрьмах: «С заключенными обращаются как с собаками. Те немногие права, которые закреплены за ними, попираются. Мы хотим предать гласности происходящее». А для этого необходимо провести расследование и собрать свидетельства. «Чтобы помочь нам собрать информацию, нужно заполнить вместе с заключенными или бывшими заключенными данный опросник».

Итак, первая брошюра выходит в мае 1971 года. Ее выпустило издательство «Шан либр». В нее вошло наряду со списком «нестерпимого», приведенным выше, заявление, разъясняющее цели движения:

«Группа информации о тюрьмах» не присваивает себе права говорить от имени всех заключенных, содержащихся в разных тюрьмах: напротив, она намеревается предоставить им возможность рассказать о том, что происходит в тюрьмах. Деятельность группы не носит реформаторского характера, мы не мечтаем об идеальной тюрьме. Мы лишь хотим, чтобы

заклученные сказали, что в пенитенциарной системе является недопустимым. Мы собираемся как можно быстрее распространить свидетельства заключенных среди максимально большого количества людей. Это единственный способ объединить заключенных и тех, кто находится на свободе, политическую и юридическую составляющие борьбы».

Брошюра открывается введением, в котором о целях движения говорится подробнее:

«Трибуналы, тюрьмы, больницы, психиатрические лечебницы, трудовое здравоохранение, университеты, институты прессы и информации: через все эти изобретения дает о себе знать угнетение, прячущееся под разными масками, но исторически всегда являющееся угнетением политическим. Эксплуатируемый класс умеет распознавать угнетение и сопротивляется ему, но он вынужден терпеть его. Теперь оно стало невыносимым для новых социальных слоев — интеллектуалов, инженеров, юристов, врачей, журналистов. Те, кто призван нести правосудие, здоровье, знания, информацию, чувствуют, что угнетение со стороны политической власти распространилось на их сферу деятельности. Это новое ощущение недопустимости позволяет открыто включиться в борьбу, которую издавна ведет пролетариат. Слившись, эти два протеста вызывают к жизни методы, которые были в арсенале пролетариата в XIX веке: в первую очередь, расследования условий жизни рабочих, проводившиеся самими рабочими. Такова роль расследований недопустимого, к которым мы приступаем.

1. Расследования предпринимаются не для того, чтобы улучшить, смягчить или сделать более сносной систему угнетения. Они должны атаковать ее там, где она дает о себе знать, присвоив другое имя — правосудия, техники, знания, объективности. Каждое расследование, следовательно, должно стать политическим актом.

2. Расследования имеют конкретные мишени — институты, которые имеют название и местоположение; управленцев, ответственных лиц, руководителей, порождающих жертв произвола и провоцирующих возмущение, в том числе и среди тех, кто вверен их попечению. Каждое расследование,

следовательно, должно стать началом борьбы.

3. Расследования группируют вокруг этих мишеней различные слои населения, которые господствующий класс разделил через систему социальных иерархий и несходства экономических интересов. Расследования будут способствовать устранению этих барьеров, столь необходимых властям, объединяя заключенных, адвокатов и судей. И еще врачей, больных и пациентов больниц. Каждое расследование, следовательно, должно на всех стратегических направлениях создать фронт, причем фронт атакующий.

4. Расследования будут вестись не сторонними техническими группами; следователями станут сами подследственные. Это им предстоит взять слово, сломать преграды, сформулировать, что является нестерпимым, и больше этого не терпеть. Им вести борьбу, которая положит конец угнетению»^[354].

Далее приводились результаты исследований, проводившихся в двадцати тюрьмах. Среди конкретных предложений — начать кампанию за «уничтожение досье криминалистического учета».

Всего группа издала четыре брошюры. Вторая, как и первая, опубликована издательством «Шан либр». Она посвящена «образцовой тюрьме» Флёри-Мерожи^[355]. Две другие брошюры выпустило издательство «Галлимар». В третьей собраны материалы об убийстве Джорджа Джексона, совершенном 21 августа 1971 года в США в тюрьме «Сент-Квентина». В четвертой и последней брошюре, появившейся в январе 1973 года, рассматривается проблема самоубийств среди заключенных. Базируясь на данных 1972 года, Мишель Фуко и его друзья пытаются показать, как отчаянный всплеск коллективных акций сменился самой драматической формой индивидуального протеста. Авторы приводят множество конкретных примеров, однако наибольшее впечатление производят письма, написанные осенью 1972 года, незадолго до самоубийства, неким человеком, чье имя скрыто за инициалами «Н. М.». Ему тридцать два года. В тюрьме он провел пятнадцать лет. Как гомосексуалиста его подвергли изоляции, поместив в карцер, и он повесился. Письма, написанные им, когда он находился под воздействием снотворного, поразительные, берущие за душу, снабжены небольшим неподписанным комментарием — правило анонимности, видимо, вытекало из стремления говорить от лица ГИТ. Но этот комментарий был написан самим Фуко, на которого письма оказали сильное впечатление. Он считает, что столкнулся со своего рода

идеальным случаем, когда душевные и интеллектуальные порывы

«с большой точностью передают то, о чем думает заключенный. А это вовсе не то, о чем, по нашим представлениям, он должен думать».

Фуко продолжает:

«Внутри тюрьмы есть еще одна тюрьма — тайная, гротескная и жестокая: карцер, которой не коснулась «реформа» Плевена».

И далее:

«Причина этой смерти — не только социальная система как таковая, изгоняющая и осуждающая, но вся совокупность предумышленных и персонифицированных провокаций, благодаря которым она функционирует, наводит порядок, благодаря которым она штампует изгнанных и осужденных, основываясь на политике, воплощающей власть полиции и администрации. За смерть этого заключенного несут прямую ответственность конкретные лица»^[356].

Фуко останавливается на проблеме, которая окажется в центре его размышлений о пенитенциарной системе: как тюрьма толкает на правонарушения и становится судьбой для тех, кто однажды побывал за решеткой. «Методичная система, включающая полицию, досье криминалистического учета и контроль, отнимает у молодых всякую надежду избежать последствий первого пребывания в тюрьме, и они возвращаются туда вскоре после освобождения». Мишель Перро, цитируя эти строки Фуко в работе «Фуко и тюрьма», пишет:

«Воспроизведение правонарушений, управление противоправными действиями: это легко узнаваемые темы «Надзирать и наказывать». Так становится понятным, что эта книга восходит к непосредственному и очень конкретному опыту. Великая книга о ночи общества впитала уроки сумерек»^[357].

В начале семидесятых годов работа в «Группе информации о

тюрьмах» станет важнейшим делом Фуко. Это действительно его движение. Его и Даниэля Дефера. Значительное количество бывших «венсеннцев» присоединилось к движению, благо для этого не требовалось ни процедуры вступления, ни партийного билета: Жан-Клод Пассерон, Жан Гаттено, Робер Кастель, Жиль Делёз, Жак Рансьер и его жена Даниэль, Жак Донзело... А позже — Клод Мориак, чье участие стало неожиданной, но важной поддержкой.

Клод Мориак — сын Франсуа Мориака. Он был личным секретарем генерала де Голля сразу после войны. В 1971 году, когда Фуко уже примкнул к гошистам, Клод Мориак работал журналистом в газете «Figaro». Ничто не предвещало встречи, о которой писатель подробно расскажет в дневнике. Эта встреча оказала немалое влияние на его жизнь. Хроника дружбы войдет в дневник, озаглавленный «Неподвижное время», наряду с описанием деятельности, которую изо дня в день вела в начале семидесятых годов горстка интеллектуалов^[358]. Все началось с банального инцидента, каких случалось множество во время демонстраций: 29 мая 1971 года Алена Жобера, журналиста из «Nouvel Observateur», жестоко избили в полицейской машине, когда он хотел всего лишь доставить раненого демонстранта в больницу. Позже Жоберу предъявили обвинение в сопротивлении полиции. Поскольку речь шла о журналисте, дело получило большую огласку. Мишель Фуко, Жиль Делёз, адвокат Дени Ланглуа, доктор Тимсит и несколько журналистов объединились, чтобы провести свое расследование происшедшего и установить истину. Они созвали пресс-конференцию, на которой Клод Мориак представлял газету «Le Figaro». Его присутствие не осталось незамеченным. Мишель Фуко позвонил ему и предложил принять участие в расследовании. Тот согласился. Мориак записал свой разговор с Фуко, состоявшийся через несколько дней в кафе на Гут д'Ор, в арабском квартале Парижа:

«Если бы неделю назад кто-нибудь показал мне это кафе и сказал, что я буду сидеть в нем и беседовать с Мишелем Фуко, вряд ли я бы в это поверил. Он [Фуко] ответил: «Я должен извиниться перед вами за то, что заманил вас в этот капкан»»^[359].

Капкан не отпускал Клода Мориака на протяжении многих лет. Мориак и сегодня вспоминает о нем с волнением.

Помимо дружбы, возникшей между Фуко и Мориаком, практически не имевших шансов познакомиться, дело Жобера имело и другие последствия. Желание добиться правды, собрать всю информацию, донести ее до всех,

слабый отклик, который дело находило в больших агентствах и в газетах, привели к идее создания пресс-агентства «Освобождение»^[360]. Поставленное на ноги Морисом Клавелем, оно сыграет главную роль в становлении ежедневной газеты «Libération».

Собрания группы часто проходили неподалеку от парка Монсури, в квартире Элен Сиксу. Она не забыла этих сборищ, «где всегда обсуждались реальные действия»: «Фуко действительно был прагматиком, он более всего ценил эффективность». Он являлся признанным главой маленькой группы. Жан-Мари Доменак упоминает невероятную энергию Фуко и его доступность. «Не знаю, как ему удавалось все утрясать, — говорит он. — Вместе с Даниэлем Дефером он занимался буквально всем — рассылал письма, назначал встречи, звонил по телефону. Он всегда оказывался на месте, когда это было нужно...» А он был нужен постоянно, поскольку поводов для акций более чем хватало. В ноябре 1971 года по французским тюрьмам прокатилась волна бунтов. Ситуация становилась все более опасной. 5 и 13 декабря 1971 года произошли серьезные инциденты в пересылочной тюрьме «Ней» в Туле. Полиция пошла на штурм. Среди заключенных оказалось не менее пятнадцати раненых. Мишель Фуко и ГИТ не преминули выступить с протестом против репрессий и конечно же сообщили об условиях содержания в тюрьме, приведших к мятежу. Для сбора информации в городе был образован комитет «Правда-правосудие». Порой заседания проходили бурно, например, когда заслушивали тюремных охранников. Фуко неоднократно принимал участие в пресс-конференциях. Первая состоялась 16 декабря, через два дня после того, как министерство сформировало комиссию, которая должна была заняться расследованием событий, найти их причину и предложить выход из положения. Самое время для полемики: тюремный психиатр, доктор Епит Роз, отправляет рапорты министру юстиции и президенту республики. В их основе — один и тот же страшный текст, в котором во всех деталях описываются условия содержания заключенных, то, как с ними обращаются, когда они заболевают, и т. д.

Документ производит сильное впечатление. Его зачитывают на одном из заседаний в Туле, и он становится сенсацией. Через несколько дней Фуко публикует фрагменты рапорта в «Le Nouvel Observateur»:

«Что скрывается за этими простыми фактами? Или, точнее, что проступает сквозь них? Нечестность такого-то? Или несоблюдение законов другим? Нет! Насилие со стороны власти! Администрация объясняется лишь языком статистики и

диаграмм, профсоюзы говорят об условиях труда, о бюджете, ссудах при поступлении на работу. Никто не хочет бороться с корнем зла, атаковать это зло там, где его никто не видит и не испытывает на себе, — вдали от события, вдали от тех сил, что сталкиваются друг с другом, вдали от актов подавления. И вот заговорила психиатрия города Туль. Она не подчинилась правилам игры и нарушила табу. Психиатрия, входившая в систему власти и воздерживавшаяся от ее критики, донесла о том, что произошло в такой-то день, в таком-то месте, при таких-то обстоятельствах. [...] Этот прорыв станет, возможно, важным событием в истории пенитенциарных учреждений и в истории психиатрии»^[361].

5 января 1972 года Фуко снова берет слово: изложив результаты сбора группой свидетельств заключенных, он настаивает на «необходимости информировать население о том, что происходит в тюрьмах», и высказывает сомнение, что Плевен осмелится «сказать правду». На этом же собрании было зачитано послание Сартра, увидевшего в событиях в Туле «начало борьбы против репрессивного режима, который держит нас всех в концентрационной вселенной».

Беспорядки вспыхнули в Лилле, Ниме, Флери-Мерожи, Нанси... Министр юстиции Рене Плевен обвиняет в них «Группу информации о тюрьмах» и другие «левацкие» группы. «Очевидно, — говорит он, — что некоторые подрывные элементы пытаются использовать заключенных (на которых и падут все последствия происходящего), чтобы спровоцировать волнения в разных пенитенциарных учреждениях, представляющие большую опасность».

В это же время коммунистическая газета департамента Эссонн «La Marseillaise» обращается к властям с просьбой покончить с этим «профсоюзом хулиганов». Тем не менее группа продолжает работать: протестуя против вторжения сил порядка в тюрьму «Карл III» в Нанси, она организует пресс-конференцию в министерстве юстиции. 18 января 1972 года на улице Кастильоне, перед зданием «Интерконтиненталья», собираются Клод Мориак, Жан Поль Сартр, Мишель Виан, Жиль и Фанни Делёз, Мишель Фуко, Даниэль Дефер и еще человек двенадцать. Группа отправляется на площадь Вандом и входит под своды министерства. Шлагбаум останавливает их. Мишель Фуко зачитывает текст, написанный заключенными, содержащимися в тюрьме Мелана. Когда демонстранты начинают скандировать «Плевена в отставку!» и «Плевен — убийца!»,

появляются отряды безопасности и, как рассказывает Клод Мориак, «грубо начинают оттеснять на улицу группу, представляющую интеллектуальный цвет нации, и я вижу, как эти люди сопротивляются — Фуко первый, покрасневший, с вздувшимися от усилий мускулами»^[362]. На площади происходит короткая стычка. Многие задержаны: Ален Жобер, Марианна Мерло-Понти... Сартр и Фуко пытаются отбить их. Бесполезно. Тогда в дело вступает Клод Мориак. Он пускает в ход свои документы и статус журналиста «Le Figaro» и обещает, что демонстранты разойдутся, если задержанные будут отпущены. Сделка состоялась. Пресс-конференция продолжается в помещении пресс-агентства «Либерасьон», где Фуко снова зачитывает письмо из Мелана и рассказывает о событиях в Нанси. Через три дня ГИТ выводит на бульвар Севастополь около тысячи демонстрантов.

Другие виды деятельности группы не менее зрелищны. Так, например, по праздникам — в рождественский вечер или в День святого Сильвестра — члены группы приходят к тюрьмам с петардами и бенгальскими огнями. Крики и шум проходят через усилители: так группа дает знать заключенным, что они не отрезаны от мира. 31 декабря 1971 года Фуко участвовал в таком празднике, организованном во Френе. В другие дни у ворот пенитенциарных учреждений артисты театра «Солей» под руководством Арианы Мнушкин разыгрывают скетчи: спектакли длятся не больше нескольких минут — до появления полиции... Удары дубинок сыплются на активистов ГИТ в Париже, в Нанси и в других местах. «В Нанси полиция в буквальном смысле вырубил меня», — рассказывает Элен Сиксу.

Мишель Фуко и Жан-Мари Доменак также получают свою порцию: их задерживают вместе с дюжиной соратников 1 мая 1971 года у ворот парижской тюрьмы «Санте», где они раздавали листовки с призывами уничтожить криминалистические досье. Фуко обращается с жалобой на «незаконное задержание в общественном месте, публичное оскорбление и умышленное нанесение увечий легкой степени тяжести». Процесс закончится прекращением дела за отсутствием состава преступления.

ГИТ неистощима, она практикует все новые и новые формы протеста. Когда в июне 1972 года шестеро бунтовщиков города Нанси предстанут перед судом, группа вознамерится предать слушания огласке. В венсеннском театре Картушри после спектакля «1793», поставленного труппой Арианы Мнушкин, зрителям было предложено остаться в зале. Перед ними было разыграно в лицах слушание дела, восстановленное по стенограмме. Фуко исполняет роли охранника или судьи^[363]. Чтобы

оказывать заключенным юридическую помощь, Фуко предлагает создать специальную ассоциацию: в компании с Жилем Делёзом он отправляется к вдове Поля Элюара, которая соглашается взять под свое крыло «Ассоциацию защиты прав заключенных», президентом которой стал писатель Веркор^[364].

«Группа информации о тюрьмах» успешно развивалась: ее комитеты создавались по всей Франции. И хотя инициатива по большей части исходила от маоистов, волны деятельности выплескивались за пределы левацких кругов — адвокаты, врачи, священнослужители активно включались в работу. Вокруг группы сплотились две или три тысячи человек, но так продолжалось недолго. Верный заявленным в самом начале принципам, Фуко хотел, чтобы говорили сами заключенные и те, кто вышел из тюрьмы. В декабре 1972 года Инициативный комитет заключенных выпустил свою первую брошюру. Этот комитет возглавлял Серж Ливрозе, который провел много лет в меланской тюрьме. К его книге «От тюрьмы — к восстанию» Фуко написал предисловие. «Книга Сержа Ливрозе, — говорит он, — выросла из движения, которое на протяжении многих лет развивается в тюрьмах. Я не хочу сказать, что она «отражает» мысли всех или даже большинства заключенных. Я лишь обращаю внимание на то, что она является фрагментом борьбы, что она рождена этой борьбой и сыграет в ней определенную роль. Это яркое оригинальное воплощение некоторого опыта и некоторых народных представлений о законе и незаконности. Философия народа»^[365].

Инициативный комитет заключенных очень быстро отмежевался от своих почтенных крестных. Серж Ливрозе очень резко отреагировал на анонимное интервью Мишеля Фуко о правонарушениях и незаконности, напечатанное в «Liberation».

«Все эти аналитики только мешают нам, — заявил Серж Ливрозе 19 февраля 1974 года. — Мне не нужны посредники для того, чтобы высказаться и объяснить, кто я»^[366].

В это время «Группа информации о тюрьмах» уступила место новой организации. Однако ритм был сломлен. «Они продолжают наше дело, но насколько эффективно?» — с горечью спрашивают Даниэль Дефер и Жак Донзело, говоря об активистах Инициативного комитета в итоговой статье, вышедшей в 1976 году^[367].

После самороспуска ГИТ Фуко, должно быть, тоже испытывал горечь

и чувство поражения. «Мишелю казалось, что мы ничего не добились», — говорил Жиль Делёз в интервью 1986 года^[368]. Делёз утверждает, что Фуко очень дорожил этой «авантюрой», этим «опытом», проверявшим на прочность новую концепцию ангажированности интеллектуалов: действовать не во имя высших ценностей, а исходя из реальностей, на первый взгляд незаметных. Показать недопустимое и то, что в недопустимой ситуации делает ее действительно недопустимой. Однако «Группа информации о тюрьмах», добавляет Делёз, была также «способом самовыражения». Поэтому, по мнению Делёза и вопреки тому, что думал Фуко, группа кое-чего добилась.

«Сложился новый тип обсуждения проблем тюрем, в котором участвуют как заключенные, так и — иногда — другие люди, которого до этого не существовало»^[369].

В лекциях, которые Фуко читает в Коллеж де Франс, вопросы правосудия и уголовного права занимают видное место. В 1973 году в соавторстве с небольшой исследовательской группой он публикует книгу Пьера Ривьера, молодого человека, которого судили в начале XIX века за убийство матери, брата и сестры. «Мы хотели исследовать связи между психиатрией и уголовным правом. Работая над этой темой, мы наткнулись на дело Ривьера», — пишет Фуко в предисловии^[370]. Мишель Фуко решил опубликовать рассказ о преступлениях, излитый на бумагу самим убийцей, а также досье следствия и другие материалы, касающиеся психиатрических консультаций, приговора, пребывания в тюрьме и самоубийства. Он объясняет, что именно заинтересовало его в этом деле:

«Документы подобного рода позволяют анализировать формирование и игру знания (такого как медицина, психиатрия, психология) в его взаимоотношениях с институтами, наделенными некоторыми функциями (такими как институт правосудия, включающий фигуры эксперта, обвиняемого, душевнобольного преступника и т. д.). Они позволяют осмыслить отношения власти, подавления и борьбы, внутри которых вырабатываются и реализуются дискурсы; то есть позволяют анализировать дискурс (в том числе и научный), являющийся одновременно привязанным к событию и политическим, то есть стратегическим. Наконец, они выявляют власть болезни, проявляющейся в дискурсе, подобном дискурсу Пьера Ривьера, а

также всю совокупность тактик, позволяющих придать этому дискурсу особый статус, втиснуть его в некоторые рамки и признать его субъекта сумасшедшим или преступником»^[371].

Примерно о том же самом говорил Фуко в инаугурационной лекции! Вместе с тем анализ перешел из области дискурсов в область институтов, от порядка дискурса к социальным практикам. Последовали другие выступления, посвященные правосудию и тюрьме: предисловия, статьи, интервью, дебаты, конференции. В частности, против смертной казни. Эту борьбу Фуко ведет особенно активно. В 1976 году он откажется от приглашения отобедать с президентом Валери Жискар д'Эстеном, отказавшим в помиловании Кристиану Рануччи.

Одна из самых прекрасных книг Фуко — а быть может, самая прекрасная — «Надзирать и наказывать» вышла в 1975 году с подзаголовком «Рождение тюрьмы». Фуко сменил точку зрения. Мы уже не стоим у ворот тюрьмы. Пред нами дискретность и локальность исторических исследований, метод, который он противопоставит уюту традиционной линейной исторической мысли.

«Эта книга рождена настоящим в большей степени, чем прошлым», — говорит Фуко. Он намерен воссоздать «историю настоящего»^[372].

В борьбе, разворачивавшейся вокруг тюрем, Фуко занимала технология биовласти, подчиняющая тело человека. Что такое тюрьма? Как совершается переход от вопиющих пыток былых времен к немоте заточения? «Наследие средневековых застенков? Скорее новая технология: с XVI по XIX век оттачивалась вся совокупность процедур, направленных на то, чтобы группировать, контролировать и натаскивать людей, делать их более «покладистыми и полезными». В больницах, армии, школах, коллежах и мастерских в классическую эпоху формировался целый комплекс способов подчинения, управления человеческими телами и манипулирования их возможностями: упражнения, домашние задания, ручной труд, оценки, иерархия, экзамены, регистрация. Имя ему — дисциплина. Конечно, XVIII век ввел свободы, однако они легли на солидный и прочный фундамент — дисциплинарное общество, существующее поныне. Следует определить, каково место тюрьмы в образовании этого общества надзора».

Фуко пытается выявить роль, которую сыграли в этом процессе «гуманитарные науки»:

«Современная карательная система не осмеливается

признать, что она наказывает за преступления; она претендует на большее и заявляет, что перевоспитывает преступников. Вот уже два века, как она сосуществует с «гуманитарными науками». Она гордится этим, полагая, что нашла способ не краснеть за себя: «Возможно, полной справедливости еще не удалось достичь, потерпите, посмотрите, я набираюсь знаний». Но разве могут психология, психиатрия или науки о преступности служить оправданием современному правосудию? Их история показывает, что они формировались при помощи той же технологии. Под человековедением и гуманностью наказаний скрываются то же дисциплинарное воздействие, смешанная форма подчинения и объективизации, те же «власть-знание». Можно ли возвести современную мораль к политической истории телесности?»^[373]

Как и в «Истории безумия» и «Рождении клиники», Фуко отказывается от канонических текстов философской традиции и «копается» в полицейских документах и реформаторских проектах. «Буржуазия выражается без обиняков не через Гегеля или Огюста Конта, — говорит он в одном из интервью. — Сознательная, организованная, продуманная стратегия ясно прочитывается не в этих сакрализованных текстах, а в малоизвестных документах, воплощающих эффективный дискурс политического акта»^[374]. Книга «Надзирать и наказывать» имела большой успех. Страницы, посвященные Дамиану и жестокости наказаний в XVIII веке, которыми открывается книга, многократно цитировались. Так же как и образ тюрьмы — замкнутого в себе дисциплинарного пространства, наказывающего правонарушителя, которое власти пытаются контролировать. «Паноптикум» — подробно описанная Фуко система тюрьмы. Она создана Джереми Бентамом. Ее конструкция предполагает некий центральный пункт, откуда можно было, оставаясь невидимым, постоянно вести наблюдение за всеми. Эта позиция стала символом техники надзора, нормализующих санкций, организации карательных институтов с институциональным размещением людей, о чем будет столько говориться в семидесятые годы. Созревшая и возмужавшая в перипетиях борьбы книга «Надзирать и наказывать» должна была, в свою очередь, споспешествовать этой борьбе.

«Все мои книги, — говорил Фуко в том же интервью, — будь то «История безумия» или эта последняя, являются, если хотите, своего рода ящичками с инструментами. Если кто-то захочет

открыть ящичек и извлечь какую-нибудь фразу, мысль или какой-нибудь анализ и воспользоваться ими как отверткой, чтобы закоротить, вывести из строя системы власти, в том числе и те, которые породили мои книги... что ж, я буду рад»^[375].

Книга обрывается на 315-й странице.

«На этом я обрываю книгу, которая должна служить историческим фоном для различных исследований о власти нормализации и формировании знания в современном обществе»^[376], —

говорится в сноске.

Глава четвертая

Народное правосудие и память рабочего класса

«Смотри, это Фуко!»

Его легко узнать в толпе. И все оборачиваются, чтобы увидеть знаменитого философа. Фуко с его запоминающейся внешностью остался в памяти демонстрантов и запечатлен на фотографиях того времени. Начало семидесятых годов перевернуло всю его жизнь, но восстановить события той эпохи не так-то просто. Сложности, связанные с реконструкцией его биографии в предшествовавшие годы, иного порядка: они возникают из-за отсутствия источников — многие документы затеряны, нужно их обнаружить, раскопать; о деталях его университетской карьеры знают лишь немногие и т. д. Словом, нужно искать, выпытывать.

Начиная с 1970 года Фуко стал публичной фигурой. Его знают, узнают, его имя мелькает в газетах, книгах... Воспоминания, хроники, труды по современной истории пестрят упоминаниями о нем. Взять хотя бы те же дневники Клода Мориака — бесценный документ. Но обилие источников создает новую проблему. Эти свидетельства рисуют лишь образ общественного деятеля, борца — образ Фуко, в который Дюмезиль, например, совсем не верил.

В это время бытие Фуко носило, осмелюсь сказать, «осколочный» характер. Приведу пример: круг его знакомых значительно расширился и — что важно — стал разношерстным. До такой степени, что включал представителей полярных течений интеллектуальной и культурной жизни общества. «Включал» — не совсем подходящее слово. Фуко возводил барьеры между людьми и группами, с которыми общался. Как заметил однажды Жан Даниэль, Фуко обладал даром внушить каждому из собеседников, что тот был единственным, с кем он имеет особо доверительные отношения. Что часто отражается на рассказах о том времени, искажая действительность. Впрочем, непроницаемость границ, в которых шло общение с каждой группой, было, вероятно, необходимым условием сосуществования: мы знаем, например, со слов Клавеля, какого мнения о нем был Кангийем.

Эта «осколочность», «рассеянность» в его отношениях с людьми прочитывается на всех уровнях. Что порождает еще одну трудность. Коллеж де Франс, лекции, публикация книг, общественная деятельность, поездки за границу...

Как только речь заходит о том, чтобы привязать к определенному моменту времени некоторое событие или вписать его в контекст, позволяющий понять смысл происходившего, все смешивается, одно на другое наслаивается, события нагромождаются, наползают друг на друга, связь распадается. Что не может не отражаться на повествовании о жизни Фуко, которое поневоле перенимает эту фрагментарность. Возможно, местами оно покажется не очень связным, с нарушенной хронологией. Я решил отказаться от линейного принципа изложения и описывать серии событий, связанных между собой общей проблемой. Мне показалось бессмысленным протягивать искусственные мостики между фактами, абсолютно несвязанными, но происходившими в одно и то же время. Как и разъединять то, что с годами выстраивается в единую линию.

*

27 ноября 1971 года. 18-й аррондисман Парижа. Здесь живет беднота, в основном — иммигранты. Улица Маркаде. Мезон Верт, где хозяйничает пастор Гедрих. В зале уже сидят Жан Жене, «небритый, с густой седой щетиной», и Мишель Фуко. Рассказывает Клод Мориак: «Никто не заметил, как в зал на улице Маркаде, куда мы пришли часам к двум, чтобы обсудить последние детали демонстрации, проскользнул старик небольшого роста: Жан Поль Сартр. Он по большей части отмалчивается. Я сижу между Жене и Фуко, он — напротив. Может быть, я что-то упустил или чего-то не понял? Мне показалось, что их представили друг другу — Жана Поля Сартра и Мишеля Фуко, — что они встретились впервые...»^[377]. Сцена, имевшая место 27 ноября 1971 года, по-своему величественна:

«Так оказались лицом к лицу Жан Поль Сартр и Жан Жене — агиограф и святой. Так я оказался свидетелем первой встречи двух великих философов — старого и молодого, Жана Поля Сартра и Мишеля Фуко».

Возможно, они впервые разговаривают друг с другом, но их пути уже пересекались: и Сартр, и Фуко участвовали в митинге, состоявшемся 10 февраля 1969 года на Мютюалите, после событий в Венсенне. Впрочем, пространство и толпа могли не дать им возможности познакомиться. И Клод Мориак имеет все основания утверждать, что они встретились

впервые.

Прошло пять лет после жесткой схватки между двумя мыслителями, приковавшей к себе внимание всех интеллектуалов. Пять лет, которые превратились в вечность. Май 1968 года, вихрем обрушившийся на французское общество, перевернул все вверх дном и снес веги предыдущей эпохи. Если бы этого не произошло, вряд ли Клод Мориак оставил бы цитировавшуюся мной летопись. Разве оказался бы он, бывший голлист, на демонстрации бок о бок со студентами левацких взглядов? Разве попал бы на «передовую» борьбы в рядах интеллектуалов, проповедовавших коренное изменение существовавшего порядка?

Поэтому во встрече Сартра и Фуко нет ничего удивительного: она произошла на почве борьбы против расизма. Джелали Бен Али, молодой алжирец, оскорбил консьержку. Дело происходило в арабском квартале Парижа, на улице Гут-д'Ор. Друг этой женщины схватился за ружье, случайный выстрел унес жизнь алжирца. Грустное и банальное происшествие, как скажет газета «Le Monde» через несколько лет, когда начнется процесс по этому делу. Однако в тот момент, когда алжирец был убит, эту драму восприняли по-другому. Тысячи людей вышли на демонстрации, протестуя против преступлений на почве расизма. По инициативе Мишеля Фуко была создана комиссия для ознакомления с условиями жизни в этом квартале. В комитет «Джелали» вошли Жиль Делёз, Жан Жене, Клод Мориак, Жан-Клод Пассерон и еще несколько человек.

27 ноября 1971 года, через некоторое время после сцены, описанной Клодом Мориаком, небольшая группа собралась на углу улиц Полонсо и Гут-д'Ор. Квартал набит полицией. Но полицейским, как обычно, дана инструкция не трогать Сартра, поэтому демонстранты спокойно разворачивают плакаты. На них — «Призыв к рабочим квартала», в котором говорится об угрозе расправы со стороны «расистских организаций, имеющих поддержку власти», нависшей над Гут-д'Ор. Текст подписан Жилем Делёзом, Мишелем Драком, Клер Этшерелли, Мишелем Фуко, Жаном Жене, Моникой Ланж, Мишелем Лейрисом, Мишель Монсо, Марианной Мерло-Понти, Тьерри Миньоном, Ивом Монтаном, Жан-Клодом Пассероном, Жаном Полем Сартром, Симоной Синьоре. Кое-кто из подписантов и группа маоистов расхаживают по пустынным улицам под наблюдением целого роя представителей сил безопасности. На фотографиях из знаменитой серии — Сартр и Фуко с микрофонами в руках. Они объявляют, что начиная со следующего дня будут постоянно находиться в помещении церкви Сен-Брюно. Цель — оказать юридическое

содействие всем, кто в нем нуждается, помочь иммигрантам заполнить бумаги, формуляры, анкеты, которыми они завалены.

Усталый, полубольной Сартр уезжает довольно быстро, а демонстранты возвращаются в Мезон Верт, где их ждет пастор Гедрих. На следующий день Фуко расскажет Клоду Мориаку: «Я пошел поужинать в местный ресторанчик, и, когда я вошел, кто-то крикнул: «Вот и Жан Поль Сартр!»» И добавит:

«Я не уверен, что это был комплимент».

Жан-Клод Пассерон, Клод Мориак, Мишель Фуко, Жан Жене... будут по очереди дежурить в церкви. Комитет «Джелали» рос, а впоследствии из него выделился «Комитет защиты прав иммигрантов», который организовывал множество демонстраций. Так, 31 марта 1973 года тысячи людей вышли на улицы Белльвиля и Менилмонтана, протестуя против «циркуляра Фонтане», ограничивавшего возможности получения прав на жительство и на работу. В первых рядах демонстрантов — Мишель Фуко и Клод Мориак.

Порой заседания комитета протекают в напряженной обстановке: почти все рабочие-арабы, входящие в комитет, состоят также в «палестинском комитете» и настаивают на том, чтобы борьба с расизмом носила еще и антиизраильский характер. Но Фуко, как, впрочем, и Сартр, твердо стоял на произраильских позициях. Взгляды Фуко на эту проблему не изменятся. Вероятно, это и являлось главным пунктом его расхождения с маоистским — открыто пропалестинским — движением, манипулировавшим комитетом и его акциями.

Борьба против расизма свела Фуко не только с Сартром. На короткое время она объединила его с Жаном Жене. Фуко давно восхищался этим писателем. Еще в Швеции он упоминал его скандальные произведения в своих лекциях. Жене неизменно поддерживал все акции в защиту национальных меньшинств. Все, что отдавало расизмом, вызывало у него тошноту. В 1970 году он провел два месяца в Соединенных Штатах у Черных пантер. Он был вовлечен в палестинское движение и дважды ездил в лагеря беженцев. Этот интерес, можно даже сказать, эта страсть, не уменьшится с годами. Последняя книга Жене — «Влюбленный пленник», вышедшая в 1986 году, через несколько недель после его смерти, полностью посвящена палестинским лагерям беженцев. Как он оказался в комитете «Джелали» рядом с Мишелем Фуко?

Посредницей выступила Катрин фон Бюлов — немка, долго жившая в

Соединенных Штатах, где она танцевала в труппе нью-йоркской Метрополитен-опера. Перебравшись во Францию, она начала работать в издательстве «Галлимар». Там она познакомилась с Фуко и Жене. На протяжении некоторого времени она была очень близка с Жене и заботилась о нем, когда он бывал в Париже. Катрин фон Бюлов — активистка движений «Красная помощь» и «За народное дело», поэтому деятельность комитета «Джелали» не могла пройти мимо нее. О перипетиях своей жизни она рассказала в книге воспоминаний — удивительной и трогательной^[378]. Фуко и Жене гуляют по Гут-д'Ор, заходят в кафе. Вероятно, Жене чувствует себя более уверенно, чем Фуко. Как утверждает фон Бюлов, Жене был покорен арабским миром. Возможно, именно поэтому он быстро покинет ряды парижских демонстрантов.

«Его интересовала только борьба палестинского народа», — свидетельствует фон Бюлов. Никто не знал, где он жил — в Париже, в Марокко или в другом месте. Он то появлялся, то исчезал. И невозможно было предугадать, когда это произойдет. Только что мелькала его кожаная куртка — и вдруг он снова уходит на дно, и никто не может сказать, куда он делся и объявится ли он снова.

Но в то время Фуко и Жене сблизились. На почве вовлеченности в общее дело, поскольку, по словам Катрин фон Бюлов, между ними было мало общего и вне сферы политической борьбы им особенно не о чем было говорить. Однако Фуко ценил Жене. Он хотел, чтобы тот познакомился с Дюмезилем, а это знак высочайшего уважения к писателю. Жене согласился. А вот Дюмезиль — нет. Ему не нравились ни сам Жене, ни его книги. «Зачем же я буду знакомиться с этим человеком?» — спросил он Фуко.

*

16 декабря 1972 года, в субботу, в четыре часа дня на бульваре перед «Рексом» раздаются крики:

«Звери, расисты, убийцы!»

Человек десять пробиваются друг к другу у входа на станцию метро «Бон-Нуviel»...

Сто тридцать шесть интеллектуалов призвали население выйти на улицу «в знак протеста и траура»: несколько дней назад рабочий-алжирец

Мохаммед Диаб был убит в комиссариате при весьма сомнительных обстоятельствах. Префектура полиции запретила демонстрации и поручила силам безопасности разгонять людей, если будет хотя бы малейшее их скопление. Натиск длится всего несколько минут. Полицейские предпочли не связываться с людьми известными. Но, поскольку Фуко и Клод Мориак не унимались и вырвали из рук полицейских нескольких задержанных, с ними поступили так же, как с другими. Побои, оскорбления...

В конце концов, Клода Мориака, Мишеля Фуко и Жана Жене задерживают и отправляют в «Божон» для проверки документов. Клод Мориак записывает в дневнике:

«Мишеля Фуко и меня запихнули в клетку, протащив мимо других, набитых нашими юными товарищами... Куда-то провели Жана Жене — под надежной охраной — мы перекинулись несколькими словами»^[379].

В полночь всех освободили. В последующие дни пресса всю трубила о произошедшем.

Фуко не вступил ни в одну политическую организацию. Однако в то время он сблизился с маоистскими кругами и с группой «За народное дело», с которой был тесно связан Даниэль Дефер. Во всех акциях, к которым имел отношение Фуко, идет ли речь о деятельности «Группы информации о тюрьмах» или комитета «Джелали», участие маоистов было весьма заметным. И Фуко активно посещал собрания комитетов «Правда-Правосудие», создававшихся повсюду маоистами. Так, в конце ноября 1972 года он присутствовал на митинге, созванном комитетом Гренобля и собравшем полторы тысячи человек. Речь шла об ответственности администрации за пожар в дансинге «⁵/7» в городке Сен-Лоран-дю-Пон, случившемся в 1970 году — там погибло сто пятьдесят человек. Фуко берет слово.

Он говорит о положении тех молодых, которые могут найти лишь работу чернорабочих или грузчиков и получают смехотворные зарплаты. И добавляет:

«Должны же они проводить где-то время, раз уж у них нет своего жилья. И тут наносится следующий удар: чтобы попасть в дансинг, клиент платит 12 или 15 франков. Стакан апельсинового сока стоит 8 франков и т. д. Так вот, я считаю, что этих юношей и девушек эксплуатируют и обирают...».

Пояснив, что обворовывание происходит через «бандитский налог», фактически рэкет кафе, баров и дансингов, Фуко перешел к связям между политиками и этой формой коррупции. И заключил:

«Страна тайно или явно, бесшумно или под фанфары, но страна опутывается сетью: депутат с кокардой, Союз правых республиканцев, полиция — параллельная и непараллельная — все это обступает население и заставляет его идти в ногу или молчать. А чем же занята администрация? У нее лишь одно дело, и она с ним прекрасно справляется: закрыть глаза и ни во что не вмешиваться. Отстроить и открыть «^{5/7}»? Пожалуйста. Пожар? Пожалуйста. Она повсюду попустительствует тем, кто хочет нажиться»^[380].

В 1972 году Мишель Фуко, Андре Глюксман, Жан-Пьер Ле Дантек и Ален Гайсмар приняли участие в специальном номере «Les Temps modernes», «подготовленном активистами маоистского движения». Фуко опубликовал пространную беседу с Пьером Виктором о народном правосудии. Настоящее имя Пьера Виктора — Бенни Леви. Он — один из лидеров маоистского движения. С 1973 года он будет секретарем Сартра — последним. Пьер Виктор и Филипп Гави выступают как собеседники Сартра в книге «Право на бунт». Виктор был инициатором бесед, опубликованных Сартром в 1980 году, незадолго до смерти, и вызвавших оторопь людей, близких к философу, и гневные слезы Симоны де Бовуар, недоумевавшей, как могла его мысль прийти к совершенно чуждым ему темам. Нужно сказать, что Пьер Виктор, покинув воинствующее крыло французских маоистов, ударился в религию и стал ортодоксальным иудеем. Впоследствии он изучал еврейскую философию и религию^[381].

Но все это будет позже. А пока Виктор является, по свидетельствам многих, «харизматическим лидером» небольшой армии «сопротивленцев»: в начале семидесятых годов воинствующие маоисты думали о себе именно так и соответственно строили свою жизнь. Они были «сопротивленцами» в стране, оккупированной патрональной властью и армией полицейских. Мысль о диалоге с Фуко родилась в июне 1971 года, после неофициального расследования по делу Жобера, в котором тот принимал самое непосредственное участие. Маоисты хотели, чтобы полиция предстала перед народным судом. Подобный суд созывался в 1970 году в Лансе, где погибло много шахтеров; тогда ответчиком являлась Угольная компания. В этом процессе, получившем некоторый резонанс, одним из основных

действующих лиц был Сартр. Диалог Виктора и Фуко, опубликованный в «Les Temps modernes», открывается рассмотрением понятия «народный суд». Фуко ненавидит само понятие «суд».

«Нужно понять, — говорит он, — могут ли акты народного правосудия принимать форму суда. Я полагаю, что суд вовсе не является естественной формой народного правосудия, что его историческая роль состоит скорее в том, чтобы схватить, подчинить и уничтожить народное правосудие, заключив его в рамки институций, характерных для государственного аппарата». Напомнив о событиях сентября 1792 года, он добавляет:

«Сентябрьские казни были одновременно и военными действиями, направленными против внутреннего врага, и актами мщения угнетателям. Разве на фоне жестокой схватки это не было народным правосудием, по крайней мере, в первом приближении: ответом на угнетение, полезным со стратегической точки зрения и политически необходимым? Однако едва казни начались, как представители Парижской коммуны и сочувствующие им вмешались и организовали импровизированные суды: судьи за столом, представляющие инстанцию, противопоставленную как народу, требующему мести, так и обвиняемым — «виновным» или «невиновным»; допросы, позволяющие добиться «правды» или «признания»; совещания, обеспечивающие «справедливость»; институт власти. Что это, если не эмбрион, пусть даже самый худосочный, государственного аппарата? Возможность угнетать целый класс? Разве помещение между народом и врагами нейтральной инстанции, призванной отличать правду от лжи, виновного от невинного, справедливое от несправедливого, не является чем-то противоположным народному правосудию? Способом вырвать оружие борьбы и передать его идеальному судилищу? Поэтому-то я и задаюсь вопросом, не следует ли видеть в суде не форму народного правосудия, а его деформацию».

Ответ Пьера Виктора:

«Да, но давай обратимся не к буржуазной, а к пролетарской революции. Возьмем Китай: первый этап — идеологическое вовлечение масс в революцию, мятежи в деревнях, акты правосудия со стороны крестьян по отношению к врагам, уничтожение деспотов, ответ на репрессии, насчитывавшие множество веков. Казни врагов народа

умножаются, и, думаю, мы можем согласиться с тем, что они представляют собой народное правосудие. Итак, все идет хорошо: у крестьян наметанный глаз и они наводят справедливый порядок в деревнях. Но вот наступает следующая стадия — создание китайской Красной армии. Теперь наряду с восставшими массами и врагами появляется инструмент унификации — эта Красная армия. С этого момента акты народного правосудия сдерживаются и дисциплинируются. Нужен судебный орган, приводящий всевозможные акты мести в соответствии с правом, народным правом, не имеющим ничего общего со старой феодальной юриспруденцией. Необходима уверенность, что казнь или другой акт мести не является простым сведением счетов, то есть реваншем эгоизма над аппаратом угнетения, также основанным на эгоизме, в чистом виде. И в этом случае мы имеем дело с тем, что ты называешь третьей силой, противопоставленной и массам, и их угнетателям. Будешь ли ты и в связи с этим примером утверждать, что народный суд — это не форма правосудия, а его деформация?»

Фуко:

«Ты действительно полагаешь, что речь идет об инстанции, вставшей между массами и угнетателями? Я так не думаю. В этом случае, как мне кажется, массы сами превратились в посредника между теми, кто отделился от них, от их воли ради совершения личной мести, и теми, кто мог восприниматься в качестве врага народа, но имел все шансы пострадать из-за личных мотивов...»

На протяжении всей беседы — а это целых сорок страниц текста — Фуко излагает свое видение истории юридической системы и одного из ее проявлений — суда. В этом диалоге больше всего поражает полярность взглядов. Пьер Виктор — сторонник порядка, организованности, аппарата власти... Фуко упорствует в неприятии институтов власти и говорит о неизбежном соскальзывании в них всякого движения и всякой революции. Вот как он описывает, что такое суд:

«Давай разберем, что означает пространство суда, расстановка людей, судящих или судимых. Здесь есть своя идеология. Что же это за расстановка? Стол, за столом — судьи: это третьи лица, удаленные на некоторое расстояние от обеих сторон.

Отведенное судьям место указывает, во-первых, на их нейтральность, во-вторых, на то, что не существует предварительного решения, что оно будет принято в ходе процесса, после того, как выскажутся обе стороны, в соответствии с принципом установления истины и некоторыми представлениями о справедливости и несправедливости и, в-третьих, что это решение будет иметь силу. Вот что стоит за пространственной организацией суда. Сама идея, что есть люди, соблюдающие нейтралитет по отношению к обеим сторонам, что они в состоянии судить в соответствии с представлениями о законности, имеющими безусловный приоритет, и что их решение должно иметь силу, думаю, очень далека от народного правосудия и глубоко чужда ему. Народное правосудие включает не три элемента, а два — народных масс и их врагов».

Отвечая на замечания Виктора, то и дело ссылавшегося на Китай и революционный суд, Фуко говорит:

«В обществе, подобном нашему, аппарат правосудия всегда был чрезвычайно важным инструментом государства, но его история оставалась в тени. Изучается история права, история экономики, но история правосудия, юридической практики, того, что представляла собой судебная система, каковы были системы подавления — об этом говорится редко. Я думаю, что правосудие как государственный аппарат играет исключительную роль в истории. [...] Начиная с некоторого момента судебная система, выполнявшая в Средние века главным образом фискальные функции, была втянута в антибунтарскую борьбу. До этого подавление народных восстаний поручалось военным. Впоследствии его стала осуществлять сложная система — «правосудие — полиция — тюрьма». [...] Вот почему радикальный снос аппарата правосудия и всего, что напоминает судебную систему, происходящий в процессе революции, носит лишь временный характер, а все то, что напоминает идеологию и позволяет этой идеологии украдкой втереться в народные практики, должно быть заклеено».

Собеседники подробно обсуждают политические и идеологические горизонты французского левого движения начала семидесятых годов.

Становится очевидным, что Фуко не вполне разделял взгляды группы, с которой он был связан.

Фуко:

«Ты говоришь: «Это находится под идеологическим контролем пролетариата». Хотелось бы знать, что ты понимаешь под «идеологией пролетариата»».

Виктор:

«Учение Мао Цзэдуна».

Фуко:

«Хорошо, но вряд ли ты станешь отрицать, что французский пролетариат в основной своей массе вовсе не мыслит в соответствии с этим учением, которое к тому же не является революционным в полном смысле этого слова».

Для Фуко суд — это воспроизведение буржуазной идеологии:

«Суд подразумевает также, что существуют категории, общие для всех (например, относящиеся к уголовному праву — кража, мошенничество, или нравственного порядка — честность, нечестность), и что все готовы с ними считаться. Эти идеи являются оружием, при помощи которого буржуазия осуществляет свою власть. Поэтому идея суда народа меня смущает, особенно если интеллектуалам предлагается играть роль прокуроров или судий. Ведь именно при посредничестве интеллектуалов буржуазия расцвела и создала сюжеты, о которых мы говорим».

Пьер Виктор подводит итог сказанному в таких словах:

«Я за то, чтобы на первой стадии идеологической революции допускались грабежи; я — за перехлесты. Нужно, чтобы палка обрушилась на другие головы: нельзя изменить мир, не разбив скорлупы».

Фуко отвечает просто:

«Лучше сломать палку»^[382].

Сартр в интервью, которое он дал в 1973 году одному бельгийскому журналу, прокомментировал позицию Фуко в споре о народном правосудии. Прошло семь лет после выступления Сартра по поводу Фуко-«структуралиста», автора книги «Слова и вещи», в котором он называл его последним оплотом буржуазии. На этот раз Сартр оспаривает взгляды Фуко, сильно сместившиеся влево. «Точка зрения Фуко, — объясняет он, — приводит нас к тому, что суд народа является лишь банальным актом насилия». И добавляет:

«Мы, маоисты и я, с этим не согласны. Мы считаем, что народ прекрасно может создавать суды. [...] Фуко настроен радикально: любая форма правосудия — буржуазного или феодального — предполагает суд, процесс, судей за столом, поэтому от него нужно отказаться. Но в начале правосудие стимулирует мощное движение, которое сметает институты. Однако если внутри этого мощного движения зарождается революционная форма правосудия, если, обращаясь к людям от имени правосудия, у них спрашивают, какой урон был им нанесен, в этом, по-моему, нет ничего плохого, и неважно, сидит ли кто-то при этом за столом или нет»^[383].

Знакомство с материалами, над которыми Фуко работал в это время, позволяет понять, отчего он так заинтересовался событием, которое произошло через два месяца после дискуссии с Пьером Виктором и держалось на первых полосах газет на протяжении всего 1972 года: преступлением в Брюайан-Артуа. Шестнадцатилетняя девушка была убита ночью на пустыре маленького шахтерского городка, расположенного на севере Франции. Подозрения следователя пали на заметного человека в городе, нотариуса, который работал на Угольную компанию и занимался сделками по недвижимости. Он предъявляет обвинение Пьеру Леруа и заключает его под стражу. Прокуратура просит освободить обвиняемого до суда, но судья отклоняет ходатайство высшей инстанции. Рабочее население городка выступает в поддержку судьи, выступившего против «классового правосудия». Судья Паскаль много выступает. Слишком много? Во всяком случае, он будет обвинен в разглашении тайны следствия и 20 июля 1972 года отстранен от дела по решению кассационного суда^[384].

Само собой разумеется, что маоисты взяли дело под свой контроль

задолго до этой даты. 4 мая был создан комитет «Правда-Правосудие». Он должен был разоблачать «классово чуждую, сфабрикованную буржуазией информацию», как сообщала газета «Le pirate», издававшаяся активистами и журналистами и тиражировавшаяся при помощи ротатора. Комитет организует демонстрации, митинги, голодовки... Тон задавали листовки, выпускавшиеся маоистами севера Франции: «Была растерзана дочь рабочего, мирно отправившаяся навестить бабушку. Это акт каннибализма. Каким бы ни был приговор буржуазного суда, Леруа должен предстать перед судом народа». В майском номере «La Cause du peuple» публикуется статья об этом деле. Ее заголовок — «Теперь они убивают наших детей» — помещен на обложку. Найдя нужную страницу, читаем: «Только буржуа способен на такое». В тексте, подписанном (но не написанном) жителями «возмущенного Брюайя», не без экзальтации пересказываются уличные угрозы: «Он должен умереть мучительной смертью» или «Я бы привязал его к машине и поехал со скоростью 100 километров в час»^[385].

Сартр, который был главным редактором «La Cause du peuple», не хотел покрывать подобные речи. В следующем номере он вопрошает: «Народный суд — суд Линча?» И, заверив читателей в том, что он полностью разделяет принцип «классовой ненависти» и «глубокое чувство, которое вызывает эксплуатация у каждого эксплуатируемого», Сартр решительно заявляет о своем отказе считать человека виновным, пока не будут собраны доказательства. Он пишет:

«Законная ненависть народа может быть направлена на нотариуса как на социального работника, а не на Леруа, убийцу Брижит, поскольку доказательства того, что он совершил это преступление, пока не предъявлены»^[386].

Попытки Сартра образумить его товарищей ни к чему не привели. Пьер Виктор отвечает Сартру в коротком, подписанном «La Cause du peuple», тексте-обобщении, который был размещен в том же номере рядом со статьей философа:

«Теперь наша очередь задать вопрос: если Леруа (или его брат) замешаны в деле, имеет ли право народ заполучить его? Мы отвечаем: да. Ради разрушения авторитета буржуазии униженное население может и должно ввести на короткое время террор и расправиться с горсткой презренных людишек, которых оно ненавидит. Было бы затруднительным покушаться на авторитет

класса, не подняв на копье головы нескольких его представителей»^[387].

Один из августовских номеров также посвящен брюайскому делу. Тон газеты не претерпел никаких изменений. И, несмотря на свою позицию, Сартр по приглашению комитета «Правда-Правосудие» отправится в Брюай.

Фуко также съездит туда. В тотальной мобилизации городка вокруг этого убийства он увидит уникальный образец народной борьбы: впервые народ воспринял событие из разряда «Происшествия» как политическое. Политическая борьба вышла за пределы требований повышения зарплаты — под сомнение поставлена вся система правосудия^[388]. Трудно сказать с определенностью, насколько Фуко оказался вовлечен в брюайское дело. Франсуа Эвальд, например, преподававший в то время в местном лицее и являвшийся активистом комитета «Правда-Правосудие» (на фотографиях, опубликованных в «La Cause du peuple», он запечатлен в первых рядах демонстрантов), считает, что было бы большой ошибкой связывать имя Фуко с этим делом. Он полагает, что Фуко, как и многие другие, приезжал просто взглянуть на место событий, поскольку Сартр и Клавель посетили ставший печально известным пустырь.

Филипп Гави придерживается этой же версии: он часто виделся в то время с Фуко и свидетельствует, что тот был отнюдь не на стороне маоистов. Клод Мориак излагает позицию Фуко в своем дневнике. В разговоре, произошедшем 23 июня 1972 года, Мориак высказал удивление по поводу резкости отношения Фуко к происходящему, и тот ответил:

«Я был там. Достаточно взглянуть на это место, на изгородь, вовсе не из боярышника, как говорят, а из граба, высокую, с проходом, прорубленным прямо напротив того места, где лежало тело...»

Клод Мориак замечает, что главным в этом деле был не вопрос о виновности нотариуса и его приятельницы («возможно, виноват он, возможно, она, возможно, они оба»), а о том, что следует осудить внешнее вмешательство, которое выносит приговор, не имея на руках доказательств. Фуко сказал ему:

«Если бы не это вмешательство, Леруа был бы уже на свободе. Судья Паскаль уступил бы под нажимом прокуратуры.

Впервые буржуазия Севера утратила протекцию, на которую она всегда могла рассчитывать, и именно поэтому то, что произошло в Брюайан-Артуа, имеет такое значение»^[389].

Клод Мориак записал еще один разговор с Фуко, в котором речь шла о Брюайе. Он состоялся гораздо позже, в феврале 1976 года.

Клод Мориак:

«Значит, вы больше не считаете, что нотариус виновен.

— Нет.

— А помните, что вы говорили, вернувшись оттуда?

— Конечно, я немедленно построил целую теорию...»^[390]

Брюай всплыл в связи с их разговором о Франсуа Эвальде.

В 1975 году он уехал из города и пришел к Фуко, чтобы попросить его стать руководителем исследования, посвященного брюайскому делу. С этого времени Эвальд становится постоянным участником семинаров Фуко. Впоследствии он возглавит созданный в конце 1987 года «Центр Фуко».

Из этого разговора следует, что Фуко долгое время был уверен в виновности нотариуса. Но, проявляя интерес к убийству в Брюайе, Фуко отнюдь не сочувствовал статьям, опубликованным в «La Cause du peuple», и был солидарен с Жаном Полем Сартром. Он вспомнил об этих статьях во время дискуссии, связанной с выработкой принципов газеты «Libération». «Наши статьи, — заявил один из участников заседания, — должны подлежать народному контролю». Фуко тут же поставил под сомнение значимость «народного контроля», сославшись на публикации «La Cause du peuple» в связи с брюайским делом. «Нужно, — сказал он, — чтобы проблема, которой будет посвящена статья, была заранее честно изложена тем, кому предлагают высказаться». Люди, к которым обращается журналист, должны знать, что их слова будут выслушаны и помещены в кавычки:

«Я за то, чтобы слушать. Человеку следует понимать, что, высказываясь, он участвует в написании статьи, тогда как в «La Cause du peuple» оставляют за собой право отбора. Что касается такой практики, то я говорю: нет»^[391].

Почему я так подробно остановился на убийстве в Брюайе? Потому что, по свидетельству многих, раздоры, которое оно породило, стали

отправным пунктом раскола, который привел к угасанию некоторых форм левого движения. Именно так считает Серж Жюли, активный маоист, который принимал самое деятельное участие в этом деле и стоял за пресловутыми статьями.

Напомню, что в июне 1971 года Фуко и Клод Мориак собрали комиссию по расследованию дела Жобера. Самые широкие круги журналистов мобилизовались, чтобы защитить права своей профессии. Кое-кому из них пришла в голову мысль создать свое агентство. Эвелин Ле Гаррек, Клод-Мари Вадро, Жан-Клод Вернер обратились к Морису Клавелю с просьбой возглавить пресс-агентство «Либерасьон», созданное 18 июня 1971 года и вскоре приобретшее известность под сокращенным названием АПЛ.

Морис Клавель, как и Клод Мориак, был голлистом. Он присоединился к гошистам после 1968 года. После войны, когда в кругах интеллектуалов процветал марксизм-сталинизм, Клавель сотрудничал с журналом ««Liberte de l'esprit». В те годы, когда на страницах этого журнала Клод Мориак разносил левых интеллектуалов, которые «пользовались своим авторитетом, позволяя себе ханжество и глупости»^[392], Клавель писал романы, пьесы... Одно время он преподавал философию в лицее, но своей несерьезностью заслужил стойкую враждебность главного инспектора и вынужден был оставить это занятие. Как нетрудно догадаться, этим инспектором был Жорж Кангийем. Клавель зарабатывал, чем попало, а затем прибил к техническому советнику генерала де Галля, приятелю по подготовительным курсам, который позже приложит все усилия, чтобы он опять получил возможность преподавать. Кстати, этот человек окажется среди тех, кто препятствовал назначению Фуко на пост заместителя главного инспектора высшего образования. В 1966 году, порвав с генералом де Голлем из-за дела Бен Барки, Клавель начал работать в журнале «Le Nouvel Observateur» и быстро стал там ведущим хроникером. После выхода книги «Слова и вещи» он принялся превозносить автора до небес. «Это Кант», — твердил он Жану Даниэлю. «Это Кант», — писал он в статьях^[393].

В 1968 году Клавель, как и другие, пережил шок. Этот ревностный католик вдруг обратился к романтически-гошистским темам, которые развил в небольшом фильме, снятом для телепередачи: «Сражаться на равных». В среду, 13 декабря 1971 года, он оказался лицом к лицу с Жаном Руайе, депутатом и мэром Тура, известным своим ультраконсерватизмом. В экзальтированном комментарии, сопровождающем кадры фильма, Клавель

упомянул «отвращение», которое испытывал президент Помпиду к Сопротивлению. Эта формулировка шокировала ведущих передачи, и фраза была вырезана из комментария. После показа фильма телезрителям Клавель, находившийся в прямом эфире, встал и крикнул: «Господа цензоры, я вас приветствую!» — после чего покинул студию, что целиком заняло прессу в последующие дни.

Цель АЛЛ: собирать и распространять сведения о происходящей борьбе, о деятельности политических движений, публиковать те фотографии и коммюнике, которым трудно пробиться сквозь фильтр других агентств и отвоевать себе место под солнцем. Фуко с самого начала сотрудничает с агентством. Так, он изъявляет желание вместе с Клавелем и Сартром расследовать смерть Пьера Овернея, активиста маоистского движения, убитого 25 февраля 1972 года перед заводом Рено в Бийянкюре. Однако напряженность ситуации не позволила вступить в контакт с рабочими.

Агентство быстро нашло точки соприкосновения с другим проектом. Маоисты из «La Cause du peuple», почувствовали, что они варятся в своем соку и решили вырваться из сектантской изоляции и отказаться от силовых акций. «Красная помощь» уже пыталась объединить демократические силы, чтобы расширить фронт борьбы против репрессий, обрушившихся на все гошистские движения. Кстати, Фуко достаточно активно сотрудничал с этой группой. Проект, родившийся в конце 1972 года, был прост, но амбициозен: выпускать ежедневную газету, которая стала бы освещать ход борьбы, не являясь при этом органом политической группы. Сартр согласился возглавить газету. Несмотря на болезни, он с головой уходит в долгую и сложную подготовку издания, которое станет одной из основных ежедневных газет Франции^[394]. Он даже принял приглашение Жака Шанселя, ведущего передачи «Радиоскоп», прийти на радио 7 февраля 1971 года. Последний раз Сартр выступал на государственном канале в 1960 году, во время войны с Алжиром, с «Манифестом-121». Но ради того, чтобы рождение газеты получило как можно более широкую огласку, он в течение часа покорно участвовал в предложенной игре в вопросы и ответы, рассказывал о своей жизни, о своих книгах, стараясь все время возвращаться к тому, что являлось для него главным, — к газете «Libération».

Новая газета в специальном манифесте была представлена как «ловушка, помещенная в джунглях информации», как ежедневная газета, которая, наконец, предоставит слово народу.

В последние месяцы 1972 года и в начале 1973 года собрания

проходили в третьем арондисмане, на улице Бретань. Обсуждались новые формы журналистики. Со стороны маоистов в собраниях участвовали Пьер Виктор и Серж Жюли. Филипп Гави представлял немаоистские, более открытые политические группы. Присутствовали и интеллектуалы: Жан Поль Сартр, Клод Мориак, Мишель Фуко, Александр Астрюк... Интеллектуалы оказывали финансовую помощь, стремились реально повлиять на выработку основных принципов газеты. Фуко предложил создать повсюду во Франции «комитеты «Libération»» и отвести им основную роль в жизни газеты. Каждый комитет должен был не только заниматься ее распространением, но также собирать информацию, находить ее, то есть являться коллективным автором. А пресловутый «контроль народа», по его мнению, следовало осуществлять при посредничестве внешних групп — объединений правонарушителей, гомосексуалистов, женщин и т. д.

Сам Фуко хотел заняться «хроникой памяти рабочего класса». В одном из нулевых номеров газеты^[395] он публикует беседу с рабочим концерна «Рено» по имени Жозе и представляет рубрику, которая мыслилась им как постоянная. «В сознании рабочих, — говорит он, — существует фундаментальный опыт, выросший из больших битв: Народный фронт, Сопротивление... Однако газеты, книги и профсоюзы либо выбирают из него то, что им нужно, либо вообще предают его забвению. Это забвение не позволяет воспользоваться знанием и опытом рабочего класса. Было бы интересно на базе газеты собрать то, что забыто, опубликовать и, главное, использовать этот материал для выработки возможных инструментов борьбы»^[396]. Материалы рубрики, по замыслу Фуко, могли опираться на опыт XIX века, свидетельства более отдаленных эпох и составить историю народной борьбы.

Через месяц Фуко опять встречается с португальским рабочим «Рено». Газета представляет Фуко как «активиста и профессора Коллеж де Франс».

Жозе:

«Роль интеллектуала, желающего служить народу, состоит, возможно, в том, чтобы отражать и распространять свет, идущий от эксплуатируемых. Он — своего рода зеркало».

Мишель Фуко:

«Думаю, ты несколько преувеличиваешь роль интеллектуалов. Никто не станет оспаривать то, что рабочие не

нуждаются в интеллектуалах, чтобы понять, что они делают, они и сами это знают. Я полагаю, что интеллектуал — это некто, подключенный не к аппарату производства, а к аппарату информации. Он может сделать так, чтобы его услышали. Он может писать для газеты, изложить свою точку зрения. Он также подключен к аппарату информации о прошлом. У него есть знание, полученное из множества книг, которым другие не располагают напрямую. Его роль, следовательно, состоит не в формировании сознания рабочих, поскольку оно уже существует. Важно, чтобы это сознание, это знание рабочих вошло в информационную систему, нужно содействовать его распространению и тем самым помочь другим рабочим или прочим людям, не понимающим, что происходит, осознать реальное положение дел. Я не возражаю против твоего зеркала, если подразумевать под ним способ передачи опыта. [...] Можно сказать так: знание интеллектуала всегда неполно по сравнению со знанием рабочего. То, что мы знаем об истории французского общества, — лишь малая часть огромного опыта, которым располагает рабочий класс»^[397].

Фуко не видит себя ни просто авторитетным «крестным» газеты, ни даже автором, публикующим в ней время от времени статьи. Он хочет принимать в издании газеты самое активное участие: писать репортажи, посещать собрания, принимать решения... Но вскоре осознает, что его концепция журналистской деятельности может быть осмысленной лишь при условии, что он будет приходить в редакцию каждый день. Однако было очевидно, что он не мог проводить все свое время в стенах редакции, как это делали те, кто действительно нес ответственность за выход газеты. К тому же эти люди не очень-то жаждали, чтобы над ними нависали интеллектуалы. Как говорит Филипп Гави, их концепция была куда более «манипуляторской», чем полагал Фуко.

Поэтому сотрудничество Фуко с «Libération» остановилось на стадии предварительной работы. Хотя пару статей для этой газеты он все же написал, в частности, опубликованную без подписи статью о преступности, вызвавшую в 1972 году сердитую отповедь Сержа Ливрозе. Жизнь в «Libération» протекала достаточно нервно. Позже Морис Клавель писал:

«Помнится, я принял скромное участие в создании гошистской газеты «Libération» вместе с командой маоистов —

дружной, мужественной, исполненной энтузиазма. Однако очень быстро они перессорились между собой. Через несколько месяцев, не без братской помощи, они уничтожили друг друга»^[398].

На протяжении 1975–1980 годов Фуко охотнее печатался в журнале «Le Nouvel Observateur». И только около 1980 года возобновил регулярное сотрудничество с «Libération». Клод Мориак записал несколько разговоров с Фуко, касавшихся «Libération», которые состоялись в 1975–1976 годах: Фуко говорил о том, как ему грустно видеть, как эта газета лжет изо дня в день, соперничая с правой прессой, с особым пылом извращавшей факты. В это время в речах Фуко на политические темы появляется новый сюжет: чтобы завоевать доверие и добиться эффективности, нужно доискиваться правды и — главное — говорить правду. «Правдоречие», откровенность должны быть основополагающими принципами журнализма.

Фуко сохранит дружеские отношения с Морисом Клавелем. Когда в 1976 году Клавель затеет телевизионную передачу, которая должна была сниматься в его доме в Везеле, он пригласит Фуко принять в ней участие. Фуко согласится. На съемки придут Кристиан Жамбе, Ги Лардро, Андре Глюксман... Политические дебаты отошли в тень, гошизм умер, и бывшие маоисты задумались о Боге и о природе тоталитаризма. Однако связи, завязанные в эпоху гошизма, в частности внутри маоистских движений, не распадутся, как не распались связи, возникшие между сталинистами в послевоенные годы, когда они «поправили»: дружба, взаимопомощь, кооптация.

Клавель искренне восхищается Фуко. Он все время говорит о нем. Он посвящает Фуко десятки страниц в книге «То, что я думаю», которая вышла в 1975 году. Там же он цитирует письмо Фуко, посланное ему в апреле 1968 года. Фуко благодарит Клавеля за глубокое проникновение в то, ради чего написана книга «Слова и вещи», и за анализ его теоретических поисков^[399]. В одной из статей 1976 года, появившейся после выхода «Воли к знанию», Клавель исповедуется в своем страстном увлечении Фуко:

«Всем известна моя слабость к Фуко, в котором я вижу Канта, человека, «после которого нельзя мыслить, как раньше». Впрочем, Кант, как, кажется, установлено, довольно быстро впал в спячку, тогда как Фуко будит и поддерживает наше внимание все более мощными толчками»^[400].

После смерти Клавеля, в 1979 году, Фуко помянет товарища по борьбе: он опубликует в журнале «Le Nouvel Observateur» короткую эмоциональную статью, где сравнит его с Бланшо — а это многого стоит! «Бланшо — диафонический, недвижимый, алкающий света, что прозрачнее самого света, внимающий знакам, что если и подадут знак, то только в движении, в котором изглаживаются. Клавель: нетерпимый, бросающийся вперед при малейшем движении, вопиющий во мраке, взывающий к грозам. Эти двое — можно ли представить себе более непохожих людей? — открыли для мира без руля и ветрил, где мы живем, единственное усилие, которому не грозит осмеяние и за которое не стыдно: то, что обрывает времен связующую нить». И заключает:

«Он находился в эпицентре того, что, вероятно, является определяющим для нашей эпохи. Я имею в виду широкое и глубокое изменение в сознании Запада, понемногу формирующееся историей и временем. Все то, что скрепляло это сознание, все то, что придавало ему протяженность, все то, что обещало расцвет, оборвалось. Кое-кто хотел наложить заплату. Он говорит нам, что нужно по-другому проживать время прямо сегодня. Особенно сегодня»^[401].

*

«Что мы сделали? Боже мой, что мы сделали?» — Профессор Коллеж де Франс позвонил Жоржу Дюмезилю в один прекрасный день 1971 года, чтобы поделиться своим смятением. В свое время он содействовал избранию Фуко. Почерпнутая из газет информация о демаршах нового коллеги: Фуко рядом с Сартром среди гошистов, Фуко во главе колонны иммигрантов, Фуко у ворот тюрьмы — вывела его из душевного равновесия. «Что мы наделали?!» — кричал профессор. Возможно, он хотел узнать мнение Дюмезиля, который пользовался среди коллег большим научным и моральным авторитетом. Но Дюмезиль постарался успокоить коллегу. «Мы все сделали правильно», — ответил он. Он вовсе не разделял политических взглядов Фуко, просто не видел ничего трагического в «вакханалиях» своего протеже. Можно даже сказать, что Дюмезиль не относится к поступкам Фуко всерьез. Он воспринимает их как одну из тех комедий, которую человек разыгрывает для себя и для других. И потом, ему уже больше семидесяти и он не хочет из-за политики

ставить под угрозу старую дружбу. Он давно потерял интерес к политике. Когда Фуко приходит к нему, они избегают разговоров на эту тему. Время от времени Дюмезиль позволяет себе пошутить: «Что это тебя опять понесло в тюрьму?!» Стоит ли из-за этого ломать отношения, завязавшиеся пятнадцать лет назад на ледяных дорогах Севера и в коридорах Каролины Редививы.

История показала, что Дюмезиль был прав. И что профессор, бесновавшийся по поводу отнюдь не академических занятий Фуко, был неправ: Мишель Фуко не только блестяще читал лекции, но и участвовал в жизни коллежа наравне с коллегами. «Существовало два Фуко, — говорит Леруа Ладюри, — Фуко демонстраций и Фуко коллежа. Он очень серьезно относился к своим академическим обязанностям».

Фуко включился в академические игры, пытаясь время от времени немного встряхнуть коллеж, как, например, в тот раз, когда он предложил для избрания кандидатуру Булеза. Он принимает участие в дискуссиях, высказывает свое мнение по поводу кандидатов в профессора коллежа. Он умеет устранить кандидатов, которые ему не нравятся, и организовать поддержку тем, кто пользуется его благосклонностью.

В Коллеж де Франс Фуко читает лекции по средам. В первый год он говорит о «воле к знанию» — пока это не книга, а тема исследований, затем, в 1971/72 учебном году заявляет о курсе «Теории и пенитенциарные учреждения», в 1972/73-м — «Карательное общество». В 1973/74-м — «Власть психиатрии», в 1974/75-м — «Ненормальные». Наконец, в 1975/76 учебном году он обратится к использованию военных схем в политическом дискурсе. Название курса читается как лозунг: «Нужно защищать общество». В 1976/77 учебном году Фуко приостановил чтение лекций^[402]. В 1977/78 учебном году он анализирует «управление населением» в курсе, озаглавленном «Безопасность, территория, население». Начиная с этого времени Фуко приступит к исследованиям областей, очерченных в «Истории сексуальности», постепенно уходя вдаль по временной шкале. Вплоть до последнего учебного года — 1983/84-го, когда он обращается к соотношению понятий «правдоречие» (*parrhesia*) и «забота о себе» в Древней Греции.

Каждый понедельник у Фуко часовой семинар. На лекциях Фуко поясняет, что приглашает на семинар лишь тех, кто занят научными изысканиями. Но каждый раз находит в аудитории более ста человек^[403] — с таким количеством было трудно наладить непосредственный контакт. Фуко попытался было ввести более строгую процедуру допуска, но был

призван к порядку администрацией. Главный принцип Коллеж де Франс — курс должен быть открыт для всех. Тогда Фуко идет на уловки: так, в ноябре он собирает у себя в кабинете небольшую группу студентов и исследователей и распределяет темы выступлений для январских занятий, когда начинаются лекции и семинары. В конце концов он объединит лекции и семинары в двухчасовое занятие, которое назначит на утро среды^[404], продолжая собирать в своем кабинете или — иногда — в кафе небольшую группу людей, с которыми его связывают общие исследования, ведущиеся уже на протяжении пяти лет.

Дать точный и полный список «птенцов Фуко» невозможно, поскольку границы этой группы весьма размыты. Видимо, в ней тоже разгорались конфликты, ссоры, которые порой приводили к скандальным разрывам. Этот круг, что неудивительно, смахивал на придворный: он знал соперничество, борьбу за титулы и первенство. Должно быть, такова участь любого семинара. И семинар Фуко не стал исключением. Фуко прекрасно отдавал себе в этом отчет и тревожился. Он говорил об этом с некоторыми друзьями. В одном из писем он рассуждает о роли разных членов семинара и с беспокойством спрашивает: что происходит между ними в мое отсутствие?

В этом вопросе следует соблюдать осторожность и объективность и основываться только на официальных источниках. Спустя некоторое время по окончании курса, обычно в июне, Фуко, как того требовали правила, составлял для «Ежегодника Коллеж де Франс» резюме прочитанных лекций. Иногда он указывал имена тех, кто выступал на семинаре, и темы докладов. Списки, конечно, неполны, кроме того, они составлялись Фуко не каждый год. В 1970 году семинар был посвящен «карательным мерам» во Франции XIX века, в 1971/72 учебном году — «случаю» Пьера Ривьера. Фуко записывает имена участников: Робер Кастель, Жан-Пьер Петер, Жиль Делёз, Александр Фонтана, Филипп Рио и Маривон Сезон. 1972/73 учебный год ушел на подготовку к публикации материалов дела Ривьера. Фуко не дает списка участников, но, если обратиться к именам, упомянутым в издании, к вышеназванным исследователям следует прибавить Блондена Барре-Кригель, Патрицию Мулен, Жанну Фавре, Жильбера Бурле-Торвика и Жоржетт Леже. Жиль Делёз в издании книги не участвовал. В 1973/74 учебном году на семинаре разбирались две темы: «Медико-судебная экспертиза в области психиатрии» и «История больниц и больничной архитектуры XVIII века». Эта вторая тема нашла отражение в другой коллективной публикации — «Машины излечения». Среди авторов — Мишель Фуко, Блонден Барре-Кригель, Анн Талами, Франсуа

Бепозен и Брюно Фортье^[405]. В 1974/75 учебном году семинар продолжал работать над проблемой медико-психиатрической экспертизы. В 1975/76 учебном году исследовались понятие «генеалогия» в противовес «истории», «борьба рас» и «опасный индивид» с точки зрения судебной психиатрии.

В 1977 году семинар приступил к разбору «всего того, что способствует усилению мощи государства», в частности, «правил, служащих поддержанию порядка, дисциплины». Доклады были прочитаны Паскалем Пасквино, Анн-Мари Мулен, Франсуа Делапортом и Франсуа Эвальдом.

1978/79 учебный год проходит в изучении юридической мысли в конце XIX века. Докладчики: Франсуа Эвальд, Катрин Мевель, Элиан Алло, Натали Коппингер и Паскаль Пасквино, Франсуа Делапорт и Анн-Мари Мулен.

В 1979/80 учебном году семинар посвящен некоторым аспектам либеральной мысли XIX века. Докладчики: Натали Коппингер, Дидье Делёль, Пьер Розанваллон, Франсуа Эвальд, Паскаль Пасквино, А. Шуц, Катрин Мевель^[406].

По мнению администрации, Фуко «никогда не имел ассистента в строгом смысле этого слова». Функции ассистента выполняли двое: с 1977 по 1980 год Франсуа Эвальд, работавший сначала в системе среднего образования, затем в Национальном центре научных исследований, а с 1980 по 1983 год — Элиан Алло, ассистент Коллеж де Франс.

Фуко любил коллективную работу. Вероятно, именно поэтому ему так нравились американские университеты: они давали возможность создать именно такой семинар, о котором он мечтал. Он часто говорил об этом Полу Рабиноу.

Когда время гошизма прошло, Фуко продолжал дружить с некоторыми из своих бывших соратников. И все же дружба с одним из них не пережила смены политического контекста, произошедшего в 1975 году: как ни странно, речь идет об отношениях старинных и искренних. Тем не менее это факт. При этом нельзя сказать, что отношения были разорваны. Просто друзья перестали видеться. Или, точнее, Фуко решил отдалиться от когда-то много значившего для него человека — от Жюль Делёза, с которым дружил с 1962 года.

Эта дружба завязалась в Клермон-Ферране, под сенью Ницше. С годами она окрепла и стала проявляться, в частности, в статьях философов, где каждый отдавал дань трудам другого. Делёз приветствовал книгу Фуко

о Русселе на страницах журнала «Arts»^[407]. В 1966 году он напечатал в «Le Nouvel Observateur» рецензию на «Слова и вещи»^[408]. В 1970 году Делёз подробно разобрал книгу «Археология знания» в журнале «Critique». Заглавие статьи — «Новый архивариус» — вошло в общее употребление^[409]. В 1975 году в том же журнале Фуко публикует рецензию на книгу «Надзирать и наказывать» под заголовком «Писатель? Нет, новый картограф»^[410].

Фуко отвечает тем же. В 1969 году в «Le Nouvel Observateur» появляется статья «Ариадна повесилась», посвященная «Различию и повторению»^[411]. В 1970 году он разбирает на страницах журнала «Critique» «Логiku смысла» и «Различие и повторение» в статье «Theatrum philosophicum».

«Я намереваюсь, — говорит Фуко в начале этого текста, — говорить о книгах, которые я числю среди самых великих. Они настолько значительны, что о них трудно судить, и мало кто осмелился на это. Думаю, эти книги, загадочным образом перекликающиеся с книгами Клоссовски, другим грандиозным и масштабным творением, еще долго будут недостижимыми для нас. Но, возможно, когда-нибудь наступит век Делёза»^[412].

Фуко — Делёз. Дружба не только философическая, но и политическая. В 1971 году, когда Фуко создает «Группу информации о тюрьмах», Делёз присоединяется к ней одним из первых. Он входит в комиссию по расследованию дела Жобера. Он энергично сражается в комитете «Джелали». Длинная беседа о роли интеллектуалов свидетельствует об их единомыслии. Этот диалог — «Интеллектуалы и власть» — опубликован в 1972 году в журнале «Arts», в номере, посвященном Делёзу^[413]. Фуко и Делёз пытаются дать определение новому отношению интеллектуалов к тому, что предшествующее поколение называло «ангажированностью». Отныне речь уже не может идти о «тотализации» борьбы, о превращении ее в теорию, о приписывании ей смысла. «Тотальному интеллектуалу» в духе Сартра они противопоставляют интеллектуала «специфического». Это означает, что борьба должна идти на определенных, конкретных участках. «Ныне такие виды борьбы являются частью революционного движения при условии, что они радикальны, бескомпромиссны и очищены от реформизма, от стараний, направленных на то, чтобы обустроить ту же самую власть, ограничившись всего-навсего сменой хозяина. Эти движения связаны с революционным движением пролетариата в той мере, в какой ему предстоит низвергнуть все виды контроля и принуждения, что повсюду

возобновляют ту же самую власть... Форму всеобщности борьбе придает сама система власти, все виды осуществления и применения власти». И Делёз отвечает:

«Поэтому мы не можем прикоснуться к какой-либо точке приложения власти, чтобы не столкнуться с рассеянной совокупностью этих точек, которую нельзя не хотеть низвергнуть, пусть даже исходя из ничтожнейшего требования или протеста. Таким образом, всякая частная революционная оборона или атака соединяется с рабочей борьбой»^[414].

1975-й, 1976-й, 1977-й: политический ландшафт изменился. И оба участника этого диалога отказались от прежнего словаря. Хотя в книги Фуко, публиковавшиеся в эти годы, в частности в «Надзирать и наказывать», проникли некоторые элементы той проблематики. Очевидно, что только что опубликованная книга содержит мысли, которые двигали автором в момент, когда она задумывалась и писалась. Мысль всегда опережает публикацию. Возможно, именно этот разрыв стал причиной «кризиса», наступившего для Фуко после выхода «Воли к знанию» и затянувшегося на 1976 и 1977 годы. Можно ли считать, что этот кризис отдалил Фуко от Делёза? Больше они не встречались.

Думается, что истинная причина расхождения кроется все же в политике. В 1977 году они вместе борются против экстрадиции Клауса Круассана, адвоката «банды Баадера-Майнхоф», попросившего политического убежища во Франции: в Германии ему грозил суд за превышение должностных полномочий и оказание помощи подзащитным, не связанной с исполнением его прямых обязанностей. Власти намеревались выслать его назад в Германию, что привело Фуко в ярость. 14 ноября 1977 года он писал в журнале «Le Nouvel Observateur»:

«Вы имеете право на адвоката, который говорит с вами и за вас, который помогает вам быть услышанным и сохранить жизнь, индивидуальность и силу протеста. [...] Это право — не юридическая абстракция, не идеал мечтателя; это право является частью исторической реальности и не может быть уничтожено»^[415].

Когда Клауса Круассана должны были выпустить из тюрьмы, чтобы затем выдворить из Франции, Мишель Фуко пришел к тюрьме «Санте» с

несколькими десятками единомышленников. Они хотели образовать символический живой барьер. Полиция разогнала собравшихся, действуя жестко: Фуко даже сломали ребро. Через несколько дней Фуко все через тот же журнал «Le Nouvel Observateur» призвал левых лидеров занять адекватную позицию и, в частности, выступить в защиту двух женщин, привлеченных к уголовной ответственности за то, что они до ареста «прятали» Клауса Круассана в Париже^[416]. Когда министр юстиции Ален Пейрефит вступил в полемику с бывшим товарищем по Эколь Нормаль, со стороны Фуко последовала суровая отповедь^[417]. После экстрадиции Клауса Круассана Фуко и многие другие интеллектуалы — Жан Поль Сартр, Симона де Бовуар, Маргерит Дюрас — призвали парижан выйти 18 ноября на площадь Республики. Как мы видим, Фуко не щадит сил для защиты немецкого адвоката. Он действительно «ангажирован». Однако Фуко стремится сконцентрировать борьбу на юридической проблеме. Он защищает адвоката, а не его клиентов. И речи нет о том, чтобы поддерживать тех, в ком он видит «террористов». И в этом коренится его расхождение с Делёзом. Делёз также встал на защиту Клауса Круассана. Однако Фуко и Делёз поставили свои подписи под разными текстами. В тексте, подписанным Фуко, говорится о праве на защиту и об экстрадиции. В тексте же, подписанном Делёзом и Феликсом Гваттари, говорится о Западной Германии как о государстве, дрейфующем в сторону полицейской диктатуры. Видимо, с этого и началась «ссора» Фуко и Делёза — точнее, отход Фуко от Делёза. Не было ни сцен, ни споров, ни объяснений. Просто их долгий союз распался.

Эта версия подтверждается записью в дневнике Клода Мориака, датированной 10 марта 1984 года. В тот момент Мориак и Фуко пытались помочь иммигрантам, выдворенным из их жилья на Гут-д'Ор. Они ломали голову над тем, кому дать на подпись письмо, адресованное мэру Парижа. «N... не то», — говорит Фуко. Нет, он не может обратиться к этому человеку. И, поскольку Мориак удивлен, объясняет:

«Мы больше не видимся... Со времен Клауса Круассана. Терроризм и кровь для меня неприемлемы, я не мог относиться к Баадеру и его банде с одобрением»^[418].

Клод Мориак, обычно называвший имена людей, о которых шла речь, предпочел зашифровать имя того, о ком говорил Фуко. Но загадочный N — это, конечно, Жиль Делёз.

Начиная с этого времени — конца 1977-го — начала 1978-го — Фуко и

Делёз перестают встречаться. Их дороги разошлись. Каждый продолжал читать книги и статьи другого: отныне это был их единственный способ общения.

Через месяц после экстрадиции Клауса Круассана Фуко оказался в Германии, где с ним произошли странные и неприятные инциденты. В декабре 1977 года он отправился в Берлин с Даниэлем Дефером. Они намеревались съездить в Восточный Берлин, но столкнулись с негостеприимством полицейской бюрократии: у них самым тщательным образом проверили документы, с их записей сняли копии, они должны были сообщить все данные о книгах, названия которых значились в их записных книжках... Как скажет Фуко, впечатления были «самые тяжелые». Прошло два дня. Когда они вышли из отеля — дело происходило уже в Западном Берлине, — рядом с ними остановились три полицейские машины. В мгновение ока их окружили полицейские с автоматами. Последовал обыск. За завтраком они обсуждали книгу об Ульрике Майнхоф, и кто-то донес на них. Их отвезли в полицейский участок для проверки документов. «Мы ни в чем не виноваты, — заявил Фуко через газету «Der Spiegel». — Просто тот, кто выглядит как интеллеktуал, вызывает подозрение. Любая власть видит в интелеktуалах гнусных типов»^[419].

Прошел месяц. Фуко идет по промерзшим улицам Ганновера в рядах демонстрантов, выступающих в защиту Петера Брюкнера, профессора, изгнанного из университета за то, что он выступил с поддержкой запрещенной книги (впоследствии Фуко напишет предисловие к французскому изданию памфлета Брюкнера «Враг государства»^[420]). На этот раз Германия уже не кажется ему мрачной страной «запретов на профессии». В январе 1978 года он едет с Катрин фон Бюлов в Западный Берлин, где собираются тридцать тысяч человек и на протяжении трех дней с энтузиазмом обсуждают возможности борьбы, открывающиеся перед «альтернативными» движениями.

Разница в позициях, которые заняли Фуко и Делёз в деле Круассана, является следствием того, что они постепенно разошлись в отношении к политике в целом. Это расхождение всплыло в споре «новых философов». Делёз смешал с грязью Глюксмана и его товарищей в небольшой брошюре — специальном приложении к журналу «Minuit». Он разнес пустые и ничего не значащие, с его точки зрения, концепты тех, кого считал фиглярами, годными лишь для участия в телепередачах. Делёза «ужасали» их самоотречение, их «мученичество». «Они жируют на трупах других», —

заявил он. Текст пестрит подобными формулировками. Эти жестокие слова датированы 5 июня 1977 года^[421]. Делёзу известно, что за месяц до этого Фуко в «Le Nouvel Observateur» расхвалил книгу Андре Глюксмана «Мыслители-властители». Глюксман, принадлежавший к ультрамаоистам, в 1974 году сменил ориентиры: с этого времени он приступает к систематическому обличению ГУЛАГа, а также тоталитаризма и философов, подводящих под него базу. Фуко благодарит его за то, что тот открыл философский дискурс голосам «этих беглецов, жертв, непокоренных, непримиримых диссидентов — короче, этих «горячих голов» и всех прочих, кого Гегель хотел изгнать из ночи мира»^[422].

Скорее всего, в тот момент выбор Фуко был продиктован скорее политическими, нежели философскими мотивами. В последующие годы он будет часто разговаривать с друзьями о Делёзе. В частности, с Полем Вейном. Это «единственный действительно философский ум во Франции», как часто повторял Фуко. В конце жизни одним из самых жгучих его желаний было примирение с Делёзом. Даниэль Дефер знал об этом. После смерти Фуко он обратился к Делёзу с просьбой выступить на похоронах. Должно быть, примирения искал и Делёз, посвятивший Фуко прекрасную книгу, умную и эмоциональную. Что подвигло его написать эту книгу? «Я должен был сделать это, — отвечает Делёз. — Потому что я восхищаюсь им, потому что его смерть и труды, оставшиеся незавершенными, волнуют меня»^[423].

Глава пятая

«Нами всеми управляют...»

22 сентября 1975 года. В баре большой мадридской гостиницы Ив Монтан зачитывает декларацию:

«Одиннадцать мужчин и женщин приговорены к смерти. Приговорены чрезвычайным судом. Они были лишены права на правосудие. На правосудие, требующее предъявления доказательств вины. И на правосудие, которое, каким бы тяжким ни было обвинение, гарантирует соблюдение законов. И на правосудие, запрещающее жестокое обращение с заключенными. Европа всегда отстаивала правосудие. Ей следует и теперь отстаивать его всякий раз, когда над ним нависает угроза. Мы не собираемся добиваться признания их невиновности, у нас нет такой возможности. Мы не ждем запоздалого милосердия, прошлое испанского режима не позволяет нам проявлять терпение. Мы требуем, чтобы основополагающие правила правосудия соблюдались как по отношению к гражданам Испании, так и по отношению к иностранцам».

Рядом со знаменитым актером — Режи Дебре, Коста-Гаврас, Жан Лакутюр, Клод Мориак и Мишель Фуко... Именно он написал текст декларации.

За несколько дней до этого Фуко позвонила Катрин фон Бюлов: «Нужно что-то делать. Мы не можем позволить франкистской диктатуре расправляться с молодежью...» Фуко согласен: нужно что-то делать. Но что? Надо думать. Но не очень долго. Собрание было назначено на следующее утро. Оно состоялось у Катрин. Пришли Клод Мориак, Жан Даниэль, отец Ладуз, Режи Дебре и Коста-Гаврас. Кинорежиссер предлагает поехать в Испанию. Личное присутствие куда эффективнее, чем всевозможные петиции, манифесты и демонстрации.

«Фуко сразу же понравилась эта безумная идея, и он быстро уговорил меня ехать, — рассказывает Клод Мориак. — Мы получили также согласие Ива Монтана, который отсутствовал в то утро, но примкнул к нам»^[424].

Однако высказанное Режи Дебре, Жаном Даниэлем и Коста-Гаврасом предложение созвать пресс-конференцию Фуко встретил без особого энтузиазма. «Нам нужно придумать, — сказал он, — как сделать нашу акцию зрелищной. Наш приезд в Испанию, связанный с риском (не таким уж значительным, но все же реальным) — это важно. В этом есть новизна, никто еще так не делал. Но если это только ради пресс-конференции...»^[425] Фуко скорее склонялся к тому, чтобы раздавать на улицах листовки. После продолжительных дискуссий и мук решено: пусть будет пресс-конференция, но еще и декларация, которую должны подписать знаменитости. Составлен список. Конечно, Сартр. Несмотря ни на что — Арагон. Клоду Мориаку поручено обратиться к Андре Мальро. Катрин фон Бюлов произносит имя Симоны де Бовуар, чем вызывает у Фуко приступ ярости. Впоследствии это воспоминание вызывало у нее улыбку, но тогда она растерялась, услышав: «Нет уж, только не эта дама. Иначе я отказываюсь ехать». Фуко еще не переварил нападок Сильвии Лебон, confidentки Сартра и Бовуар, обрушившихся на него в 1967 году со страниц «Les Temps modernes».

Клод Мориак сумеет заполучить подпись Мальро. Фуко — подпись Арагона. В конце концов, под декларацией окажется пять подписей: Андре Мальро, Пьер Мендес-Франс, Луи Арагон, Жан Поль Сартр, Франсуа Жакоб. Семь человек отправятся в Испанию. Жан Даниэль договорится о том, чтобы организацию этого крайне деликатного дела взяла на себя редакция «L'Observateur». Но сам он не сможет присоединиться к группе: в понедельник, день, когда журнал сдается в печать, он должен быть в Париже. Однако его заменит Жан Лакутюр — он напишет репортаж о внезапном десанте в страну агонизирующего, но все еще смертоносного фашизма. Семь часов. Они должны провести в Испании не больше семи часов. Что уже подвиг. Они не надеются спасти приговоренных. Но они хотят, чтобы их протест прозвучал в столице Испании.

В здании аэропорта Фуко говорит Клоду Мориаку и его жене, пришедшим проводить делегацию:

«В студенческие годы я обожал Андре Мальро. Я знал наизусть целые страницы его книг...»

Прилет в Мадрид прошел без происшествий. Началась пресс-конференция. Ив Монтан зачитал по-французски привезенную декларацию. «Мы приехали в Мадрид, — закончил он, — чтобы передать вам эту декларацию. Нас толкнула на это серьезность положения. Мы

приехали, чтобы донести до вас, что возмущение, которым мы преисполнены, делает нас солидарными с теми, чья жизнь оказалась под угрозой». Но, как только он передал слово Режи Дебре, который должен был прочесть испанский перевод текста, в помещение ворвались полицейские в гражданской одежде и приказали всем оставаться на своих местах и не двигаться.

Коста-Гаврас выступил переводчиком. Фуко спросил: «Мы арестованы?» Ответ полиции: «Нет, но все должны оставаться на своих местах». Фуко, державший несколько экземпляров декларации, отказался отдать их полицейским. Произошла короткая схватка между разгневанным философом и стражем порядка. Один из тысячи обликов Фуко. «Бледный, напряженный, дрожащий, — рассказывает Клод Мориак, — готовый прыгнуть, ударить, перейти к нападению — бессмысленному, опасному и прекрасному, восхитительный в своем протесте, в своей агрессивности, в своей смелости, которая является, что чувствуется (и как известно), чисто физической реакцией и моральным принципом: не дать полицейскому дотронуться до себя и не подчиняться его приказам...»^[426] Через несколько дней Фуко прокомментирует происшедшее в газете «Libération»:

«Я считаю, что работа полицейского состоит в том, чтобы применять физическую силу. Поэтому тот, кто сопротивляется полиции, не должен допускать, чтобы они лицемерно прикрывались приказами, требуя немедленного подчинения. Пусть они покажут себя во всей красе»^[427].

Фуко уступит только под давлением Клода Мориака, которому шепнет:

«Если бы у него был автомат, естественно, я проявил бы большую сговорчивость»^[428].

Драматизм ситуации не лишает Фуко чувства юмора. Его смелость стала самым ярким воспоминанием Ива Монтана об этой поездке в Испанию. Впрочем, о смелости Фуко, размахе протеста, воле противостоять репрессивному полицейскому акту — «дисциплине» — говорят все свидетели его правозащитной деятельности.

Через короткое время команда полицейских в форме, вооруженных автоматами, арестовала всех присутствовавших журналистов и большинство иностранцев. Им надели наручники. Некоторых отпустили через два часа, других — поздно ночью^[429]. Семь французских

«наймитов», как назвала их на следующий день франкистская газета «Arriba», под эскортом полицейских покинула гостиницу — уже без наручников. Фуко описал эту сцену на страницах «Libération»:

«Ив Монтан вышел последним. Как только он появился в дверях, вооруженные полицейские заняли позиции вверху и внизу лестницы; их машины стояли поодаль. За машинами собралась глазевшая толпа. Это было похоже на репетицию сцены Z, когда левый депутат Ламбракис отведал дубинок. Монтан, исполненный достоинства, с высоко поднятой головой, медленно спустился по лестнице. Именно в этот момент мы поняли, что такое атмосфера фашизма. То, как люди смотрели: не видя, как будто им уже сотню раз доводилось присутствовать при подобной сцене. И одновременно — с такой грустью... И молчание»^[430].

Французских посланцев препроводили в аэропорт, и после тщательнейшего, долгого, бесконечного обыска они оказались в самолете, вылетавшем в Париж. И тут произошел инцидент: полицейский сказал по-испански что-то оскорбительное, обращаясь к отцу Лодузу. И Коста-Гаврас крикнул:

«Abajo fascismo, abajo Franco!»^[431]

Полицейский подбежал к нему и потребовал, чтобы тот следовал за ним. Коста-Гаврас отказался. Самолет не получил разрешения на взлет. Снова потянулось ожидание. Наконец все уладилось, самолет вырулил на взлетную полосу, взлетел и взял курс на Париж. В аэропорте уже ждали журналисты и фотокорреспонденты...

Через несколько дней, когда стало очевидно, что казнь неотвратима, Мишель Фуко, Даниэль Дефер и Клод Мориак пришли на авеню Георга V к испанскому посольству. Один из демонстрантов подошел к Фуко и спросил, не согласится ли тот рассказать о Марксе членам его организации. Фуко взорвался:

«Не хочу больше слышать о Марксе! Ничего не хочу больше слышать об этом господине! Обратитесь к тем, для кого Маркс — профессия. Что касается меня, то я покончил с этим»^[432].

Нужно сказать, что момент, для того чтобы обратиться к философу с подобной просьбой, был выбран неудачно. Однако эта сцена, описанная Клодом Мориак, вписывается в некий контекст: парижские интеллектуалы много спорят о Марксе. Вышедшая в 1974 году во Франции книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» подорвала доверие к марксизму, и этого процесса уже было не остановить. В середине семидесятых годов французский марксизм, доминировавший на протяжении предыдущих тридцати лет, являвшийся обязательным элементом любого теоретического или политического рассуждения, горизонтом эпохи, за который никто не заглядывал, начал рушиться и уходить с интеллектуальной сцены.

29 сентября, после первых казней, Мишель Фуко, Клод Мориак и Даниэль Дефер также участвовали, но на этот раз по отдельности, в огромной демонстрации, двигавшейся от площади Республики в сторону площади Бастилии. Описанием этой демонстрации заканчивается та часть дневника Клода Мориака, которую он хотел назвать «Де Голль, Мальро, Фуко»:

«Когда полетели гранаты со слезоточивым газом, а силы безопасности перешли в атаку, бывший голлист, бывший секретарь генерала де Голля... взметнул вверх кулак, как это сделали тысячи гошистов»^[433].

Дружба Фуко с Ивом Монтаном продлится до самой смерти философа. Одновременно развивались и его отношения с Симоной Синьоре. Они будут часто встречаться и перезваниваться. Их имена то и дело соседствуют под текстами петиций. «Моя подружка», — говорил Фуко об актрисе. Когда он заявлял: «Я обедал с подружкой» или «Я должен позвонить подружке», все понимали, что он имел в виду Симону Синьоре. Еще он называл ее «моя Симона». В 1982 году Мишель Фуко отправится вместе с ней и Бернаром Кушнером в Польшу, чтобы в самом сердце страны выразить свою солидарность с ее народом.

Ив Монтан, рассказывая о своей дружбе с Фуко и показывая письмо, которое философ послал Симоне Синьоре осенью 1981 года, после его выступления в «Олимпии», с трудом справляется с эмоциями. В письме Фуко горячо благодарит их за чудесный вечер и пользуется случаем, чтобы объяснить им в дружбе. «Такое совершенство, вверяемое простой памяти, — это удивительно и трогательно, — писал Фуко 14 октября 1981 года по поводу вечера Монтана. — И потом, вчера царила дружба: наша,

например, прекрасна. Вот уже много лет она много значит для меня. Вчера вы с Монтаном помогли мне полюбить больше в моем прошлом и настоящем. Обнимаю вас».

Между 1975 и 1984 годами они подписали вместе множество петиций и манифестов. Вместе с Бернаром Кушнером, одним из деятелей организации «Врачи мира», они придумали и провели не одну акцию.

Единственная размолвка, о которой вспомнил Монтан, случилась в конце лета 1983 года:

«Глюксман, Кушнер и я — мы составили письмо, адресованное французскому правительству, призывавшее занять более твердую позицию по отношению к Каддафи. Фуко отказался подписать его. Симона последовала его примеру. Подписание дало бы повод думать, что они подталкивают правительство к войне».

Ив Монтан, Симона Синьоре, Мишель Фуко всегда готовы выступить против несправедливости, открыто протестовать. Когда Роже Кнобельспис, брошенный в тюрьму, заявил о своей невиновности, они немедленно организовали его защиту. В 1972 году он был приговорен к пятнадцати годам тюрьмы за ограбление. Свою вину он полностью отрицал. Пятнадцать лет за налет, принесший добычу в 800 франков, — чем не повод для возмущения! Получив право отлучаться из тюрьмы, он бежал и совершил серию налетов, в которых сознался. Новый процесс состоялся в 1981 году.

Однако Кнобельспис — беспокойный заключенный, из тех, кто не молчит и обличает судебную машину. Заключенный, по которому плачет сектор для особо опасных преступников. И пишущий книги, желая быть услышанным: одна из них вышла в 1980 году. Она называлась «QHS»^[434] и была опубликована, как говорится на первой странице, «по просьбе комитета защиты, в который входят, в частности, Мишель Фуко, Жан Жене, Андре Глюксман, Клод Мориак, Ив Монтан, Симона Синьоре, Поль Тибо, при поддержке профсоюза судебного ведомства, профсоюза адвокатов Франции и Французской ассоциации юристов-демократов». Книга открывается предисловием Мишеля Фуко.

«Перед вами жестокий документ, — пишет Фуко. — Вот уже добрый десяток лет во Франции идет разноголосая дискуссия. Многие теряют терпение: им хочется, чтобы профаны молчали,

позволив самой институции предложить реформу. Лучше, чтобы этого не было. Реальные и глубокие изменения вырастают из радикальной критики, из твердого «нет», благодаря голосам, которых не сломить. Книга Кнобельсписа вписывается в эту битву».

Фуко описывает безжалостную логику, ведущую к тюремному заключению и карцеру:

«Он был приговорен за преступление, которое полностью отрицал. Мог ли он приспособиться к тюрьме, не считая себя виновным? Механизм очевиден: поскольку он сопротивляется, он попадает в блок для особо опасных преступников. Если он содержится в секторе для особо опасных преступников, значит, он опасен. «Опасен» в тюрьме и уж тем более на свободе. Следовательно, вполне способен совершить преступление, в котором его обвиняют. Пусть он все отрицает, неважно. Он мог сделать это. Сектор для особо опасных преступников служит доказательством, тюрьма восполняет пробелы следствия»^[435].

Вторую книгу Роже Кнобельсписа «Ярость» представил читателям Клод Мориак. Процесс 1981 года, когда его судили за шесть налетов, совершенных в 1976–1977 годах, в которых он признался, был призван, как писала газета «Le Monde», исправить судебную ошибку 1972 года. Его приговорили к пяти годам тюрьмы, однако присяжные попросили о президентском помиловании, и он был помилован Франсуа Миттераном. Роже Кнобельспис вышел на свободу. В 1983 году его снова арестовали неподалеку от Онфлера по подозрению в налете на бронированную машину. «Правая» пресса иронизировала: куда подевались все те, кто заступался за этого бандита?

Ответ последовал незамедлительно: Симона Синьоре и Мишель Фуко занимают боевые позиции. Фуко заявляет через газету «Libération»:

«Что, в сущности, произошло? Человека приговорили к пятнадцати годам тюрьмы за налет. Через девять лет суд присяжных Руана решает, что приговор был слишком суровым. Он вышел на свободу. И вот его обвиняют в новом преступлении. Вся пресса принимается вопить об ошибке, наивности, оболванивании. На кого она нападает? На тех, кто выступал за

более взвешенное правосудие, на тех, кто утверждал, что тюрьма не способна исправить осужденного. Вот несколько простеньких вопросов. В чем они заблуждались? Все, кто пытался серьезно говорить о проблемах тюрьмы, уже много лет твердят: тюрьма создана, чтобы наказывать и исправлять. Наказывает ли она? Возможно. Исправляет ли она? Конечно, нет. Речь не идет ни о реадaptации, ни о воспитании. Речь идет о воссоздании и укреплении «преступной среды». Тот, кто попадает в тюрьму за кражу нескольких тысяч франков, скорее выйдет из нее гангстером, чем честным человеком. Книга Кнобельсписа красноречиво говорит об этом: тюрьма внутри тюрьмы — сектор для особо опасных преступников — фабрикует отчаянных. Таково мнение Кнобельсписа, таково наше мнение, и было бы хорошо, чтобы оно стало достоянием общественности. Насколько мы можем судить, факты подтверждают правоту этого мнения».

Фуко резко возражает тем, кто твердит о безответственности интеллектуалов:

«Что касается вас, тех, кто в сегодняшнем преступлении видит подтверждение вчерашнего наказания, то вы просто не способны мыслить. Хуже того, вы представляете опасность для нас и для самих себя, если, как мы, не хотите в один прекрасный день стать жертвой правосудия, заостеневшего в беззаконии. Вы опасны с точки зрения истории. Поскольку правосудие должно постоянно сомневаться, а общество — без усталости работать над собой и своими институтами»^[436].

*

Книга «Надзирать и наказывать», вышедшая весной 1974 года, наделала немало шума. Газета «Le Monde» посвятила ей целый разворот, «Magazine Littéraire» — специальный номер. И это только два примера, выуженных из целого моря откликов. Едва утихли здравицы, Фуко снова оказался на авансцене. Через полтора года после появления труда о «рождении тюрьмы» он начинает публиковать «Историю сексуальности». Какая связь между этими работами? Она очевидна и раскрыта самим Фуко: в обоих случаях речь идет о «власти» и модальностях ее применения.

Поскольку в книге «Надзирать и наказывать» Фуко показал, что государство держит в руках общество благодаря различным формам властных отношений, дисциплинирующих тела, не удивительно, что он перешел к «устройствам», опутывающим и сексуальность механизмами и сетями власти.

«История сексуальности» возникла на пересечении двух видов деятельности — связанных со старым проектом и с насущными проблемами. О старом проекте мы уже говорили. Фуко еще в предисловии к «Безумию и неразумию», написанном в 1960 году, заявлял о своем намерении работать над этой темой. Он не переставал размышлять над ней. Эхо его поисков содержится в статье о Батае «Предисловие к трансгрессии». В то время он говорил о сексуальности в терминах запрета и трансгрессии, определяющих ее. Этой темы он касается, общаясь с Жераром Лебраном во время поездки в Бразилию, где он читал лекции в 1965 году. Показав своему другу из Сан-Паулу рукопись книги «Слова и вещи», Фуко заметил, что хотел бы написать историю сексуальности. Добавив: «Это чрезвычайно трудно сделать: архивных материалов нет». Идея, входившая в ранние теоретические замыслы Фуко, после 1968 года приобрела особую актуальность. В эту эпоху появляются идеологии освобождения от запретов и свирепствует то, что Робер Кастель называет «психоанализмом»: все способы думать и действовать включаются в психоаналитическую Вульгату. Оба феномена сходятся в одном: недоговоренности в области сексуальности. Все говорят о сексе, объясняя, что он отвержен, задавлен буржуазной моралью, моделью супружества, семьи... «Фрейд, — говорили одни, — вероятно, отчасти освободил нас от этой морали». «Но, проявляя такую осторожность и вялость, — замечали другие, — что, видимо, следует говорить о нормализаторских функциях самого психоанализа». Однако все, вне зависимости от профессионализма и подхода к проблеме, хотели говорить о сексе, надеясь постичь истинную суть человека или открыть для него возможность стать счастливым.

Как говорит Фуко в связи с «подавлением» темы сексуальности,

«мы на протяжении вот уже нескольких десятков лет не можем говорить о нем иначе, как встав в позу: сознание того, что мы бросаем вызов установленному порядку; тон голоса, показывающий, что мы ниспровергатели; пыл людей, готовящих заговор против настоящего и призывающих будущее, день наступления которого, как мы и впрямь думаем, мы приближаем. Что-то от мятежа, от обетованной свободы, от грядущей эпохи

иною закона — вот что легко проступает через этот дискурс о притеснении секса. Здесь оказываются вновь задействованными некоторые из прежних традиционных функций пророчества. До завтра, наш добрый секс»^[437].

На первых же страницах Фуко разносит в клочья «гипотезу о притеснении», а также теоретические и политические декларации, сопровождающие ее. Каков был его замысел? «В целом речь идет о том, чтобы рассмотреть случай в истории общества, которое вот уже более века шумно бичует себя за свое лицемерие, многословно говорит о своем собственном молчании, упорствует в детализации того, что оно не говорит, изобличает проявления власти, которую оно само же и породило, и обещает освободиться от законов, которые обеспечили его функционирование. [...] Вопрос, который я хотел бы задать, это вопрос не о том, почему мы подавлены, но о том, почему мы с такой страстью и злобой — против своего самого недавнего прошлого, против своего настоящего и против самих себя — говорим, что мы подавлены. По какой спирали мы пришли к такому вот утверждению, что секс отрицается, к тому, чтобы демонстративно показывать, что мы его прячем, чтобы говорить, что мы его замалчиваем, и все это — формулируя его в самых откровенных словах, пытаюсь показать его в его самой обнаженной реальности, утверждая его в позитивности его власти и его эффектов? Конечно же есть все основания спросить себя, почему так долго секс ассоциировался с грехом [...] но точно так же следовало бы спросить себя, почему мы так сильно казим себя сегодня за то, что когда-то сделали его грехом»^[438].

Но отказ от признания очевидности «гипотезы о притеснении» не означает, что ее нужно просто-напросто отправить на свалку. Фуко в очередной раз выступает как историк и критик, археолог и генеалог:

«Речь идет о том, чтобы установить — в его функционировании и праве на существование — тот режим «власть — знание — удовольствие», который и поддерживает у нас дискурс о человеческой сексуальности. [...] Отсюда, наконец, следует, что важным будет не определение того, ведут ли эта дискурсивная продукция и эти действия власти к формулированию истины о сексе или, наоборот, лжи, предназначенной для того, чтобы ее скрыть, — но высвобождение той «воли к знанию», которая служит им одновременно и опорой, и инструментом»^[439].

Фуко, анализирувавший в «Археологии знания» и «Порядке дискурса» принципы разрежения дискурсов, на этот раз строит обратную перспективу. Теперь его интересуют предписание говорить и формы, которые оно принимает, история его почкования, а также основополагающих принципов и инстанций, служащих ему опорой, поскольку начиная с XVI века «проникновение секса в дискурс» поддерживалось, а не преследовалось:

«...воля к знанию не остановилась перед неустранимым табу, а выказала упорство — проходя, несомненно, сквозь множество ошибок — в том, чтобы создать науку о сексуальности»^[440].

Следует констатировать, что «мы, в конце концов, единственная цивилизация, где получают жалованье за то, чтобы выслушивать каждого, кто делает признания о своем сексе»^[441].

«Воля к знанию» — небольшая работа в двести страниц. Но в этой книге затрагивается такое количество проблем, что разбор ее составил бы солидный том. Фуко включил в нее исследования по наследственности, которые анонсировал при избрании в Коллеж де Франс. В котел переплавки полетели также наброски работы о либерализме и управлении населением, о «биополитике». И, конечно, Фуко снова возвращается к вопросу о том, где пролегает граница между нормой и патологией, к «перверсии», отданной на откуп психиатрии. Страницы, посвященные праву, закону и норме, ослепляют. Тут рассыпаны фразы, много раз цитировавшиеся, например: «Власть приходит снизу». Комментируя эту формулу, породившую множество недоразумений, Фуко замечал, что ее нельзя вырывать из контекста:

«Власть приходит снизу; это значит, что в основании отношений власти в качестве всеобщей матрицы не существует никакой бинарной и глобальной оппозиции между господствующими и теми, над кем господствуют, — такой, что эта двойственность распространялась бы сверху вниз на все более ограниченные группы, до самых глубин социального тела. Скорее следует предположить, что множественные отношения силы, которые образуются и действуют в аппаратах производства, в семье, в ограниченных группах, в институтах, служат опорой для обширных последствий расщепления, которые пронизывают все целое социального тела»^[442].

Продолжая линию, начертанную в книге «Надзирать и наказывать», Фуко стремится развенчать марксистские теории власти, которые были еще сильны в тот момент, когда он писал свои книги, и лишь слегка пошатнулись, когда они были опубликованы.

Но отправной точкой и внутренней пружиной книги был разрыв с психоанализом. Прежде всего — с психоанализом школы Лакана. Фуко понимал, что ему скажут: вы перепутали противника. Нужно различать тех, кто говорит о подавлении и цензуре и думает, что нужно освободить сексуальность от гнета, и тех, кто прибегает к термину «закон» и, наоборот, полагает, будто «само желание, и создающая его нехватка конституируются не чем иным, как законом» (такова формулировка Фуко, недвусмысленным образом указывающая на Лакана).

«Но, — объясняет Фуко, — оба эти течения сходны». Хотя они и приводят к противоположным выводам и мнениям, в них содержатся одно и то же представление о власти, политико-правовая концепция, на которую оказала влияние монархическая модель единой и централизованной власти.

Как далеко продвинулся Фуко со времен книги «Слова и вещи»! В те годы три гуманитарные дисциплины избежали смертоносного удара мысли Фуко: этнология, лингвистика и психоанализ в лакановской версии. Более того: именно благодаря Лакану (и Леви-Стросу) он сумел построить археологию, которая принесла ему славу. Но на сей раз «генеалогическое исследование», предпринятое в «Воле к знанию», направлено против Лакана. Фуко даже готов предложить читателям работу по «археологии психоанализа»^[443]. Разрыв с Лаканом и с теми, кто не приемлет его подхода: идеологами освобождения, последователями Маркса и Фрейда, сторонниками теории желания, восходящей к Саду и Батаю... «Все эти доктрины, противоречащие друг другу, — объясняет Фуко, — едины в одном: они являются «диспозитивом» в той же степени, что знание и власть»^[444].

Какова же, по мнению Фуко, отправная точка этих столь разных дискурсов? Он полагает, что нужно обратиться к христианским доктринам признания и исповеди.

«Признание было и остается еще и сегодня общей матрицей, управляющей производством истинного дискурса о сексе. Оно претерпело, однако, значительные трансформации. В течение долгого времени оно оставалось прочно вмонтированным в практику покаяния. Но мало-помалу, начиная с протестантизма, с контрреформации, с педагогики XVIII века и медицины XIX, оно

утратило свою ритуальную и эксклюзивную локализацию...»^[445]

«От исповедальни к дивану аналитика пролегли столетия, — комментирует Морис Бланшо, — но повсюду обнаруживается одна и та же страсть говорить о сексе»^[446]. Наконец, в книге «Воля к знанию» сохраняется интерес к концептам науки, пронизывающий все работы Фуко, начиная с самых ранних. Унифицированная простая практика покаяния, предстающая в средневековых текстах и текстах XVI века, уступила место взрыву «различных дискурсивностей, которые обрели свою форму в демографии, биологии, медицине, психиатрии, психологии, морали, педагогике, политической критике»^[447].

«Необходимо, — полагает Фуко, — установить способы, которыми эта, характерная для современного Запада, воля к знанию, относящаяся к сексу, заставила ритуалы признания функционировать в схемах научной регулярности: как дошли до того, чтобы конституировать это ненасытное и традиционное вымогательство сексуального признания в научных формах?»^[448] В своей работе, посвященной разбору «всех этих механизмов» власти, придающих признанию новые научные формы, Фуко намеревается показать, какая потрясающая работа по подчинению людей была осуществлена западной культурой в течение нескольких веков. Подчинению, то есть созданию чинов. Очевидно, что мы недалеко от «Надзирать и наказывать».

«Воля к знанию» — небольшая книга, которая тем не менее помогла Фуко обрести себя, соединить разрозненное. Но он воспринимал ее как своего рода прелюдию, пролог к серии исторических исследований, которые должны были верифицировать первоначальную гипотезу. На обложке книги значилось:

«История сексуальности:

1. Воля к знанию

Готовятся:

2. Плоть и тела

3. Крестовый поход детей

4. Женщина, мать и истеричка

5. Перверсивные

6. Население и расы».

В одной из сносок Фуко также анонсирует труд «Власть истины».

Фуко, как обычно, предполагает, что сам будет заниматься этими

историческими исследованиями. Это его подход к истории. Не ограничиваться прочтением книг, посвященных той или иной проблеме или эпохе, но обращаться к первоисточникам. Вероятно, в этом состоял разрыв с традициями философской мысли. «На протяжении долгого времени, — сказал он в одном из интервью, — теоретические или «спекулятивные» размышления занимали отстраненную и даже высокомерную позицию по отношению к истории. К историческим трудам, часто в высшей степени добротным, обращались за первичными, следовательно, «точными» сведениями; предполагалось, что только после обдумывания они приобретали смысл и истинность, которых были лишены изначально. Свободное обращение с чужим исследованием считалось вполне допустимым. Настолько, что никто и не пытался скрывать, что исходит из уже существующих работ. Цитаты из них приводились без всякого зазрения совести. Кажется, сейчас это уже не так». Возможно, все дело в изменениях, пришедших «со стороны марксизма»: стало недостаточным просто «относиться с доверием к знатокам и обдумывать, сидя на вершине, то, что другие изучают внизу». Во всяком случае, что-то в этом роде «вызывало желание, приступая к обдумыванию чего-либо, не брать из рук историков готовый материал, а искать его самому, самому определять и обсуждать его как предмет исторического плана. Это был единственный способ, позволявший придать размышлениям о нас, о наших воззрениях и о нашем поведении реальное содержание. И, одновременно, способ, возможно, неосознанный, не стать пленником постулатов истории. Это был новый для философии способ обращения к объектам истории. [...] Размышления об истории превратились в исторические размышления. Способ заставить мысль пройти искус исторических изысканий, а также способ подвергнуть исторические изыскания испытанию, сменив концептуальную и теоретическую базу». Главное — это то, что «вся работа делается самим философом. Нужно спуститься в шахту: это требует времени и трудов»^[449]. Историки по-разному отнеслись к тому, что Фуко зашел на их территорию: одни — с энтузиазмом, другие — скептически; одни сотрудничали с ним, другие — полностью отрицали его работу^[450].

Итак, темы следующих томов объявлены, материалы собраны. На столе Фуко лежат внушительные папки — по числу проектов, — ожидающие, что их содержимое будет извлечено для доработки, что материалы, которые в них хранятся, превратятся в прекрасную, своеобразную, тщательно выверенную прозу. Рукопись Фуко — закорючки, не поддающиеся расшифровке. Вставки, изъятия. «Начать и закончить», —

говорит Фуко. Но все же надеется завершить начатое в довольно сжатые сроки. Одному из друзей он сообщает, что собирается выпускать по тому каждые три месяца.

«Воля к знанию» — единственная книга, которой Фуко дал откровенно ницшеанское название. Это поразительный, полный иронии, обжигающий текст. Пожалуй, несмотря на свой удивительный лаконизм, он сильнее других заставляет мысль «шевелиться». Видимо, отчасти поэтому книга была встречена, как считал Фуко, довольно сдержанно, без восторга. Он хотел пойти против течения, столкнуть лбами основные актуальные идеи, открыть историческую правду жестов и слов, которыми они располагают. И это удалось ему в полной мере. Но разве можно было ждать, что те, с которыми он так обошелся, придут поблагодарить его? Впрочем, пресса приняла книгу вполне благосклонно. Даже очень благосклонно. Фуко дает интервью, комментариям посвящены десятки статей. Однако некий холодок все же чувствуется. Создалось впечатление, что читатели немного разочарованы. И очень мало что поняли. Автор делится своими опасениями с Жилем Делёзом — действие происходит в начале 1977 года, и они еще близки. Делез отвечает письмом на десяти страницах, скорее даже небольшим исследованием, где отмечает то новое, что, по его мнению, привнесла книга, признает ее силу и значимость. Но Фуко расстроен. Конечно, когда начнутся открытые атаки, он найдет в себе силы встать на дыбы. Одной фразой он уничтожил автора, полагавшего, что пятидесяти страниц достаточно, чтобы заставить всех «забыть Фуко»^[451]. Когда Бодрийяр опубликовал книгу под таким названием, Фуко величественно заявил: «У меня другая проблема: я не могу вспомнить, кто такой Бодрийяр». Он даже усмотрел в этой книге признание своей значимости и своего влияния: «Достаточно поставить свое имя рядом с моим, и книга разойдется». Таковую же реакцию вызовет у него книга Жан-Поля Арона и Роже Кемпфа «Пенис, или Деморализация Запада». Все критики будут характеризовать ее как выпад против Фуко^[452], что вызовет вокруг нее шумиху.

Что же так задело Фуко? Возможно, отсутствие откликов, которые исходили бы из ближнего круга...

Как бы то ни было, Фуко сожалеет, что выпустил первый том отдельно от исследований, прологом к которым он мыслился. Он говорит об этом в предисловии к немецкому изданию:

«Я знаю, насколько неосмотрительно выпустить книгу, которая содержит многочисленные отсылки к будущим

публикациям. Существует немалая опасность, что она будет выглядеть догматичной и произвольной. Гипотезы легко принять за утверждения, содержащие окончательное решение проблемы, а план исследования, в силу недоразумения, — за новую теорию. Именно поэтому во Франции многие критики, внезапно проникшиеся духом борьбы против угнетения (не принимая, впрочем, в ней большого участия), упрекали меня в том, что я будто бы отрицаю, что сексуальность в обществе подавлялась. Но я совсем этого не отрицал. Я только хочу выяснить, следует ли, изучая отношения между властью, знанием и сексом, строить анализ, исходя исключительно из концепта угнетения, и не станет ли понятнее суть вещей, если рассмотреть запреты, препятствия, отречения и маскировку в рамках более сложной и более общей стратегии, которая не имеет в качестве главной и важнейшей цели вытеснение»^[453].

Автору горько осознавать, что его прочли невнимательно. Что его плохо поняли. Что его не любят. «Знаете, зачем люди едят? — спросил он Франсин Париянт, в ту пору ассистентку в Клермон-Ферране. — Чтобы их любили». Так ли уж его не любили в 1976 году? Книга «Воля к знанию» быстро разошлась. Это одна из самых тиражных книг Фуко: к июню 1989 года было продано сто тысяч экземпляров. Но успех способен причинить автору вред: Фуко вступил в полосу кризиса. Личного и интеллектуального...

Ни один из предполагаемых томов так и не был издан. Список, фигурирующий на обложке книги «Воля к знанию», остался мертвым грузом. Возможно, Фуко слишком заиклился на исследовании власти, как считает Делёз, и ему нужно было избавиться от навязчивого видения, переработать проект, чтобы первый том получил продолжение? Тем не менее он приступил к заявленным исследованиям, о чем свидетельствуют некоторые его публикации. Так, Фуко опубликовал воспоминания французского гермафродита Эркулина Барбена (Алексины В.)^[454]. Для американского издания он написал длинный комментарий на тему «Нуждаемся ли мы в половой идентификации?»^[455]. Во Франции эта книга вышла в 1978 году в «Сравнительных жизнеописаниях» — новой, основанной Фуко серии издательства «Галлимар». Он представил эту серию следующим образом:

«Древние любили давать параллельные жизнеописания

выдающихся людей; великие тени вещали из глубины веков. Я знаю, что параллели сходятся в бесконечности. Но представим себе параллели, которые в бесконечности расходятся. Ни точки пересечения, ни места слияния. Порой они не знают другого отзвука, кроме приговора. Нужно поймать их в мощном рывке друг от друга; нужно отыскать след молниеносного вихря, который они оставляют, когда устремляются в темноту, туда, где о себе не говорят, где слава не имеет значения. Это Плутарх наоборот: жизнеописания настолько параллельны, что никому не по силам соединить их»^[456].

Фуко пишет также предисловие к книге английского либертина XIX века «Моя тайная жизнь». Ее он часто упоминает в «Воле к знанию»^[457]. Он публикует в журнале «Cahiers du chemin» длинную статью «Жизнь гнусных людей» — введение в книгу, которая должна была носить то же название. Фуко объясняет, что предполагает дать галерею портретов странных людей, чье существование носило «почти условный» характер, о которых он хотел бы собрать сведения, а также легенды о «темных личностях»^[458].

Эта книга так и не вышла — по крайней мере, в том виде, в котором была заявлена. Но Фуко все же предоставит слово этим патетичным теням, прятавшимся за текстами, о которых он говорил, жалким следам «ничтожных жизней, рассыпавшихся прахом». Предоставит слово, в котором можно будет их расслышать или угадать: те исполненные яростью или отчаянием слова, которыми они обменивались с властью, когда эти «несчастные» обращались к королю, умоляя вмешаться и защитить от других «несчастных», навести порядок в центре их разладившейся вселенной: отношения в семье, с соседями... Некоторые документы опубликованы в книге «Раздоры в семьях», сборнике указов о заточении в тюрьму без суда и следствия, извлеченных из архивов Бастилии, которая была подготовлена Фуко в соавторстве с Арлетт Фарж и вышла в 1982 году^[459]. Прошло двадцать лет с тех пор, как была задумана книга об узниках Бастилии, предназначавшаяся именно для этой серии.

Наконец Фуко начинает работать над христианскими доктринами признания XVI–XVII веков, продолжая исследовать во время лекций «техники власти» над индивидом и формы правления XVIII–XIX веков.

17 декабря 1976 года во время телепередачи «Апостроф», снимавшейся в виде исключения в Лувре, ее ведущий Бернар Пиво с удивлением спросил: «Вы действительно не хотите говорить о вашей книге?» — «Не хочу, — ответил Фуко. — В книгах излагаешь то, о чем думаешь, но, в частности, для того, чтобы больше об этом не думать. Когда заканчиваешь книгу, ее не хочется больше видеть. Если любовь к книге жива, работа над ней продолжается. Но, как только любовь проходит, нужно поставить точку». К тому же есть другая книга, куда больше заслуживающая внимания.

«Мой любимый жанр — книга, составленная из фрагментов реальности, из сказанных слов, из жестов, документов, печалей, горестей...» Автор? Вряд ли стоит доискиваться. Это расшифровка магнитофонной записи судебного процесса в Советском Союзе. Записи попали на Запад усилиями детей обвиняемого доктора Штерна. «Обычный процесс» — таково название сборника. У этого человека было двое детей, которые хотели эмигрировать в Израиль. КГБ потребовал от доктора Штерна, вступившего в коммунистическую партию после войны, чтобы он запретил детям покидать родину. Он отказался. И им занялось, если можно так выразиться, правосудие. Штерн был обвинен в получении взяток. Десятки свидетелей должны были дать компрометирующие показания. Но во время процесса они отказались свидетельствовать против Штерна и заявили о его невинности, после чего он был... приговорен к восьми годам лагерей^[460].

Об этой-то книге Фуко и хочет говорить: необычный документ, рассказывающий об обычной жизни Советского Союза. Разве передача не посвящена «будущему человечества?» Конечно, стоит обсуждать первые шаги человека по Луне, но нельзя забывать «о шагах мужчин и женщин, которые открывают правду». Нельзя забывать, что, хотя государство и распространяет свой контроль, свои ограничения на каждого индивида, существуют люди, которые сопротивляются власти и умеют говорить «нет».

Когда «La Nouvelle Critique» пригласила Фуко принять участие в обсуждении книги «Я, Пьер Ривьер», Фуко ответил: «...мне не интересно обсуждать эту книгу, лучше я напишу статью о случае доктора Штерна». Его предложение осталось без ответа.

Мишель Фуко делал все, что было в его силах, чтобы помочь диссидентам из стран Восточной Европы. В июне 1977 года, когда Леонид Брежнев был в Париже, он решил, что нужно воспользоваться шансом. Фуко и Пьер Виктор задумали собрать вместе французских интеллектуалов

и советских диссидентов. Все было организовано лучшим образом. Приглашения подписали двенадцать человек, в том числе Сартр, Франсуа Жакоб, Ролан Барт... «В настоящее время Брежнев находится с визитом во Франции, и мы приглашаем Вас на дружескую встречу с диссидентами из стран Восточной Европы, которая состоится в театре «Рекамье» 21 июня в 20.30». В назначенный час в зал, где уже находился Эжен Ионеско, вошел Сартр, опираясь на руку Симоны де Бовуар. Эта сцена произвела большое впечатление на присутствовавших: старый, больной, почти слепой человек медленно шел, поддерживаемый легендарной женщиной. Пришли диссиденты — Леонид Плющ, Андрей Синявский, Андрей Амальрик, Владимир Буковский и Михаил Штерн, наконец-то вырвавшийся из Советского Союза. Фуко в зале: он встречает гостей. Их много. Много также французских и иностранных журналистов с камерами.

В марте 1979 года Фуко предоставляет свою квартиру для пресс-конференции по израильско-палестинской проблематике, созванной «Les Temps modernes» по инициативе Пьера Виктора. «В гостиную Фуко внесли столы, стулья, магнитофон, — пишет Симона де Бовуар. — Несмотря на ряд технических неурядиц, 14 марта состоялось первое заседание. Сартр выступил первым с небольшой речью»^[461]. Но Фуко не присутствовал на конференции. «Он был согласен приютить нас, но не участвовать в дискуссиях», — поясняет Эдвард Саид^[462]. К тому же, если верить словам Симоны де Бовуар и Эдварда Саида, конференция была «чудовищной».

Фуко и Сартр. 20 июня 1979 года их пути опять сходятся. На этот раз — когда речь шла о спасении беженцев. Бернару Кушнеру с командой врачей удалось встать на якорь у острова Пуло-Бидонг. Корабль «Остров света» прибыл для оказания помощи вьетнамцам, желающим бежать из страны. Кушнер и его друзья вознамерились наладить регулярное воздушное сообщение между лагерями Малайзии и Таиланда и западными странами, располагавшими временными пунктами размещения. Пресс-конференция состоялась в отеле «Лютеция». На трибуне Глюксман «представляет» Сартра Раймону Арону. Они знакомы, но не виделись уже тридцать лет. К тому же десять лет назад, в 1968 году, Сартр выпустил залп оскорблений в адрес своего бывшего товарища по Эколь Нормаль. Через несколько дней Сартр и Арон в составе делегации интеллектуалов были приняты президентом республики. Валери Жискар д'Эстен дал им обещания, которые оказались «пустым сотрясением воздуха», как пишет Симона де Бовуар (добавив, что Сартр «не придавал никакого значения встрече с Ароном, которая дала столько пищи журналистам»)^[463].

На пресс-конференции в отеле «Лютеция» присутствовали также Мишель Фуко, Ив Монтан и Симона Синьоре. Фуко настаивал на том, что нужно «потребовать от г-на Жискар д'Эстена, чтобы число беженцев, которым выдается вид на жительство во Франции, было увеличено». После визита Арона и Сартра в Елисейский дворец, столь разочаровавшего их, была вновь созвана пресс-конференция. Она проходила в Коллеж де Франс, где приглашенных встречал Фуко. Он принимал самое деятельное участие в этой кампании. В ноябре 1978 года Фуко входил в комитет «Корабль для Вьетнама». В 1981 году он отправится в Женеву на пресс-конференцию «против пиратства». Там он составит и зачитает декларацию, своего рода хартию прав человека:

«Существует международное гражданство, у которого есть свои права и обязанности и которое обязывает бороться с любым злоупотреблением власти, неважно, от кого оно исходит и кто его жертвы. В конце концов, нами всеми управляют, и в этом смысле мы солидарны.

Правительства, утверждая, что заняты исключительно заботой о счастье людей, присваивают себе право вносить в счет своих прибылей и убытков горе, которое происходит из-за принимаемых ими решений или из-за их бездействия. Международное гражданство обязывает предъявлять глазам и слуху правительств несчастья людей. Это неправда, что правительства не несут за них ответственности. Людское горе не должно быть безмолвным осадком политики. Оно дает полное право восстать и обратиться к тем, в чьих руках находится власть. Нельзя допускать разделения задач, как нам часто предлагают: индивиду полагается возмущаться и изъясняться, а правительствам — думать и действовать. Что и говорить, хорошие правительства благоволят к священному возмущению подданных, если, конечно, оно выдержано в лирических тонах. [...] Воля индивида должна быть вписана в реальность, на которую правительства хотели бы сохранить монополию. Эту монополию нужно у них отвоевывать — каждый день, пядь за пядью»^[464].

19 апреля 1980 года, суббота. Утром Мишелю Фуко позвонила Катрин фон Бюлов: «Вы пойдете на похороны Сартра?» — «Конечно», — ответил Фуко.

Через несколько часов они шагали в огромной толпе. За гробом до самого монпарнасского кладбища шло двадцать или тридцать тысяч человек. «Последняя демонстрация мая 1968-го», — как потом говорили. Фуко болтает с Катрин фон Бюлов и с Клодом Мориаксом. «Мы разговаривали о Сартре, — рассказывает Катрин. — Он мне сказал, что когда был молодым человеком, то больше всего хотел отойти как можно дальше от Сартра, от терроризма «Temps modernes»».

Глава шестая

Бороться голыми руками

Мишель Фуко и Тьерри Вёльцель волновались, сидя в самолете, летевшем в Тегеран. Какой окажется страна, пережившая несколько дней назад «Черную пятницу»? 8 сентября 1978 года армия открыла огонь по толпе противников шаха, погибло около четырех тысяч человек. Расправа, учиненная дышащей на ладан монархией, вызвала ужас и возмущение всего мира. В Париже Лига прав человека, профсоюзы и левые движения организовали демонстрацию протеста.

Фуко отправился в Иран как журналист. В 1977 году директор итальянской ежедневной газеты «Corriere della sera» предложил ему вести свою рубрику. Но Фуко не хотел писать статьи о культуре или философии. Поэтому он предложил публиковать не хронику, а репортажи. Был ли это способ вежливо отклонить предложение, как полагают многие? Или же переживая то, что воспринималось им как провал книги «Воля к знанию», он просто испытывал потребность уехать, бежать из Парижа? «Corriere della sera» приняла предложение Фуко. Журналистика — не новая область для него. Как мы уже видели, он участвовал в создании газеты «Libération», на протяжении долгого времени сотрудничал с журналом «Le Nouvel Observateur». Что же касается «расследований», то он приобщился к ним в эпоху гошизма, в частности, работая в «Группе информации о тюрьмах». Первым делом Фуко берется за сколачивание небольшой команды — новый проект должен был быть коллективным. И поручает координацию работы Тьерри Вёльцелю. Фуко познакомился с Тьерри, когда тот голосовал на дороге. Они подружились, и Фуко проинтервьюировал его. Рассказы Тьерри о его жизни, о прошлом и настоящем вошли в небольшую книжку, вышедшую в издательстве «Грассе» с предисловием Клода Мориака. Имя интервьюера в книге не упомянуто. Но из вопросов Фуко выплывает его собственный опыт, служащий фоном для рассказа собеседника^[465]. Фуко также обратился к тем, с кем он был связан раньше: конечно, к Андре Глюксману, а также к Алену Финкелькроту, к которому испытывал симпатию, и к некоторым другим. Вот как в виде репортажа на страницах газеты «Corriere della sera» он объясняет свою концепцию. «Современный мир, — пишет он, — кишит идеями, которые рождаются, блуждают, исчезают и появляются вновь, будоража людей и меняя порядок вещей. Это

происходит не только в кругах интеллектуалов, не только в университетах Западной Европы, но повсюду в мире, в частности, у меньшинств, которым история не привила привычки говорить и заставлять слушать себя». И добавляет:

«На земле куда больше идей, чем это могут себе представить интеллектуалы. И эти идеи куда более действенны, мощны, устойчивы и страстны, чем это могут себе представить «политики». Нужно присутствовать при рождении идей и их расцвете. Исследовать их не по книгам, а через события, в которых они проявляются, через борьбу, которая ведется вокруг них — против или за. Не идеи правят миром. Но именно потому, что в мире существуют идеи (и потому, что он их постоянно производит), он не подчиняется пассивно тем, кто правит им, или тем, кто хотел бы раз и навсегда объяснить ему, как следует мыслить. В этом мы видим смысл «репортажей» — анализов: то, о чем нам предстоит размышлять, будет связано с происходящим. Интеллектуалы сойдутся с журналистами на перекрестке идей и событий»^[466].

Перед поездкой Фуко несколько раз встретился с Ахмадом Саламатианом, иранцем, жившим в Париже с 1965 года. Он входил в Национальный фронт, являлся членом одной из левоцентристских партий: светской, либеральной, в духе Третьей республики. «Радикально-социалистическая партия, выступавшая за национальное освобождение» — так характеризует ее Саламатиан. Речь идет о партии бывшего премьера Моссадыка — лидера демократизации, захлебнувшейся в 1953 году. Фуко и Саламатиан познакомились благодаря адвокату Тьерри Миньону и его жене Сильвии. Они общались с Фуко в эпоху, когда действовала «Группа информации о тюрьмах» и велась борьба за права иммигрантов, в которой они принимали активное участие. Они входили также в «Комитет по защите иранских политических заключенных». Госпожа Миньон по поручению Лиги прав человека несколько раз ездила собирать информацию в Иран. С 1971 года Фуко регулярно подписывал тексты, готовившиеся этим комитетом. Он не участвовал непосредственно в акциях комитета, но ставил свою подпись под петициями — рядом с подписью Сартра, создавшего эту организацию в 1966 году. Один из таких текстов, например, был опубликован газетой «Le Monde» 4 февраля 1976 года. В нем говорилось о нарушениях прав человека в Иране и «молчании французских

властей». Речь шла о казни 19 «активистов революционно-антифашистского движения». Кроме Мишеля Фуко текст подписали Жан Поль Сартр, Симона де Бовуар, Франсуа Миттеран, Мишель Рокар^[467], Лионель Жоспен^[468], Жан-Пьер Шевенман^[469], Ив Монтан, Клод Мориак, Жиль Делёз... В 1978 году выступления против шаха достигли наибольшего размаха, и в начале сентября репрессии перешли в резню.

Ахмад Саламатиан снабдил Фуко книгами и документами, а также адресами мест, где он мог завязать контакты, и людей, с которыми следовало связаться. Через несколько дней Фуко оказался на иранской земле. «Если вы прилетите в аэропорт после начала комендантского часа, такси с невероятной скоростью промчит вас по пустым улицам города. Машина замедляет ход лишь у заграждений, из-за которых прицеливаются мужчины, вооруженные ручными пулеметами. Горе тому шоферу, который их не заметит: солдаты откроют огонь. На всей протяженности проспекта Реза-Шах, погруженном в молчание, куда ни взглянешь, бессмысленно мигают красные и зеленые огни светофоров: так бьют часы на запястье мертвого. Здесь безраздельно царит шах»^[470]. На следующий же день после приезда Фуко приступил к расследованию. Однако войти в контакт с религиозной оппозицией оказалось очень сложно. Поэтому сначала он встречается с представителями демократической оппозиции, а также с военными. Он пытается понять, какая роль отводится армии в операции подавления. «Друзья, — пишет он, — устроили мне в пригороде Тегерана, в исключительно безопасном месте, встречу с несколькими высокопоставленными офицерами, входящими в оппозицию. Чем больше разрастаются волнения, сказали мне они, тем сильнее правительство склоняется к тому, чтобы отправить армию наводить порядок. Но она не готова и не расположена к этому. Очень быстро армия поймет, что имеет дело не с международным коммунизмом, а с улицей, с торговцами с рынка, служащими, безработными — такими же людьми, что и их братья, с теми, кем они сами стали бы, если бы не пошли в солдаты»^[471].

Фуко продолжает расследование. Он беседует с лидерами оппозиции, обличавшими «режим» — «синтез модернизации, деспотизма и коррупции». Фуко вспоминает прогулку, которую совершил несколько дней назад:

«Когда я зашел на базар, только-только открывшийся после недельной забастовки, меня поразили бесконечные ряды швейных машинок, высившихся на лотках, словно сошедших с

газетных реклам XIX века: высоких, изогнутых, украшенных изображениями плюща, вьющихся растений и цветочных бутонов — грубой имитацией старинных персидских миниатюр. На этих предметах западного быта, отмеченных печатью ушедшего Востока, значилось: «Made in South Korea». И я вдруг осознал, что недавние события не были знаком неприятия слишком резкой модернизации наиболее отсталыми группами. Они явились результатом отказа всей культуры и всего народа от модернизации, являющейся, по сути, архаизмом. Беда шаха состоит в том, что он сросся с этим архаизмом. А его преступление — в том, что он поддерживает при помощи коррупции и деспотизма островки прошлого, которые отвергает настоящее».

Философ делает из всего, что он видел и слышал, следующий вывод: «В Иране модернизация как политический проект и как принцип социальной трансформации осталась в прошлом. [...] Происходящая на наших глазах агония иранского режима — это последний эпизод процесса, начавшегося почти шестьдесят лет назад: модернизации исламских стран по европейскому образцу». В конце статьи Фуко пишет:

«Прошу вас, Европа должна перестать говорить о трудах и страданиях монарха, оказавшегося слишком прогрессивным для старой страны. Стара не страна, это шах устарел: он отстает от нее на пятьдесят — сто лет. Он в летах правителей-хищников и лелеет обветшалую мечту открыть страну при помощи индустриализации и секуляризации. Архаизм сегодняшнего Ирана — это его проект модернизации, оружие деспота, система коррупции»^[472].

Фуко не ограничивается встречами с лидерами оппозиции и политиками. Он слушает также студентов, людей с улицы, молодых исламистов, заявляющих, что они готовы умереть. Он бродит по кладбищам — лишь на их территории разрешены собрания, — заходит в университет и в мечети. Вместе с Тьерри Вёльцелем он едет к аятолле Шариат-Мадари, чья резиденция в Куме служит убежищем многим активистам «Комитета по защите прав человека»^[473]. Он встречается с аятоллой, а также с Мехди Базарганом, который после возвращения аятоллы Хомейни в Иран станет премьер-министром. В дом аятоллы

Мадари попасть непросто. Солдаты, вооруженные ручными пулеметами, наблюдают за улицей. На протяжении целой недели Фуко наводит справки, слушает, смотрит... Он ведет записи, без усталости передвигается с места на место. Он хочет все увидеть своими глазами, все понять. Тьерри Вёльцель вспоминает, что в конце дня они валились с ног от усталости.

За несколько дней до их приезда во всех мечетях страны прошли траурные церемонии памяти жертв репрессий. Проклятия, прозвучавшие в тот день в мечетях, распространялись на кассетах, и до Фуко долетело эхо голосов — «ужасных, заставляющих вспомнить о Флоренции и Савонароле, мюнстерских анабаптистах или пресвитерианах времен Кромвеля»^[474]. Всем собеседникам Фуко задает один и тот же вопрос: «Чего вы хотите?» И неизменно слышит в ответ:

«Чтобы правительство было исламистским».

Фуко пробыл в Иране неделю. Вернувшись во Францию, он написал четыре великолепные статьи, в которых удивительным образом детали и эпизоды сочетаются с серьезными размышлениями. Статьи будут опубликованы в «Corriere della sera» между 28 сентября и 22 октября 1978 года^[475].

16 октября журнал «Le Nouvel Observateur» поместил текст, представлявший собой дайджест статей Фуко, вышедших в Италии. Он заканчивается так:

«На рассвете истории Персия придумала Государство и передала его рецепт исламу: ее высшие чины служили халифу. Но из того же ислама она создала религию, в которой народ бесконечно черпает силы, чтобы сопротивляться власти Государства. Что означает это стремление иметь «исламистское правительство»: примирение, противоречие или зарю чего-то нового? [...] За желанием тех, кто живет на этом маленьком клочке земли, почва и недра которой являются ставкой стратегий мирового масштаба, найти пусть даже ценой жизни то, о чем мы, другие, после Возрождения и крупных кризисов христианства и не помышляем — политическую духовность, — стоит особый смысл. Я уже слышу, как хохочут французы. Но я знаю: они не правы»^[476].

Старый аятолла медленно идет к яблоне, растущей посередине сада, и

устраивается под ней. Несколько десятков людей окружают его и внимают тихим словам. Многократно отраженное эхо его речей сотрясает мир.

Нёфль-ле-Шато — городок недалеко от Парижа. 7 октября 1978 года сюда после четырнадцати лет ссылки, проведенных в Ираке, перебрался аятолла Хомейни. Иранские студенты и изгнанники стекаются к нему. Оппозиционные движения смешиваются. Бывают тут и европейцы, главным образом журналисты. В числе первых появились Пьер Бланше и Клер Бриер, в то время работавшие в газете «Libération». И с ними — Мишель Фуко. Бланше и Бриер оповестил о приезде аятоллы в Париж Абольшасан Банисадр, один из лидеров оппозиции в изгнании, «духовный сын» Хомейни, давно поселившийся во Франции, в Кашане — пригороде Парижа. Впоследствии он на короткое время станет президентом исламской республики, а потом поселится в Париже. Пьер Бланше и Клер Бриер тут же позвонили Фуко, с которым познакомились в Иране, где они представляли свою газету. Все трое отправились к Банисадру в Кашан — ждать аятоллу. Фуко побеседовал с Банисадром и попросил его объяснить аятолле, что тому лучше избегать слишком резких выпадов против шаха, поскольку они грозят ему немедленной высылкой из Франции. В тот вечер Фуко увидит лишь силуэт аятоллы. Как, впрочем, и на следующий день, когда журналисты приехали в Нёфль, чтобы поговорить с Хомейни. Аятолла примет их лишь несколько дней спустя.

Легко себе представить, как ждал Фуко встречи с человеком, одно имя которого способно всколыхнуть тысячи горожан — море людей, чье движение не смогли остановить даже пулеметы диктатуры, — после всего того, что он увидел в Иране. Устроившись на новом месте, аятолла немедленно «разнес все в пух и прах», как выразился Мишель Фуко в статье, опубликованной в «Le Nouvel Observateur». Он сказал «нет». «Нет» — всем попыткам примирения. «Нет» — компромиссам. Никаких выборов, никакого коалиционного правительства. Шах должен уйти. И пригрозил исключить из движения политиков, которые были не прочь поддержать предложения шаха и таким образом спасти его режим. Оживление в Нофле, приезды и отъезды «важных иранцев» показали, что несгибаемость аятоллы не превратила его в маргинальную фигуру. Напротив, все верили «в силу мистического тока, связывавшего этого старика, прошедшего пятнадцать лет в изгнании, с народом, призывавшим его». Казалось, Иран замер, наблюдая «схватку между двумя людьми-символами: королем и святым. Правитель во всеоружии и безоружный изгнанник; деспот, оказавшийся лицом к лицу с человеком, который борется голыми руками, приветствуемый восторженными криками своего народа. Этот образ сам по

себе способен заморозить, но за ним скрывается реальность, под которой поставили свои подписи тысячи погибших»^[477].

Когда Фуко находился в Нёфле с Ахмадом Саламатианом и Тьерри Миньоном, произошел небольшой инцидент: некий мулла из окружения Хомейни попытался помешать одной немецкой журналистке войти в сад, поскольку ее лицо было открыто. Ахмад Саламатиан вступился за нее. «Что люди будут думать о нашем движении?» — сказал он. Вмешались сын и зять аятоллы и попросили муллу умерить пыл. Журналистке было разрешено войти в сад. На обратном пути Мишель Фуко и его спутники обсуждали это маленькое происшествие. Фуко рассказал, как был поражен, осознав, что ношение паранджи в Иране — политический жест: женщины, которые обычно ходили, не прикрывая лица, надевали паранджу, чтобы участвовать в демонстрациях.

Вскоре было принято решение снова поехать в Иран. По всей видимости, Фуко посоветовался с Банисадром^[478]. «Мишель Фуко приезжал ко мне в Кашан, — рассказывает Абольшасан Банисадр, — и мы вместе работали. Он хотел понять, что вызвало революцию, почему она, развиваясь без опоры на иностранные державы, объединила, несмотря на расстояния между городами и сложностями сообщения, все население страны. Он размышлял над понятием «власть»».

Через месяц после первой поездки Фуко вновь оказался в Тегеране. И снова в компании Тьерри Вёльцеля. Исследование продолжилось. Фуко разговаривает с представителями разных групп бастующих. Он встречается с теми, кто относится к «привилегированному» среднему классу, например, с пилотом «Иран авиа» — в Тегеране, в его современной квартире, а затем проделывает тысячу километров к югу, чтобы познакомиться с рабочими нефтеочистительного предприятия в Абадане.

В новой серии репортажей — четыре статьи, опубликованные газетой «Corriere» в ноябре 1978 года^[479], — Фуко затрагивает вопрос о роли аятоллы Хомейни, этого «человека-легенды»: «Ни один из тех, кто сегодня стоит во главе правительств, ни один политический лидер, даже если его поддерживают все средства массовой информации его страны, не может похвастаться, что является объектом такой личностной и такой сильной привязанности народа. Этой привязанности способствуют, по всей видимости, три обстоятельства: Хомейни нет в Иране: вот уже пятнадцать лет, как он живет в изгнании и не собирается возвращаться, пока шах не уйдет; Хомейни ничего не говорит: ничего, кроме «нет» — «нет» шаху, режиму, зависимости; наконец, Хомейни не политик: ни партии Хомейни,

ни правительства Хомейни не будет. Хомейни воплощает коллективную волю». Фуко определяет иранское движение так:

«Это восстание безоружных людей, которые хотят сбросить тяжелый груз, давящий на каждого из нас, но на них — тружеников нефти, крестьян с границ империй — особенно: груз порядка вещей, установившегося в мире. Возможно, это первый бунт против планетарной системы — самая современная форма революции. И самая безумная»^[480].

Вторая серия репортажей еще не вышла, когда на страницах французских газет развернулась баталия: «Le Nouvel Observateur» напечатал письмо иранской читательницы, возмущившейся статьей Фуко, появившейся в этом журнале 16 октября. «Неужели после двадцати пяти лет молчания и угнетения иранский народ должен выбирать между Саваком [тайной полицией] и религиозным фанатизмом? Духовность? — пишет читательница. — Возвращение к народным истокам? Саудовская Аравия уже припала к исламу. Летят руки и головы воров и прелюбодеев. Создается впечатление, что левые на Западе, которым не хватает гуманизма, выступают за ислам... но для других. Многих иранцев, как и меня, приводит в ужас и смятение идея «исламского правительства». И эти люди знают, о чем говорят. Иран окружен странами, в которых ислам служит ширмой, прикрывающей феодальный или псевдореволюционный гнет. Часто, как, например, в Тунисе, Пакистане, Индонезии и, увы, у нас, ислам является единственным способом самовыражения народа, которому заткнули рот. Левые либералы Запада должны были бы знать, какой свинцовой ношей могут стать исламские законы для общества, ждущего оживления, и не обольщаться лекарством, возможно, куда более страшным, чем болезнь».

Фуко тут же откликнулся на это письмо. Его ответ был опубликован 13 ноября 1978 года. Он писал:

«Поскольку люди в Иране выходили на демонстрации и погибали за «исламское правительство», следовало прежде всего попытаться понять, какое содержание вкладывалось в это понятие и какие силы за ним стояли. К тому же я указал на некоторые составляющие процесса, вызывающие тревогу. Если бы письмо мадам N являлось просто результатом неправильного прочтения, я бы не стал на него отвечать. Но в нем есть то, что

нельзя допускать: 1) все аспекты, все формы и все возможности ислама смешаны и сметены презрительным жестом под банальным предлогом неприятия «фанатизма»; 2) Запад обвиняется в том, что он интересуется исламом только из презрения к мусульманам (а что можно было бы сказать по поводу западного человека, презирующего ислам?). Проблема ислама как политической силы является важнейшей в наше время, таковой она и останется в ближайшем будущем. Чтобы подступиться к ней не самым глупым образом, нужно прежде всего соблюдать одно условие — не впутывать во все это ненависть»^[481].

Фуко продолжает интересоваться Ираном. Когда 1 февраля аятолла Хомейни покинул Париж, его сопровождали журналисты, среди них — Серж Жюли и Клер Бриер. Фуко приехал в аэропорт, чтобы присутствовать при событии, имевшем мировое значение. 13 февраля 1979 года он опубликовал еще одну статью в «Corriere della sera». Шах уехал, аятолла Хомейни приехал. Тысячи иранцев стояли на дороге, связывающей аэропорт с центром Тегерана, тысячи мужчин и женщин, кричавших: «Хомейни, наконец-то ты вернулся!» Фуко думает о будущем Ирана. В предыдущей статье он говорил:

«Я не умею писать историю будущего. У меня плохо получается прогнозировать прошлое. И все же мне хотелось бы ухватить то, что происходит, ибо сегодня еще не все кончено, кости брошены, но пока не упали. Возможно, в этом и заключается миссия журналиста, но, не стану скрывать, я всего лишь неопит»^[482].

В следующей статье Фуко подводит итог серии публикаций, размышляя о том, что произошло на его глазах:

«Историческое значение этих событий, вероятно, не сводимо к известной «революционной» модели. Быть может, оно будет состоять в том, что Средний Восток получит возможность взорвать политические составляющие и, следовательно, стратегическое равновесие мира. Необычность, придававшая им силу, вполне может впоследствии превратиться в мощный импульс экспансии. Так обстоит дело и с «исламским»

движением, которое способно поджечь весь регион, смести слабые режимы и внести смуту в самые сильные. Ислам, который является не только религией, но и образом жизни, частью истории и цивилизации, рискует стать для сотен тысяч человек гигантской пороховой бочкой. Начиная со вчерашнего дня в любом мусульманском государстве можно ждать революции, основанной на вековых традициях»^[483].

О сочувственном отношении Фуко к Ирану много писалось. Но мало кто прочел все статьи Фуко, посвященные этой проблеме — они не были переведены. Фуко не захотел издать их отдельной книжкой. Он видел в них просто репортажи, а не фрагменты целостной работы. Когда сегодня перечитываешь эти статьи Фуко, становится очевидно, что иранская революция его заворожала: это была революция, вырвавшаяся из лап политики — во всяком случае, не подпадающая под западные политические критерии. Впрочем, иранские события поразили всех, кто наблюдал за ними. После смерти Фуко Жан Даниэль упомянет «общее заблуждение». Серж Жюли, признавая, что думал и писал то же, что Фуко, добавляет: «А ведь уже тогда можно было разглядеть зародыши последовавших событий». Нельзя забывать, что режим шаха внушал глубокое отвращение. Кровавый разгон демонстраций пробудил в людях сочувствие к иранскому народу. Все желали шаху поражения. Все хотели, чтобы он покинул Иран. Но никто не задавался вопросом, что будет потом. Фуко понял, что эта страна вряд ли легко вернется к традиционным формам политики и что религиозный порыв, придавший силу восстанию, не исчезнет сразу после победы. Нет, нельзя ждать, что мулла послушно вернется в мечеть. Фуко говорит об этом со всей определенностью. И поэтому будет отвечать своим хулителям: я предсказал последующие события. Отзвуки этого мнения содержатся в коротком биографическом очерке Даниэля Дефера, напечатанном в сборнике памяти Фуко, изданном Демократической французской конфедерацией труда:

«Фуко отправился в Иран, где писал политические репортажи для итальянской газеты «Corriere della sera». Он шокировал читателей, показывая, что из-за политического слома проглядывает глубокая религиозная идея»^[484].

Содержалось ли в статьях Фуко нечто большее, чем простое предвидение? Возлагал ли он надежды на будущее, которое предрекал? Без

сомнения. Однако сейчас уже трудно оценить истинный масштаб заблуждений Фуко. Чрезвычайно сложно провести границу между разными аспектами журналистского репортажа, между лихорадкой исторического момента и глубоким политическим анализом. «Фуко хотел работать как рядовой журналист», — говорит Тьерри Вёльцель.

Он держался вместе с журналистами, приехавшими в Иран. Он ездил с ними. В частности, с Клер Бриер и Пьером Бланше, специальными корреспондентами газеты «Libération», которым он впоследствии даст большое интервью для книги об Иране^[485]. Рядовой журналист? Если бы он им был, никто не стал бы ставить ему в вину то, что он написал. Но Фуко не был рядовым журналистом. Возможно, он забыл или хотел забыть, что он был Мишелем Фуко?

Но ему об этом напомнили. Как только новая власть утвердилась, — а это произошло вскоре после возвращения аятоллы Хомейни, в феврале 1979-го, она показала свое лицо: незамедлительно последовали аресты, казни, возобновилась кровавая череда репрессий, — Мишель Фуко стал мишенью, по которой наносились удары, часто весьма болезненные. Супруги Бруайель — Клоди и Жак, бывшие маоисты, переквалифицировавшиеся в моралистов, — атаковали его на страницах «Matin». «О чем мечтают иранцы?» — спрашивал Фуко. «О чем думают философы?» — спрашивает чета Бруайель. Фуко ответил им весьма жестко^[486].

Через несколько дней Фуко публикует в журнале «Le Nouvel Observateur» открытое письмо, адресованное Мехди Базаргану, премьер-министру исламского временного правительства. Напомнив о том, что они встречались в Куме в сентябре 1978 года, Фуко продолжает:

«Мы говорили о режимах угнетения, ссылавшихся на права человека. Вы выражали надежду: мечты об «исламском правительстве», которыми были одержимы иранцы, вполне могут сочетаться с реальной гарантией соблюдения прав человека. И приводили три основания для этого. Вы говорили, что народный бунт пронизан духовным подъемом и каждый ради иного мира рискует всем (а в большинстве случаев «все» значило жизнь — не больше не меньше); кроме того, речь не шла о желании оказаться под властью «правительства мулл», кажется, вы выразились именно так. И то, что я видел в Иране — от Тегерана до Абадана, — отнюдь не противоречило вашим словам. Вы утверждали также, что ислам, с его древней историей и современным

динамизмом, способен держать пари, касающееся прав человека, которое социализм проиграл в не меньшей степени (и это еще мягко говоря!), чем капитализм»^[487].

Обновленную версию происходившего Фуко даст в последний раз в длинной статье «Бессмысленный бунт?», которую газета «Le Monde» поместит на первой странице. Торжественный выход разочарованного и раненого человека, который с высокомерной элегантностью пытается обосновать уже сказанное им, обращаясь к тем, кто считал себя вправе давать ему уроки политической морали. Статья заканчивается определением роли интеллектуалов и морали, создающей ее:

«Пресса для интеллектуалов в последнее время никуда не годится: думаю, я могу употребить слово «интеллектуалы» в его вполне конкретном смысле. Поэтому сейчас неподходящий момент для того, чтобы объявить себя неинтеллектуалом. К тому же это вызовет улыбку. Да, я интеллектуал. Когда меня спросят, как я решаю, что делать, я отвечу: если стратег — человек, говорящий: «...что значит смерть, крик, бунт в сравнении с огромной потребностью в целостности и что значат общие принципы, когда речь идет об особой ситуации, переживаемой нами», что ж, для меня нет разницы, является ли он политиком, историком или революционером, сторонником шаха или аятоллы, моя мораль противоположна этой. Она «нестратегична»: относиться с уважением к дающей о себе знать необычности, быть непримиримым, когда власть применяется по отношению к универсальному. Выбор прост, воплощение непросто. Нужно подстергать, приподнявшись над историей, то, что ломает ее и будоражит, и одновременно приглядывать за тем, что, прикрываясь политической необходимостью, несет безусловные ограничения. Это и есть моя работа: я не первый и не единственный, кто ее делает. Я ее выбрал»^[488].

Ахмад Саламатиан в 1979 году станет заместителем министра иностранных дел, а в 1981 году вынужден будет покинуть страну, прожив несколько месяцев в подполье. Мишель Фуко будет ему всячески помогать.

Что же касается политической и журналистской деятельности, то на некоторое время Фуко отойдет от нее. Серж Жюли вспоминает, что делал ему несколько предложений, от которых он неизменно отказывался.

«Журналист должен быть профессионалом, — говорил он Сержу Жюли. — Нужно больше работать, больше знать...»

В это время Фуко трудится над статьей — анализом «Эры разрывов» Жана Даниэля. Это не просто дань многолетней дружбе. Статья звучит как сожаление об упущенном призвании, как выражение восхищения теми, кто владеет профессией, которая часто заставляет пересматривать очевидное, не поступаясь принципами, и менять суждения, не предавая себя. Восхищение теми, кто изо дня в день следует завету Мерло-Понти, призывавшего «никогда не мириться с уверенностью в своей собственной правоте». Фуко назвал статью «В защиту морали дискомфорта»^[489].

Многие убеждены, что Фуко был глубоко задет нападками и иронией, связанными с его «ошибочными» взглядами на Иран. И что ему было трудно преодолеть кризис, начавшийся как реакция на отзывы о «Воле к знанию». Но он работает. Его «История сексуальности» не имела продолжения, о котором было объявлено. Фуко коренным образом меняет проект. Предполагавшаяся теоретическая серия так и не вышла. Фуко приступил к масштабной работе — изучению раннехристианской литературы. Излюбленное место — Национальную библиотеку — пришлось покинуть. Уровень обслуживания там был ниже всякой критики. Фуко больше не мог выдерживать нескончаемых боев за каждую книгу, преодолевать препятствия и формальности, с которыми были сопряжены просьбы предоставить необходимые для работы документы. Он отыскал место, где имелись книги, интересовавшие его: библиотека Сольшуара (13-й квартал, улица Гласьер). Это библиотека парижских доминиканцев. Ее возглавлял Мишель Альбарик, с которым Фуко познакомился июньским вечером 1979 года в гостях у Роже Стефана. Позже Фуко столкнулся с Альбариком в Национальной библиотеке и пожаловался на то и дело возникавшие трудности. «Так приходите в библиотеку Сольшуара», — отозвался тот. «Библиотека Сольшуара» — это маленький читальный зал, окна которого выходят на квадратный дворик. Фуко устроился у окна, где и просиживал дни напролет.

Его заботили не только тематика и содержание книг, которые он писал. Он много времени уделяет форме, а также издательским проблемам. Можно даже сказать, что в начале восьмидесятых годов он занят по большей части именно этим. Тому есть множество причин. Фуко полагает, что слишком широкое распространение научных книг губительно для них и порождает непонимание. Стоит только труду выйти за пределы круга людей, для которых он предназначен, то есть специалистов, знакомых с проблематикой и теоретической традицией, к которой апеллирует автор, и тут же начинается

срабатывать не «эффект знания», а «эффект мнения». Избежать «эффекта мнения» — вот к чему теперь он стремится. Его девиз — «серьезность». Он даже подумывал о том, чтобы печататься исключительно в университетском издательстве «Врен», располагавшемся на площади Сорбонны и специализировавшемся на литературе для интеллектуалов.

Издательские проблемы обострились и вышли на первый план после того, как Фуко порвал с Пьером Нора. Они прекрасно ладили и даже дружили с 1966 года, с момента выхода книги «Слова и вещи», однако в начале восьмидесятых годов Нора начал выпускать журнал «Le Débat», и Фуко, мягко говоря, не понравилась редакционная статья, помещенная в первом номере. Эта статья Пьера Нора была направлена против всех авторов, публиковавшихся в сериях «Библиотека гуманитарных наук» и «Библиотека истории», которыми он сам руководил в издательстве «Галлимар». И, в частности, против Фуко. Между ними произошла бурная ссора, и Фуко решил печатать продолжение «Истории сексуальности» в другом издательстве. Он связывается с разными издателями, и, поскольку новость о произошедшем разрыве распространилась очень быстро, издатели сами связываются с ним. Фуко останавливает свой выбор на издательстве «Сёй». Он подписывает договор с Франсуа Валем, издателем и другом Барта.

Но мы знаем: труды Фуко все же будет выпускать издательство «Галлимар». Что произошло? Почему Фуко вновь обратился к «Галлимару»? Ведь издательство «Сёй» уже анонсировало его книги. Причина проста: Клод Галлимар принял Фуко и напомнил ему, что его издательство финансировало фильм Рене Аллио по мотивам книги «Я, Пьер Ривьер». И Фуко обещал в обмен на финансовую помощь печатать свои книги только в этом издательстве. До тех пор ничто не могло заставить Фуко дрогнуть. Его желание порвать с «Галлимаром» было непоколебимо. Он подписал договор? «Что ж, пусть подадут на меня в суд», — говорил он направо и налево. Но тут он почувствовал, что имеет моральные обязательства перед издательством. Он будет отдавать новые рукописи Пьеру Нору, хотя так и не помирится с ним. Гнев не так-то просто было смирить. Конечно, Фуко был наделен «мудростью древних», но одновременно — страстностью и вспыльчивостью, достойными великих греческих трагедий. Таков был его удел: часто ссориться с теми, с кем был тесно связан. От дружбы он требовал абсолютной преданности и никогда не прощал того, кого считал предателем или изменником. И один из ярких тому примеров — разрыв с Пьером Нора. Но Нора — отнюдь не единственный, кто испытал на себе вошедшие в легенду приступы

бешенства Фуко. Было немало имен, которых не следовало произносить в его присутствии.

Итак, Фуко будет по-прежнему печататься в издательстве «Галлимар». В 1983 году он даже согласится по просьбе «Le Débat» побеседовать с Эдмоном Мером. Возникнет также проект интервью с ним Робера Бадинтера. И все же общение с Франсуа Валем из издательства «Сёй» не пройдет бесследно. Фуко хотел, чтобы его новые книги положили начало серии, в которой печатались бы строгие труды, вытесненные на тот момент из издательств и, следовательно, из научного контекста.

И вот такая серия появилась. Ее название звучит как настоящая программа: «Труды». Выпуск книг поручен Франсуа Валью, Полю Вейну и Мишелю Фуко. «В настоящее время издательское дело во Франции, — объясняли они, представляя серию (текст был написан Фуко), — не отражает во всей полноте работу, которая ведется в университетах и других исследовательских центрах. Оно в той же степени не отражает того, что происходит в научной сфере за границей. Тому есть экономические причины — стоимость производства, стоимость перевода и, следовательно, отпускная цена книг. Следует также учесть существование книг, излагающих некое мнение, и отклики, которые научные труды могут получать в прессе. Данная серия вовсе не претендует на то, чтобы занять ведущее место. Научные книги не предназначены для широкого потребителя. Серия должна способствовать установлению связи между гомогенными субъектами: от коллег к коллегам. Расширение читательской аудитории — дело хорошее, но не следует смешивать разные типы изданий. В новой серии будут печататься три вида текстов: исследования, отражающие растянутую во времени работу, обычно путающие издателей, краткие исследования, резюмирующие содержание работы на нескольких десятках страниц и предполагающие дальнейшие публикации в составе серии, и переводы трудов иностранных авторов, необходимые для того, чтобы вывести французскую науку из изоляции».

Первым выпуском серии в 1983 году был труд Поля Вейна «Верили ли греки своим мифам?». В конце тома дан список книг, готовившихся к публикации. Их две: «Королева и Грааль» Шарля Мела и «Управление собой и другими» Мишеля Фуко^[490].

*

Все, кто общался с Фуко в начале восьмидесятых годов, вспоминают,

что в разговорах он то и дело возвращался к издательским проблемам. Его преследовали мысли об условиях работы интеллектуалов и о ситуации с наукой. Фуко также много думал о том, какую роль играют газеты в распространении идей и особенно во всеобщем смещении ценностей. «На скорую руку сделанные работы, в которых рассказывается бог знает что об истории мира со времен его образования, — заявил он в одном из интервью, — или же при помощи лозунгов и общих фраз излагается история нового времени, приравнены к серьезным и строгим исследованиям. Или, что еще хуже: эти книги, выставленные на витрине на самом видном месте, оттесняют другие, понемногу отнимая у прочих саму возможность увидеть свет»^[491].

Особенно Мишель Фуко был удручен упадком критики:

«Нигде больше не осталось места для обмена мнениями, для дискуссий, отпала возможность острых дебатов. Возьмем, к примеру, журналы. В них царит либо клановость, либо вялый эклектизм. Забыта роль критики. В пятидесятые годы критика была в почете. Прочсть книгу, рассказать о книге — это было занятие, которому предавались ради, так сказать, собственных интересов: чтобы извлечь что-то для себя, чтобы изменить что-то в себе. Хорошо написать о книге, которая не понравилась, или попытаться дистанцироваться от книги, которая полюбилась, — благодаря этим усилиям нечто переходило из текста в текст, из книги в книгу, из исследования в статью. Французская мысль пятидесятых годов многим обязана Бланшо и Барту. Но критика, по-видимому, забыла об этой своей функции, приняв на себя политикоюридические функции: донести на политического врага, «судить и осудить» или же «судить и увенчать лаврами». Это самые жалкие и неинтересные роли из всех возможных. Я никого не обвиняю. Я слишком хорошо знаю, что реакции индивидов тесно связаны с механизмами институций, чтобы позволить себе указать: «Вот кто виноват!» Но для меня стало очевидным, что сегодня не существует того типа публикаций, который мог бы взять на себя функцию настоящей критики».

Какое лекарство можно предложить? «Тут многое замешано, — отвечает Фуко в том же интервью. — Нужно опять вернуться к размышлениям о том, чем может быть университет или, по крайней мере, та часть университета, которую я лучше знаю: филология, гуманитарные

науки, философия и т. д. Работа, которая там ведется на протяжении последних двадцати лет, очень важна. Нельзя допустить ее выхолащивания. Во-вторых, нужно опять вернуться к размышлениям об университетских ученых изданиях. В-третьих, нужно работать над созданием центров, которые занимались бы научными публикациями, журналами, брошюрами»^[492]. По ходу дела Фуко изобличает абсурдность современной университетской системы, построенной на конкурсной основе: «Университет увяз в школьных упражнениях, часто нелепых или устаревших. Если присмотреться к тому, чем занят кандидат, готовящийся к экзамену на агреже по философии, становится грустно. Это совершенно бессмысленные труды, не имеющие никакого отношения к тому, что представляет собой исследовательская работа. Я знаю многих студентов, которых вполне можно было бы научить издавать тексты, готовить комментированные издания, переводить книги зарубежных исследователей, писать рецензии на иностранные и французские труды... Иначе говоря, делать работу, которая была бы полезна и им и другим». Под конец Фуко признается:

«Знаете, о чем я мечтаю? Создать научное издательство. Я отчаянно ищу возможности знакомить аудиторию с исследованием в его развитии, в поиске. Это было бы место, где наука могла бы предстать во всей своей гипотетичности и изменчивости»^[493].

Глава седьмая

Несостоявшиеся встречи

На площади Бастилии полным-полно людей. Звучит «Интернационал», развеваются красные флаги. «Левый народ» — это выражение имело большой успех — шумно празднует победу своего кандидата на президентских выборах. Франсуа Миттеран одолел соперника — Валери Жискар д'Эстена. Мишель Фуко отказался подписывать призыв голосовать за кандидата от социалистов:

«Нужно исходить из того, что избиратели — люди достаточно взрослые, чтобы самим решить, за кого им голосовать, а затем ликовать, если повезет»^[494].

И вот теплым весенним днем 10 мая 1981 года он вместе с друзьями вливается в радостно возбужденную толпу людей, высыпавших на улицу сразу после объявления результатов выборов. Через несколько дней, решив, что «теперь пришло время реагировать на то, что начинает совершаться»^[495], Фуко дает интервью газете «Libération», где заявляет о поддержке нового правительства. «Три обстоятельства поразили меня, — говорит он. — Вот уже добрых двадцать лет, как общество сформулировало целую серию вопросов. И эти вопросы на протяжении долгого времени не фигурировали в «серьезной» и институциональной политике. Кажется, только социалисты осознали реальность проблем и откликнулись на них — что конечно же помогло им добиться победы. Во-вторых, первые меры или первые декларации, связанные с этими проблемами (прежде всего я имею в виду правосудие и иммиграцию), совершенно соответствуют тому, что можно назвать «логикой левых». Логикой, ради которой Миттеран был выбран. В-третьих, что особенно примечательно, эти меры не подчинены мнению большинства. Ни в том, что касается смертной казни, ни в том, что касается проблем иммигрантов, выбор не совпал с наиболее распространенными мнениями»^[496].

Однако, словно подталкиваемый удивительным предвидением того, что произойдет в будущем, Фуко добавляет:

«Мне кажется, что в избрании Франсуа Миттерана многие увидели победу, своего рода модификацию отношений между

правлящими и теми, кем правят, а не смену правительства, при которой те, кем правят, занимают место правящих.

В конце концов, произошли лишь перемещения внутри политического класса. Начинается период партийного правительства, что влечет за собой множество опасностей. Возможно ли установить между правящими и теми, кем правят, отношения, которые были бы не отношениями подчинения, а отношениями, в которых сотрудничество играло бы основную роль, — вот то главное, что нужно знать в связи с этой модификацией. [...] Нужно решить дилемму: или мы за, или мы против. Почему бы не встать лицом к лицу? Сотрудничество с правительством не подразумевает ни послушания, ни общего одобрения. Можно сотрудничать и оставаться непокорным. Я даже полагаю, что одно подразумевает другое»^[497].

Но социалистическое правительство не намеревалось сотрудничать с Фуко. Ему были предложены посты советника по делам культуры в Нью-Йорке или директора Национальной библиотеки. По всей видимости, от первого предложения он отказался сам. Возможно, он согласился бы стать послом, но статус советника по делам культуры... Ему казалось, что он слишком стар для такой должности, к тому же это назначение мало соответствовало ожиданиям. А вот пост директора Национальной библиотеки он, скорее всего, с удовольствием бы занял. Он говорил — со смехом — о роскошной служебной квартире и внушительном кабинете, которые ждали его, что свидетельствует о том, что он считал это назначение возможным. Но пост занял человек из окружения Франсуа Миттерана. Когда через два года должность опять станет вакантной, о Фуко уже не вспомнят — выбор падет на его коллегу по Коллеж де Франс Андре Микеля.

Почему отношения Фуко с социалистическим правительством так стремительно испортились? Фуко, державшийся немного в стороне от политики после истории с Ираном, решительно вернулся в стан подписантов во время переворота в Польше, продемонстрировав во всем блеске то, что она называл «строптивостью» в отношениях с властью, пусть даже левой.

13 декабря 1981 года мир с изумлением узнал, что польская мечта летит в тартарары и что генерал Ярузельский принял жесткие меры, направленные на прекращение волнений и деятельности профсоюзного движения «Солидарность». Лидеры оппозиции были арестованы. Улицы

крупных городов патрулировали танки. Реакция министра иностранных дел, социалиста Клода Шейсона, шокировала всех, кто с надеждой следил за демократическими процессами, охватившими Варшаву и Гданьск. Он заявил, что французское правительство не намерено вмешиваться во внутренние дела Польши.

На следующее утро в квартире Фуко зазвонил телефон. Еще не было и восьми часов. Звонил Пьер Бурдьё, чтобы предложить ответить на заявление министра, которое он считал «позорным». Фуко согласился. Без малейших колебаний. Чуть позже на улице Вожирар социолог и философ напишут воззвание. Они неплохо знали друг друга. Встречались в Эколь — Бурдьё появился там в 1951 году. Впоследствии они не часто общались, но их взгляды на многие вещи совпадали. Например, они оба с большим уважением относились к Ж. Кангийему, оба считали его своим учителем. В начале 1981 года Фуко способствовал избранию Бурдьё в Коллеж де Франс. Возможно, именно в это время они и сблизились — двое выдающихся ученых, столь далекие по сферам своей деятельности и интересам. Они впервые действовали вместе. Надо сказать, что Бурдьё после мая 1968 года не принимал особого участия в событиях. Он никогда не был общественным деятелем и в шестидесятые — семидесятые годы дистанцировался от гошистских групп, как дистанцировался он и от коммунистической партии в пятидесятые. В отличие от многих других он никогда не состоял членом этой партии, в то время как Жан-Клод Пассерон, соавтор Бурдьё по книгам «Наследники. Студенты и культура» (1964) и «Ремесло социолога» (1969), был с Фуко в Венсенне, а затем участвовал в деятельности «Группы информации о тюрьмах» и комитета «Джелали».

Но в то утро, 14 декабря, Фуко и Бурдьё были настроены на одну волну. Текст воззвания написан быстро. Он выдержан в резком тоне. Фуко покорило предложение Бурдьё связаться с Французской демократической конфедерацией труда: подразумевалось, что между профсоюзом рабочих и интеллектуалами будет установлена связь, похожая на ту, что связывала польскую Солидарность с культурной и университетской элитой.

Предстояло собрать подписи и опубликовать текст. Все прошло гладко, и через несколько часов воззвание, весомость которого была усилена именами, много значившими для левых, было передано в газету «Libération» и агентство «Франс Пресс». Маргарит Дюрас, входившая, как считалось, в окружение Франсуа Миттерана, режиссер Патрис Шеро, Симона Синьоре и Ив Монтан. У Монтана в тот день обедали кинорежиссер Клод Соте и писатель Хорхе Семпрун^[498], немедленно согласившиеся также поставить подписи под текстом. Жиль Делёз

предпочел остаться в стороне. Он полагал, что не следовало создавать проблем для социалистического правительства, которое только-только приступило к работе. Итак, 15 декабря воззвание опубликовано в «Libération» под заголовком «Несостоявшиеся встречи»: «Нельзя, чтобы французское правительство, уподобившись Москве и Вашингтону, внушало, что введение в Польше военной диктатуры является внутренним делом этой страны и что ее гражданам нужно предоставить возможность решить свою судьбу самостоятельно. Это утверждение ложно и аморально. [...] В 1936 году социалистическое правительство оказалось перед фактом военного путча в Испании, в 1956-м — репрессий в Венгрии. В 1981 году социалистическое правительство встало перед фактом переворота в Польше. Мы не хотим, чтобы оно заняло ту же позицию, что и правительства-предшественники. Мы напоминаем ему, что оно обещало учитывать вопреки обязательствам реальной политики обязательства международной морали». Под воззванием шли подписи. Их не очень много, но они весомы:

«Пьер Бурдьё, профессор Коллеж де Франс; Патрис Шеро, режиссер; Маргарит Дюрас, писатель; Бернар Кушнер, «Врачи мира»; Мишель Фуко, профессор Коллеж де Франс; Клод Мориак, писатель; Ив Монтан, актер; Клод Шоте, кинорежиссер; Хорхе Семпрун, писатель; Симона Синьоре, актриса»^[499].

В номере «Libération» от 15 декабря воззвание загнано в угол полосы. Руководство газеты явно не стремилось к тому, чтобы оно бросалось в глаза. Никто — включая и тех, кто подписал воззвание, — не ждал, что эти несколько строк вызовут бурю. Однако журналист Иван Левай, священнодействовавший по утрам в эфире «Европы-1», тут же пригласил Мишеля Фуко и Ива Монтана прийти на радио 16 декабря, в воскресенье, и разъяснить свою позицию.

На следующий день «Libération» еще раз напечатала воззвание, под ним появились новые имена: актер Ги Бедос, скульптор Ипустеги, кинорежиссер Жан-Луи Комолли, историк Пьер Видадь-Наке... И адрес социолога Жаннин Вердес-Леру, по которому можно было обращаться, чтобы поставить свою подпись или выразить поддержку. Публикация вызвала шквал откликов. За несколько дней пришли сотни писем. Газета «Libération», объявившая, что будет публиковать новые списки подписавшихся каждый день, вынуждена была пойти на попятный, настолько огромен оказался поток корреспонденций. Писали известные

люди, художники и ученые: Клод Руа, Лоле Беллон, Сюзанн Флон, Рене Аллио, Эмманюэль Леруа Ладюри, Жорж Кангийем, Жан Больяк, Поль Вейн... И десятки исследователей, студентов, лицеистов, профсоюзных лидеров, приславших целые страницы с подписями, собранными в аудиториях, классах, лабораториях, бюро... Часто в конвертах помимо листов с подписями были и письма. Кто-то просто выражал сочувствие этой инициативе, кто-то предлагал помощь в организации последующих акций. Эхо воззвания, свидетельствовавшее о симпатиях населения, производило впечатление. Эти же симпатии заставили пятьдесят тысяч человек выйти на улицы Парижа с протестами против государственного переворота в Польше. Во время демонстрации лидеры социалистов были освистаны. Их встретили криками: «Каждому свое! Спасибо, Шейсон!» Польские события нашли широкий отклик во Франции, а пресса ежедневно посвящала им целые полосы. Уровень продаж «Libération», которая в каком-то смысле стала рупором движения, буквально взмыл, и был даже выпущен специальный номер, в котором содержались статьи и комментарии, публиковавшиеся изо дня в день.

На массовое проявление недовольства социалистическая партия и правительство отреагировали так же, как и на наскоро написанное воззвание Фуко и Бурдье. Лионель Жоспен, в то время первый секретарь партии, выступая на радио, в резкой форме напомнил Иву Монтану, что в 1956 году тот гостил в СССР. На следующий день Монтан распространил открытое письмо:

«Именно потому, что я в 1956 году ездил в СССР, никто не заставит меня проглотить такие слова, как «контрреволюция», «невмешательство в дела братских партий» или «ничего не поделаешь»»^[500].

Жак Ланг, министр культуры, сыграл не последнюю роль в организации контратаки. «Клоунада, демагогия», — кипел он возмущением на страницах «Les Nouvelles littéraires»^[501]. А в интервью, опубликованном в «Le Matin», набросился на интеллектуалов, продемонстрировавших, по его мнению, «типично структуралистскую непоследовательность». И добавил:

«Приходится признать, что подписанты хотят не столько оказать помощь Польше, сколько расслоить политическое большинство Франции»^[502].

Действительно, «союз левых» был на грани краха, а правые неистово требовали отставки министров-коммунистов. Тем не менее тон, в котором вел полемику Жак Ланг, поразил наблюдателей. Злоба, звучавшая в его словах, вполне объясняется атмосферой, царившей во Франции после избрания Франсуа Миттерана президентом республики. Министр культуры считался представителем интеллектуалов в министерстве, выразителем их жестов и поступков. К тому же он опрометчиво решил, что те, кто был связан с левыми, станут хором воспевать новую власть, выбросившую правых и уничтожившую «старый режим» — именно такую риторику он пытался ввести в то время в оборот. Министр культуры описывал приход левых к власти как переход от «тьмы» к «свету». На этом фоне появление петиции левых, адресованной правительству, которое они должны были воспринимать как «свое», казалось ему чем-то недопустимым, немыслимым, невозможным. А она появилась. И он пускает в ход все средства, позволяющие вести «ответный огонь», как выразилась одна его бывшая сотрудница, и показать, что большинство интеллектуалов поддерживают его и почитаемого им президента. В газете «Le Monde» появляется другая петиция — в виде рекламы, оплаченной министерством. Она была заказана самим Жаком Лангом писателю Жан-Пьеру Фаю, входившему в его окружение. Фаю следовало осудить репрессии в Польше, но при этом недвусмысленно высказаться в поддержку Франсуа Миттерана, а потом собрать подписи под текстом.

Эта петиция получила одобрение большого количества людей, многие из которых не осознавали, частью какой стратегии являлся текст, который им предлагалось подписать. Франсуа Жакоб и Жан Лакутюр, Альфред Кастлер и Владимир Янкелевич, Антуан Витез и Жан Даниэль... И Жиль Делёз. И Пьер Видаль-Наке, впрочем, отрицавший, что дал согласие на то, чтобы его подпись была поставлена под текстом. Жак Ланг и Жан-Пьер Фай организовали также митинг в поддержку польского народа. Он состоялся 22 декабря в парижской «Опера», куда набилось две тысячи приглашенных.

Мишель Фуко, Симона Синьоре, Ив Монтан и Патрис Шеро приняли решение посетить это мероприятие. Они договорились встретиться в кафе неподалеку от «Опера» и явиться туда всем вместе. Фуко, в отличие от других, не получил приглашения. «Напрасно, — рассказывает Клод Мориак, — мы (я и Коста-Гаврас) — пытались убедить его взять одно из наших приглашений. «Ни за что! — кричал он. — Об этом не может быть и речи!» Если у него потребуют приглашение и не позволят ему войти, он сразу же уйдет (мы тоже, — говорили Симона Синьоре, Коста-Гаврас и я),

и тут же позвонит. Куда? В «Libération» конечно же. Поднимется скандал, и ни за какие коврижки он не упустит этот шанс. Он заранее потирал руки, ну а мы — мы решили, что проявим солидарность, хотя вовсе не были уверены в уместности всего этого»^[503]. Но никакого скандала не произошло. Никто не препятствовал Фуко попасть в «Опера».

Тем временем полемика продолжалась. От имени протестантов Пьер Бурдьё принялся загонять Жака Ланга и Лионеля Жоспена в угол. Он провозгласил принцип независимости интеллектуалов от какой бы то ни было власти, а затем призвал к возвращению к традиции «левого анархизма», задавленной левым аппаратом и левыми аппаратчиками^[504]. После обмена любезностями произошел окончательный разрыв между социалистическим правительством и несколькими выдающимися представителями французской культуры. Но социалисты, несмотря на занятую ими позицию и жесткую реакцию, не остались глухи к протестам: после радиовыступления Мишеля Фуко и Ива Монтана Елисейский дворец прислал мотоциклиста забрать кассету с записью передачи. И хотя Лионель Жоспен и Жак Ланг выступили против подписантов, было сделано все, чтобы исправить оплошность: утверждалось, что никто не несет ответственности за заявление Клода Шейсона, кроме него самого, и что он говорил не от имени социалистов.

Однако поправить уже ничего было нельзя, и Мишель Фуко будет долго помнить этот эпизод. Он так и не примирится с социалистической партией и ее правительством, несмотря на многочисленные попытки другой стороны наладить с ним отношения. Жак Ланг пригласил его прийти в министерство, чтобы объяснить. Он пошел, а потом сказал друзьям: «Я назвал его идиотом». Очевидно, разговор шел на повышенных тонах. И, главное, все мосты были окончательно разрушены, хотя в сентябре 1982 года Фуко вместе с Симоной де Бовуар, Пьером Видаль-Наке и Жаном Даниэлем присутствовали на обеде, организованном Франсуа Миттераном. На обеде, от которого ему «не удалось отвертеться», как заявил он своим близким. Порвав с социалистами, он принял также решение никогда больше не читать газету «Le Monde», поскольку Жак Фове, возглавлявший ее, раскритиковал интеллектуалов, которым «так трудно было смириться с 10 мая». И при каждом удобном случае Фуко подчеркивал, что не читает этой газеты, призывая друзей и студентов следовать этому примеру.

В конце концов, воззвание, которое имело шансы не получить большого резонанса, стало важным политическим событием. Прежде всего

для социалистов. И для Мишеля Фуко. Поскольку идея Пьера Бурдьё получила продолжение и началось сближение с Французской демократической конфедерацией труда. В тот день, когда собирались подписи под «Несостоявшимися встречами», Бурдьё, полный решимости сделать так, чтобы на этот раз встреча состоялась, позвонил коллегам Эдмона Мера. Генеральный секретарь профсоюза упомянул об этих первых переговорах в интервью, опубликованном 15 декабря в газете «Libération» — в том же номере, где фигурировал протест «Фуко — Бурдьё», как называли еще их воззвание:

«Сегодня утром мы беседовали с несколькими интеллектуалами, до сих пор не имевшими особых связей с Французской демократической конфедерацией труда. Им хотелось, чтобы во Франции рабочие и интеллектуалы образовали силу наподобие той, что определяла деятельность «Солидарности»»^[505].

Первая встреча была назначена на 16 декабря и должна была состояться в шесть часов вечера в помещении Французской демократической конфедерации труда (улица Кадет, 9-й аррондисман Парижа). На ней присутствовали многие лидеры центрального профсоюза, в том числе и Эдмон Мер. Впрочем, он быстро ушел, так как его должен был принять премьер-министр. Из интеллектуалов пришли Мишель Фуко, Пьер Бурдьё, математик Анри Картан, а также ученые, близкие к Французской демократической конфедерации труда — Ален Турен, Жак Жюллиар, Пьер Розанваллон... Бурдьё настаивает на необходимости постоянного сотрудничества профсоюза с группой интеллектуалов, присутствовавших на встрече, что могло бы позволить немедленно откликаться на актуальные проблемы. Фуко предлагает создать информационный центр или пресс-агентство для сбора, фильтрации и распространения сведений разного характера — политического, юридического и т. д., — касающихся Польши.

На другой день — 22 декабря — состоялся второй раунд. Был составлен текст, который предполагалось распространить через несколько дней. Это собрание проходило в главном бюро профсоюза (сквер Монтолон всё в том же 9-м аррондисмане). Речь уже не шла о встрече в узком кругу. В зале собралось около сотни людей. На трибуне — Эдмон Мер, Пьер Бурдьё, Мишель Фуко, Жак Шерек... Математик Лоран Шварц зачитал резолюцию, подготовленную несколько дней назад: «Осуждения насилия

недостаточно... Нужно присоединиться к борьбе польского народа». Затем было объявлено об операции «бадж»: маленькие белые треугольники с красными буквами — аббревиатурой названия «Солидарность» — вскоре расцветят лацканы пиджаков и пальто. Фуко будет носить значок много месяцев. В то утро он произнес длинную речь: «Нам предстоит долгая работа, и мы должны проявлять последовательность. Первая проблема — это информация. Нельзя допустить, чтобы задушили голос «Солидарности». Поэтому следует отнестись с вниманием к предложению предоставить «Солидарности» пресс-агентство, которое выпускало бы ежедневный информационный бюллетень». Фуко предлагает также отправить в Польшу делегацию юристов и врачей и упоминает проекты организации «Врачи мира», в том числе операцию «Уагеоуте».

За этим собранием последовала серия встреч на факультете Жюсье. 20 февраля там прошел День Польши. Главная тема — отношения Востока и Запада. Мишель Фуко прилежно посещает все встречи, присутствует он и на Дне Польши, собравшем многие сотни человек.

Однако некоторые участники заседаний начинают задаваться вопросом о природе отношений с Французской демократической конфедерацией труда и даже сомневаться в их целесообразности. Скандал разразился внезапно, незадолго до Дня Польши. «Мы не хотим превратиться в попутчиков Французской демократической конфедерации труда», — заявили сомневающиеся.

«Вы являетесь организацией, — говорили они представителям профсоюза, — а мы частные лица. Нам уготована роль сателлитов».

Мишель Фуко старается успокоить их и, взяв слово после довольно живого обмена мнениями, примирительно говорит: «Речь идет не о том, чтобы стать попутчиками. Речь идет не о том, чтобы идти рядом, а о том, чтобы идти вместе». Эта формула прекрасно выражает смысл, который он вкладывал в данное предприятие. И все же, в конце концов, он перестанет посещать заседания на факультете Жюсье, устав от «клюквы» и особенно от их неэффективности и бесполезности. Бурдьё по тем же причинам перестал бывать там много раньше. Движение сошло на нет довольно быстро после первых невнятных инициатив.

На протяжении многих месяцев Фуко тем не менее участвовал в работе польского отделения «Солидарности», образованного поляками, проживавшими в Париже. Его глава Северин Блюмштайн обрисовал портрет философа, «который с удивительной самоотверженностью жертвовал временем, помогая справляться со скучнейшими бюрократическими проблемами». И добавлял:

«Мы всегда могли рассчитывать на него. Мне казалось, что мы отнимаем у него драгоценное время. Он, например, входил в комиссию по финансовому контролю. Я помню составленные им набитые цифрами длинные отчеты. Я никак не мог отделаться от мысли, что он мог бы найти лучшее применение отпущенному времени»^[506].

Лучшее применение? Фуко очень серьезно относился к своим обязательствам по отношению к Польше и не щадил себя. В сентябре 1982 года, например, он вместе с Симоной Синьоре сопровождал Бернара Кушнера в его последней поездке в рамках проекта «Врачей мира» («Varsovivre»). С ними были также два врача: Жан-Пьер Мобер и Жак Леба. Три тысячи километров они по очереди вели грузовичок с лекарствами, «которые были полякам не очень-то нужны», как скажет Бернар Кушнер, чтобы подчеркнуть, что гуманитарные конвои были «единственным средством не оставлять в беде тех, кто воплощал надежды той большой части Европы, которая находилась за решеткой»^[507]. В грузовичке были припрятаны печатные материалы.

В Варшаве состоялись встречи с активистами оппозиции, интеллектуалами, студентами... Группа хотела посетить в тюрьме Леха Валенсу. Но разрешения не последовало. Особый день: визит в Аушвиц. «Мы спускались поодиночке, — вспоминает Бернар Кушнер, — и каждый ждал своей очереди несколько мгновений, несколько долгих мгновений, которых хватало, чтобы печь крематория предстала чем-то очевидным в своей термической простоте»^[508]. Вернувшись из Польши, Фуко объяснил, зачем он предпринял это путешествие:

«Поляки нуждаются в том, чтобы с ними разговаривали, чтобы к ним ездили. И в том, чтобы те, кто побывал в Польше, рассказали о ней. В настоящее время нет речи о помощи, которую Франция могла бы оказать Польше или о покрытии ее долгов. Вечная проблема Польши постоянно возвращает к вопросу о европейских государствах, относящихся к советскому блоку, о разобщенности Европы. Однако об этом вспоминают только тогда, когда происходит оккупация или государственный переворот. [...] «Вы предаете не только нас, — говорят поляки, — вы предаете себя». Словно, предавая их, мы отрекаемся от части себя»^[509].

Кампания в защиту Польши стала последней политической акцией Фуко. Она привела его в прошлое, на улицы Варшавы, где он жил и работал двадцать пять лет назад, в страну, которую ему пришлось стремительно покинуть и куда он вернулся, чтобы еще раз поклониться тому, что он в предисловии к «Безумию и неразумию» назвал «большим упрямым солнцем польской свободы».

Фуко сохранит связи с Французской демократической конфедерацией труда и с Эдмоном Мером. Он даже опубликует свою беседу с Мером, озаглавив ее «Польша, далее...», — размышления о профсоюзах, массовых движениях, политике, левых и их истории.

«Итак, проблема Польши, — говорит Фуко в начале беседы. — То, что там происходило, являло собой пример движения, связанного с профсоюзами, все аспекты, действия и результаты которого имели, однако, политическую подоплеку. То, что там происходило, ставило на повестку дня (очередной раз, но впервые за долгое время) проблему Европы. И в это же время мы получили возможность провести опрос, чтобы узнать, каков вес коммунистов, входящих в правительство. И как раз тогда, как вам прекрасно известно, состоялась встреча с Французской демократической конфедерацией труда, что было совершенно естественно. Мы не «искали» друг друга; «союз» с горсткой интеллектуалов с точки зрения стратегии не имел для вас никакого смысла, а нас не могла не смущать тяжеловесность профсоюза, в котором состоит миллион человек. Но мы встретились в тот момент, испытывая удивление перед тем, что этого не произошло раньше: некоторые интеллектуалы уже давно взвалили на свои плечи груз схожих проблем, и уже давно Французская демократическая конфедерация труда стала центром, где вопросы политики, экономики и общества обсуждались наиболее активно...»^[510]

Сотрудничество с институтами левых не состоялось, и Фуко попытался воплотить эту идею, обратившись к Французской демократической конфедерации труда. Он примет участие в коллективном сборнике, посвященном проблемам общественной безопасности, готовившемся профсоюзом^[511]. Конфедерация не забудет этого и после смерти философа организует выставку в его честь, а также опубликует сборник его памяти со статьями Эдмона Мера, Бернара Кушнера, Пьера

Бурдьё...^[512]

Другим результатом этого всплеска активности Фуко станет проект, возникший летом 1983 года, написать небольшую книгу против социалистов. Он был поражен и задет хорошо организованной шумихой вокруг «молчания левых интеллектуалов», затянувшейся на два месяца: июль и август. На страницах газеты «Le Monde» шли дебаты о нежелании подписантов поддерживать левые петиции. Дебаты начались с публикации статьи Макса Гало^[513], пресс-атташе правительства, довольно взвешенной и сильно смахивавшей на предложение помириться. Тем, кто спрашивает, куда подевались Мальро, Алены, Ланжевены, тем, кто вглядывается в трибуны, подсчитывая количество присутствующих интеллектуалов, Гало отвечает попыткой анализа:

«Май — июнь 1981-го, тесно связанные с маем 1968-го, могут восприниматься как победа левых, в борьбе за которую интеллектуалы как группа, играющая символическую роль, не принимали особого — по крайней мере активного — участия. Это является причиной сложностей в отношениях между интеллектуалами и новым правительством. Взаимное непонимание, разочарование и обращения институтов к созидателям, которые формально вовсе не обещали власти политической поддержки и не являлись самыми «продвинутыми» в делах, стоявших на повестке дня. Не удивительно, что у многих интеллектуалов возникло ощущение, что их забыли, или недооценивают, или призывают лишь для того, чтобы они воспевали и прославляли власть. Эта ситуация имеет тяжелые последствия».

Статья заканчивается фразой, которую можно понимать как признание правоты интеллектуалов, подвергшихся нападкам со стороны Социалистической партии за полтора года до этого:

«Страна нуждается прежде всего во включенности выдающихся людей в размышления, требующие независимости и стремления к истине, не в том, чтобы они демонстрировали свою политическую ангажированность»^[514].

За этой статьей последовала целая серия откликов и пререкательств. Но Фуко молчит. И иронизирует в кругу своих: «Когда в 1981-м я хотел

говорить, мне велели молчать. Когда я молчу, никто не одобряет моего молчания. Это означает лишь одно: они признают за мной право говорить лишь в том случае, если я с ними согласен». Но у него был и более серьезный аргумент — сотрудничество с Французской демократической конфедерацией труда: «Пока вы обсуждаете молчание интеллектуалов, я размышляю вместе с профсоюзными лидерами над проблемой общественной безопасности». Но в глубине души писатель не одобрял то, что представлялось ему окриком, призывом к порядку, выражением «ползучего петенизма» — этот термин он использовал довольно часто. «Миттеран — это Петен», — говорил он всем, кто был готов его слушать. В одном из последних опубликованных за месяц до смерти интервью он указал на это противоречие:

«Когда мы подталкивали вас к смене дискурса, вы осуждали нас, применяя ваши расхожие лозунги. Теперь, когда вы вынуждены перейти на другие позиции под давлением реальности, которую ранее не способны были разглядеть, вы просите нас предоставить вам не концепцию, позволяющую справляться с ситуацией, а дискурс, маскирующий изменения, произошедшие с вами. В том, что интеллектуалы перестали быть марксистами, когда коммунисты пришли к власти, нет никакой беды, как уже было сказано. Беда в том, что, колеблясь в выборе союзников, вы не смогли в надлежащий момент объединиться с интеллектуалами в деле мысли, в силу которой были бы способны управлять страной»^[515]

В конце лета 1983 года Фуко задумал написать книгу на тему «Управлять по-другому» — реплику по поводу своего пресловутого молчания. В ней он хотел проанализировать глубинные причины ряда ошибок, совершенных левым правительством во Франции. «Социалистам не хватает, — полагал Фуко, — искусства управлять». И намеревался доказать это положение, обратившись к истории. Он приступил к работе — и прежде всего перечитал тексты Блюма^[516]. Было придумано название книги: «Мозг социалистов». Ибо Фуко предполагал исследовать ментальные особенности партийцев. Тем более что он был вне себя от бесконечных итоговых исследований, посвященных феномену тоталитаризма, расплывшихся в последние годы. Он говорил: «Понятие «тоталитаризм» абсолютно не релевантно. Такое грубое спрямление не может способствовать пониманию. Исследовать нужно партии, их

функции». Фуко предполагал, что книга будет написана в форме диалога. Его собеседником должен был быть я^[517]. Книгу ждали в маленьком издательстве Поля Очаковского-Лорана, которое даже прислало в помощь Фуко библиографа. Но, как мы знаем, она так и не вышла. Работа была тут же приостановлена: едва начав, Фуко понял, что к такой сложной и животрепещущей теме, обросшей солидными томами, можно подступить, лишь посвятив ей несколько лет. Ждали другие, более важные дела. Шла работа над «Историей сексуальности», и он не терял надежды поставить точку через несколько месяцев.

Осенью 1983 года Мишель Фуко, Бернар Кушнер, Андре Глюксман, Пьер Бланше, Клер Бриер и Мишель Бовильяр организуют теоретическую группу, которой, проявив самоиронию, они дают имя «Академия Тарнье» — по названию больницы, где проходят их заседания. Это попытка собрать на внепартийной основе людей, которые хотели бы обратиться к задачам, сформулированным Фуко в тот момент, когда он выступил в поддержку Польши: сбор информации и поиск возможностей публичных действий. Каждое заседание посвящается конкретной проблеме: Ливан, Афганистан, Польша (в присутствии Ива Монтана) и т. д. Одно из заседаний Фуко предполагал посвятить проблемам левых во Франции. Мишель Фуко и Бернар Кушнер хотели также опубликовать материалы обсуждений в специальном журнале, который должен был также носить название «Академия Тарнье».

Группа ненадолго пережила Фуко. «Он объединял нас, — говорит Клер Бриер. — Он был для нас моральным и интеллектуальным авторитетом, и это спланивало нас. После его смерти не имело смысла продолжать работу. Что касается меня, то я даже и не помышляла об этом».

*

Из долгих бесед Фуко и Пьером Бурдьё родились другие проекты. «Если правые вернутся к власти, нам не простят того, что мы бездействовали», — часто повторял Фуко, как свидетельствует Бурдьё. Они решают, обсуждая различные проблемы, держаться как можно ближе к «логике левых», обращая внимание на те сферы, в которых социалисты работают мало, плохо или вовсе не работают. Возникает идея создания «Белой книги» — коллективного труда специалистов, посвященного проблемным областям. Предполагалось, что, помимо описаний, книга будет содержать конкретные предложения по улучшению ситуации.

Культура, образование, наука... Вот каким должно было быть наполнение книги-акции, которая также не увидела свет.

Те же проблемы ставились перед комиссией под председательством Симона Нора, которую намеревался создать Мишель Рокар, в то время — министр планирования. Пьер Бурдьё и Мишель Фуко согласились участвовать в работе комиссии. Заметим, что Мишель Рокар являлся одним из немногих чиновников-социалистов, с которыми связи не были порваны. Жан Даниэль организует обеды в ресторане, расположенном неподалеку от площади Виктуар. На них присутствовали Мишель Рокар, Мишель Фуко, Эдмон Мер, Пьер Бурдьё и представители журнала «Le Nouvel Observateur» — Франц-Оливье Жисбер и Жак Жюллиар. Однако окончательное примирение «подписантов 1981 года» и социалистического правительства произойдет позже, после двух лет пребывания у власти правых, когда Мишель Рокар в мае 1988 года станет премьер-министром. Бернар Кушнер получит пост государственного секретаря по вопросам гуманитарных акций, Пьер Бурдьё возглавит комиссию по образованию, которую создаст Лионель Жоспен, в то время министр образования. Пьер Бурдьё полагает, что «несостоявшиеся встречи» отложились в сознании руководителей Социалистической партии. Болезненный разрыв изменил их концепцию взаимоотношений власти с интеллектуалами. И они, видимо, восприняли преподнесенный им урок. Кто знает, будь Фуко жив, быть может, он возглавил бы комиссию по реформе Уголовного кодекса?

В 1984 году Фуко попросил Бернара Кушнера доверить ему одну из акций в рамках миссии «Врачей мира». После долгих дискуссий и рассмотрения разных возможностей Кушнер предложил ему взять на себя организацию «корабля для Вьетнама». Фуко согласился. Было решено, что акция состоится сразу после того, как Фуко окончит работу над «Историей сексуальности».

Глава восьмая

Дзен и Калифорния

«Кардинал в красной мантии вел церемонию, — рассказывал Мишель Фуко. — Он вышел к верующим и поприветствовал их: «Шалом, шалом». Вокруг кишели вооруженные полицейские, а в храме — полицейские в гражданском. Полиция отступила, она ничего не могла сделать. Должен сказать, что все выглядело величественно и внушительно; чувствовалась тяжелая поступь истории». В октябре 1975 года Фуко приехал в Бразилию, чтобы прочесть курс лекций. В это время некий журналист, член подпольной коммунистической партии, был убит в полицейском участке. Он был евреем. «Но еврейская община, — поясняет Фуко, — не осмелилась организовать торжественные похороны. И тогда архиепископ Сан-Паулу провел межконфессиональную церемонию памяти журналиста в соборе Святого Павла. Тысячи людей пришли на площадь к храму»^[518].

Это была эпоха репрессий — с ее маховиками арестов и насилия. Фуко не захотел читать лекции в такой атмосфере и выступил в университете с заявлением, в котором публично отказывался преподавать в стране, где нет свободы. «В то время полиция следила за нами», — свидетельствует Жерар Лебран, у которого жил Фуко. Вскоре Фуко покинул страну.

Он приезжал в Сан-Паулу в 1965 и 1973 годах. В 1973 году — по приглашению Католического университета в Рио-де-Жанейро. В 1974 году приглашение пришло также из Рио, от Института социальной медицины при медицинском факультете. Он поездил по стране, добрался до Белу-Оризонти... Фуко обожал Бразилию и прекрасно чувствовал себя там. После инцидента, произошедшего в 1975 году, он стал персоной нон грата. Возможно, желая «подразнить гусей», он в 1976 году принял предложение «Альянс Франсез» выступить с лекциями в Салвадоре, столице провинции Байя, в Ресифи и Белене. Однако никаких препятствий не возникло.

Обосновавшись во Франции после возвращения из Туниса, Фуко не пренебрегал возможностью попутешествовать по миру. Лекции в Коллеж де Франс отнимали немало времени: они требовали большой подготовки и затрат энергии. Однако нагрузка профессоров составляла двадцать четыре часа в год — двенадцать часов лекций и двенадцать часов семинаров.

Преподавание занимало три месяца: два часа в неделю. Фуко старается не разочаровать слушателей. Но у него остается время для путешествий. Между 1970 и 1983 годами он побывал в Бразилии, Японии, Канаде и, конечно, Америке.

В апреле 1978 года, находясь в Японии, он приобрел новый духовный опыт. Ему захотелось познакомиться с практикой дзен, и учитель Омори Соген, возглавлявший международный центр медитации дзен при храме Сайондзи в Юнохаре, пригласил его провести несколько дней с монахами. Кристиан Полак, атташе по культуре в посольстве Франции, и журналист, представлявший буддийский журнал «Сюндзю», отправились с ним. Впоследствии они напечатают репортаж о пребывании философа в мире религии.

«Меня очень интересует философия буддизма, — заявил Мишель Фуко бонзе, встречавшему их, — но я приехал не для того, чтобы изучать ее. Меня очень интересует повседневная жизнь храма дзен, практика дзен, упражнения и правила». На вопрос бонзы, каковы, по его мнению, связи между дзен и христианским мистицизмом, Фуко ответил: «Что поражает в христианской духовности, так это вечные поиски индивидуализации. Поиски того, что скрывается в глубине души индивида. «Скажи мне, кто ты» — вот на чем основывается христианская духовность. Что же касается дзен, то, как мне кажется, его техники, связанные с духовностью, наоборот, направлены на растворение индивида». После этой предварительной беседы и посещения зданий наступило время перейти к делу: Фуко пытается освоить дзен, но, как он скажет позже, «это безумно трудно». Бонза объясняет ему, как садиться, как дышать... До тех пор пока колокольчик не оповестит, что пора заканчивать упражнения в медитации^[519].

Фуко очень интересовался Японией. «Тот, кто задумывается о западной рациональности и ее границах, — объяснял он, — не может не обратиться к этой цивилизации, представляющей своего рода загадку, которую весьма непросто разгадать». Однако его интерес к Японии не перерос в страсть, как это случилось, например, с Бартом или Леви-Стросом.

Наиболее тесные связи у Фуко складывались в Америке. Впервые он побывал там в начале семидесятых годов. Дважды — по приглашению отделения французского языка университета в Буффало, расположенного на севере штата Нью-Йорк, неподалеку от Ниагары. Когда он начинал читать лекции в Америке, университетская публика еще не очень хорошо знала его и число слушателей не превышало сотни. Он читал лекции по-

французски. В 1970 году Фуко рассказывал об обмене и деньгах, в 1972-м — об истории понятия «истина», основываясь на анализе юриспруденции античной Греции. Поначалу раз его поселили в факультетском клубе, достаточно чопорном месте, где было принято приходить на ужин в галстуке. Ему это совсем не понравилось: он предпочитал носить водолазки. В самой любимой — белой — философ запечатлен на десятках фотографий.

В 1972 году Джон К. Саймон, один из профессоров отделения французского языка, организовал при посредничестве коллеги, профессора права, специализировавшегося на тюремных реформах, посещение Аттики, расположенной в шестидесяти километрах от Буффало. Годом раньше это пенитенциарное заведение стало ареной мятежа и его кровавого подавления: погибло около пятидесяти человек. Воображение Фуко поразила огромная крепость, напоминавшая средневековый замок. Его впечатлил также «диснейлендовский», как он признался затем в беседе с Джоном Саймоном, вид входа, за которым скрывается «огромная машина», «механизм»: чистые прямые коридоры, воплощающие для тех, кто по ним ходит, ясные, прозрачные и эффективные пути. Во время беседы с Джоном Саймоном Фуко говорит о своем интересе к пенитенциарной системе:

«Традиционная социология формулировала эту проблему следующим образом: как может общество заставить индивидов сосуществовать? [...] Меня же интересует обратная сторона проблемы или, если хотите, решение обратной стороны проблемы: через какую систему вытеснения, через устранение кого, через какой раздел, благодаря какой игре отрицания и отторжения функционирует общество? Но вопрос, который я задаю себе, разворачивается иначе: тюрьма — слишком сложный институт, не сводимый к отрицательным функциям вытеснения; его значимость, его важность, усилия, которые прилагаются для администрирования в этой сфере, оправдания его существованию, которые подыскиваются, указывают на то, что у нее есть и положительные функции»^[520].

В том же 1972 году Фуко прочел лекцию о Моне в музее Олбрайт-Нокса.

Начиная с этого времени Фуко довольно часто приезжал в Соединенные Штаты. В 1973 году он читал лекции в Нью-Йорке. Весной 1975-го его пригласил Лео Берсани, возглавлявший отделение

французского языка в Беркли. Своим слушателям Фуко излагает основные положения будущей книги «Воля к знанию». Это первые шаги в Калифорнии, где впоследствии его будут принимать особенно бурно.

В ноябре 1975 года Фуко принял участие в конференции, посвященной «контркультуре». Конференция состоялась в Нью-Йорке под эгидой журнала «Semiotexts», которым руководил Сильвер Лотринже. Предполагалось, что заседания пройдут в Колумбийском университете, но они были перенесены в Тичерз-колледж, располагавший аудиториями, способными вместить тысячу участников. Фуко делал доклад о сексуальности. И вступил в диалог с Рональдом Ленгом, одним из отцов-основателей «антипсихиатрического» движения — в присутствии радикальной, то есть гипергошистской публики, что, вероятно, и объясняет тон и содержание реплик. Прозвучали громовые заявления в защиту прав такого анализа положения в современной психиатрии и обоснования такого теоретического взгляда: «Я думаю, что после 1960 года появились новые формы фашизма и одновременно новые формы фашистского сознания, новые формы организации фашизма и новые формы борьбы с фашизмом. И начиная с шестидесятых годов роль интеллектуала состоит именно в том, чтобы позиционировать себя, исходя из собственного опыта, компетенции, личного выбора, воли, позиционировать себя таким образом, чтобы получить возможность выявлять формы фашизма, которые остаются, к сожалению, незамеченными или же к которым общество проявляет терпимость, описывать эти формы фашизма, пытаться сделать их неприемлемыми для общества и определить, какой должна быть борьба с фашизмом». Фуко берет в качестве примера психиатрические клиники и тюрьмы и заключает:

«Я думаю, что старая проблема «писать или бороться» в наше время полностью *out of date*. Во всяком случае, особенности того, что сейчас происходит, не позволяют отделить теоретический и исторический анализ от конкретной борьбы»^[521].

Небольшой инцидент приводит Фуко в бешенство: после лекции о сексуальности, прочитанной по-английски переводчиком, с места поднялся некий человек и обвинил Фуко в том, что тот работает на французскую правительственную организацию, занимающуюся тюрьмами, и приехал в Нью-Йорк по поручению властей, чтобы собрать информацию о деятельности американских радикалов. А вот во время круглого стола с

участием Ленга, когда кто-то крикнул: «Ленг, как и Фуко, куплен ЦРУ!» — Фуко сохранил невозмутимость: «Да, здесь все куплены ЦРУ, кроме меня. Мне платит КГБ». Но, несмотря ни на что, конференция стала важным этапом знакомства Америки с французским философом.

Другой эпизод, более отвечающий университетским канонам: в октябре 1979 года Фуко приезжает в Стэнфорд на «Tanner Lectures», где говорит о «буколической власти». Цикл лекций называется «*Omnes et singulatum*: к критике политического разума». Более трехсот человек приходят слушать Фуко. На этом фоне особенно заметно отсутствие большинства профессоров философии: они ничего не имеют против Фуко, просто их совершенно не интересует французская философия, которая кажется им недостаточно «аргументативной». В этот момент Фуко знакомится с Хьюбертом Дрейфусом и Полом Рабиноу, профессорами из Беркли, которые писали книгу о его творчестве. Дрейфус — философ, специалист по Хайдеггеру, а также искусственному разуму и компьютерам, Рабиноу — этнолог, преподающий на отделении антропологии. Они позвонили Фуко, попросили о встрече и немедленно получили согласие. «А вот и мои палачи», — сказал Фуко, когда они прибыли к нему в гостиницу в Сан-Франциско. Однако они проработали восемь часов подряд, положив начало длительному сотрудничеству, обмену идеями и дружеским связям. Замечательная книга американских авторов содержит записи многих разговоров с Фуко^[522]. Не вошедшие в книгу беседы будут опубликованы в книге «Читать Фуко», подготовленной Рабиноу: сборник текстов, включающих фрагменты разных работ, статьи, лекции, неопубликованные предисловия...^[523]

Этот том имел огромный успех и по продажам перебил собственно книги Фуко. Согласно Андре Шифрину, американскому издателю Фуко, оригинальные сочинения философа расходились в количестве, не превышавшем двух-трех тысяч экземпляров. Но, добавляет он, «карманные» издания имели огромный успех: было продано 80 тысяч экземпляров «Воли к знанию» и 200 тысяч экземпляров «Истории безумия».

В октябре 1980 года Фуко снова по приглашению отделения французского языка приехал в Беркли в качестве *visiting professor*. Он участвует в престижных «Howison lectures».

Тема: «Истина и субъективность». Его лекции активно обсуждаются в кампусе, где его уже встречают, как выражаются Кейт Гандаль и Стефен Коткин, «с фанфарами»^[524]. Народу приходит столько, что закрыть двери

удалось только при помощи полиции. В ноябре 1980 года Фуко приезжает в Нью-Йорк в Институт гуманитарных наук при университете. Его слушают шестьсот — семьсот человек. Вместе с Фуко выступает социолог и романист Ричард Сеннет — получился своеобразный дуэт. Это «замечное событие нью-йоркской жизни», как сказал Том Бишоп, выплеснулось за пределы университетского круга: «Time Magazine» посвятит две страницы — редчайший случай! — настоящему «культу», развивавшемуся вокруг французского философа, иронически отозвавшись о его «туманных» теориях. Портрет Фуко получился, мягко говоря, не очень комплиментарным. Кроме того, журналист подчеркивает, что у Фуко есть немало врагов в американской университетской среде, а его сочинения подвергаются суровой критике и нападкам^[525]. Историк Петер Гай и этнолог Клиффорд Гирц, как и многие другие, делают все возможное, чтобы остановить волну увлечения Фуко. Консерваторы упрекают его в радикализме, а марксисты — которых немало — в отчаянном «нигилизме». Фуко неоднократно приходится браться за шпагу, отстаивая свои позиции, сражаясь с неправильным прочтением своих произведений, протестуя против того, что он назовет в одной из убийственных отповедей «чудовищностью в критике». Его даже обвинят в том, что его анализ психиатрических лечебниц способствовал увеличению числа бездомных женщин (*bag ladies*) на улицах Нью-Йорка!

Тем не менее все вынуждены были признать очевидное: имя Фуко притягивало толпы студентов. Аудитории ломались, как, например, в ноябре 1981 года, когда Фуко выступал в Лос-Анджелесе, в университете Южной Калифорнии — за неделю до появления статьи в «Time». Обсуждению исследований Фуко было посвящено три дня. В работе круглого стола приняли участие историки, в том числе Мишель де Серто^[526].

В 1982 году Фуко провел шесть недель в Берлингтоне (Вермонт) — в университете, затерянном в лесах Севера. Весной 1983 года он опять в Беркли. Он на вершине славы: публичная лекция «Культура самого себя» собрала полный зал. И это не метафора. Фуко выступает в театре, а не в университетской аудитории. Зал вместил две тысячи человек. Только Леви-Стросу удалось достичь большего: его аудитория составила более трех тысяч человек. Фуко теперь читает лекции по-английски. Однако «шоу» не вызывают в нем большого энтузиазма, и он пытается сформировать рабочие группы, команды исследователей.

Осень 1983-го: последняя поездка, и снова в Беркли. Фуко приглашен

отделениями французского языка и философии. Хотя большинство американских философов, видя, что он оторвался от них на огромное расстояние, его не признают. *Frog fog* — так отзывается местная знаменитость о французской мысли. Восхитительная по своей лаконичности формула, не поддающаяся переводу. Но все же попробуем. Она означает примерно следующее: «туман лягушатников». Иначе говоря, французская философия «континентальна», то есть туманна, и специалисты по логике и теории языка причисляют ее к «литературе», к традиции Бергсона и Сартра, чтобы затем смахнуть одним мановением руки. Фуко слушают главным образом студенты-историки, из тех, кто учился у Питера Брауна, специалиста по поздней Античности, книгу которого об Августине Фуко знал чуть ли не наизусть^[527]. Или ученики Рабиноу с отделения антропологии. Фуко читал лекции о либерализме и вел семинары, посвященные «искусству управлять» в двадцатые годы. Студенты поделили между собой страны: Германия, Англия, Соединенные Штаты, СССР...

Кроме того, он прочел лекцию о важности «правдоречия» в античной Греции, о проблеме «правдивости», взятой в ее отношениях с «заботой о себе» и этикой, и об эволюции понятия «истина» во времени. Об этом же Фуко говорил и на лекциях в Коллеж де Франс. Видимо, данная тема особенно занимала его в последние годы жизни.

Студенты обожали знаменитого профессора, любившего поболтать с ними. Фуко доступен для общения: у него, как и у других профессоров, есть *office hours*, то есть часы, когда студенты могут прийти побеседовать с ним. Его легко застать в кабинете Дуайнел-холла, на отделении французского языка, где он охотно отвечает на вопросы, выслушивает просьбы, дает советы, делится идеями. «Сначала мы не осмеливались подойти к нему, — рассказывает Дэвид Горн, — но в какой-то момент решились, и все прошло замечательно. Мы даже ходили вместе пообедать или поужинать...»

Фуко проводит много времени в библиотеке. Каждый раз, возвращаясь во Францию, он восхваляет американские библиотеки, с их многочисленным и компетентным персоналом, библиотеки, полные сокровищ, где все устроено так, чтобы было удобно работать. Это упсальская Каролина Редивива, но возведенная в десятую степень. Фуко работает часами: читает, делает выписки, пополняет картотеку, запасается документами. Он заканчивает «Историю сексуальности» и вынашивает новые проекты: он предполагает далее вести исследование либерализма и написать новую книгу. «Я уже сделал несколько набросков», — сообщает он Дрейфусу и Рабиноу. Это книга о сексуальной морали в XVI веке и о

роли «работы над собой», заботы католической и протестантской церковью о совести и душе.

Фуко оказал и продолжает оказывать большое влияние на Соединенные Штаты. После смерти философа в Нью-Йорке и Беркли прошли конференции, собравшие десятки исследователей и сотни студентов. Рабочая группа, которую Фуко создал в Беркли, продолжает функционировать, а информационный бюллетень «History of the Present» регулярно публикует результаты ее исследований, а также неизвестные тексты Фуко и статьи, посвященные ему. В 1981 году «Time Magazine» писала о культе Фуко. И через десять лет увлечение Америки этим философом не утратило пылкости.

Он получал удовольствие от работы в Америке и от Америки. Смаковал свободу, царившую в Нью-Йорке и Сан-Франциско, с их кварталами гомосексуалистов, располагавшими ворохом своих журналов и газет, барами и увеселительными заведениями... Община геев была огромна, хорошо организована и настроена решительно защищать свои права. И потом, что немаловажно, Соединенные Штаты — это страна, где гомосексуализм не имеет ограничений по возрасту, где он не является привилегией молодых. Это поражало всех европейцев, приезжавших в Сан-Франциско: мужчины лет шестидесяти в джинсах и кожаных куртках прогуливаются, держась за руку, поддерживая друг друга, обнимаются на улице... В Париже, во Франции гомосексуалист должен был быть молод и красив, чтобы открыто заявлять о своей ориентации.

Фуко жаждет всецело жить своей гомосексуальностью, с которой ему когда-то было так трудно примириться, приобщиться к выставленным напоказ образу жизни и культуре, процветавшими в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Он прямо говорит об этом в интервью, которое дает лос-анджелесской газете геев «The Advocate»: «Сексуальность является частью нашего поведения, нашей свободы. Она — то, что мы создаем, и она не ограничивается познанием тайного лица желания, но ведет дальше, к новым формам отношений, любви, созидания. Секс не является чем-то фатальным: он открывает возможность для созидательной жизни. Недостаточно провозглашать себя геем, нужно еще создавать мир геев». Фуко много говорит о «субкультуре СМ», то есть садомазохизме: «Практика садомазохизма — это созидание удовольствия, а сам садомазохизм — настоящая субкультура. Речь идет о процессе изобретения, о стратегических отношениях как источнике физического удовольствия». Да, эту «возможность использовать тело в качестве источника разного рода удовольствий нельзя недооценивать».

Фуко упоминает и о наркотиках. «Нет никакого смысла в том, чтобы выступать за наркотики или против них, — объясняет он. — Наркотики являются частью нашей культуры. Это как музыка: она не бывает хорошей и плохой». По всей видимости, знакомство Фуко с «хорошими наркотиками» не ограничивалось выращиванием «марихуаны» на балконе парижской квартиры, о чем писалось в «Time Magazine». Клод Мориак передает разговор с Фуко, состоявшийся в 1975 году, и комментирует:

«ЛСД, кокаин, опиум — он все перепробовал, за исключением, конечно, героина, но кто знает, не проявит ли он слабинку в нынешнем круговороте?»^[528]

А Полю Вейну Фуко признавался, что находился под действием опиума, когда в июле 1978 года его сбила машина на улице Вожирар, рядом с домом. Его отвезли в больницу, и он попросил сообщить о происшедшем Симоне Синьоре, которой он должен был передать текст очередной петиции. Каково было удивление актрисы, когда ей позвонил полицейский и, извинившись за беспокойство, сказал: «Некий месье Фуко просил передать вам, что с ним произошел несчастный случай». — «Как, вы не знаете, кто такой Фуко? Это великий французский философ!»

Самым интересным в интервью, которое Фуко дал газете «The Advocate», является, пожалуй, рассуждение об истории гомосексуальной дружбы:

«В настоящее время меня очень интересует проблема дружбы. Со времен античности на протяжении многих веков дружба являлась важным видом социальных отношений, внутри которого мужчины располагали некоторой свободой, возможностью выбора, и это были вполне аффективные отношения. Полагаю, что в XVI или XVII веке этот тип дружбы исчез, по крайней мере, из мужского социума. [...] Я полагаю, что гомосексуализм, секс между мужчинами, стал проблемой в XVIII веке. Гомосексуализм вошел в конфликт с полицией, правоохранительной системой и т. д. Причина, по которой гомосексуализм превратился в социальную проблему, — исчезновение дружбы. Пока дружба являлась чем-то важным и принималась социумом, никто не акцентировал внимание на том, что мужчины занимались любовью. Был между ними секс или нет, не имело никакого значения. Но дружба как культурно

обусловленный тип отношений исчезла, и возник вопрос: «А чем это занимаются эти двое?» Я уверен, что исчезновение дружбы как вида социальных отношений и объявление гомосексуализма социо-политико-медицинской проблемой составляют единый и неделимый процесс»^[529].

В Америке Фуко был счастлив: он наконец-то примирился с самим собой. Он доволен работой. Он живет полной жизнью. В начале восьмидесятых годов Фуко серьезно подумывает уехать из Парижа и из Франции, которые его все больше и больше раздражали, и осесть в Америке. Он ни от кого не скрывает, что мечтает поселиться в калифорнийском раю. Утопающем в солнце, прекрасном...

Но именно в этот момент новая чума начала свой опустошительный поход.

Глава девятая

Жизнь как произведение искусства

«Эта серия исследований выходит в свет позже, чем я предполагал, и в совершенно иной форме»^[530]. Прошло восемь лет после выхода «Воли к знанию», которая должна была стать введением к пяти книгам. В июне 1984 года появляются два тома, озаглавленные «Использование удовольствий» и «Забота о себе». За эти восемь лет Фуко коренным образом переработал свой проект. Он подступался к нему несколько раз и с большим трудом перестроил материал, который собирался им с того момента, как была задумана «История сексуальности». Сначала он пытался следовать объявленному плану: приступить к отысканию зачатков «дискурса о сексуальности» внутри христианства и доктрины признания. Речь шла, как уже говорилось, об «археологии психоанализа». Фуко погружается в чтение руководств по исповеди и другой христианской литературы, но ему приходится углубляться во все более и более далекое прошлое.

В Коллеж де Франс в 1979/80 учебном году он читает лекции на тему «Управление живыми», посвященные главным образом «процедурам исследования души и признания в раннем христианстве». Возникает вопрос: «Как сформировался тип управления людьми, при котором человек должен не только быть покорным, но и формулировать, кто он?» Фуко анализирует «историю пенитенциарных практик» и кодификацию «проверки совести» в монастырях, сопряженную с обязанностью рассказывать все о себе старшему или учителю^[531].

Эти исследования приближались к концу, и Фуко пишет книгу, которую называет «Признания плоти». Пробыв долгое время в размышлениях над христианской моралью, Фуко осознал, что довольно затруднительно говорить о первых временах христианства, не задумываясь над тем, что было до него, не попытавшись выяснить, откуда пришли формы «отношения к себе», которые «доктрины плоти» перерабатывают и пускают в русло теории вины и греха. Ибо Фуко обнаружил, изучая христианство, что речь идет не о введении нового более строгого и аскетического образа жизни, как он полагал изначально, а, скорее, о модернизации «техник, направленных на себя». И отказался от уже написанного предисловия к «Признаниям плоти», где он коротко

обрисовывал античную философию и языческую мораль. Потому что в этом тексте Фуко, в сущности, ограничился воспроизведением «общих мест», взятых из книг, посвященных этому периоду, в которых языческой культуре приписывалась куда большая сексуальная свобода и толерантность, чем свидетельствуют источники. В них уже представлена христианская тема «суровости». А также — и особенно — потому, что в языческой культуре главной была не проблема строгих правил аскезы, а проблема «техник, направленных на себя», «формирования себя»... Возникает новая линия: поиск в античной философии тематики «заботы о себе» и «использования удовольствий», который позволил бы увидеть, как языческая мораль создавала «модальности подчинения» накануне возникновения христианства.

Цикл лекций, который Фуко прочел в 1980/81 учебном году, назывался «Субъективность и истина». «Мы изучали, — пишет Фуко в «Конспекте лекций», — что в эллинской и римской культурах получило развитие как «техники жизни», «техники существования» у философов, моралистов и врачей в период с первого века до нашей эры до второго века нашей эры. Эти техники жизни рассматривались лишь в их приложении к тому типу актов, который греки называли *aphrodisia*; очевидно, что перевод этого понятия при помощи нашего слова «сексуальность» является неправильным». Фуко добавляет: «Становится понятно, насколько мы далеки от истории сексуальности, связанной со старой гипотезой репрессивности и ее обычными вопросами (как и почему подавляется желание?). Речь идет об актах и удовольствиях, а не о желании. Речь идет о формировании себя через техники жизни, а не о вытеснении, запрете и законе. Речь идет о том, чтобы показать не оттеснение секса, а то, как был дан ход многовековой истории, связывающей в нашем обществе секс с субъектом»^[532].

В 1981/82 учебном году Фуко углубляется в еще большую древность. Его лекции посвящены «Герменевтике субъекта»: «Отправной точкой исследования, посвященной заботе о себе, является, естественно, Alcibiade [диалог Платона]. В нем ставятся три вопроса: как соотносится забота о себе с политикой, педагогикой и познанием себя». Фуко рассматривает советы, которые Сократ дает Алкивиаду, сравнивая их с более поздними текстами стоицизма. Вот что изменилось при переходе от Платона к стоикам:

«Алкивиад понимал, что он обязан заботиться о себе, поскольку он намеревался впоследствии заботиться о других.

Теперь же забота о себе осуществляется ради самого себя. На протяжении всего существования человек является объектом своей заботы о себе самом»^[533].

Можно констатировать: за несколько лет проект Фуко трансформировался по воле «логики открытий», в которой колебания и ошибки, заблуждения и раскаяние играют немаловажную роль и преодолеваются благодаря интуиции и новым находкам. «История сексуальности» становится историей техник, направленных на себя, «генеалогией «субъекта»» и модальностей, сформировавших его на заре западной цивилизации. Весной 1983 года Фуко отвечает на серию вопросов Дрейфуса и Рабиноу. Профессора из Беркли пытаются разобраться в нагромождении анонсированных Фуко названий трудов. Объяснение просто: будет два тома «Истории сексуальности». Первый называется «Использование удовольствий». Он посвящен языческой морали и техникам, направленным на себя, которые она предписывает в связи с сексуальной этикой накануне появления христианства. Второй том называется «Признания плоти». В нем речь пойдет о периоде от Античности к раннему христианству.

Следующая задуманная книга не является частью «Истории сексуальности». В ней будут собраны исследования, посвященные «своему «я»» (*the self*), в частности, в нее войдет комментарий к «Алкивиаду» — античному тексту, в котором впервые пробивается тема заботы о себе. Поэтому Фуко хотел бы назвать книгу «Забота о себе». На вопрос Рабиноу, правильно ли он понимает, что эта книга появится в издательстве «Сёй», а две другие — в издательстве «Галлимар», Фуко отвечает:

«Да»^[534].

Очевидно, речь идет о книге, которая должна была выйти в серии «Труды» под названием «Управление собой и другими». В первом варианте предисловия к «Использованию удовольствий», который Фуко отдает Полу Рабиноу для сборника «Читать Фуко», очерчены контуры программы: «Использование удовольствий» посвящено «поздней Античности», то есть языческой культуре первых веков нашей эры.

В общем плане продолжения «Истории сексуальности» ничего не говорится об античной Греции. Однако чуть позже происходят новые изменения: Фуко решает слить два проекта. Названия перетасовываются: работа о Платоне разрастается, вытесняя «Алкивиада» на периферию

(диалог цитируется лишь один раз), а в центр тома, озаглавленного «Использование удовольствий», помещаются размышления о Древней Греции. А Плутарх, Эпиктет, Сенека и Галлиен перемещаются во второй том, получающий название «Забота о себе». Название последнего, третьего, тома не меняется — «Признания плоти». Придя к этому решению, Фуко задумывается, нужно ли делить исследование на тома. Он задается вопросом: «Не проще ли составить один толстый том?» Но тогда нужно ждать окончания всей работы. Ибо есть еще одна проблема: последний том уже написан, но задолго до первых двух, в то время когда проект имел совсем другой вид. Фуко решает переработать его. И, поскольку ему хотелось опубликовать труд как можно быстрее, он делает выбор в пользу деления на три части в соответствии с хронологией. Таким образом, проволочек не должно возникнуть: том, подлежащий редактуре, охватывает поздний период.

В мае 1984 года, закончив читать корректуру двух томов, которые должны были выйти из печати в июне, Фуко говорит друзьям, что после двух-трех месяцев работы над «Признаниями плоти» он поставит точку в этом исследовании. Он надеется, что последний том выйдет к началу учебного года, в октябре.

Согласно аннотации, датированной июнем 1984 года, «История сексуальности» должна выглядеть следующим образом:

Том 1: Воля к знанию (опубликован в 1976 году);

Том 2: Использование удовольствий;

Том 3: Забота о себе;

Том 4: Признания плоти (в печати).

Вот как в аннотации, составленной Фуко, — теперь малодоступном тексте — представлен проект, стоивший автору столько крови:

«Первоначальный проект серии исследований, изложенный в книге «Воля к знанию», не предполагал ни реконструкции истории сексуального поведения и сексуальных практик, ни анализа идей (научных, религиозных или философских), через которые эти практики давали о себе знать. Речь шла о том, чтобы понять, как возникло в современных западных обществах понятие «опыт сексуальности», которое, несмотря на свою расхожесть, появилось не раньше начала XIX века.

Чтобы говорить о сексуальности как об исторически сложившемся опыте, необходимо выстроить «генеалогию» субъекта, испытывающего желание, и обратиться не только к началу христианской традиции, но и к античной философии».

Продвигаясь от современности к христианству и дальше, к

Античности, Мишель Фуко сформулировал простой, но вместе с тем достаточно общий вопрос: почему сексуальное поведение и связанные с ним действия и удовольствия оказались подчинены морали? Откуда взялся этот этический интерес, который приближается к нравственной оценке других областей жизни индивида или коллектива, например, связанных с физическим выживанием или исполнением гражданского долга, а порой даже выходит на первый план? Эта проблематизация существования, восходящая к греко-латинской культуре, в свою очередь, уходит корнями к практикам, так сказать, «искусства существования» или «техник, направленных на себя», и имеет столь большое значение, что заслуживает отдельного исследования.

С этим связана реорганизация обширного исследования «генеалогии» человека, испытывающего желание, исследования, охватывающего период со времен классической Античности до первых веков христианства. И перераспределение материала внутри тех томов:

- в «Использовании удовольствий» рассматривается, как греческая классическая мысль соотносит сексуальное поведение с оценкой и моральным выбором, а также приводятся модальности субъективизации, к которым она апеллирует: сущность этики, тип подчинения, формы работы над собой и моральной теологии. А также то, каким образом медицинская и философская мысль разработала это «использование удовольствий» — *chreses aphrodision* — и сформулировала отдельные принципы суровости, которые распространятся на четыре большие области опыта мужчины: отношение к телу, отношение к женщине, отношение к юношам и отношение к истине;

- в «Заботе о себе» анализируются с этой точки зрения греческие и латинские тексты первых веков нашей эры, а также рассматривается влияние данной проблематики на искусство жить, в котором превалирует внимание к себе;

- в «Признаниях плоти» речь идет об опыте плоти в первые века христианства и о роли, которую играют герменевтика и очистительное «прочтение желания».

Фуко много работал над последней редакцией давно анонсированного исследования. Его долгое молчание породило сонм слухов: «Фуко выдохся», «ему больше нечего сказать», «он в тупике»... Журналы и газеты, всегда готовые выискивать промахи, выявлять слабости, кричать о провале, ликующие противники, нетерпеливые поклонники и обеспокоенные друзья — все задавали один и тот же вопрос:

«Так когда же будет продолжение?»

Философ чувствовал себя затравленным. Настоящая «охота на дух, сильно смахивающая на охоту на человека», как сказал Бланшо^[535]. Может показаться, что это преувеличение. Но Фуко воспринимал происходящее именно так. В это время он подумывает о том, чтобы покинуть Коллеж де Франс. «Одно мне ясно: я не буду читать лекций в будущем году», — сказал он в начале 1984 года Пьеру Бурдьё. Фуко также поговаривает о том, что не станет больше писать. «В сущности, — объясняет он Полю Вейну и другим друзьям, — человек берется за перо случайно, а потом продолжает в силу инерции».

Фуко повторяет, что не выбирал писание делом своей жизни. Он не Сартр, которого влекло к творчеству с молодых ногтей, о чем тот пишет в книге «Слова». И потом, Фуко считает, что за славу приходится платить слишком дорого. Но что делать? Как изменить свою жизнь, когда приближается шестидесятилетие? Он подумывает о журналистике. Он мог бы писать о геополитике. Однако с инерцией прошлого бороться не так-то просто. И потом, ему хотелось бы закончить книги, которым он посвятил десять лет жизни, десять лет трудов. «Ему нужно было довести книги до конца, — пишет Эрве Гибер^[536], один из близких друзей Фуко, в великолепном очерке, посвященном агонии и смерти философа. — Труд, который он писал и переписывал, от которого он отрекался, к которому возвращался, чтобы снова уничтожать, править, обдумывать, сокращать, дописывать, бесконечный труд, занявший десять лет жизни, — книга сомнений, воскрешения, величественной скромности. Он порывался навсегда похоронить его, предоставив врагам торжествовать их бессмысленную победу, смаковать мысль, что он не способен писать, что его разум давным-давно умер, что его молчание — лишь признание поражения...»^[537]

Но дело движется к концу. Амбициозное стремление нащупать момент рождения современного человека и сознания, направленного на себя, принесло свои плоды. Книги должны были вот-вот появиться на прилавках, и Фуко не может лишить себя удовольствия вlepить пощечину тем, кто насмехался над его молчанием.

«Что же касается тех, — писал он в «Использовании удовольствий», — кто не знает, что такое терзаться, сотню раз начинать сначала, делать попытку за попыткой, ошибаться, опять возвращаться назад и снова колебаться, короче говоря, что касается тех, для кого работа без оглядки и

вечное беспокойство означают ни на что не годность, то разве не очевидно, что они с другой планеты?»^[538]

Фуко, вероятно, считал бы себя реабилитированным: в 1986 году самый строгий, престижный академический английский журнал «*Journal of Roman Studies*» опубликовал статью, посвященную разбору последних книг Фуко — подробному, аргументированному и... хвалебному^[539].

На этот раз, чтобы создать историю настоящего, Фуко пришлось опуститься в поисках «генеалогии» до археологического цоколя западной культуры. Поль Вейн, специалист по истории античности, должно быть, немало способствовал погружению Фуко во все более и более дальние эпохи. Фуко знал его еще со времен преподавания в Эколь Нормаль. Вейн стал его учеником и другом — наряду с Пассероном и некоторыми другими студентами, как мы уже видели. Позже они потеряли друг друга из виду. В 1975 году Поль Вейн был избран в Коллеж де Франс. Они возобновили знакомство, а со временем стали близкими друзьями. В семидесятые и восьмидесятые годы они были интеллектуально близки. В 1978 году Вейн посвятил историческому методу Фуко большую статью, красноречиво названную «Фуко совершает переворот в истории»^[540].

Вейн жил на юге Франции. Приезжая в Париж, чтобы прочесть лекцию, он останавливался у Фуко, в небольшой студии, примыкавшей к квартире, где тот обычно работал. Вдвоем или с другими членами маленькой семьи Фуко они отправлялись ужинать.

Фуко и Вейн много беседовали — и не только о философии и науке: они многое поверяли друг другу, вспоминали общее прошлое и годы, когда они не встречались. Закончив «Признания плоти», Фуко, как мы видели, перекроил свой проект. Работая над «Использованием удовольствий» и «Заботой о себе», он консультировался с Вейном. В предисловии Фуко отдает ему должное:

«На протяжении всех этих лет мне неизменно помогал П. Вейн. Настоящий историк, он хорошо знает, что значит искать истину; кроме того, ему знаком лабиринт, в котором оказываешься, стоит лишь вознамериться написать историю игры правды и лжи; он принадлежит к тем избранным, кто соглашается смотреть в лицо опасности, которую несет для любой мысли вопрос об истории истины. Трудно переоценить влияние человека, которому я обязан появлением этих страниц»^[541].

Вейн и Фуко сталкиваются не только на территории античности. Их отношения освещало то, что Фуко называет в книге «Неразумие и безумие» «огромным солнцем нищезанского поиска». В последние годы жизни Фуко главным образом размышлял над возможностью описания истории как череды «игр истины»:

«Через игры правды и лжи человек исторически осознает себя как опыт, то есть как нечто, что может и должно подлежать обдумыванию».

Фуко связывает свои последние исследования с теми, что уже имел за плечами. Во всех его книгах, в сущности, звучал один и тот же вопрос: «Благодаря каким играм истины человек начинает мыслить о себе: если он признается безумным, если он смотрит на себя как на больного, если он воспринимает себя как живое, говорящее и работающее существо, если он судит себя и наказывает себя как преступника?» И, наконец:

«Благодаря каким играм правды человек осознал себя как создание, наделенное желанием?»^[542]

*

Итак, из трех томов, следовавших за «Волей к знанию», первым был написан последний. Именно поэтому он не будет напечатан. Фуко примется перерабатывать «Признания плоти». Месяц, два... И тогда все будет кончено. Другие проекты ждали Фуко. Материалы, скопившиеся в ящиках стола, семинары в Беркли... И, главное, он хотел отдохнуть: «Что я буду делать, когда закончу книги? Прежде всего займусь собой», — сказал он Дрейфусу и Рабиноу в апреле 1984 года. Однако страшная болезнь продолжала свою разрушительную работу, и в начале июня Фуко попал в больницу. Он боролся с болезнью, боролся до конца. Но на этот раз битва была проиграна заранее. И, поскольку Фуко запретил «посмертные издания», третий том так и не вышел. Семья не хотела нарушать его волю.

Вот что говорит Пьер Нора в интервью, опубликованном в сентябре 1986 года:

«В одном из писем, датированных периодом, когда Фуко еще не был болен, он ясно выразил свое желание: «Никаких

посмертных изданий». Наследники Фуко, зная, насколько тщательно он работал над каждой книгой, пребывают в нерешительности. Это вопрос интерпретации. Моя позиция ясна. Есть три типа текстов. Во-первых, незаконченные и брошенные работы, как рукопись о Моне или переписка. Тут нет ни малейших сомнений: они не подлежат публикации. Лекции в Коллеж де Франс?^[543] Надо подумать: сам Фуко окончательного решения не принял. Я еще слышу, как он говорил мне: «Здесь много мусора, но и вложенного труда, намечены кое-какие пути, которые, возможно, будут полезны молодым». Что же касается четвертого тома, то вопрос совершенно ясен. Он входит в «Историю сексуальности» и даже является ключом к этой работе. Этой книгой Фуко особенно дорожил. Я убежден, что, начав переработку, он обязательно довел бы дело до конца. Редактура, вещь для него вполне традиционная, шла на два месяца дольше, чем было обещано. Тем не менее рукопись готова и отражает мысли Фуко, демонстрируя их величайшую последовательность. Требуется разве что наведение небольшого издательского глянца (например, сверки цитат). В этом случае именно неопубликование предполагает большую ответственность. Но я вынужден уважать волю Фуко»^[544].

Жорж Дюмезиль разделял позицию Нора по поводу законченности «Признаний плоти». «Было бы достаточно лишь присовокупить «предупреждение» и объяснить, каков статус книги», — говорил он. Такой же точки зрения придерживался и Поль Вейн. Следует заметить, что Дюмезиль, в отличие от Нора, не считал необходимым накладывать вето на публикацию других работ Фуко. Да и Поль Вейн полагал, что нужно «все публиковать». Один из старых текстов Фуко может служить подтверждением их правоты. Речь идет о предисловии к Полному собранию сочинений Ницше, которое начало выпускать издательство «Галлимар». Предисловие написано Жилем Делёзом и Мишелем Фуко в 1965 году и опубликовано в 1967-м. Философы выступают за посмертную публикацию всех сочинений, за свободный доступ к рукописям, дневникам и т. д.:

«Никто не способен предугадать ни формы, ни сути книги (или других сочинений, которые написал бы Ницше, если бы отказался от своего проекта). Читатель может лишь строить

догадки: но ему нужно дать для этого инструмент»^[545].

2 июня 1984 года Мишелю Фуко стало хуже. Он потерял сознание в своей квартире на улице Вожирар. Его отвезли в больницу 15-го аррондисмана, где он провел несколько дней. 19 июня его перевезли в Сальпетриер — больницу, роли и эволюции которой посвящено много страниц «Истории безумия».

На протяжении нескольких месяцев Мишель Фуко жаловался на «мерзкий грипп», из-за которого он постоянно чувствовал себя уставшим и не мог работать в полную силу. Он все время кашлял и страдал от ужасных мигреней. С начала 1984 года болезнь все сильнее давала о себе знать. «Я все время словно в тумане», — говорил он.

Тем не менее он редактировал «Признания плоти» и читал корректуру двух других томов — «Использования удовольствий» и «Заботы о себе». Эти книги станут последними. Он спешит, понукает себя. Ему не терпится выпустить их. Несмотря на головокружения и непреходящее чувство усталости, он ходит в библиотеку сверять цитаты. Он отказывается сделать передышку, остановиться хотя бы на несколько дней. По всей видимости, он понимал, что это его последние книги, и хотел сделать все, чтобы придать им целостность.

Знал ли он, что умирает? Что у него СПИД? «Нет», — уверяют те, кто находился рядом с ним. Он так и не узнал, какова была природа болезни, душившей его. Уже в больнице он мечтал поехать в Андалузию, где побывал с Даниэлем Дефером за год до этого. Ему там так понравилось! Да, именно так он и говорил. Он надеялся отдохнуть и оправиться от болезни. Верил ли он в возможность этого путешествия? Или просто успокаивал друзей? Некоторые свидетельства говорят скорее в пользу второго предположения: зимой он позвонил Жоржу Дюмезилю и сказал: «По всей видимости, у меня СПИД». «По всей видимости...» Формула, предполагающая долю сомнения. Но не следует ли слышать в этом признании, сделанном другу, достигшему восьмидесяти шести лет, с которым его связывали тридцать лет общения, голос истины, осознающей себя? Фуко знал, но не хотел признаться в этом перед теми, кто его окружал. Он предупредил лишь одного человека, того, кто был для него «духовным учителем», того, кто играл в его жизни роль «блюстителя совести». Фуко знал. И не хотел знать. По словам Поля Вейна, читавшего дневник Фуко после его смерти, в ноябре 1983 года стояла запись:

«Я знаю, что у меня СПИД, но моя истеричность позволяет

мне не думать об этом».

В сентябре 1986 года Поль Вейн, работая над статьей для специального номера «Critique», вспомнил об одном разговоре с Фуко, который состоялся в феврале 1984 года. Жан Пиель предпочел не публиковать эти две странички. Вейн описывал отношение Фуко к смерти. Разве сам Фуко не писал в книге о Раймоне Русселе, что отношение автора к собственной смерти — отнюдь не мелочь?

Вот рассказ Поля Вейна:

«Фуко не испытывал страха перед смертью. Он не раз говорил об этом друзьям, когда заходил разговор о самоубийстве, и жизнь показала, хотя и не в связи с этим, что он не хвастался. Мудрость древних стала его личным опытом и в другом аспекте: на протяжении последних восьми месяцев жизни работа над книгами стала для него тем, чем являлись философия и дневниковые записи для античных философов: мыслью о себе для себя, автостилизацией. К этому времени относится эпизод, воспоминание о котором обжигает меня жаром героизма. На протяжении последних восьми месяцев Фуко писал и переписывал свои две книги, желая избавиться от долга перед самим собой; он все время говорил о них, иногда просил проверить какой-нибудь сделанный им перевод. Он все время кашлял, и державшаяся небольшая температура сильно замедляла работу. Из вежливости он через меня советовался с моей женой — врачом. «Твои врачи решат, что у тебя СПИД», — сказал я ему как-то раз в шутку (мы часто подшучивали друг над другом по поводу разницы в любовных вкусах, это был один из наших дружеских ритуалов). «Именно так они и решили, — ответил он с улыбкой. — Я понял это по вопросам, которые они мне задавали». Сегодняшнему читателю трудно в это поверить, но в феврале 1984 года температура и кашель не внушали опасений: СПИД являлся еще чем-то таким далеким и непонятным, что его воспринимали как нечто мифическое и, быть может, несуществующее. Никто из близких Фуко ни о чем не подозревал. Мы узнали правду много позже. «Тебе нужно хорошенько отдохнуть, — сказал я, — ты перезанимался греческим и латынью, это высосало из тебя все силы». — «Да, — ответил он, — я отдохну, но потом. Сначала я должен закончить эти две

книги». — «А что, — спросил я, движимый чистым любопытством (поскольку история медицины вовсе не является для меня предметом первостепенного интереса), — СПИД и правда существует, или это всего лишь нравоучительная сказочка?» — «Знаешь, — спокойно начал он и, запнувшись на какую-то долю секунды, продолжил, — я изучал этот вопрос и кое-что читал: да, СПИД существует, это не сказочка. Американцы вплотную занимаются им». И он изложил мне все детали методик, которые я сейчас уже не помню, в двух или трех фразах. Поскольку он был историком медицины, я решил, что его как философа интересует все новое. В то время заметки с обзором американских источников, повествующих о «раке гомосексуалистов» (так называли тогда эту болезнь), регулярно печатались в газетах. Теперь, когда я оглядываюсь назад, у меня перехватывает дыхание от хладнокровия, с которым он реагировал на мои идиотские вопросы. Возможно, он тогда подумал о том, что однажды я задумаюсь над его словами, и рассчитывал на мою память — крохотное горькое утешение. Давать живущим *exempta* — такова была еще одна традиция античной философии»^[546].

В небольшой больничной палате Фуко принимал друзей. Даниэль Дефер, Эрве Гибер, Матьё Линдон и другие приходили навестить его. Лето уже вовсю развернулось в Париже. Больница расположена в большом парке. До нее нужно порядочно идти пешком. Фуко смеется. Шутит. Комментирует первые отклики на две книги, только-только поступившие в продажу. Кажется, что болезнь отступает. В газетах мелькают упоминания об улучшении его состояния. Есть один человек, которого Фуко хочет повидать. Он просит связаться с ним — это Жорж Кангийем. Поздно. 25 июня среди дня приходит депеша агентства Франс Пресс, повергающая в шок редакции и интеллектуалов Франции. Радио-и телеведущие сообщают:

«Умер Мишель Фуко».

«Le Monde» публикует заключение врачей. «Профессор Поль Кастен, главный врач отделения неврологии больницы Сальпетриер, и доктор Брюно Сорон с согласия семьи г-на Мишеля Фуко предоставили нам следующее заключение: «Г-н Мишель Фуко поступил в клинику заболеваний нервной системы Сальпетриер 9 июня 1984 года для

проведения дополнительных исследований, необходимость которых была продиктована неврологическими проявлениями, осложнившими септическое состояние. Эти исследования выявили существование очагов церебрального нагноения. Лечение антибиотиками сначала дало положительную динамику; ремиссия позволила г-ну Мишелю Фуко ознакомиться с первыми отзывами на его вышедшие книги. Резкое ухудшение отняло надежду на эффективность терапии. Смерть наступила 25 июня в 13.15»».

«Мишель Фуко умер». На следующий день все газеты пестрели такими заголовками. Газета «Libération» поместила на первой странице большую фотографию Фуко. И посвятила уходу философа восемь страниц. Редакционная статья Сержа Жюли, некрологи, серия воспоминаний (Эдмон Мер, Пьер Булез, Жак Ланг, Робер Бадинтер...)

И — еще одна деталь. О ней следует упомянуть, поскольку и через пять лет она вызывала глубокое отвращение и омерзение. В небольшой заметке, помещенной внизу страницы, делалась попытка опровергнуть «слухи», которые уже начали хождение, о том, что Фуко умер от СПИДа. «Поражает ядовитость этих слухов, — говорится в неподписанной статье. — Как будто кому-то нужно, чтобы Фуко после смерти был опозорен»^[547]. Никто не знает, сколько гнева немедленно обрушилось на газету. Письма шли потоком. «Как может газета, которая носит название «Libération», — возмущались читатели, — утверждать, что смерть от СПИДа — это позор?»

Повсюду, где я собирал материалы о Фуко, — в Париже, Нью-Йорке, Беркли — меня просили заклеить эту «гнусную» статью. Действительно, текст поражает своей бестактностью. Он был написан человеком, который знал Мишеля Фуко и очень любил его. Скорее всего, автор вовсе не хотел сказать того, что оказалось сказано. «Он действовал из самых добрых побуждений», — сказал один из его друзей.

Он хотел защитить Фуко от того, что ему казалось спланированной кампанией по дискредитации философа. И, конечно, он хотел также избавить близких Фуко от града вопросов. Я знаю, что не проходит ни одного дня без того, чтобы он не пожалел о том, что опубликовал эту глупую заметку. Я не хочу быть среди тех, кто бросает в него камни.

Через несколько дней «Libération» вернется к смерти Фуко. В ней будет опубликована статья, повествующая о жизни философа. Поразительный документ, свидетельствующий о трудности предприятия: сотканная из ошибок и абсурдных утверждений высокопарная проза. На четырех страницах повторены все мифы и предания, связанные с именем

Фуко^[548]. Зато в превосходных статьях Робера Маджори и Роже Шартье говорится об отношениях Фуко и Сартра, философа и историков...

На следующий день после смерти Фуко «Le Matin» также посвятила первую страницу печальной новости. «Le Monde» поместила на первой странице соответствующий заголовок и некролог Пьера Бурдьё, а также отдала две страницы сотрудникам газеты, которые рассказывали об исследованиях Фуко в области теории и политики. Поль Вейн написал о творчестве своего ушедшего друга. «Ничто не вызывает таких опасений, — рассуждал Пьер Бурдьё, — как сведение философии, тем более столь тонкой, сложной и противоречивой, к школярской формуле. И все же я скажу, что творчество Фуко — это подробное исследование трансгрессии, преодоления социальной границы, неразрывно связанное с вопросами познания и власти».

Бурдьё заканчивает статью следующими словами:

«Я хотел бы лучше передать эту мысль, упорно стремящуюся достичь умения властвовать над собой, иначе говоря, властвовать над историей, историей философских категорий, историей хотения и желаний. С ее заботой о строгости, отказом от оппортунизма как в познании, так и в практике, в техниках жизни, как и в политическом выборе, которые делают Фуко незаменимым»^[549].

А Поль Вейн, в свою очередь, заявляет:

«Творчество Фуко представляется мне самым важным событием в философии нашего века»^[550].

Через несколько дней фотография Фуко появилась на обложке журнала «Nouvel Observateur» — озабоченное лицо. Жан Даниэль посвящает редакционную статью «одержимости Фуко». В статье, исполненной сдержанного волнения, собраны воспоминания о первых встречах в Сиди-Бу-Саиде, о политических акциях, спорах и несогласиях, которые имели место впоследствии. Содержались слова прощания со столь быстро угасшим другом^[551].

Журнал опубликовал и другие статьи о Фуко. Фернан Бродель говорит о «национальной трагедии»:

«Франция потеряла один из самых блестящих умов нашего

времени, одного из самых щедрых интеллектуалов»^[552].

И в этом же номере можно найти самый трогательный текст из всех, посвященных Фуко. Жорж Дюмезиль любил повторять: «Когда я умру, Мишель напишет некролог». Однако все случилось наоборот. Старый специалист по мифологии, раздавленный смертью Фуко, наскоро набрасывает несколько страниц, рассказывая, как он познакомился с молодым коллегой, как они сблизились, как сумели на протяжении многих лет сохранить дружбу, ничем ее не омрачив: никаких гроз, ни малейшего облачка.

Он говорит и о работах философа, за которыми следил с самого начала, со времен, когда Фуко просиживал дни напролет в библиотеке Упсалы. «Ум Фуко был безграничен — в буквальном смысле, почти неестественным образом. Он устроил свою обсерваторию, чтобы наблюдать за теми проявлениями человека, по отношению к которым неуместны традиционные членения на тело и дух, инстинкт и идею: безумием, сексуальностью, преступлением. Его взгляд, словно прожектор, высвечивал историю и современность. Он не боялся наткнуться на что-либо мало обнадеживающее и был способен принять все, кроме окостенения в ортодоксальности. Ум, искрящийся идеями, словно снабженный подвижными зеркалами, так что любое суждение тут же порождало противоположное, не разрушая, впрочем, и не вытесняя первоначального. И все это, как всегда бывает в таких случаях, на фоне поразительной доброжелательности и доброты». И Дюмезиль заключает:

«Наша дружба далась мне очень легко. Уйдя, Мишель Фуко частично обездолил меня: речь идет не о том, что украшает жизнь, а о самой ее сути»^[553].

В феврале 1984 года Фуко прочел курс лекций «Мужество истины»: он исследовал диалоги Платона о смерти Сократа, желая показать, как практика «правдоречия» (*parrhesia*) и «забота о себе» могут открыть правду о себе самих. В своих комментариях он опирался на только что вышедшую работу Дюмезиля о «последних словах Сократа»^[554].

Раннее утро. Солнце еще не взошло над Парижем. Но в маленьком дворе позади больницы Питье-Сальпетриер уже собралось несколько сотен человек, желавших проститься с Мишелем Фуко. Долгое ожидание. Глубокое молчание. Внезапно раздается надтреснутый, глухой, исполненный горя голос:

«Мотив, двигавший мной, очень прост. Надеюсь, для многих он послужит достаточным оправданием. Это любознательность — во всяком случае, тот единственный вид любознательности, который заслуживает того, чтобы его проявлять с некоторым упорством: речь идет о любознательности, позволяющей отделиться от себя, а не о той, которая присваивает себе полученное знание. Чего бы стоила пытливость, если бы она обеспечивала лишь присвоение знания, а не избавление от того, кто знает, — в той степени, в какой это возможно? Есть такие моменты в жизни, когда постановка вопроса о том, можно ли думать и воспринимать не так, как принято думать и видеть, необходима, чтобы продолжать смотреть и размышлять. [...] Разве философия — я хочу сказать работа философа — не является критическим осмыслением себя? И разве она не состоит в том, чтобы не осенять легитимностью то, что уже известно, а попытаться узнать, как и в каких пределах можно думать по-другому».

Это слова Фуко: фрагмент из предисловия к «Использованию удовольствий». Его читает Жиль Делёз. Толпа слушает. Пестрая толпа, состоящая из тех, кто сталкивался с Фуко — на путях академической карьеры, политической борьбы, дружбы, любви... Кто являлся свидетелем какого-то одного из многих его лиц. В глубине двора, у стены — Жорж Дюмезиль и Жорж Кангийем, взволнованные и незаметные. Профессора Коллеж де Франс: Поль Вейн, Пьер Бурдьё, Пьер Булез... Все обращают внимание на Симону Синьоре и Ива Монтана, а также на министра юстиции Робера Бадинтера. Пришли также Ален Жобер, Жан Даниэль, Бернар Кушнер, Клод Мориак и многие другие, знаменитые и никому не известные, те, кто подписывал с Фуко петиции, и те, кто слушал его лекции по средам...

29 июня. Маленькое кладбище в Вандевре. Через несколько часов тело Фуко будет предано земле. Никаких толп. Только члены семьи. И близкие друзья. Венок из роз, положенный на гроб, не шелохнулся на протяжении всего пути из Парижа. Три имени: Матье, Эрве, Даниэль. Поскольку госпожа Фуко настаивала на церковной церемонии, доминиканец Мишель Альбарик, директор библиотеки Сольнуара, произнес короткую проповедь. Всё.

Нужно толкнуть скрипучую калитку. Пройти по аллее между кипарисами. Всего несколько метров. Надгробная плита. Простой серый

мрамор. На нем начертано:

«Пьер Жиродо супруг Мари Бонне 1800–1848».

И ниже, такими же золотыми буквами:

«Поль Мишель Фуко профессор Коллеж де Франс 1926–1984».

По другую сторону дороги виден большой дом старинной каменной кладки, который здесь все называют «Замок». Последний раз Фуко побывал там за два месяца до смерти. Он читал корректуру «Заботы о себе».

Две последние книги Фуко написаны не так, как предыдущие: его стиль стал более выдержанным, бесстрастным, «умиротворенным»^[555], как говорит Морис Бланшо, «трезвым», как говорит Жиль Делёз^[556]. Нейтральным. Без воспламенявшей... другие его тексты страсти^[557]. Опаляющий стиль остался в далеком прошлом. Словно приближение смерти, предчувствие конца, владевшее им на протяжении многих месяцев, навязало ему строгость, достойную «жизни философа», как она виделась Сенеке, чьи книги стали излюбленным чтением Фуко. Кажется, что Фуко настолько проникся духом античной мудрости, что полностью усвоил ее стиль: стиль творчества и стиль жизни. Поскольку подошел вплотную к проблеме «стилизации существования», «эстетики жизни». Проблеме, конечно, исторической, которую он формулирует, как всегда, опираясь на документы. Проблеме, которая, как всегда, тесно связана с тем, что он сам испытывает. Жиль Делёз прав, когда подчеркивает: Фуко интересовал не возврат к Античности, а «наше сегодня»^[558].

Ведь он сказал Дрейфусу и Рабиноу:

«Меня удивляет, что в нашем обществе искусство соотносится только с объектами, а не с индивидами или с жизнью... А разве жизнь индивида не может быть произведением искусства?»^[559]

В начале 1989 года вышла небольшая книга. В ней собраны краткие конспекты лекций Фуко, составленные им для «Annuaire du Collège de France». Последний написанный им конспект посвящен «Герменевтике субъекта», лекциям, которые он читал в 1981–1983 годах. В конце содержится изложение принципов стоицизма:

«Особая ценность размышлений о смерти состоит не в том, что они предваряют то, что, по общему мнению, является величайшим несчастьем, и не в том только, что они позволяют убедиться, что смерть — не несчастье; самим фактом, так сказать, предвидения они дают возможность бросить ретроспективный взгляд на жизнь. Представив себя стоящим на пороге смерти, можно оценить истинный смысл каждого действия. Смерть, говорил Эпиктет, хватает раба в разгар работы, матроса — во время плавания: «А ты, чем бы ты хотел быть занят в тот момент, когда она придет?»

Сенека смотрел на смерть как на момент, когда можно в каком-то смысле стать собственным судьей и взвесить, какой нравственный путь пройден вплоть до последнего дня. В «26-м письме» он писал: «Что же касается того, усвоил ли я нравственный урок, то я поверю лишь смерти... Я жду дня, когда мне придется держать ответ перед самим собой, и я узнаю, на устах или в сердце моя добродетель»»^[560].

И эхо этих нескольких фраз странным образом присутствует в нашей жизни.

Основные даты жизни и творчества Мишеля Фуко

1926, 15 октября — Мишель Фуко родился в Пуатье в семье хирурга Поля Фуко и его супруги Анны (в девичестве Малапер).

1943 — окончание лицея Генриха IV. Получение степени бакалавра.

1943, осень — записан в подготовительный класс и начинает готовиться к испытаниям в Эколь Нормаль.

1945 — неудачная попытка поступления в Эколь Нормаль.

1946 — поступление в Эколь Нормаль.

1948 — получение степени лиценциата философии в Сорбонне. Попытка самоубийства.

1950 — вступление в Французскую коммунистическую партию.

1951, осень — 1955, весна — чтение лекций в Эколь Нормаль.

1952 — диплом по психопатологии.

1952, Октябрь — место ассистента в Лилльском университете.

1953 — Фуко покидает ряды компартии.

1953–1955 — близкая дружба с композитором Жаном Барраке.

1954 — выход первой книги «Психическое заболевание и личность» в издательстве «Пресс университет де Франс» в серии «Введение в философию», которую вел Жан Лакруа.

1955, 26 августа — переезд в Швецию. Преподавательская деятельность в Французском институте города Упсала. Затем провел год в университете Варшавы, следующий год — в университете Гамбурга.

1956, весна — встреча с Дюмезилем.

1959 — смерть отца Фуко.

1960 — возвращение во Францию. Получил место заведующего отделением философии в университете Клермон-Феррана. Начало близкой дружбы с социологом Даниэлем Дефером.

1961 — «История безумия в классическую эпоху». Закончена книга «Безумие и неразумие».

1961, 20 мая — защита второй диссертации.

1963 — «Рождение клиники: Археология взгляда медика», «Раймон Руссель. Опыт исследования».

1965, август — сентябрь — Мишель Фуко в Сан-Паулу (Бразилия).

1966 — «Слова и вещи».

1966–1968 — курс лекций «Человек в западной мысли» в Тунисе.
1969 — «Археология знания».
1970, 12 апреля — общее собрание Коллеж де Франс избирает Мишеля Фуко профессором кафедры «История систем мысли».
1970, 2 декабря — инаугурационная речь в Коллеж де Франс.
1971, январь — 1984, июнь — преподавательская деятельность в Коллеж де Франс.
1975 — «Надзирать и наказывать».
Октябрь — чтение курса лекций в Бразилии.
1976 — «История сексуальности», том I «Введение».
1977 — годичный отпуск. Фуко отправился в Иран, где пишет политические репортажи для итальянской газеты «Corriere della sera».
1978 — статья Вейна, посвященная историческому методу Фуко.
1979, октябрь — знакомство в Стэнфорде с Хьюбертом Дрейфусом и Полом Рабиноу, профессорами из Беркли.
1983 — последняя поездка в США. Булез и Фуко публикуют диалог о музыке в журнале культурного центра Бобур.
1984, июнь — «Использование удовольствий» и «Забота о себе».
1984, 25 июня — умер от СПИДа в парижской больнице Сальпетриер.
1984, 29 июня — похоронен в Вандевре.

ИЛЮСТРАЦИИ



Foucault



С сестрой Франсиной



Мишель Фуко в пятилетнем возрасте



С отцом и сестрой на лыжной прогулке

SECONDE

Instruction religieuse

1 ^{er} P.	Jacques Pellion	1
2 ^e	Paul Fournet	1
3 ^e	Pierre Riviere	1
1 ^{er} Ad.	Yves Fournet	1

Excellence

1 ^{er} P.	Pierre Riviere	2
2 ^e	Yves Fournet	2
3 ^e	Paul Fournet	2
1 ^{er} Ad.	Jacques Pellion	2
2 ^e	Michel Leger	1
3 ^e	Robert Fournet	2
4 ^e	Claude Ronger	2
5 ^e	Patrick Cheneval	2
6 ^e	Jean Gouge	1

Religieuse

1 ^{er} P.	Pierre Riviere	2
2 ^e	Yves Fournet	2
3 ^e	Paul Fournet	2
4 ^e	Jacques Pellion	2
1 ^{er} Ad.	Claude Ronger	2
2 ^e	Michel Leger	2
3 ^e	Robert Fournet	2
4 ^e	Louis Dupuis	1
5 ^e	Paul Fournet	2
6 ^e	Patrick Cheneval	2

Excellence

1 ^{er} P.	Pierre Riviere	4
2 ^e	Yves Fournet	4
3 ^e	Paul Fournet	4
1 ^{er} Ad.	Jacques Pellion	4
2 ^e	Robert Fournet	4
3 ^e	Michel Leger	2
4 ^e	Claude Ronger	1
5 ^e	Louis Dupuis	2
6 ^e	Jean Gouge	2

Compulsion française

1 ^{er} P.	Pierre Riviere	2
2 ^e	Jacques Pellion	2
3 ^e	Paul Fournet	2

1 ^{er} Ad.	Patrick Cheneval	1
2 ^e	Paul Fournet	1
3 ^e	Claude Ronger	1
4 ^e	Robert Fournet	1
5 ^e	Pierre Riviere	1
6 ^e	Maxime Gouge	1

1 ^{er} Ad.	Claude Ronger	2
2 ^e	Jean Gouge	1
3 ^e	Michel Leger	1
4 ^e	Jean Gouge	2
5 ^e	Yves Fournet	2
6 ^e	Christian Riviere	1

Histoire et à l'écriture française

1 ^{er} P.	Pierre Riviere	2
2 ^e	Paul Fournet	2
3 ^e	Claude Ronger	2
1 ^{er} Ad.	Jean Gouge	2
2 ^e	Michel Leger	2
3 ^e	Patrick Cheneval	4
4 ^e	Jacques Pellion	2
5 ^e	Yves Fournet	2
6 ^e	Robert Fournet	2
7 ^e	Christian Riviere	2

Vendredi latin

1 ^{er} P.	Pierre Riviere	2
2 ^e	Paul Fournet	2
1 ^{er} Ad.	Jacques Pellion	2
2 ^e	Jean Gouge	2
3 ^e	Robert Fournet	2
4 ^e	Paul Fournet	1

Thème latin

1 ^{er} P.	Pierre Riviere	2
2 ^e	Michel Leger	2
1 ^{er} Ad.	Patrick Cheneval	2
2 ^e	Jacques Pellion	2
3 ^e	Christian Riviere	2
4 ^e	Paul Fournet	2

Lectures latines

1 ^{er} P.	Paul Fournet	2
2 ^e	Pierre Riviere	2

Классный журнал колледжа Святого Станислава в Пуатье, где учился Фуко



*Подготовительный класс лицея Генриха IV в Пуатье. Мишель Фуко —
пятый слева в последнем ряду. Фото 1936 г.*



Выпускной класс лицея. Фуко — выше всех. Фото 1944 г.



Жорж Дюмезиль



Луи Альтюссер



Жорж Кангийем. Фото 1988 г.



Мишель Фуко в Швеции рядом со своим «ягуаром».

Фото 1958 г.



Директор «Французского дома» в Упсале.

Фото 1957 г.

2 inconscient

1^{ère} : Inconscient et représentation

1/ Il se situe sans représentation, de
 + être - purement implicite et intuitif
 + monde de sens, et de la réalité.
 + implications de la construction : parole
 pour l'homme...

2/ Bergson et l'inconscient y met l'accent
 - réalité spirituelle de l'inconscient
 - effort spirituel

3/ Durkheim, et la représentation collective.

2^{ème} : Inconscient et conflit

1/ Janet et la conscience y met l'accent. Son
 caractère relatif de la conscience.

2/ Freud - la conscience est une construction
 - l'inconscient y met l'accent
 - le monde est sans / intuitif

3/ On voit que la conscience
 n'est pas l'essence de l'homme.

3^{ème} : Inconscient et la conscience

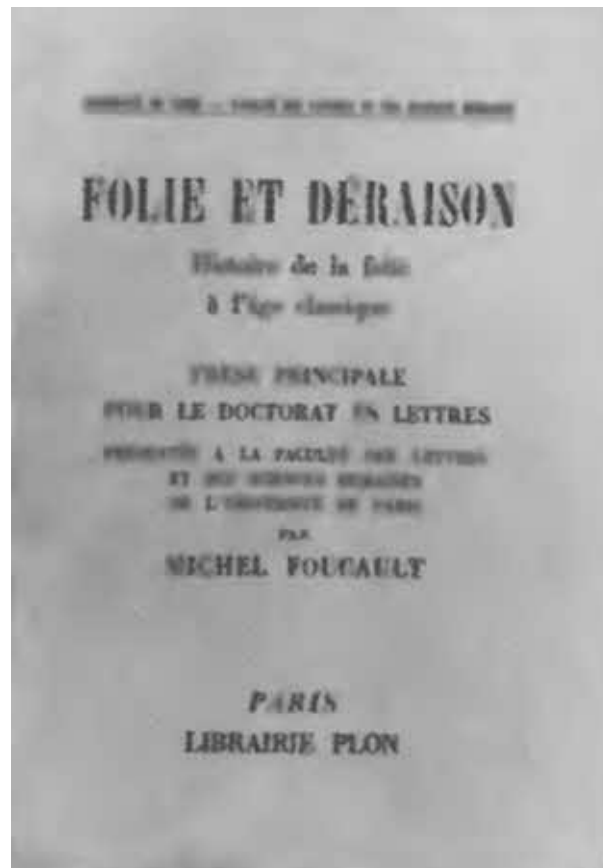
1/ Il faut insister sur la réalité humaine
 de la conscience, c'est-à-dire l'intuitif.

2/ L'inconscient est la conscience et la conscience
 l'essence de la conscience.

3/ La conscience et la conscience
 de la conscience, c'est-à-dire l'intuitif.

4/ Merleau-Ponty : l'implicite de la
 conscience.

План диссертационного выступления, озаглавленный «Бессознательное»



Первое издание книги «Безумие и неразумие» (1961)



«Это не трубка» — рисунок Р. Магритта, подаренный им Фуко



«Племя структуралистов». Слева направо: Мишель Фуко. Жак Лакан, Клод Леви-Строс и Ролан Барт.

Карикатура М. Анри из журнала «Quinzaine Littéraire» Июль 1967 г.



Фуко после издания книги «Слова и вещи». Фото 1966 г.



*Фуко и Жан Жене на манифестации по поводу убийства полицией
маоиста П. Овернея. Февраль 1972 г.*



*Жан Поль Сартр и Фуко на митинге в защиту прав иммигрантов.
Ноябрь 1972 г.*

A la suite d'une interpellation

M. MICHEL FOUCAULT PORTE PLAINTE CONTRE DES POLICIERS

MM. J.-M. Domenach et Michel Foucault, et une douzaine de membres du groupe d'information sur les prisons, ont été interpellés respectivement le 1^{er} mai aux portes des prisons de Fresnes et de la Santé, alors qu'ils distribuaient un texte sur l'abolition du casier judiciaire. Ils ont été relâchés vers 17 heures. M. M. Foucault a porté plainte pour arrestation illégale, atteinte aux libertés publiques, injures publiques et violences légères avec préméditation.

M. Michel Foucault, professeur au Collège de France, nous a fait le récit suivant :

« Au poste de police où j'ai été emmené avec mon groupe, un policier, après avoir remarqué que plusieurs de nos noms n'étaient pas de consonance française, nous a demandé quels étaient parmi nous « ceux qui portaient » des noms vraiment gaulois ». Quelques instants après, faisant la mimique de quelqu'un qui tire au revolver, il a crié : « Heil » Hitler ! » Enfin, un autre d'entre eux m'a frappé dans le dos alors que je quittais le commissariat et que j'étais déjà dans la rue. »

«Мишель Фуко протестует против действий полиции»

Статья в газете «Монд». 1971 г.



Участники протестов направляются в министерство юстиции на встречу с властями. В центре: Фуко, Сартр и Мишель Виан. Январь 1972 г.



*Фуко и Ив Монтан дают интервью после их выдворения из Испании.
Сентябрь 1975 г.*



*Слева направо: Режи Дебре, Коста Гаврас, Фуко, Клод Мориак, Ив
Монтан*



На демонстрации алжирских иммигрантов



Манифестация в защиту польского профсоюза «Солидарность». В центре: Симона Синьоре и Фуко. Декабрь 1981 г.



Выступление в дискуссионном клубе в Берлине. Январь 1978 г.



Над крышами Парижа



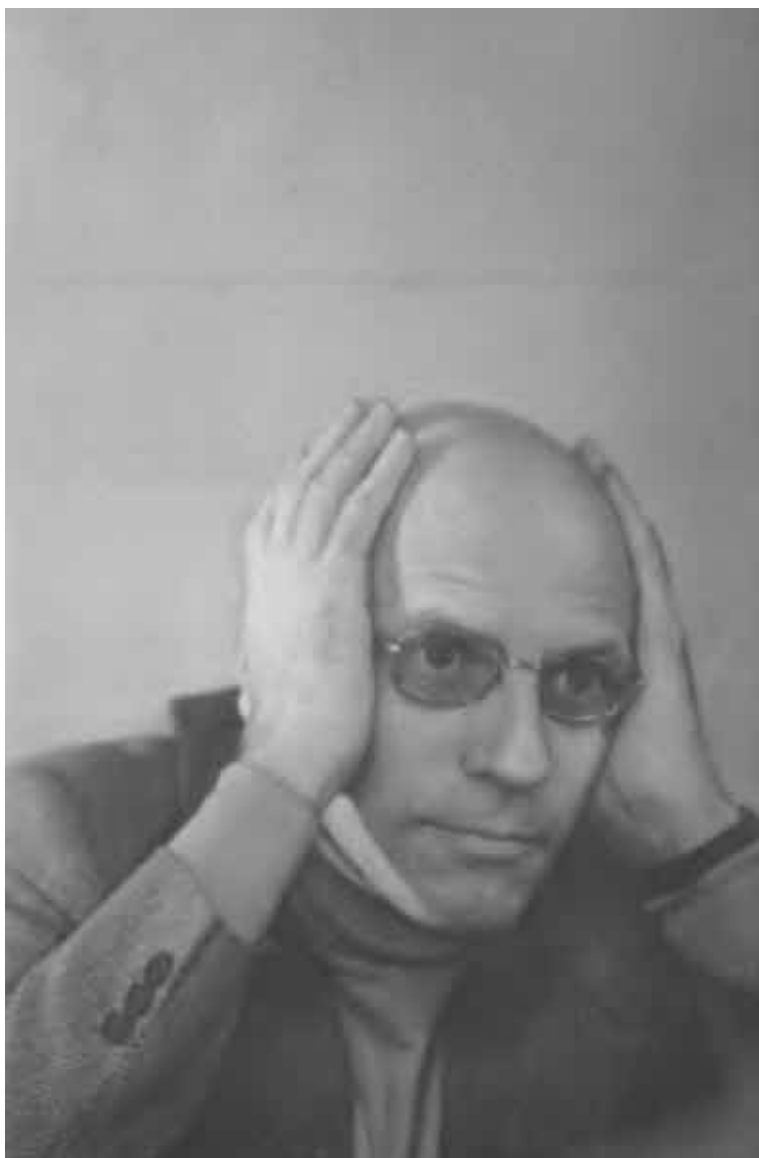
Философ на фоне своей библиотеки. Фото 1983 г.



Фуко в Японии. Фото 1978 г.



В Беркли со студентами. Второй справа — биограф Фуко П. Рабиноу



Размышляя о вечном и преходящем. Фото 1977 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

Произведения Мишеля Фуко

- Слова и вещи. М.: Прогресс, 1977.
- Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996.
- Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности / Пер. с фр. С. Табачниковой; под ред. А. Пузырея. М.: Магистериум-Касталь, 1996.
- История сексуальности. В 3 т. Киев: Дух и Литера, 1998.
- Надзирать и наказывать / Пер. с фр. В. Наумова; под ред. И. Борисовой. М.: Ad Marginem, 1999.
- Интеллектуалы и власть: статьи и интервью, 1970–1984: В 3 ч.: Ч. 1. Пер. с фр. С. Ч. Офертаса под общ. ред. В. П. Визгина, Б. М. Скуратова. М.: Праксис, 2002.
- Интеллектуалы и власть: статьи и интервью, 1970–1984: В 3 ч.: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2. Пер. с фр. И. Окуновой; под общ. ред. Б. М. Скуратова. М.: Праксис, 2005.
- Интеллектуалы и власть: статьи и интервью, 1970–1984: В 3 ч.: Ч. 3. Пер. с фр. Б. М. Скуратова; под общ. ред. В. П. Большакова. М.: Праксис, 2006.
- Использование удовольствий. История сексуальности. Т. 2. Пер. с фр. В. Каплуна. [СПб.]: Академический проект, 2004.
- Нужно защищать общество: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975/76 учеб. году / Пер. с фр. Е. А. Самарской. СПб.: Наука, 2005.
- Психиатрическая власть: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1973/74 учебном году / Пер. с фр. А. В. Шестакова. СПб.: Наука, 2007.
- Герменевтика субъекта: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981/82 учебном году / Пер. с фр. А. Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2007.
- Maladie mentale et personnalité. Paris, PUF, 1954.
- Maladie mentale et psychologie. Paris, PUF, 1962.
- Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique. Paris, Pion, 1961. Переиздано под названием: Histoire de la folie à l'âge classique. Paris, Gallimard, 1972.
- Introduction à 1' «Anthropologie» de Kant. Дополнительная диссертация на соискание степени доктора es lettres, Париж (машинопись, библиотека

Сорбонны).

Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical. Paris, PUF, 1963.

Raymond Roussel. Paris, Gallimard, 1963.

Les Mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Paris, Gallimard, 1966.

L'Archéologie du savoir. Paris, Gallimard, 1969.

Titres et travaux. Plaquette éditée pour la candidature au Collège de France, 1969.

L'Ordre du discours. Leçon inaugurale au Collège de France. Paris, Gallimard, 1971.

Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère... Un cas de parricide au XIX-siècle. Ouvrage collectif. Édité et présenté par Michel Foucault. Coll. Archives. Paris, Gallimard-Julliard, 1973.

Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris, Gallimard, 1975.

La Volonté de savoir (tome I de l'Histoire de la sexualité). Paris, Gallimard, 1976.

Le Désordre des familles. Lettres de cachet des archives de la Bastille. Présenté par Ariette Farge et Michel Foucault, Coll. Archives. Paris, Gallimard-Julliard, 1983.

Le Souci de soi et L'Usage des plaisirs (tome II et III de «Histoire de la sexualité»). Paris, Gallimard, 1984.

Résumés des cours au Collège de France. 1970–1982. Paris, Julliard, 1989.

Предисловия

Binswanger L. Le Rêve et l'existence. Paris, Desclée de Brouwer, 1954.
Nietzsche F. Œuvres complètes. T. V. Le Gai Savoir. Paris, Gallimard, 1966 (avec Gilles Deleuze).

Bataille G. Œuvres complètes. T. I. Paris, Gallimard, 1970.

Livrozet S. De la prison à la révolte // *Mercure de France*, 1973.
Knobelspiess R. QHS. Paris, Stock, 1980.

Статьи

La Recherche du psychologue, in: Des chercheurs français s'interrogent. Paris, Privat-PUF, 1957.

Histoire de la psychologie de 1850 à 1950, in: *Huisman D., Weber A.* Tableau de la philosophie contemporaine. Histoire de la philosophie. T. III. Paris, Fribourg, 1957.

Préface à la transgression//Critique, n° 195–196, août-septembre 1963.

Guetter le jour qui vient // NRF, n° 130, octobre 1963.

Distance, aspect, origine // Critique, n° 198, novembre 1963.

La Prose d'Actéon//NRF, n°135, mars 1964.

Le Langage de l'espace // Critique, n° 203, avril 1964.

Pourquoi réédite-t-on l'œuvre de Raymond Roussel. Un précurseur de notre littérature moderne // Le Monde, 22 août 1964.

La Pensée du dehors // Critique, n° 229, juin 1966 (перепечатано изд. Fata Morgana, 1986).

Nietzsche, Marx, Freud, in: Nietzsche F. Cahiers de Royaumont. Paris Minuit, 1967.

Structuralisme et analyse littéraire. Conférence prononcée à Tunis, le 4 février 1967. Publiée dans MCF Informations, ambassade de France, Tunis, 10 avril-10 mai 1987.

Réponse à une question // Esprit, n° 371, mai 1968.

Réponses au cercle d'épistémologie // Cahiers pour l'analyse, n° 9, été 1968.

Ceci n'est pas une pipe // Cahiers du chemin, n° 2, janvier 1968 (перепечатано изд. Fata Morgana, 1973, с письмами Магрита и Фуко).

Qu'est-ce qu'un auteur? // Bulletin de la Société française de philosophie, 63^e année, n° 3, juillet-septembre 1969.

Jean Hyppolite, 1907–1968 // Revue de métaphysique et de morale, tome XIV, n° 2, avril-juin 1969.

Theatrum philosophicum // Critique, n° 282, novembre 1970.

Nietzsche, la généalogie, l'histoire, in: Hommage à Jean Hyppolite. Paris, PUF, 1971.

Manet. Лекция, прочитанная в Тунисе 20 мая 1971. Неизданный текст.

Rapport pour la création au Collège de France d'une chaire de sémiologie littéraire et Rapport pour y présenter la candidature de Roland Barthes, 1975. Неизданный текст.

La Vie des hommes infâmes // Cahiers du chemin, n° 29, 15 janvier 1977.

La Vie, l'expérience et la science // Revue de métaphysique et de morale, 90^e année, 1985, n° 1, Reportages sur l'Iran // Conière délia sera, 28 septembre, 1^{er}, 8, 22 octobre, 5, 7, 19, 26 novembre 1978 et 13 février 1979.

A quoi rêvent les Iraniens? // Le Nouvel Observateur, 16 octobre 1978.

Inutile de se soulever? // Le Monde, 11 mai 1979.

Pour une morale de l'inconfort // Le Nouvel Observateur, 23 avril 1979.
Roland Barthes (1915–1980) // Annuaire du Collège de France, 80e année, 1979–1980.
Le Vrai Sexe // Arcadie, novembre 1980.
Pierre Boulez ou l'écran traversé // Le Nouvel Observateur, 2 octobre 1982.
Qu'est-ce que les lumières? // Magazine littéraire, n° 207, mai 1984.
Первая редакция «Предисловия» ко второму тому L'Histoire de la sexualité. По-французски не издана. См. Rabinow P. Thé Foucault Reader. N. Y., Panthéon Books, 1984 (в этой книге напечатаны также беседы Фуко о политике).

Интервью и дискуссии

Sur la justice populaire. Débat avec les maos (Philippe Gavi et Pierre Victor). //, Les Temps modernes, n° 310 bis, février 1972.
Les Intellectuels et le pouvoir. Dialogue avec Gilles Deleuze // L'Arc, n° 49, 1972.
Pour une chronique de la mémoire ouvrière. Dialogue avec un ouvrier de chez Renault, prénommé José // Libération, n° 00, 22 février 1973.
L'Intellectuel sert à rassembler les idées. Dialogue avec un ouvrier de chez Renault (José) // Libération, n° 16, 26 mai 1973.
Enfermement, psychiatrie, prison. Dialogue avec David Cooper et Jean-Pierre Paye // Change, n° 22, octobre 1977.
L'Angoisse de juger. Débat sur la peine de mort, avec Robert Badinter et Jean Laplanche // Le Nouvel Observateur, 30 mai 1977.
Voeltzel T. Vingt Ans et après. Paris, Grasset, 1978.
Conversation avec Wemer Schroeter, in: *Courant* G. Wemer Schroeter, Goethe Institut. 1981.
La Pologne et après... Entretien avec Edmond Maire // Le Débat, n° 25, mai 1983.
La Musique contemporaine et le public. Dialogue avec Pierre Boulez // CMC Magazine, n. 15, 1983.

Интервью с Фуко

Jean-Paul Weber, Le Monde, 22 juillet 1961 (о «Безумии и неразумии»).

Alain Badiou, Dossiers pédagogiques de la radio-télévision scolaire, 27 février

1965 (о философии и психологии).

Raymond Bellour. Deux entretiens avec Michel Foucault, Les Lettres françaises, 31 mars 1966 et 15 juin 1967 (о книге «Слова и вещи»). Перепечатано в: Le Livre des autres, éd. de l'Heme. 1971.

Madeleine Chapsal, La Quinzaine littéraire, 15 mai 1966 (о книге «Слова и вещи»).

Claude Bonnefoy, Arts et loisirs, 15 juin 1966 (о книге «Слова и вещи»).

Paolo Caruso, La Fiera letteraria, 28 septembre 1967. Перепечатано в: Conversazione con Lévi-Strauss, Foucault. Lacan, Milan. U. Mursia and C°, 1969.

Gérard Perrot, La Presse de Tunis, 2 avril 1967 (о структурализме).

Yngve Lindung, Bonniers Litterära Magasin, mars 1968.

Jean-Pierre Elkabbach, La Quinzaine littéraire, 1er mars 1968 (Фуко отвечает Сартру).

Jean-Michel Palmier, Le Monde, 3 mai 1969 (об «Археологии знания»).

Jean-Jacques Brochier, Le Magazine littéraire, avril-mai 1969 (об «Археологии знания»).

Patrick Lorient, Le Nouvel Observateur, 9 février 1970 (о Венсене).

Jelila Hafsia, La Presse de Tunis, 12 août 1971.

Klaus Meienberg, Tages Anzeiger Magazin. n° 12, 25 mars 1972.

Roger-Pol Droit, Le Monde, 21 février 1975 (о книге «Надзирать и наказывать»).

John K. Simon, Telos, n° 19, printemps 1974 (об «Аттике»).

Jean-Louis Ezine, Les Nouvelles littéraires, 17 mars 1975.

Jean-Jacques Brochier, Le Magazine littéraire, juin 1975 (о книге «Надзирать и наказывать»).

Bernard-Henri Lévy, Le Nouvel Observateur, 12 mars 1977 (о книге «Воля к знанию»).

Alessandro Fontana, L'Arc n° 70, 1977.

Christian Polac, Shunjuu, n° 197, 1978 (о философии дзен).

Pierre Blanchet et Claire Brière, L'Esprit d'un monde sans esprit. Postface à P. Blanchet et C. Brière, Iran. La révolution au nom de Dieu, Seuil, 1979.

de Ceccaty, J. Dante, J. Le Bitoux, Le Gai Pied, n° 25, avril 1981.

Ducio Trombadori, Colloqui con Foucault, 10–17, Cooperativa editrice, 1981.

Didier Eribon, Libération, 30 mai 1981 (о левых у власти и роли интеллектуалов).

Pierre Blanchet, Le Nouvel Observateur, 9 octobre 1982 (с Бернаром Кушнером и Симоной Синьоре о Польше).

- Didier Eribon, *Libération*, 21 janvier 1983.
- Gérard Raulet, *Telos*, n° 55, printemps 1983.
- Stephen Riggins, *Ethos*, I, 2, automne 1983.
- Ariette Faige, Jean-Paul Daumont, Jean-Paul Iommi, *Le Matin de Paris*, 20 février 1984 (о Филиппе Ариесе).
- François Ewald, *Le Magazine littéraire*, n° 204, mai 1984 (об «Истории сексуальности» и о политике).
- Gilles Barbedette et André Scala, *Les Nouvelles littéraires*, 28 juin 1984 (об «Истории сексуальности»).
- Pierre Boncenne, *L'Express*, 6 juillet 1984 (записано в 1978. О власти).
- Bob Gallagher et Alexander Wüson, *The Advocate*, 1 août 1984 (записано в июне 1982-го. О гомосексуализме и наркотиках).
- Charles Ruas. Postface à l'édition américaine de Raymond Roussel. Перепечатано по-французски в: *Le Magazine littéraire*, n° 221, août-juillet 1985.
- Didier Eribon, *Le Nouvel Observateur*, 21 juin 1985 (записано в 1982-м. О проблемах издательской деятельности и критики).
- Более полная библиография работ Фуко, составленная Томом Кинаном, опубликована в: *Thé Final Foucault* édité par James Bemaier et David Rasmussen, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1988.
- Автономова Н. С. Концепции «археологического знания» М. Фуко // *Вопросы философии*. 1972. № 10. С. 142–150.
- Автономова Н. С. От «археологии знания» к «генеалогии власти» // *Вопросы философии*. 1978. № 2. С. 145–152.
- Бланишо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю. СПб.: *Machina*, 2002.
- Визгин В. П. Мишель Фуко — теоретик цивилизации знания // *Вопросы философии*. 1995. № 4. С. 116–126.
- Визгин В. П. Онтологические предпосылки «генеалогической» истории Мишеля Фуко // *Вопросы философии*. 1998. № 1.
- Делёз Ж. Фуко / Пер. с фр. Е. В. Семиной; под ред. И. П. Ильина. М.: Изд-во гуманит. лит-ры, 1998.
- Михель Д. Мишель Фуко в стратегиях субъективации: от «Истории безумия» до «Заботы о себе». Саратов, 1999.
- Мишель Фуко и Россия: Сб. статей / Под ред. О. Хархордина. СПб.; М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний сад, 2001.
- Миллер Дж. Будьте жестокими! Интеллектуальная биография Мишеля Фуко // *Логос*. 2002. № 5–6. С. 331–381.
- Рыклин М. Сексуальность и власть: Антирепрессивная гипотеза

Мишеля Фуко//Логос. 1994. № 5. С. 197–206.

Фуре В. Полемика Хабермаса и Фуко и идея критической социальной теории // Логос. 2002. № 2. С. 120–152.

Флиvbьepг Б. Хабермас и Фуко: мыслители для гражданского общества// Вопросы философии. 2002. № 2. С. 137–157.

Неизданные документы

Canguilhem G. Rapport sur le manuscrit déposé par M. Michel Foucault en vue de l'obtention du permis d'imprimer comme thèse principale pour le doctorat es lettres, 19 avril 1960.

Gouhier H. Compte rendu de la soutenance de thèse par le président du jury, 23 mai 1960.

Vuillemin J. Rapport pour proposer au Collège de France la création d'une chaire d'histoire des systèmes de la pensée, 30 novembre 1969.

Vuillemin J. Rapport pour présenter la candidature de Michel Foucault au Collège de France, 13 avril 1970.

Книги

Dreyfus H, Rabinow P. Michel Foucault, un parcours philosophique. Paris, Gallimard 1984.

Deleuze G. Foucault. Paris, Minuit, 1986.

Blanchot M. Michel Foucault tel que je l'imagine. Paris, Fata Morgana, 1986. *Sheridan A.* Discours, sexualité, pouvoir. Initiation à Michel Foucault. Paris, Pierre Mardaga éditeur, 1985.

Michel Foucault, une histoire de la vérité. Paris Syros, 1985.

Sous la direction de Michelle Perrot, L'Impossible Prison. Débat avec Michel Foucault. Paris, Seuil, 1980.

Raichman /. Foucault et la liberté de savoir. Paris, PUF, 1987.

Mauriac C. Le Temps immobile. Vol. II–X. Paris, Grasset, 1975–1988. См. также: Une certaine rage, Laffont, 1977.

Материалы конференции: Michel Foucault philosophe, Seuil, 1989.

Статьи

Blanchot M. L'oubli, la déraison // NRF, octobre 1961. Перепечатано в: L'Entretien infini. Paris, Gallimard, 1969.

Barthes R. Savoir et folie // Critique, n° 17, 1961. Перепечатано в: Essais critiques. Paris, Seuil, 1963.

Serres M. Géométrie de la folie // Mercure de France, n° 1188, août 1962, et 1189, septembre 1962. Перепечатано в: Hermès ou la communication, Minuit, 1968.

Mandrou R. Trois clés pour comprendre l'histoire de la folie à l'époque classique // Annales ESC, 17^e année, n° 4, juillet-août 1962.

Derrida J. Cogito et histoire de la folie // Revue de métaphysique et de morale, n° 4, octobre-décembre 1963. Перепечатано в: L'Écriture et la différence. Seuil, 1967.

Sartre J.-P. Sartre répond // L'Arc, n° 30, 1966.

Canguilhem G. Mort de l'homme ou épuisement du cogito // Critique, n° 242, juillet 1967.

Veyne P. Foucault révolutionne l'histoire, in: Comment on écrit l'histoire. Paris, Seuil, 1979.

Bourdieu P. Une libre pensée: «Ne me demandez pas qui je suis» // Indice, Rome, n° 1, 1984.

Broberg G. Foucault à Uppsala // Tvârsnitt, n° 4, 1985.

Gandal K., Kotkin S. Foucault in Berkeley // History of the present, n° 1, 1985.

Allé E. Les Dernières Paroles du philosophe. Dialogue entre Georges Dumézil et Michel Foucault sur le souci de l'âme // Actes de la recherche en sciences sociales, n° 61, mars 1986.

Deleuze G. La Vie comme une œuvre d'art // Entretien dans Le Nouvel Observateur, 28 août 1986.

Deleuze G. Fendre les choses, fendre les mots // Entretien dans Libération, 2 septembre 1986.

Dreyfus H. Avant-propos à l'édition californienne de Maladie mentale et psychologie, University of California Press, 1987.

Специальные номера журналов

Le Magazine littéraire, n° 101, juin 1975.

Le Magazine littéraire, n° 207, mai 1984.

Actes. Cahiers d'action juridique, n° 54, été 1986. Critique, n° 471–472, août — septembre 1986.

Le Débat, n° 41, septembre — novembre 1986.

Эрибон Д.
77 Мишель Фуко / Дидье Эрибон; пер. с фр. Е. Э. Бабаевой;
науч. ред. и предисл. С. Л. Фокина. — М.: Молодая гвардия, 2008.
— 378 [6] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.;
вып. 1128).

ISBN 978–5-235–03120–3

УДК 1(092)
ББК 87.3(4Фра)

Эрибон Дидье
МИШЕЛЬ ФУКО
Главный редактор А. В. Петров
Редактор О. Л. Чернорицкая
Художественный редактор Н. С. Штефан
Технический редактор В. В. Пилкова
Корректоры Т. И. Маляренко, Л. М. Марченко, Г. В. Платова

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 12.03.2008. Подписано в печать 09.06.2008.
Формат 84х108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 20,16+0,84 вкл. Тираж 3000 экз.
Заказ 83533.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства:
127994, Москва, Суцевская ул., 21. Internet: <http://mg.gvardiya.ru>.
E-mail: dsel@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии:
127994, Москва, Суцевская ул., 21.

notes

Примечания

Foucault M. [Entretien avec Michel Foucault] // *Foucault M.* Dits et écrits. II. 1976–1988. Paris, 2001. P. 864.

Ibid. P. 866.

Ibid. P. 865.

Ibid. P. 862. О понятии опыта-предела в отношении литературы см. также: *Бланио М.* Опыт-предел // Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века. Сост., пер. и коммент С. Л. Фокина. СПб., 1994. С. 63–77. Ср. также: *Jay M.* Les limites de l'expérience limite // *Georges Bataille après tout.* Sous la direction de *D. Hollier.* Paris, 1995. P. 35–59.

Дискурс — специфические правила организации речевой деятельности, семиотический процесс, реализующийся в различных видах дискурсивных практик.

Мишель Фуко преподавал в Коллеж де Франс с января 1971 года до своей смерти в июне 1984 года. Название его кафедры — «История систем мысли».

Рене Шар (1907–1988) — французский поэт, автор многочисленных сборников философской лирики.

Жорж Дюмезиль (1898–1986) — знаменитый французский историк и культуролог. В 1935 году возглавил кафедру сравнительного изучения религий индоевропейских народов в парижской Высшей школе практических исследований. Заведовал кафедрой индоевропейской цивилизации в Коллеж де Франс (1949–1968).

Клод Мориак (род. 1914) — французский литературовед и писатель.

Пьер Бурдьё (1930–2002) — французский социолог и философ, представитель постструктуралистского направления социальной теории.

Поль Вейн (род. 1930) — французский историк, исследователь античности, друг Мишеля Фуко. Ему принадлежит высказывание:

«Фуко — совершенный историк».

Эколь Нормаль — одно из самых престижных высших учебных заведений Франции, питомник интеллектуальной элиты.

См.: Фуко М. Безумие и неразумие: История безумия в классическую эпоху. СПб., 1998.

Людвиг Бинсвангер (1881–1966) — швейцарский психиатр и философ.

Жорж Кангийем (1904–1993) — французский философ, создатель оригинальной концепции философии науки.

Жорж Кангийем, вступительное слово, произнесенное 9 января 1988 года в Париже при открытии colloquium «Философ Фуко». Рукопись. Цитируется реально произнесенная Кангийемом речь, отличающаяся от «вступления», составленного им для актов colloquium (Seuil, 1989).

Deleuze G. Foucault. Paris, Minuit, 1986. Книга вышла через два года после смерти философа. См. русский перевод: *Делёз Ж. Фуко* / Пер. с фр. Л. Семиной; под ред. И. П. Ильина. М.: Изд-во гуманит. лит-ры, 1998.

Critique, № 471–472, août-septembre 1986; Le Débat, № 41, septembre 1986; Actes. Cahiers d'action juridique, № 54, été 1986.

Deleuze G. La Vie comme une oeuvre d'art // Le Nouvel Observateur, 29 août 1986.

Фуко М. Слова и вещи / Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой.
СПб., 1994. С. 404.

Открытка, датированная 13 августа 1981 года.

Имеются в виду гомосексуалисты.

Les Collèges Saint-Stanislas et Saint-Joseph de Poitiers. Notes historiques et souvenirs d'anciens, rassemblés sous la direction de Jean Vaudel, libraire «Le bouquiniste», Poitiers, 1981.

Жак Венвиль (1879–1936) — французский историк, автор книг «Жизнь Наполеона», «Третья республика» и др.

Ethos, automne 1983. P. 5.

Voeltzel T. Vingt ans et après. Grasset, 1978. P. 55.

Le Roy *Ladurie E. Paris-Montpellier*, 1945–1963. Gallimard, 1982. P. 29.

Эмманюэль Леруа Ладюри (род. 1929) — французский историк, специалист по позднему Средневековью, с 1973 года — профессор Коллеж де Франс.

Там же... Р. 27–29.

Жан Ипполит (1907–1968) — французский философ, один из основных представителей французского неогегельянства.

Жан д'Ормессон (род. 1925) — французский писатель и деятель культуры, член Французской академии.

M'Ormesson J. Au revoir et merci, 2^e édition. Paris: Gallimard, 1976. P. 71.

Там же. Р. 76.

Foucault M. Jean Hyppolite, 1907–1968 // Revue de métaphysique et de morale, tome 14, № 2, avril — juin 1969. P. 131.

Sirinelli J. F. Génération intellectuelle. Khâgneux et normaliens dans l'entre-deux-guerre. Fayard, 1988.

Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique. Thèse principale pour le doctorat ès lettres, Pion, 1961. Préface. P.X et XI.

Foucault M. L'Ordre du discours. Gallimard, 1971. P. 80–81. См. русский перевод: Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет/ Сост., пер. с фр., коммент. и поел. С. Табачниковой; общ. ред. А. Пузыря. М.: Касталь, 1996.

Les temps modernes, № 31, avril 1948.

Descombes V Le Mâme et 1 autre. Quarant-cinq ans de philosophie française (1933–1978). Minuit, 1979. P. 24. См. русский перевод: *Декомб В.* Современная французская философия: [Сборник] / Пер. с фр. М. М. Федоровой. М., 2000.

Жан Валь (1888–1974) — французский философ неогегельянского и экзистенциалистского толка, известный поэт-мистик.

Roudinesco E. La Bataille de cent ans. Histoire de la psychanalyse en France. T. 2. Seuil, 1986. P. 150.

Жорж Батай (1897–1962) — французский философ и писатель, близкий к сюрреализму.

Пьер Клоссовски (Клоссовский) (1905–2001) — писатель, переводчик, художник.

Жак Лакан (1901–1981) — французский мыслитель, создатель оригинальной версии психоанализа.

Azon R. Mémoires. Julüard, 1983. P. 94.

Canguilhem G. Hegel en France, Revue d'histoire et de philosophie des religions. Strasbourg, 1948–1949.

Hyppolite /. Figures de la pensée philosophique. PUF, 1971. T. 1. P. 196.

Merleau-Ponty M. Sens et non-sens. Nagel, 1948. P. 109.

Там же. Р. 110.

*Шрро!)*ѣ /. РщигеБ... Т. 2. Р. 976.

Фуко М Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / Сост., пер. с фр., коммент. и посл. С. Табачниковой; общ. ред. А. Пузыря. М.: Касталь, 1996. С. 91.

Луи Альтюссер (1918–1990) — крупнейший французский философ-неомарксист.

Foucault M. Revue de métaphysique et de morale. P. 136.

Hommage à Jean Hyppolite Ed. par M. Foucault. PUF, 1969.

Saint-Semin B. de. Georges Canguilhem a la Sorbonne // Revue de métaphysique et de moral, janvier — mars, 1985. P. 84.

Fernandez D. Le Rapt de Ganymède. Grasset, 1989. P. 291–292.

Там же. Р. 82.

Fernandez D. Le Rapt de Ganymède. Grasset, 1989. P. 82.

Морис Бланшо (1907–2003) — французский мыслитель, писатель, литературовед.

Foucault M. Préface a la transgression // Critique, n° 195–196, août-septembre, 1963. P. 762. См. русский перевод: Фуко М. О трансгрессии, в кн.: Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века / Сост., пер., коммент. С. Л. Фокина. СПб., 1994. С. 113–131.

Foucault M. Est-il donc important de penser? // Libération, 30 mai 1981.

Роже Мартен дю Гар (1881–1958) — французский романист и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1937).

Fernandez D. Цит. изд. С. 132–133.

Azon J.-P. Mon sida // Le Nouvel Observateur, 30 octobre 1987.

Le retour de la morale, интервью Мишеля Фуко (Les nouvelles littéraires, 28 juin 1984).

Рихард Крафт-Эбинг (1840–1902) — австрийский психиатр, невропатолог и сексолог. Один из родоначальников сексологии и сексопатологии. Доктор наук, профессор Венского университета.

Абрахам Кардинер (1892–1981) — американский психиатр, этнолог, автор психодинамической концепции национального характера. Основное сочинение — «Клеймо угнетения».

Гастон Башляр (1884–1962) — французский философ, психолог и методолог науки. Основоположник неорационализма как философского течения.

Морис Мерло-Понти (1908–1961) — французский философ, представитель феноменологии и экзистенциализма.

Эти лекции были опубликованы стараниями Жана Депрана: Упп, 1968.

Полный курс лекций был недавно переиздан: Merleau-Ponty à la Sorbonne, ed. Сynara, 1988.

Le Roy Ladurie E. Цит. изд. С. 44.

Sirinelli J.-F. Les normaliens de la rue d'Ulm après 1945: une génération communiste? // Revue d'histoire du monde moderne, tome XXXII, octobre-décembre, 1986. P. 569–588.

Aguhlort M. Vu des coulisses, Essais d'ego-histoire. Gallimard, 1987. P. 21–22.

Charbonnel J. L'Aventure de la fidélité. Seuil, 1976. P. 56–57.

Письмо, процитированное М.-А. Мациокки в «Deux mille ans de bonheur» (Grasset, 1983. P. 379–380).

Луи Адольф Тьер (1797–1877) — известный историк, премьер-министр и президент Франции.

Жорж Дюамель (1884–1966) — французский писатель, член Академии.

Charbonnel J. /. Цит. изд. С. 39.

Charbonnel J. Цит. изд. С. 39.

Отчет Поля Мазона см.: Annuaire de la fondation Thiers. 1947–1952, nouvelle série, fasc. XLI.

Foucault M. La Recherche du psychologue b: Des chercheurs français s'interrogent. Privat-PUF, 1957. P. 173–175.

Introduction a Ludwig Binswanger, Le reve et l'existence, Desclee de Brouwer, 1954. P. 74.

Там же. Р. 126.

Trombadori D. Colloqui con Foucault. P. 41.

Проект предисловия к «Истории сексуальности»: *Rabinow P. The Foucault Reader. Penguin Boodks. P. 334, 336.* Цитируется по неизданному французскому тексту.

Интервью см.: Ethos. P. 5.

Trombadori D. Colloqui con Foucault. P. 27–29.

Trombadori D. Colloqui con Foucault. P. 30.

Pinguet M. Les Années d'apprentissage // Le Débat, septembre-novembre 1986. № 41. P. 129–130.

Там же. С. 127.

Le Roy Ladurie E. P. 46.

Жан-Луи Ван Режи́мортёр (1927–1999) — французский историк, специалист по России и Советскому Союзу.

Mauriac C. Le Temps immobile. T. III. Et comme l'espérance est violente. Grasset, 1977. P. 318–319.

Mauriac C. Le Temps immobile. T. IX. Mauriac et fils. Grasset, 1986. P. 290.

Андре Вюрмсер (1899–1984) — французский писатель и публицист, участник Сопротивления.

Trombadori D. Colloqui... P. 33.

Aron J.-P. Les Modernes. Gallimard, 1984. P. 65–66.

Trombadori D. P. 33.

Фуко М. Слова и вещи / Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой.
СПб., 1994. С. 287.

Цит. по: La Magazine littéraire, № 201, mai 1984. P. 27.

Интервью см.: La Magazine littéraire, № 221, juillet-août 1985.

Blanchot M. Où maintenant, qui maintenant // NRF, № 10, 1953. Перепечатано в: *Le livre à venir*, Gallimard, 1959. Обзоры и критические тексты Бланшо (с исправлениями) собраны в: *L'Espace littéraire*, *Le livre à venir* и *Entretien infini*. Полная библиография с указанием дат содержится в кн.: *Collin F\ Maurice Blanchot et la question de' réécriture*. Gallimard, coll. Tel, 1986.

Jaspers K. Srtindberg, Van Gogh, Hölderlin, Swendeboig. Minuit, 1953. P. 232–236 (предисловие Мориса Бланшо).

Там же. С. 12.

Foucault M. Folie et déraison. Pion, 1961. P. X.

Там же. Р. XI. Эти строки взяты из «Формального раздела» (*Oeuvres complètes*, Gallimard, Pléiade. Р. 160).

Бланшо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю / Пер. В. Е. Лапицкого. СПб., 2002. С. 9.

Там же. С. 9.

Жак Шардон (1884–1968) — французский писатель, автор многих сборников рассказов и новелл.

Карл Фридрих фон Вайцеккер (1912–2007) — немецкий физик и философ.

Foucault M. Introduction à La Rêve et l'existence. Desclée de Brouwer, 1954. P. 9–10.

Там же. Р. 9.

Пьер Булез (род. 1925) — французский композитор и дирижер.

Андре Жид (1869–1951) — французский прозаик, драматург, литературный критик, лауреат Нобелевской премии, автор знаменитых «Дневников».

Оливье Эжен Мессиан (1908–1992) — французский композитор, органист[^], педагог.

Aron J.-P. Les Modernes. Gallimard, 1984. P. 64–65.

Messieurs, faites vos jeux, CNAC Magazine, mai — juin 1983.
Переиздано в: Le Débat, № 41 septembre — novembre 1986. Р. 178–188.
Бобур — Национальный центр искусств имени Жоржа Помпиду в Париже.

Barraqué /. Propos impromptus // Courrier musical de France, № 26, 1969. Р. 78. Жану Барраке посвящен специальный номер журнала «Entretemps» (1987), где, в частности, напечатан биографический очерк, написанный Розмари Янсен, которая любезно сообщила мне сведения о текстах Барраке, цитирующихся в настоящем издании.

«Секвенции» (в терминологии Фуко) — отрывки текста, которые структурируются по темам «факт», «контекст» и т. д.

Ethos, automne 1983. P. 7.

Boulez ou l'écran traversé // Le Nouvel Observateur, 2 octobre 1982.

Беседа Паоло Карузо и Мишеля Фуко: La Fiera Letteraria, 28 settembre 1967.

Barraqué J. P. 80.

Foucault M. Maladies mentale et personnalité. PUF, 1954. P. 12.

La Nouvelle Critique, avril 1951.

Foucault M. Maladies mentale et personnalité. PUF, 1954. P. 110–111.

Там же. С. 86.

Foucault M. Maladies mentale et personnalité. PUF, 1954. P. 104.

Там же. С. 83.

Там же. С. 108–110.

Там же. С. 23–26.

Анализу книги 1954 года и сути разночтений двух редакций посвящена статья: Macherey P. Aux sources de l'«Histoire de la folie», une rectification et ses limites//Critique, Nq 471–472, août-septembre 1986. P. 752–774; см. также предисловие Хьюберта Дрейфуса к «калифорнийскому изданию»: Mental Illness and Psychology, University of Californie Press, Berkeley, 1987.

Hyppolite J. Figures de la pensée philosophique. T. II. PUF. P. 885–890.

С 1951 по 1980 год Лакан вел знаменитые семинары, оказавшие значительное влияние на развитие психоанализа.

См.: Roudinesco E. Histoire de la psychanalyse en France. T. II. P. 310–311.

Foucault M. La Recherche scientifique et la psychologie. Des chercheurs français s'interrogent. Privat-PUF, 1957. P. 201.

Там же. Р. 193.

Там же. Р. 201.

«Уран-Варуна» — исследование сравнительной мифологии функций власти в индоевропейском мире. «Варуна, — пишет Дюмезиль, — воплощает в ведической мифологии царя с его функциями управления, правосудия и магии (это все едино), но без военных функций».

Жюль Блок (1880–1953) — известный индолог, профессор Коллеж де Франс.

Марсель Гране (1884–1940) — выпускник Эколь Нормаль, известный синолог.

Эмиль Бенвенист (1902–1976) — выдающийся исследователь языков и культуролог.

Интервью в: Ethos, № 2, automne 1983. Р. 4.

Foucault M. Folie et déraison. Pion, 1961. P. X.

Le Monde, 22 juillet 1961.

Порядок дискурса. С. 90.

Мезон де Франс (*Maison de la France* или «французский дом») — международная сеть культурных центров для диверсифицированной и национально ориентированной информации и продвижения французского влияния посредством формирования привлекательного образа Франции и ее культуры.

Эти лекции Фуко никогда не были опубликованы. В статье Дюмезиля, появившейся после смерти философа в журнале «Nouvel Observateur», говорится об «опубликованных лекциях», но это опечатка. На самом деле Дюмезиль написал «в публичных лекциях».

Текст не опублікован.

Foucault M. Roland Bartes, 1915–1980//Annuaire du Collège de France, année 1979–1980 (80^e année).

Кэ-д'Орсе (*Quai d'Orsay*) — набережная Сены в Париже, где находится здание французского МИДа.

Burin des Roziers E. Une rencontre à Varsovie // Le Débat, № 41, septembre-novembre 1986. P. 133.

Burin des Roziers E. Une rencontre à Varsovie // Le Débat, № 41, septembre-novembre 1986. P. 134.

Burin des Roziers E. Une rencontre à Varsovie // Le Débat, № 41, septembre-novembre 1986. P. 136.

Леон Брюнsvик (1869–1944) — французский философ, профессор Сорбонны, представитель так называемого критического рационализма.

Симона Вейль (1909–1943) — выпускница Эколь Нормаль, выдающийся мыслитель и богослов.

Интервью с Мишелем Фуко: Bonniers Literära Magasin, Stockholm, mart
1968. С. 204.

Там же.

Foucault M. Folie et déraison, préface. P. I–V.

Foucault M. Folie et déraison, préface. P. IX.

Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С. 60–61.

Там же. С. 101–102.

Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С. 98.

Там же. С. 117–119.

Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С. 492–494.

Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С. 516–524.

Folie et déraison, préface, p. IX.

Canguilhem G. Sur l'Histoire de la folie en tant qu'événement // Le Débat,
Nº 46. P. 38.

Foucault M. La Vie: l'expérience et la science // Revue de métaphysique et de morale, janvier-mars 1985. P. 3.

Canguilhem G. Mort de l'homme ou épuisement du cogito // Critique, № 242, juillet 1967. P. 599–618.

Canguilhem G. Sur l'Histoire de la folie en tant qu'événement.

Машинопись.

Брис Парен (1897–1971) — французский философ, лингвист и писатель, тесно связанный с Ж. П. Сартром и А. Камю. Автор, в частности, «Опыта о платоновском логосе» (1942), «Исследования о природе и функции языка» (1943) и других работ.

Dumézil G. Entretiens avec Didier Eribon, Gallimard, Folio-Essais, 1987. P. 95–97.

Lévi-Strauss C., Eribon D. De près et de loin. Ed. O. Jacob, 1988. P. 100–101.

Роже Кайуа (1913–1978) — французский писатель, эссеист, ученый, в начале 30-х годов — сюрреалист, автор книг «Миф и человек» (1938), «Человек и сакральное» (1950) и др.

Foucault M. Le Style de l'histoire, Entretien // Le Matin, 21 février 1984.

Филипп Ариес (1914–1984) — историк и социальный философ, специалист по исторической демографии.

Ariès P. Un historien du dimanche. Seuil, 1982. P. 145.

Foucault M. Le Souci de la vérité // Le Nouvel Observateur, 17 février 1984.

Там же.

Lagache D. Oeuvre. T. I. PUF, 1977. P. 439–456.

«Разбитое сердце» — трагедия английского драматурга XVII века Джона Форда.

Foucault M. La folie, l'absence d'oeuvre, La Table Ronde, mai 1964. Перепечатано в приложении к: Histoire de la folie, 2^e édition. Gallimard, 1972. Р. 575–582. См. русский перевод: Фуко М. Безумие, отсутствие творения/ Пер. с фр. С. Л. Фокина. — В кн.: Фигуры Танатоса: Искусство умирания. Сб. статей / Под ред. А. В. Демичева, М. С. Уварова. СПб., 1998. С. 203–211.

Foucault M. Histoire de la folie, 2^e édition. Gallimard, 1972, préface, p. 8.

В том смысле, в котором Кангийем употребляет слово «событие»; см.: *Canguilhem G. Sur l'Histoire de la folie en tant qu'événement*. Цит. изд.

Les Nouvelles littéraires, 17 mars 1975.

Vérité et pouvoir // L'Arc, № 70, 1977. P. 16.

Blanchot M; L'Oubli, la déraison // NRF, octobre 1961. P. 676–686.
Перепечатано в: L'entretien infini, Gallimard, 1969. См. русский перевод:
Блانشо М. Забвение, безрассудство / Пер. с фр. В. Е. Лапицкош. — В кн.:
Блانشо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю...

Bartes R. Savoir et folie//Critique, № 17, 1961. P. 915–922. Перепечатано в: Essais critiques, Seuil, 1964.

Serres M. Géométrie de la folie//Mercure de France, № 1188, août 1962. P. 683–696; № 1189, septembre 1962. P. 63–81. Перепечатано в: *Hermès ou la communication*, Minuit, 1968.

Mandrou R. Trois Clés pour comprendre l'Histoire de la folie à l'époque classique // Annales, ESC, 17^e année, N° 4, juillet — août 1962. P. 761–771.

Braudel F. // Annales, ESC, 17^e année, № 4, juillet — août 1962. P. 771–772. _v

Мишель Серр (род. 1930) — французский эпистемолог и историк науки.

Serres M. P. 167.

Там же. С. 176.

Там же.

Там же. С. 178.

Barthes R Essais critiques. Ponts-Seuil. P. 168. ***** Там же.

201

Там же.

Barthes R. Essais critiques. Ponts-Seuil. P. 174.

Blanchot M. Цит. изд. С. 291.

Mandrou R. Цит. изд. С. 762.

Там же.

Там же. С. 771.

Brodel F. Цит. изд. С. 771–772.

Воспроизведено в: Michel Foucault, *une histoire de la vérité*. Syros, 1985.
P. 119.

Derrida J. Cogito et histoire de la folie в: *L'Écriture et la différence*, Points-Seuil, 1967. Р. 52–53. См. русский перевод «Cogito и история безумия» в: *Деррида Ж. Письмо и различие* / Пер. с фр.; под ред. В. Лапицкого. СПб., 2000. С. 42 и сл. Далее цитаты даются по этому изданию.

Опубликован в: Revue de métaphysique et de morale, 1964, 3 et 4.

Там же. С. 42.

Там же. С. 43

Фуко в «Истории безумия» спрашивал: «Если Декарт так нарочито уверен в здравости своего рассудка, значит, он боится безумия?» С. 73.

Там же. С. 73–74.

L'Ecriture et la différence. Цит. изд.

Foucault M. Histoire de la folie. P. 583–603 (первоначально в: *Paideia*, septembre 1971).

Foucault M. Histoire de la folie. P. 602 (первоначально в: *Paideia*, septembre 1971).

Там же.

Le Monde. Цит. изд.

Howard R. The Story of Unreason // TLS, 6 octobre, 1961. P. 653–654.

Mauriac C. Et comme l'espérance est violente. Grasset, 1977. P. 375.

См. специальный номер «La Nef», посвященный антипсихиатрии: № 42, janvier— mai, 1971.

Castel R. Les aventures de la pratique // Le Débat. № 41. P. 42–43.

Castel R. Les aventures de la pratique // Le Débat. № 41. P. 42–43.

Там же. Р. 44.

Фуко М. История безумия в классическую эпоху / Пер. И. К. Стаф. СПб., 1997. С. 21–22.

Trombadori D. Colloqui con Foucault. P. 39.

Castel R. Цит. изд. Р. 43.

La Conception idéologique de Γ «Histoire de la Folie» de Michel Foucault, Journées annuelles de l'évolution psychiatrique, 6 et 7 décembre 1969, Evolution psychiatrique, Cahiers de psychopathologie générale, 36, № 26, 1971.

Анри Барук (1897–1999) — французский биолог, психолог и социолог.

См., например: *Baruk H. La Psychiatrie sociale*. PUF, 1974.

Caste! Я Цит. изд. Р. 47.

La folie encerclée. Dialogue sur l'enfermement et la répression psychiatrique. Change. № 32–336. 1977.

Einaudi, 1973 (французский перевод: PUF, 1980).

Castel R. Цит. изд. Р. 45.

Foucault M. Vérité et pouvoir. Цит. изд. Р. 25.

Casíel R. Цит. изд. Р. 45.

Trombadori D. Colloqui con Foucault. P. 77–78. Цитата дается по французскому оригиналу.

Список кандидатов существовал в двух видах: «короткий» включал претендентов на профессорские должности, уже защитивших диссертацию, а «пространный» — претендентов на преподавательские места.

Burin des Rozier E. Une rencontre a Varsovie. p» 135–136.

Passeron J.-C. 1950–1980. L'université mise à la question: changement de décor ou changement de cap, b: J. Verger (éd.), Histoire des universités en France. Privât, 1986. P. 373–374.

Ferry L., Renaut A. La pensée 68. Gallimard, 1985.

Русское издание: *Делёз Ж. Ницше и философия* / Пер. с фр. О. Хомы; под ред. Б. Скуратова. М., 2003.

Роже Гароди (род. 1913) — французский писатель и публицист, из марксиста превратившийся в правоверного исламиста.

Courant G., Schroeter W. Goethe Institut Cinémathèque française, 1981.

Жорж (Георгий Давыдович) Гурвич (1894–1965) — русский и французский социолог и философ.

Фернан Бродель (1902–1985) — выдающийся французский историк и организатор науки, воспитавший плеяду учеников.

Мишель Лейрис (1901–1990) — французский писатель, поэт, этнолог.

Ален Роб-Грийе (1922–2008) — французский романист, эссеист и кинематографист.

Беседа с Шарлем Рюа, помещенная в качестве послесловия к американскому изданию книги. Перепечатано в: *Le Magazine littéraire*, № 221, juillet — août 1985.

Roussel R. Comment j'ai écrit certains de mes livres, 10/18.

Foucault M. Pourquoi réédite-t-on Raymond Roussel? Un précurseur de notre littérature moderne // Le Monde, 22 août, 1964.

Foucault M. Raymond Roussel. Gallimard, 1963. P. 71.

Leins M. Roussel l'ingénu. Fata morgana, 1988.

Robbe-Grillet A. Enigmes et transparence chez Raymond Roussel // Critique, décembre 1963. P. 1027–1033.

Blanchot M. Le Problème de Wittgenstein//NRF, № 131, 1963.
Перепечатано в: L'Entretien infini, Gallimard, 1969. P. 493.

Foucault M. Préface à la transgression // Critique, № 195–196, août-septembre, 1963. P. 758. См. русский перевод: Фуко М. О трансгрессии. — В кн.: Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века / Сост., пер., коммент. С. Л. Фокина. СПб., 1994. С. 113–131.

Там же. С. 124.

Там же. С. 129.

Foucault M. Présentation в: Bataille G. Oevres complètes. T. 1. Gallimard, 1970. P. 5.

Foucault M. La Pensée du dehors // Critique, № 229, juin 1966. Я цитирую текст по изданию 1987 года: Fata Morgana. P. 15.

См. русский перевод: Фуко М. Проза Актеона — В кн.: Клоссовски П. Бафомет / Сост. и пер. В. Лапицкий. СПб., 2002. С. 237–256.

Письма опубликованы в: *Klossowski P.* Cahiers pour un temps. Centre Geoges-Pompidou, 1985. P. 85–90.

Foucault M. Nietzsche, Marx, Freud. Cahiers de Royaumont, Nietzsche. Minuit, 1968. P. 182–192. Дискуссия изложена на с. 193–200; приведенные цитаты — с. 199.

Foucault M. Theatrum philosophicum // Critique, № 282, septembre 1970. P. 908. См. русский перевод: Фуко М. Theatrum philosophicum. — В кн.: Делёз Ж\ Логика смысла / Пер. с фр. М.; Екатеринбург, 1998. С. 440–480.

Фуко М. Рождение клиники... М., 1998. С. 8.

Фуко М. Рождение клиники... М., 1998. С. 223.

Там же. С. 219.

Там же. С. 292.

Фуко М. Рождение клиники... М., 1998. С. 292.

Там же.

См. предисловие Клода Лефора в: *La Prose du monde*, Gallimard, 1969.

Foucault comme des petits pains, Le Nouvel Observateur, 10 août 1966.

Godard J-L. Lutter sur deux fronts//Cahiers du Cinéma. № 194. octobre 1967.

Foucault M Introduction à l'«Anthropologie» de Kant. Thèse complémentaire pour le doctorat ès lettres, université de Paris, faculté des lettres. P. 126–128.

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визигина, Н. С. Автономовой. СПб., 1994. С. 403.

Lebrun G. Note sur la phénoménologie dans «Les Mots et les choses». Communication au colloque «Foucault philosophe», Paris, 9–11 janvier 1988. Seul, 1989.

Фуко М. Слова и вещи. Цит. изд. С. 385.

Там же.

Фуко М. Слова и вещи. Цит. изд. С. 399.

Там же. С. 400–401.

Фуко М Слова и вещи. Цит. изд. С. 404.

Lacroix J. La Fin de l'humanisme // Le Monde, 9 juin 1966.

Kanters R. Tu cause, tu cause, c'est tout ce que tu sais faire // La Figaro, 23 juin 1966.

Deleuze G. L'homme, une existence douteuse // Le Nouvel Observateur, 1 juin 1966.

Châtelet F. L'Homme, ce Narcisse incertain // La Quinzaine littéraire, № 2,
1 avril 1966.

Bourdieu P. Le Sens pratique. Minuit, 1980. P. 8.

La Quinzaine littéraire, Nq 5, 15 avril 1966.

L'Homme est-il mort? //Arts et loisirs, 15 juin 1966.

Milhau . Les Mots et les choses / Cahiers du communisme, février 1968. О том, как партия отнеслась к структурализму, см.: Verdès-Leroux J. Le Réveil des somnambules. Fayard-Minuit, 1987.

Colombel J. Les Mots de Foucault et les choses // La Nouvelle Critique,
avril 1967.

Les Lettres françaises, № 1125, 31 mars 1966, № 1187, 15 juin 1967.

Domenach J.-M., Une nouvelle passion// Esprit, juillet-août 1966.

Foucault M. Réponse à une question // Esprit, mai 1968.

Mauriac F. Bloc-notes // Le Figaro, 15 septembre 1966.

Jean-Paul Sartre répond // L'Arc, № 30, 1966.

Castel R. Introduction b: Herbert Marcuse, Raison et révolution. Minuit, 1968.

La Quinzaine littéraire, 1 mars 1968. Опровержение Фуко напечатано 15 марта 1968 года.

Canguilhem G. Mort de l'homme ou épuisement du cogito // Critique, № 242, juillet 1967. Та же позиция была со всей ясностью сформулирована Кангийемом в речи памяти Кавайеса, прозвучавшей 28 октября 1969 года на радио «France-Culture»:

«Говоря о нем, нельзя не испытывать чувства стыда, ибо, выжив, мы не сделали и толики того, что сделал он. Но если не говорить о нем, как провести границу между беззаветным служением, поступком, не имевшим тылов, и сопротивлением тех интеллектуалов из Сопротивления, чье участие в нем настолько незаметно, что никто, кроме них самих, не может рассказать о нем? Сейчас некоторые философы кипят возмущением, ибо другие философы сформулировали идею бессубъектной философии. Философские работы Кавайеса подкрепляют эту идею. Его математическая философия строилась без опоры на субъекта, который можно было бы соотнести с Жаном Кавайесом. Эта философия, в которой он отсутствует, диктует формы действия, приведшие его узкой тропой логики туда, откуда не возвращаются. Жан Кавайес символизирует логику Сопротивления, прожитую до конца. Пусть же экзистенциалисты и персоналисты поступят также, когда представится случай, если смогут».

Вопросы, которые «Кружок эпистемологии» направил Фуко в связи с книгой «Слова и вещи», очевидным образом соотносятся со статьей Кангийема. Ответы Фуко были опубликованы в июльском номере «Cahiers pour l'analyse» за 1968 год. Они предвосхищают книгу «Археология знания».

Об Альтюссере см. также: *Verdès-Leroux J.* Le Réveil des somnambules.
Р. 282–302.

Bonniers litterara Magasin, Stockholm, mars 1968.

La Quinzaine littéraire, 1 juillet 1967.

Foucault M. «Je suis tout au plus...» // La Presse de Tunis, 2, avril 1967.

Deleuze G. A quoi reconnaît-on le structuralisme? B: Châtelet F. Histoire de la philosophie. T. IV. La Philosophie au XX^e siècle. Marabout-Université. P. 293–329.

Foucault M La Naissance d'un monde // Le Monde, 3 mai 1969.

Dreyfus H., Rabinow P. Michel Foucault. Un parcours philosophique. Gallimard, 1984.

Trombadori D. Colloqui con Foucault. P. 49–60.

Фуко М. Рождение клиники. Цит. изд. С. 19.

Фуко М. Археология знания / Пер. с фр. С. Митина, Д. Стасова; под ред. Б. Левченко. Киев, 1996. С. 20.

Foucault M. Ceci n'est pas une pipe // *Cahiers du chemin*, janvier 1968. Переиздано с приложением двух писем Магрита издательством «Fata Morgana» (1973). См. русский перевод: Фуко М. Это не трубка/Пер. с фр. И. Кулик. М., 1996. Письмо Фуко опубликовано в: *Magritte R. Oeuvres complètes*. Flammarion, 1979. P. 251.

Людвиг Витгенштейн (1889–1951) — австрийско-британский философ, профессор Кембриджского университета.

Hafsia J. Quand la passion de l'intelligence illuminait Sidi Bou Saïd // La Presse de Tunis, 6 juillet 1984.

Жан Даниэль (род. 1920) — французский журналист, писатель, главный редактор еженедельника «Nouvel observateur».

Daniel . La Passion de Michel Foucault / Le Nouvel Observateur, 29 juin 1984.

L'Archéologie du savoir. Gallimard, 1969.

Trombadori D. Colloqui con Foucault. P. 71–75. И в этом случае я цитирую французский текст по оригиналу записи.

Paris-presse — L'Intransigeant, 8 octobre 1968.

Владимир Янкелевич (1903–1985) — французский философ русско-еврейского происхождения, автор многочисленных работ по этике, эстетике, философии музыки.

321

Action, novembre 1968.

Le Monde, 12 janvier 1968.

См. русский перевод: Фуко М. Ницше, генеалогия, история *Пер. с фр. и предисл. В. Каплуна* / Ступени. Петербургский альманах. 2000. N2 1(20). С. 103–123.

Le Piège de Vincennes // Le Nouvel Observateur, 9 février 1970.

Vuillemin J. Michel Foucault (1926–1984)//Annuaire du Collège de France, 1984–1985, 85^e année.

Фуко М. Что такое «автор»? — В кн.: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / Пер. с фр. М., 1996.

Foucault M. Qu'est-ce qu'un auteur? а также материалы дискуссии:
Bulletin de la SFP, juillet-septembre 1969. P. 73–104.

Здесь и далее инаугурационная лекция цитируется по уже упоминавшемуся изданию: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996.

Les lettres françaises, 9 décembre 1970.

Foucault M. Titres et travaux, Plaquette editee pour la candidature au College de France. Paris, 1969. P. 4–6.

Там же. С. 7.

Там же. С. 8.

Там же. С. 7.

Там же. С. 8.

Foucault M. Titres et travaux, Plaquette éditée pour la candidature au Collège de France. Paris, 1969. P. 9.

Машинопись.

Машинопись.

«Порядок дискурса» опубликован в издательстве «Галлимар» в марте 1971 года.

Порядок дискурса. С. 50.

Там же. С. 50.

Там же. С. 77.

Порядок дискурса. С. 58.

Там же. С. 71.

Там же. С. 73.

Порядок дискурса. С. 85.

Там же. С. 87.

Там же. С. 98.

Le Monde, 4 décembre 1970.

Petiyeau G. Les Grands Prêtres de l'université française // Le Nouvel Observateur, 7 avril 1975.

Intolérable, № 1. Ed. Champ Libre, 1971.

Création d'un groupe d'information sur les prisons. Esprit, mars 1971. P. 531-532.

Ив Монтан (1921–1991) — знаменитый эстрадный певец и актер итальянского происхождения, в 1950-е годы член ФКП. *Симона Синьоре* (1921–1985) — известная актриса, жена И. Монтана.

Foucault M. Résumés des Cours du Collège de France, 1970–1982, Julliard, 1989.

Intolérable, № 1.

355

Департамент Эссонн.

Intolérable, N9 4, Suicides de prisons, 1972, Gallimard, 1973. P. 38–40.

Perrot M. La leçon des ténèbres. Michel Foucault et la prison // Actes. Cahiers d'action juridique, 54, été 1986. P. 76–77.

Mauriac C. Le Temps immobile. T. 3. Et comme l'espérance est violente. Grasset, 1977. См. также другие тома дневника.

Mauriac C. Et comme l'espérance est violente. P. 283.

Пресс-агентство «Освобождение» (*Liberation*) интересовалось «частными случаями», такими как жестокое обращение в тюрьмах, самоубийства, бунты, причем в очень конкретной форме: «В такой-то тюрьме такой-то заключенный был привязан к кровати в течение такого-то времени». Сыграло огромную роль в политизации тюрем.

Foucault M. Le Discours de Toul // Le Nouvel Observateur, 27 décembre 1971.

Mauriac C. Et comme l'esperance... P. 334.

Текст этой «пьесы» опубликован в: Esprit, octobre 1972.

Веркор — псевдоним Жана Брюллера (1902–1991), французского писателя и художника-графика.

Livrozet S. De la prison à la révolte. Préface de Michel Foucault. Mercure de France, 1973. P. 14.

Livrozet S. Le Droit à la parole // Libération, 19 février 1979.

Defert D., Donzelot J. La Charnière des prisons // Le Magazine littéraire, N2 112–113, mai 1976.

Deleuze G. Foucault and the Prison // History of the Present, № 2, printemps 1986.

Deleuze G. Foucault and the Prison // History of the Present, № 2, printemps 1986.

Foucault M. Présentation, в: Moi Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Gallimard-Julliard, coll. Archives 1973. P. 9.

Там же. Р. 13.

Foucault M. Surveiller et punir. Gallimard, 1975. P. 35. См. русский перевод: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова; под ред. И. Борисовой. М., 1999. С. 47.

Foucault M. Surveiller et punir. Gallimard, 1975. P. 35. См. русский перевод: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова; под ред. И. Борисовой. М., 1999. С. 47. Текст на обложке.

Foucault M. Des supplices aux cellules// Le Monde, 21 février 1975.

Foucault M Des supplices aux cellules // Le Monde, 21 février 1975.

Surveiller et punir. P. 315 (с. 456 русского издания).

Mauriac C. Et comme l'espérance est violente. Т. III. Le temps immobile. Grasset, 1977. Р. 291. В этом томе, а также в томе IX рассказывается история комитета «Джелали».

Von Bülow C., Ben Ali F. La Goutte d'Or ou le mal des racines. Stock, 1979.

Mauriac C. Les Espaces imaginaires. T. II. Le Temps immobile. Livre de poche. P. 293–294.

La Vérité Rhône-Alpes, № 3, décembre 1972. Фрагмент выступления Фуко в слегка измененном виде цитируется в: La Cause du peuple — J'accuse, № 33, décembre 1972. Там же напечатана фотография: Мишель Фуко на трибуне.

Об отношениях между Жаном Полем Сартром и Пьером Виктором, а также о реакции Симоны де Бовуар на выход книги см.: *Cohen-Solal A. Sartre, 1905–1980. Paris, Gallimard, 1985. P. 628–656*, а также: *Beauvoir S. de. La Cérémonie des adieux. Paris, Gallimard, 1981.*

Foucault M. Sur la justice populaire. Débat avec les maos. Dossier: Nouveau Fascisme, nouvelle démocratie // Les Temps modernes, N° 310 bis, 1972. P. 336–366.

*Sartre J.-P.*A propos de la justice populaire, Entretien paru dans la revue Pro justicia. Première année, Nq 2, premier trimestre 1973. P. 22–23.

О деле в Брюайан-Артуа см., например, в книге, написанной судьей: *Pascal H. Une certaine idée de la justice*. Fayard, 1973; а также в: *Batigne J. Bruay, un juge vous fait juge*. Pion, 1972.

La Cause du peuple, nouvelle série, N° 23, 1^{er} mai 1972.

La Cause du peuple, nouvelle série, N^o 24, 17 mai 1972.

Там же. Авторство коллективного ответа, подписанного «La Cause du peuple», приписывается Пьеру Виктору Эрве Амоном и Патриком Ротманом; см.: *Hamon K, Rotman P. Génération. Т. II. Les Années de poudre. Paris, Seuil, 1988. P. 434.*

Выступление Фуко, записанное на пленку, насколько известно, никогда не было опубликовано. Кассета с записью хранится в архиве Фуко в Беркли.

Mauriac C. Et comme l'espérance... Цит. изд. С. 373–374.

Mauriac C. Une certaine rage. Robert Laffont, 1977. P. 73.

Mauriac C. Et comme l'espérance... P. 418–419.

La Liberté de l'esprit, n° 1, février 1949.

См., например: Le Nouvel Observateur, 3 avril 1968. Клавель пересказывает содержание книги Мишеля Дюфрена «Ради человека», которая претендовала на то, чтобы защитить человеческие ценности от нашествия «структурализма». Клавель говорит о Дюфрене с жаром и симпатией, но ставит ему в вину то, что тот пытается восстановить набор философских ценностей, похороненных книгой Фуко.

Об истории создания газеты «Libération» см.: *Samuelson F. M.* Il était une fois Libé... Seuil, 1979.

Согласно Франсуа-Мари Самюэльсон, вышло пять нулевых номеров.

Foucault M. Pour une chronique de la mémoire ouvrière // Libération, № 02, 22 février 1973.

Libération, première année, № 16, samedi 26 mai 1973.

Clavel M. Ce que je crois. Grasset, 1975. P. 98.

Clavel M. Цит. изд. Р. 122–148. Письмо Фуко опубликовано на с. 138–139.

Clavel M Vous direz trois rosaires // Le Nouvel Observateur, 27 décembre 1976.

Foucault M. Vivre autrement le temps // Le Nouvel Observateur, 30 avril 1979.

Он воспользовался годичным отпуском.

Часть аудитории вынуждена была переходить в другой зал и слушать лекцию через усилители.

Фуко изменил часы своих занятий, проходивших обычно во второй половине дня в 17 часов 45 минут, перенеся их на девять часов утра, что значительно сократило аудиторию.

Les Machines a guérir. Aux origines de l'hôpital moderne. Dossiers et documents d'architecture, Institut de l'environnement, 1976.

См.: Annuaire du Collège de France. Данные собраны также в: *Résumés des cours*. Julüard, 1989.

Deleuze G. Raymond Roussel ou l'horreur du vide // Arts, 23 octobre 1963.

Deleuze G. L'homme, une existence douteuse // Le Nouvel Observateur, 1^{er} juin 1966.

Deleuze G. Un nouvel archiviste // Critique, № 274, mars 1970.
Перепечатано в: *Deleuze G. Foucault. Minuit, 1986.* См. русское издание:
Делёз Ж. Фуко / Пер. с фр. И. Семиной; под ред. И. П. Ильина. М., 1998.

Deleuze G. Écrivain non: un nouveau cartographe // Critique, № 343, décembre 1975. Перепечатано в: *Deleuze G.* Foucault.

Foucault M. Ariane s'est pendue // Le Nouvel Observateur, 31 mars 1969.

Foucault M. Theatrum philosophicum // Critique, № 282, septembre 1972.

См. русский перевод: Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 1. Статьи и интервью 1970–1984 / Пер. с фр. С. Ч. Офертаса; под общ. ред. В. П. Визгина, Б. М. Скуратова. М., 2002.

Deleuze G., Foucault M. Les Intellectuels et le pouvoir // L'Arc, N° 49, 1972.

Foucault M. Va-t-on extraditer Klaus Croissant? // Le Nouvel Observateur, 14 novembre 1977.

Foucault M. Lettres à quelques leaders de la gauche // Le Nouvel Observateur, 28 novembre 1977.

Alain Peyrefltte s'explique... Et Michel Foucault répond // Le Nouvel Observateur, 23 janvier 1978.

Mauriac C. Le Temps immobile. T. IX. Mauriac et fils. Grasset, 1986. P. 388.

Foucault M. Nous nous sentions comme une sale espèce // Der Spiegel, 19 décembre 1977.

Foucault M. Préface à Peter Bruckner et Alfred Krovosa, *Ennemi de l'État*, Claix, La Pensée sauvage, 1979.

Deleuze G. A propos des nouveaux philosophes et d'un problème plus général, 5 juin 1977 // Приложение к журналу *Minuit*, № 24, mai 1977.

Foucault M. La Grande Colère des faits // Le Nouvel Observateur, 9 mai 1977.

Deleuze G. La Vie comme une buvre d'art // Le Nouvel Observateur, 29 août 1986. См. русский перевод: Делёз Ж. Жизнь как произведение искусства. — В кн.: Делёз Ж. Переговоры. 1972–1990 / Пер. с фр. В. Ю. Быстрова. СПб., 2004.

Mauriac C. Le Temps immobile. T. III. Et comme l'espérance... P. 540.

Mauriac C. Le Temps immobile. T. III. Et comme l'espérance... P. 542.

Mauriac C. Le Temps immobile. T. III. Et comme l'espérance... P. 561.

Libération, 24 septembre 1975.

Mauriac C. Цит. изд. Р. 562.

Lacouture J. Le Cadavre bafouille // Le Nouvel Observateur, 29 septembre 1975.

Libération, 24 septembre 1975.

Долой фашизм, долой Франко! (*исп.*).

Mauriac C. P. 581.

Имеется в виду Андре Мальро (1901–1976) — знаменитый французский писатель и политик, участник Сопротивления и соратник генерала де Голля.

Quartiers de haute sécurité — сектор для особо опасных преступников.

Knobelspiess R. QHS. Stock, 1980. Préface de Michel Foucault. P. 13–14.

Foucault M. Vous êtes dangereux // Libération, 10 juin 1983. Что касается обвинения 1983 года, то в 1986 году Кнобельспис был оправдан. В 1987 году он вновь арестован после перестрелки с полицией во время нападения на банк.

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 102–103.

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 104–105.

Там же. С. 108–109.

Там же. С. 110.

Там же. С. 103.

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 193.

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 236.

См., например, выступление Жака-Алена Миллера, а также Дени Оллье на конференции «Философ Фуко». Париж, 9–11 января 1988 г. Цит. изд.

Фуко М. Воля к знанию. С. 161–162.

Бланшо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю. С. 46–47.

Фуко М. Воля к знанию. С. 130.

Фуко М. Воля к знанию. С. 164.

Libération, 21 janvier 1983.

См. издание: L'Impossible prison, édité par Michelle Perrot. Seuil, 1980.

Baudrillard /. Oublier Foucault. Galilée, 1977. См. русское издание:
Бодрийяр Ж. Забыть Фуко / Пер. с фр. Д. Калугина. СПб., 2000.

Aron J.-P., Kempf J Le Pénis ou la démoralisation de l'Occident. Grasset, 1977.

См. предисловие к немецкому изданию: Suhrkamp. Francfort, 1983.

Herculine Barbin dite Alexina B. Présenté par Michel Foucault. Gallimard, 1978.

Предисловие к американскому изданию (N.Y., Panthéon Books, 1980).
Переиздано по-французски в: Arcadie, novembre 1980.

Herculine Barbin... Текст на обложке, подписанный Мишелем Фуко.

My Secret Life. Préface de Michel Foucault, éd. Les Formes du secret.

Foucault M. La Vie des hommes infâmes // Cahiers du chemin, № 29, 15 janvier 1977.

Le Désordre des familles. Lettres de cachet des archives de la Bastille.
Éditées et présentées par Ariette Farge et Michel Foucault. Gallimard-Julliard,
Coll. Archives.

Un procès ordinaire en URSS. Enregistrement clandestin. Gallimard, coll. Témoins, 1976.

Beauvoir S. de. La Cérémonie des adieux. Gallimard, 1981. P. 144.

Cm. b: *Cohen-Solal A.* Sartre, 1905–1980. Gallimard, 1985. P. 650.

Beauvoir S. de. P. 146. См. также: *Aron R.* Mémoires. Julliard, 1983. P. 711–712; *Mauriac C.* Le Temps immobile. T. VII Le Rire des pères dans les yeux des enfants. Grasset, 1981. P. 503–505.

Libération, 30 juin 1984.

Voeltzel T. Vingt ans et après. Préface de Claude Mauriac. Grasset, 1978.

Foucault M. Les Reportages d'idées // Corriere délia serra, 12 novembre 1978. Текст Алена Финкелькрота служит врезкой к статье Картера об Америке.

Мишель Рокар (род. 1930) — политик-социалист, премьер-министр Франции (1988–1991).

Лионель Жоспен (род. 1937) — один из лидеров социалистов, премьер-министр Франции (1997–2002).

Жан-Пьер Шевенман (род. 1939) — французский левый политик, один из лидеров Социалистической партии, основатель и президент «Движения граждан». Министр науки и техники (1981–1983), министр национального образования (1984–1986), министр обороны (1988–1991), министр внутренних дел (1997–2000).

Здесь цитируются последние строки статьи, опубликованной в «Corriere» 1 октября. Они были вырезаны (с согласия Фуко) по причинам технического порядка (превышение объема).

Foucault M. L'armée. Quand la terre tremble // Corriere délia serra, 28 septembre 1978. Цитируется оригинальный французский текст.

Foucault M Le shah a cent ans de retard // Corriere délia serra, 1 octobre 1978. Оригинал — по-французски. Заголовок дан редакцией. Вариант заголовка, предложенный Фуко, — «Мертвая сила модернизации».

Foucault M. A quoi rêvent les Iraniens? // Le Nouvel Observateur, 16 octobre 1978.

Foucault M. Téhéran: la foi contre le shah // *Corriere délia serra*, 8 octobre 1978. Фуко озаглавил статью «Иран. В ожидании имама».

Foucault M. L'année. Quand la terre tremble // Corriere délia serra, 28 septembre 1978; Le shah a cent ans de retard // Corriere délia serra, 1 octobre; Téhéran: la foi contre le shah // Corriere délia serra, 8 octobre; Retour au prophète // Corriere délia serra, 22 octobre.

Foucault M. A quoi rêvent les Iraniens? // Le Nouvel Observateur, 16 octobre 1978.

Foucault M. A quoi rêvent les Iraniens? // Le Nouvel Observateur, 16 octobre 1978.

Абольхасан Банисадр (род. 1933) — первый президент Ирана (1980–1981). Из-за разногласий с исламистами оставил свой пост и вновь эмигрировал во Францию.

Foucault M. Une révolte aux mains nues // Corriere délia serra, 5 novembre 1978; Défi a l'opposition, 1 novembre; La révolte iranienne se propage sur les rubans des cassettes, 19 novembre; Le chef mythique de la révolte, 26 novembre.

Foucault M. Le Chef mythique de la révolte // Corriere délia serra, 26 novembre 1978. Цитируется оригинал статьи, написанной по-французски. Фуко озаглавил ее «Безумие Ирана».

Une Iranienne écrit // Le Nouvel Observateur, 6 novembre 1978; Foucault M. Réponse à une lectrice iranienne // Le Nouvel Observateur, 13 novembre 1978.

Corriere délia serra, 26 novembre 1978. Оригинальный текст — французский.

Foucault M. Une poudrière nommée Islam // Corriere délia serra, 13 février 1979. Оригинальный текст — французский.

Defert D. Quelques repères chronologiques. B: Michel Foucault, une histoire de la vérité, éd. Syros, 1985. P. 114.

Foucault M. L'Esprit d'un monde sans esprit. B: *Brière C., Blanchet P.* Iran. La révolution au nom de Dieu. Seuil, 1979.

Broyelle C., Broyelle . A quoi pensent les philosophes? / Le Matin, 24 mars 1979. Ответ Фуко: Le Matin, 26 mars 1979.

Foucault M. Lettre ouverte à Mehdi Bazaïgan // Le Nouvel Observateur, 14 avril 1979.

Foucault M. Inutile de se soulever? // Le Monde, 11 mai 1979.

Foucault M. Pour une morale de l'inconfort // Le Nouvel Observateur, 23 avril 1979.

Veyne P. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? Seuil, 1983. Анонсированная книга Фуко является, по всей видимости, одним из томов «Истории сексуальности». Первоначально он, вероятно, думал издать ее отдельно, а затем включил в свой проект. См. об этом настоящее издание, ч. 3, гл. 9.

Foucault M. Pour en finir avec les mensonges // Le Nouvel Observateur, 21 juin 1985. Интервью опубликовано уже после смерти Мишеля Фуко.

Foucault M. Pour en finir avec les mensonges // Le Nouvel Observateur, 21 juin 1985. Интервью опубликовано уже после смерти Мишеля Фуко.

Там же.

Foucault M. Est-il donc important de penser? Entretien // Libération, samedi 30 mai 1981.

Там же.

Там же.

Foucault M. Est-il donc important de penser? Entretien // Libération, samedi 30 mai 1981.

Хорхе Семпрун (род. 1923) — прозаик, эссеист, сценарист, пишущий по-испански и по-французски.

Libération. 15 décembre 1981.

500

Libération, 18 décembre 1981.

Les Nouvelles littéraires, numéro spécial. Pologne. Supplément au N^o 2817, décembre 1981.

Le Matin, 21 décembre.

Mauriac C. Le Temps immobile. T. IX. Mauriac et fils. Grasset, 1986. P. 359–360.

Libération, 23 décembre.

Libération, 15 décembre.

Seweryn Blumsztajn. B: Michel Foucault, une histoire de la vérité, éd. Syros, 1985. P. 98.

Kouchner B. Un vrai samouraï: Michel Foucault, une histoire de la vérité, éd. Syros.

Там же.

Entretien avec Bernard Kouchner, Simone Signoret et Michel Foucault, Le Nouvel Observateur, 9 octobre 1982.

Maire E. La Pologne et après... Entretien avec Michel Foucault // Le Débat, № 25, mai 1983. P. 5–6.

Sécurité sociale, l'enjeu, éd. Syros, 1983.

Michel Foucault, une histoire de la vérité. Syros, 1985.

Макс Гало — политик-социалист, историк и писатель.

Le Monde. 26 juillet 1983.

Magazine littéraire, Nq 204, mai 1984.

Леон Блюм (1872–1950) — многолетний лидер французских социалистов, премьер-министр (1936–1938, 1946–1947).

Автор старался избегать упоминаний о себе в первом лице. Но в данном случае это было сложно.

Voeltzel T. Vingt ans et après. Grasset, 1978. P. 157.

Michel Foucault et le Zen // Shunjuu, Nq 197, 1978.

Michel Foucault et le Zen // Shunjuu, № 197, 1978.

Semiotext(s) № 9, 1978. Перепечатано в: Foucault live, éd. par Sylvère Lotringer, Semiotexts, New York, 1989. Цитируется оригинальный французский текст.

Dreyfus H., Rabinow P. Michel Foucault, un parcours philosophique. Gallimard, 1984. B CIIIA: Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago University Press, 1982.

The Foucault Reader, édité par Paul Rabinow. Panthéon Books, 1984.

Gandal K., Kotkin S. Foucault in Berkeley // History of the Present, № 1, février 1985.

Friedrich O. France's Philosopher of Power//Time Magazine, 16 novembre 1981.

Мишель де Серто (1925–1986) — французский историк культуры.

Логика исследования Питера Брауна не столь уж отлична от направления мысли Фуко: христианский аскетизм осуждал тело, но тем самым и фокусировал на нем внимание, постепенно приводя к радикальному изменению отношения к нему, так что в конце концов в позднеантичном христианстве с сексуальностью стала ассоциироваться идея греха.

Mauriac C. Le Temps immobile. T. IX. Mauriac et fils. Grasset, 1986. P. 227.

Sex, Power and the Politics of Identity. Интервью, взятое в октябре 1982 года, опубликовано в «The Advocate» 7 августа 1984 года. Частично перепечатано: Que fabriquent donc les hommes ensemble? // Le Nouvel Observateur, 22 novembre 1985.

Foucault M. L'usage des plaisirs. Gallimard, 1984. Introduction. P. 9. CM.
русский перевод: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону власти и
сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. с. 269.

Foucault M. Résumés des cours. 1970–1982. Julliard, 1989. P. 123–128.
См. русское издание: Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981/82 учебном году. СПб., 2007.

Foucault M. Résumés des cours. 1970–1982. Julliard, 1989. P. 136–137.
См. русское издание: Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981/82 учебном году. СПб., 2007.

Там же. Р. 150.

Хьюберт Дрейфус и Пол Рабиноу много разговаривали с Фуко, в частности, во время его пребывания в Беркли в августе 1983 года. Фрагменты, которые приведены здесь, взяты из записей, сделанных 19 апреля. Расшифровка хранится в архивах журнала «History of the Present a Berkeley». Автор выражает благодарность Полу Рабиноу, Хьюберту Дрейфусу и Дэвиду Горну, любезно предоставившим ему записи бесед (несколько сотен страниц). Пол Рабиноу и Хьюберт Дрейфус использовали их в своей книге (с. 232–346 французского издания). Деление «Истории сексуальности» на два тома и отдельный сборник объясняют, что имеет в виду Фуко, когда, публикуя в 1982 году статью «Битва за целомудрие», представляет ее как фрагмент третьего тома «Истории сексуальности». Речь идет о «Признаниях плоти». См.: Communications, № 35, 1982.

Blanchot M. Michel Foucault tel que je l' imagine. P. 62. См. русское издание: *Бланишо М.* Мишель Фуко. С. 50.

Эрве Гибер (1955–1991) — французский писатель, фотохудожник, журналист. Автор книги «Смерть-пропаганда» и фоторомана «Сюзанна и Луиза». Близкий друг Фуко с начала восьмидесятых годов.

Guibert H. Les Secrets d'un homme, in Mauve le Vierge. Gallimard, 1988.

Foucault M. L'usage... P. 17.

Journal of Roman Studies, vol. LXXVI, 1986.

Foucault révolutionne l'histoire, in *Comment on écrit l'histoire*. Seuil, 1979. См. русское издание: *Вен П. Как пишут историю*. М., 2003.

Foucault M. L'Usage des plaisirs. Gallimard, 1984. Introduction. P. 14.

Там же. С. 12–13.

Ныне курсы лекций, прочитанные в Коллеж де Франс, вышли во Франции в издательстве «Галлимар», в России — в издательстве «Наука».

Entretien dans L'Événement du jeudi, 18 septembre 1986.

Deleuze G., Foucault M. Introduction générale, in: Nietzsche F. *Le Gai Savoir*. Gallimard, 1967. P. 11.

Неполный текст Поля Вейна был опубликован в специальном номере «Critique»: № 471–472, août-septembre 1986. Этот фрагмент публикуется по просьбе П. Вейна.

Hier a 13 heures... Libération, 26 juin 1984.

Rondeau D. Le Canard et le Renard ou la vie d'un philosophe // Libération,
30 juin 1984.

Bourdieu P. Le Plaisir de savoir // Le Monde, 27 juin 1984.

Там же: *Veyne P* La Fin de vingt-cinq siècles de métaphysique.

Daniel J., La Passion de Michel Foucault Le Nouvel Observa teur, 29 juin 1984.

Там же: Le témoignage de Fernand Braudel.

Dumézil G. Un homme heureux. Дюмезиль подробнее расскажет о своей дружбе с Фуко в интервью, которое я записал в 1986 году для книги, посвященной «памяти Мишеля Фуко». См.: *Dumézil G. Entretiens avec Didier Éribon.* Gallimard, Folio-Essais, 1987.

См.: *Allô E.* Les Dernières Paroles du philosophe // Actes de la recherche en sciences sociales, № 61, mars 1986. В этой статье Элиан Алло, ассистентка Мишеля Фуко в Коллеж де Франс, обращается к Дюмезилю с просьбой высказаться по поводу комментария Фуко. Работа Дюмезиля о Сократе называется «Дивертисмент на тему последних слов Сократа», она напечатана в книге «...Le moine noir en gris dedans Varennes», Gallimard, 1984. Лекции Фуко, посвященные работе Дюмезиля, состоялись 15 и 22 февраля 1984 года.

Bianchot M. Michel Foucault tel que je l' imagine. P. 63. *Бланишо М.*
Мишель Фуко С. 50.

Deleuze G. La Vie comme une œuvre d'art Le Nouvel Observateur, 29 août 1986.

Бланшо М. Мишель Фуко с. 50.

Deleuze G. Цит. изд.

Entretien avec Hubert Dreyfus et Paul Rabinow, in: *Dreyfus H., Rabinov P.*
Michel Foucault... C. 331.

Foucault M. Résumés des cours. 1970–1983. Julliard, 1987. P. 165–166.